

Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор
Борис Марковский

Зав. отделом прозы

Елена Мордовина (*Киев*)
тел. **(038) 067-83-007-11**

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (*Москва*)
Борис Херсонский (*Одесса*),
Игорь Савкин (*Санкт-Петербург*),
Борис Констриктор (*Санкт-Петербург*),
Владимир Алейников (*Коктебель*),
Вальдемар Вебер (*Аугсбург*)
Айдар Хусаинов (*Уфа*)

Художник

Иван Граве (*Санкт-Петербург*)

Год издания шестнадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markowskij, Tränke Str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
e-mail: borismark30@T-Online.de
www.kreschatik.nm.ru

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53.

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2014 г.
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Ефим Ярошевский / <i>Котбус</i> /	«В устах зимы...»	5
Денис Липатов / <i>Нижн. Новгород</i> /	«Когда они приходят...»	60
Майя Шварцман / <i>Гент, Бельгия</i> /	Olla vogala	118
Борис Херсонский / <i>Одесса</i> /	Двадцатый век	132
Денис Безносов / <i>Москва</i> /	Сон перед сном	175
Анастасия Андреева / <i>Брюссель</i> /	«Ты давно мне не поешь...»	190
Марк Харитонов / <i>Москва</i> /	«Не сохранишь, не удержишь...»	203
Римма Запесоцкая / <i>Лейпциг</i> /	Из книги «Мост через пропасть»	216
Валерий Юхимов / <i>Одесса</i> /	«ночью полной луны...»	254
Татьяна Реброва / <i>Москва</i> /	Из книги «Архетипы»	262
Надежда Холодкова / <i>СПб.</i> /	Помню тебя	289
Вера Кириллова / <i>СПб.</i> /	«Чтоб влаги утренней испить...»	291
Максим Ненарокомов / <i>Москва</i> /	«Вечно и точно под вечер...»	295
Александр Царовцев / <i>Нью-Йорк</i> /	Любуюсь угасанием	299
Михаил Наумов / <i>Берлин</i> /	«Листва шуршит...»	306
Филипп Лебедев / <i>Харьков</i> /	Воз-звание	308
Виталий Амурский / <i>Париж</i> /	Шукшин	310

В гостях
у «Крещатика»

Поэты
Союза писателей XXI века

Евгений Степанов / <i>Москва</i> /	232
Кирилл Ковальджи / <i>Москва</i> /	235
Нина Краснова / <i>Москва</i> /	237
Владимир Коркунов / <i>Москва</i> /	239

Проза

Станислав Шуляк / <i>СПб.</i> /	Кукушка. <i>Люмпен-повесть</i>	11
Алла Дубровская / <i>Нью-Йорк</i> /	Одинокая звезда. <i>Роман</i>	65
Инна Иохвидович / <i>Штутгарт</i> /	Мальчишки. <i>Рассказы</i>	125
Анатолий Михайлов / <i>СПб.</i> /	Первая любовь. <i>Рассказы</i>	138
Люся Цветкова / <i>Москва</i> /	Старость. <i>Рассказы</i>	180
Вальдемар Вебер / <i>Аугсбург</i> /	Золушка. <i>Глава из книги</i>	194
Борис Ванталов / <i>СПб.</i> /	Письма в никуда	208
Ник. Бобровских / <i>Белая Калитва</i> /	Исход. <i>Рассказы</i>	221

In memoriam

Леонид Завальнюк / 1931–2010 /	Из книги «Предвестие»	268
Юрий Сорокин / 1937–1997 /	Стансы, 1985	273

Переводы

Пауль Целан / 1920–1970 /		
<i>Перевел с нем. Ал Пантелют</i>	Корона	284

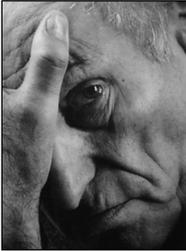
Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Ара Мусаян / <i>Париж</i> /	Новости с фронта	241
Вера Колокольцева / <i>СПб.</i> /	Россия — Швейцария	256
Лиана Алавердова / <i>Нью-Йорк</i> /	Наперекор ветрам времени	264
Сергей Фолимонов / <i>Энгельс</i> /	Одна лишь истина — любовь...	270
Татьяна Виноградова / <i>Москва</i> /	Расписной ребус Коровина-Гоппе	279
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	Петербургские гомункулы	287
Татьяна Михайловская / <i>Москва</i> /	Академический портрет бронзового века	302

Латинский квартал

Александр Моцар / <i>Киев</i> /	Родченко. Повесть	315
---------------------------------	-------------------	-----



Ефим ЯРОШЕВСКИЙ

/ Котбус /

* * *

В устах зимы — таинственная нега.
 глухая ночь, без сна, без оберега.
 С ночных небес
 летит лавина снега.
 И далеко до юрты, до ночлега...

Ложится день в измученный гербарий,
 там дорожает нефти каждый баррель,
 там пахнет лесом сонный сеновал,
 там Золушка торопится на бал.

.

там дремлет спирт,
 там царствует невроз.
 Там кризис власти, кардиосклероз.
 (Простуда.
 Миозит.
 Туберкулез.)

2013

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Этот замысел, промысел, вымысел — чей?
 этот снег из глубоких очей.
 Это ветер из темных и зимних ночей.
 это я — дурачок, книгочей.

Это я, безутешный и бедный урод,
 от кого отвернулся народ...

Этот ветер оттуда, из прошлых ночей,
 это прах неостывших печей.

Это бегство от смрада, от ржавых ключей,
от погони ночных басмачей.

.

Этот вечер и ветер...
откуда? он чей?
Он оттуда, где город — ничей.
От усталых врачей и слепых палачей —
снова эхо безумных ночей...

.

Там, где дым от внезапно погасших свечей.
Там, где я — дурачок, книгочей...

* * *

Этот город уже не сдаётся внаем.
Там уже не торгуют отныне,
где в фаворе заветный античный прием...
Я тоскую по той дисциплине,

где стихи, как когорты, на гибель идут,
а в холодной долине заката
обозначен последний советский редут,
обеспечена кровью зарплата.

Там стоит на остывших ветрах Петербург,
и грозитса Исакий в тумане...
там когда-то хотели нас взять на испуг
супостаты, враги, басурмане.

Под конем императора чахнет земля.
Лес расслаблен, и псы на опушке...
До сих пор там белеет отчизна моя,
где Иосиф, и Анна, и Пушкин.

Там по-прежнему граждане сходят с ума
у могилы певца и поэта...
Здравствуй, совесть! Привет, голубая зима!
И прощай, королевское лето...

2011

* * *

В недрах слов, в глубинах подсознания
зреют ослепительные зданья.
Я зову, я называю вещи —
и они покорно льнут ко мне...
Подступает паводок зловещий,
и вода у горла... как во сне.

Этих слов разорванные звенья
 жаждут моего прикосновенья.
 Ощущаю в грохоте молвы
 холод опустевшей головы.
 Там мои разорванные зданья
 зреют на просторах мирозданья.
 И мои ночные огороды
 посещают звери и народы.
 Наливаясь солнцем и травой,
 золотом пшеницы мировой...

2013

ВАРИАНТЫ И ВАРИАЦИИ...

Мимо лета пролетая мимо,
 мимо распахнувшегося Рима,
 мимо зоны, мимо Мнемозины,
 маемся, минуя магазины,
 ударяемся ночами оземь,
 и прощения у Бога просим...

Мимо зноя, мимо мезозоя,
 мимо леса — облаком, грозюю.
 Падаем не просто в землю —
 наземь!..

.

Стукнулись, столкнулись, столковались,
 по земле родимой стосковались.
 А потом о чью-то тень споткнулись —
 и в отчизну бородами ткнулись...

Здравствуй, страстотерпица, сестрица!
 Слюбится и стерпится столица.
 Не за кого плакать и молиться.
 Родина...!

.

Мимо рощи, мимо магазина
 пролетает корпус лимузина.
 Мимо текста, мимо института,
 мимо жизни — пронеслась минута...
 Мимо дома.
 (но душа, но Гоголь...?)
 Подана карета... значит, трогай!
 Где душа, там духи у порога...

2012

ВАРИАЦИИ

1

Мимо лета, мимо арбалета,
мимо ядер солнечного света...
Мимо опрокинутой метели
(что давно в России пролетели),
мимо гимна, мимо партитуры,
мимо гениев литературы...
Мимо града, мимо винограда —
кораблей крылатая армада.
Мимо мира, мимо Армавира,
пролетает вольный сын эфира.
Мимо лета, мимо пистолета,
в ожиданье божьего привета.
Мимо революций, мимо бунта
пронеслась таинственная хунта...

.

Облака кочуют мимо славы,
мимо загазованной державы,
где горят фонарики речные
и летают всадники ночные...

Мимо горя, мимо керосина —
проплывает город Хиросима...
Там восходят лунные посевы,
там гуляют призрачные девы,
и, освоив лунные поляны,
бродят воспаленные путаны.

.

Звездный ветер обдувает платья.
Раскрывают хладные объятья
грозные космические братья...
Там, где дуют ветры ледяные,
бродят наши сестры слюдяные,
на окраине чужой планеты
обретая Новые заветы.
Мимо храма... мимо колоколен.
Мимо тех, кто нездоров, кто болен.

.

Там внизу Япония дымится,
вспыхнув на глазах у очевидца.
Там поют обугленные травы,
укрощая времена и нравы.

Мимо лета, мимо арбалета,
мимо дула, мимо пистолета,

мимо дома, мимо хромосомы
пролетают птицы-новоселы,
праздничны, тихи и невесомы.
Мимо вспышек солнечного света,
мимо снов, лесов —
и мимо бреда...

2013

ВЕЧЕРНЯЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

Поговорим о прозе Пастернака...
Но тут легко запутаться, однако.

.
Он зачитался, он читал давно.
Злой ветер дул в осеннее окно.
Однако Рильке тайну всю о Ларе
чуть не раскрыл мне... Дело не в пожаре.
Ужели ларчик просто открывался?
Поэт с трудом от прозы отрывался,
чтобы примкнуть к поэзии... О нем
сложили сказку. Впрочем, ход конем
избавил бы его от ужаса и плена,
и участи слепого Гуинплена...
А заодно — от Сартра и Гюго.

.
А там Бахтин... там тайные намеки.
И шахматы. (Набоков — да, талант!)
Идущий на работу дуэлянт
уже давал суровые уроки.
Он был достоин всяческих похвал,
трудолюбив, учтив, благопристойен.
Был образован. Был отважный воин.
Но Сартра никогда не понимал.
...Кого там только не было, однако!
Был Пушкин, ловелас, был Крузенштерн,
Патрис Лумумба, царь и Анна Керн.
Там тайная обитель Пастернака.
Там Персия и грозные набеги,
и бабочки, и злые печенег.
Однако мы забылись... Ночь взошла —
и пролилась чернилами. Открыто
окно, как рана. И не спит Лолита.
(Молчим о Ходасевиче, о Польше,
Мы все сказали, и не нужно больше.)
...Так мало в мироздании тепла!
Вселенная, сгоревшая дотла,
еще сияет, но уже мертва.

...Мела метель, куражились морозы.
 Умберто Эко мямлил имя Розы.
 Живаго медлил, вся в огне Лариса...
 ...Так начинался новый день Бориса.

* * *

Памяти Бэллы

В этом ветре и листве
 ты живешь — со всем в родстве.
 В этих рощах и лесах
 ты живешь, как в небесах.
 В этой странной невесне,
 в полуяви, в полусне.
 Где холодная зима
 сходит медленно с ума...

.

(Я живу, как в де-жа-вю,
 хлеб растерянно жую...)

Где холодная листва
 без луны давно мертва, —
 там, задумчива, бледна,
 смотрит Бэлла из окна.
 И невидимой тропой
 входят гости к ней гурьбой...

Там Фазиль, там Искандер,
 Битов, Пушкин, Мессерер,
 человек из высших сфер,
 из предместья эсэсэр.

Там Кассандра у дверей,
 там задумчивый Андрей...
 Там у Бэллы скорбный рот.
 Окуджава у ворот.
 Там татарские глаза,
 там катарсис, там гроза.

.

Этот милый смуглый лик
 и прекрасен, и велик!
 Эта девочка — поэт
 двадцати неполных лет.
 И из всех — она одна
 небожителю верна.

.

Где в тумане, над водой,
 ходит Пушкин молодой...



Станислав ШУЛЯК

/ Санкт-Петербург /

КУКУШКА

люмпен-повесть

Кривые ивы тяжело повисли над чёрной водой, век их уж отходил скоро, ивы то чувствовали и плакали, плакали. Вода же текла себе и текла. Что ей сделается, воде-то? Что ей за дело до чьих-то там слёз? Вода вечна и изменчива. Покуда, конечно, не высохнет. Вот она какая — вода!..

«Ку-ку!..» — сказала кукушка. Потом подумала и повторила свою тираду два раза. А после умолкла, будто воды из реки набрала в свой гадкий кукушечий рот.

«И только-то?!» — даже рассердился Иноверов.

Кукушки он не видал, куковала та где-то на другом берегу. А увидел бы, так непременно кинул бы камнем.

Хотя, с другой стороны, три года (если верить кукушке), так оно даже и много, подумал Иноверов. Существование своё он не любил, не за что было ему любить своё существование. Одни дураки существования свои любят, умные ведут себя попроще и поскромнее. Они ведут себя осторожнее. Не любят ничего попусту.

И всё ж такая кукушкина выходка была хамской.

Иноверов теперь был один на берегу. Несмотря на весь седой волос его, в нём засело немало незрелого, детского. К примеру, он любил стегать зазевавшихся лягушек прутиками по спине. И ещё ловить кузнечиков. Но лягушек теперь он, как на грех, всех распугал, и кузнечики тоже не появлялись. Но, уж если ему когда доводилось изловить кузнечика, так он не убивал его, не отрывал лапки, он купал его в воде. Нет, не для смерти, а так только — для *понимания*. Всё живое должно жить не для жизни, а для *понимания*, полагал Иноверов.

Мокрого кузнечика Иноверов обычно отпускал, он же не зверь какой-нибудь, а... некоторый даже экспериментатор.

А ещё Иноверов любил сочинять истории. Полные настырной псевдонародности, всяческих особых обстоятельств и иных превратных контентов. Вот и теперь ему мерещилась одна. Ивы над водой, кукушка, человек, понимание, кузнечиков нет, этих чёртовых кузнечиков нет... дальше же история не выходила, не складывалась. Тогда Иноверов плюнул и пошёл себе домой воевояси.

Тут-то над ним и пролетела ржавчато-бурая, длинная птица. Пролетела и скрылась в тёмных кронах деревьев на пути человека.

— Ку-ку! — сказал той Иноверов и даже погрозил кулаком.

Дом Иноверова был сразу за татарским кладбищем. На кладбище и теперь кого-то хоронили. Неправильно как-то хоронили, по-советски хоронили, с оркестром, с гимном, с гиканьем да с песнями, тяжёлыми, как бульдозеры. Чёрт, как всё перемешалось! Хотя, конечно, что Иноверову за дело до всяческих похорон! Вот, если б теперь его хоронили, тогда бы, может, другой разговор вышел! А так — пусть хоронят, как хотят. А его, Иноверова, не трогают. С сорокаградусной злостью подумал он.

Впрочем, издали всё походило более не на похороны, а на свадьбу. Что ж, разве свадьба не может быть на кладбище? Много где может быть свадьба, подумал ещё Иноверов. И на кладбище, и на помойке, и даже на том свете.

На дворе ждал его сюрприз. Всем сюрпризам сюрприз. Существо отроковического плана с глазами цвета пасмурного неба. Стало быть, девчонка. Смотревшая на Иноверова мутно и невозмутимо.

— Дядя Мотя!.. — молвила отроковица.

— Для кого — дядя Мотя, а для кого и Матвей Васильич! — пробормотал смущённый Иноверов.

— Дядя Мотя, — уже решительней повторила гостя.

— Так ты кто ж такая будешь? — чуть твёрже спросил мужчина.

— Катя, — бросила девчонка.

— Ясно, что Катя, — отозвался Иноверов. — А кто, к примеру, твоя мать?

— Мать моя, — рассудительно отвечала отроковица. — Она же есть сестра твоя, дядя Мотя. Татьяна Васильевна.

— Танька? — удивился хозяин дома.

— Для кого — Танька, а для кого и Татьяна Васильевна, — повторила та. И, видя, что дядя немного опешил от такой коалиции, присовокупила совсем уж уверенно:

— Жить я у тебя буду, дядя Мотя. Мать так порешила, и об том письмо прилагается.

И протянула дяде чрезвычайно замызганное письмо, предварительно содрав с него казённый бумажный скальп.

«Дорогой братик Матвей, — начал читать Иноверов. — Скока ж мы с тобой не видимшись? Лет 15, поди? Я бы и теперь тебя не побеспокоила, живи ты как хочешь и как можешь. Ежели бы не обстоятельства непреодолимой силы, как говорится. В общем, пусть Катька у тебя пока поживёт, девчонка она бодренькая и вообще ничего так. А мне надо. Извини, что денег тебе на содержание не передаю, ты уж сам как-нибудь... Всё на этом! Прощевай, брат! Твоя несчастная сестра Таша, а почему несчастная, до того никому никакого собачьего дела не имеется...»

Вот ещё новости! — сказал себе Иноверов.

Оно и впрямь были новости, иначе, пожалуй, не скажешь.

— В дом-то хоть заведёшь? — крикнула отроковица.

— Заходи уж, чего там, всё равно пришла, — поколебавшись, ответил воял дядя.

В доме девочка скривилась. От жилищного беспорядка да беспутной мебели. От всяческих холостых слагаемых и сильного человеческого аромата.

— Поесть бы скумекал что-то, — бросила ещё пришелица. — А то мать, пока шли, сама чипсы жрала, а мне только две штуки дала.

— Так тебя Танька доставила? — опешил даже Иноверов.

— Она с тобой повидаться хотела, а тебя где-то носит, — попрекнула дядю отроковица.

— Где надо, там и носит! — сказал Иноверов.

— Ну, дай хоть макарон, если зефира нет! А лучше так даже фисташек, — велела бесцеремонная гостья.

— Зефира нет, а макароны варить надо.

— Ну, так вари! Чего стоять тщетно!

Газа у Иноверова не было. Когда всем тянули за деньги, Иноверов созрел для протеста и сомнения, и трубу проложили в обход. Плитка-то, конечно, была прежде, да сгорела в прошлом году. Стало быть, теперь пришлось топить печь.

— Мать — дура какая! — сказала Катя, покуда варились макароны. Я её просила-просила, а она меня так и не отдала учиться.

— Чему?

— Танцевать вприсядку.

— Да, — сообразил вдруг Иноверов. — Как же ты у меня по недомыслию жить думаешь? Тебе учиться надо, а у нас тут и школы нет путной поблизости. Недавно последнюю закрыли.

— Ну, ты совсем дурак, дядя, я погляжу! — возразила девочка. — Кто учится, только горюет и жалится, а кто неучем ходит — тот весел да богатствен. Нешто сам жизни не видишь?

— Ты бы лучше не присядкам училась, а языку французскому. С языком французским жить всяко полезней, чем с присядками. «Паг-гдон, мон амугг!..» — с кривою картавостью пророкотал Иноверов.

— Давай лучше твои макароны трескаться, чем об всяких глупостях балаболить! — урезонила дядю говорливая отроковица.

Иноверов взглянул на неё с предосторожной латентностью и недобродившими помыслами. Тоша та была и неразвита, но всё ж кое-где у неё проступали некоторые девичьи округлости.

«Что ж, сами виноваты, что распорядились, не спросясь, а ежели что, так на племянницах даже и женятся!» — косвенно сказал себе Иноверов.

2

Дядя с племянницей сидели за столом и мирно уплетали горячие макароны.

— А чем ты тут занимаешься, дядя Мотя, когда живёшь? — поинтересовалась отроковица.

— Изящной умственностью и всяческой обыденной жизнью, — горделиво сообщил Иноверов. — Последней по вынужденности, а первоначальной по душевному распорядку.

— Ну, нашёл, чем заниматься! — фыркнула его незрелая родственница.

— А чем же, по-твоему, нужно? — досадливо спросил он.

— Истинною любовью и неразрешёнными удовольствиями, чем же ещё!.. — сказала она и тут же добавила:

— А дурдом у вас далеко?

— В трёх километрах отсюда. Это ежели на автобусе. А пешком так, пожалуй, все пять выйдет. А тебе на что?

— Так... — уклончиво отвечала отроковица. — Не люблю, когда дурка рядом. От неё болезнями пахнет.

— Если туда специально не идтить, так и не рядом, — немного даже покоробился за свой ареал Иноверов.

— Никто и не собирается, — отмахнулась отроковица.

Тут дядя оторвался от макарон и экстренно взглянул на племянницу.

— А сколько ж тебе лет? — на всякий случай пучеглазо уточнил он.

— Одиннадцать и полторы четверти, — сказала отроковица.

«Ну, это не возраст, — изрядно огорчился Иноверов, — а одно только сопливое предуготовление. Если б ей было хотя бы двенадцать!.. С другой же стороны, пророк Мухаммед вот женился на девятилетней. Да, мусульма-нином быть хорошо! А нами, русскими человеками, жить невозможно, практически вообще никак!..»

— Ешь макароны, давай! — велел он. — Свиной не держу — сбавривать непокусанный продукт некому.

— Холодильник бы вместо свиной лучше завёл, — укорила его племянница. — Эх ты, дядя Мотя!

«Когда женюсь на ней, перво-наперво надо егозливость эту в девке прищучить, а то с егозливым духом её вместе будет жить несуразно», — ска-зал себе Иноверов.

— Не твое дело — чужие холодильники считать, — вслух сказал он.

— Чего их считать? — фыркнула отроковица. — Когда ни одного нет.

Положили ещё макарон и, хоть через силу, но ели, ели оба, давились, а ели. Ибо, как сказано, ни холодильника, ни свиной не было у Иноверова. Продукты же они уважали. Более даже желудков и кишок своих уважали.

— Как же тебя мать-то оставила — одну да во чужи люди? — удивился ещё дядя для разговору.

— Так и оставила, — отдуваясь после макарон, сообщила отроковица. — Пока сюда шли, всё об тебе рассказывала. А как пришли, стала вздыхать да горюниться, целовать меня да обнимать. Всю исцеловала слюнями!.. А потом обратно пошла, так, пока за косягом не скрылась, всё взад оглядывалась.

— А ты что? — каверзно уточнил Иноверов.

— Что-что! — пожала плечами та. — Тоже по мере сил немного попла-кала.

— Поплакала — хорошо, — согласился мужчина. — Детям полезно пла-кать!..

— Ну, ты! — крикнула племянница. — Какие я тебе *дети!*..

— А кто? — удивился тот.

— Дети только до восьми лет, а потом уж не дети делаются. Потом — девицы, юноши и тинейджеры.

Тут Иноверов даже немного вытаращился на бойкую отроковицу. Выта-ращился и спину выпрямил. Застыл в скуке существования. Прямо тебе — вроде канделябра какого-нибудь. Сказать же ничего не нашёл.

На самом же деле, было не совсем так, как отроковица рассказывала. Отроковицы всегда не совсем верно рассказывают.

— Дядя твой Мотя — тот ничего, а у меня по причине материнских обязанностей совсем личной жизни не стало, а ты уже большая и понимать должна, — сказала Татьяна Васильевна, когда они с дочерью сходили с косогора, за которым открывалась иноверовская деревня.

У той рот был набит конфетами, потому сразу ответить она не могла. Когда говоришь со ртом, конфетами полным, так те сразу сладость теряют (и прочие съестные подробности), и конфет жалко. Потому в эти кондитерские минуты лучше помалкивать.

— У, — только буркнула отроковица.

От одного «у» сладость, конечно, не потеряется.

— Вот тебе и «у»! — оспорила её мать. — Ты, смотри, веди себя хорошо. И дядьке тоже скажи, чтоб хорошо вёл, а то мало ли он каким дураком за эти много лет сделался!

— Сама и скажи! — вопреки конфетам крикнула дочь.

— Сама и скажу. Но и ты тоже при случае варезку на замке не держи.

— Какую варезку! — крикнула та ещё пуще. — Не зима, поди, на дворе!

Дошед до курмыша, Татьяна Васильевна подстусhevалась. Нетвёрдо она ведала иноверовский дом. Побродила мать с дочерью по задворкам да по сельским колдобинам с четверть часа, но нашла всё ж.

Хозяина дома не было, как уж и без того ясно.

Он на берегу лягушек гонял, мессиджи и контенты выдумывал. Но всё никак не выдумывалось. Мессиджи и контенты легко не выдумываются.

Дом был заперт по городскому обыкновению. Татьяна Васильевна повсюду ключ искала, после даже окошко выдавить вознамерилась где-нибудь с тыльной части, но, подумавши, всё ж решила не нахальничать попусту. Мало ли как это дело обернуться могло. А она не цыганка какая-нибудь.

И, поскольку у Иноверова снаружи было пожить нечем, сразу за-скучала и засобиравалась.

— Пойду я, — пояснила она дочери. — Час не ранний, а мне ещё до *сошше* дойти надо.

Отроковица встrepенулась, бросилась к матери.

— Ну, что, что, глупая дурочка?! — со смущением молвила мать.

— Я тебя до *сошше* провожу, — тихо сказала та.

— Не провожай! По дороге приворожишься, прикипишь, причахнешь ко мне — обратно возврататься не схочется.

— Не причахну, — заверила дочь.

— Точно не причахнешь?

— Истинное слово!

— Ну, тогда пошли, — смягчилась женщина. — Но только до *сошше*, ничуть не дальше!..

Вышли они со двора.

— Дорогу-то обратственную запомнила? — встревожилась мать.

— Запомнила.

— Дала б тебе конфет ещё, да все вышли, — сказала Татьяна Васильевна. (На самом деле, был у неё, конечно, с десяток, по карманам рассованный, но это на дальнюю дорогу, ей и самой мало!)

— Я тебя не за конфеты до *сошше* провожаю, — немного покоробилась отроковица.

— Знаю, знаю, глупая козочка! — ласково ответила мать.

Ближе к косогору отроковица начала от матери поотставать.

— Устала, — молвила мать.

— Ничего не устала! — крикнула Катя.

— Я не про тебя, я про себя говорю! — вся потянулась она. — Ох, как *сошше* далеконокно!

По обе стороны от дороги были поля, прежним колхозом заброшенные (да так никем и не поднятые), да кучки камней насыпаны по обочине. Отроковица подняла один — такой, что едва в кулак влез, тяжёлый, то есть, да и укрыла его за спиной. Тут-то они на самый косогор и взошли.

А на той стороне косогора понизу ложбина была. Глухая и тёмная, извилистая да аспидная, кустами поросшая.

Осмотрелась отроковица по сторонам и шаг свой отроковичий прибавила.

— Далеконько да долгонько! Пока ещё дограбаздаешься!.. — пропела мать впереди.

— Ничего, — сказала отроковица, мать настигая. — И ты отдохнёшь скоро.

И ударила изо всех сил мать камнем по темени. Та, как подкошенная, завалилась посреде дороги.

Потом ещё тридцать восемь раз ударила мать камнем отроковица. Подумала и ударила в тридцать девятый. Вот теперь было хорошо, теперь было надёжно. Взглянула на месиво вместо головы и даже себе подивилась: вот как могу!

Каинов же снаряд тут на месте не бросила — потащила и мать, и камень в ложбину. Тяжело было, но метров на сто всё ж оттащила. Тут самосвал по дороге проехал, отроковица за кусты залегла. Может, и видели из самосвала что, может, и нет. Но вообще из самосвалов далеко по сторонам видно.

И ещё она конфеты у матери по карманам собрала. Некоторые тут же сожрала, остальные — те, что с кровью — выкинула.

«А если и докопаются, — говорила себе отроковица, забрасывая тело на дне ложбины ветками, листьями, земными комьями да травяными пучками, — так что мне будет по *сызмальству!*»

Всё, вроде, неплохо вышло, да вот только подол себе немного закровенила, замызгала.

«Ничего, — сказала себе Катя. — Пойду к дяде Моте — там и ототрусь! У него там стояла вода в бочке!»

Иноверов ёрзал да ворочался, и никак сон не побирал его.

«Пойти, что ль, прямо сейчас да жениться? — беспорядочно подумывал он. — Женатому человеку совсем другое дело выходит! Или, может, для первости всего лишь рассказать про контенты?»

Контенты были его потаённое, они были его сокровенное. Мало у человека сокровенного, нечем ему подкреплять своё человеческое!

И тут, кажись, стукнуло что-то. Или, положим, звякнуло. Хотя, может, прислышалось. Иноверов даже про все свои контенты забыл. Контенты не любят всякие звяканья.

Иноверов сел на постели и поскоблил пол своими подошвами, шершавыми, как рашпили. Поблизости лежала тетрадь, полная контентов. Впрочем, не такая уж, пожалуй, и полная. Хотя десяток-другой каких-то куцых пертурбаций и побасенок там отыскать было незатруднительно. Иноверов хотел привычно полистать манускрипт, но без света словеса разглядеть нелегко, а чтоб свет запалить, так ещё через полкомнаты топать надо.

Через полкомнаты топать никак не хотелось.

И вдруг Иноверов услышал ещё звуки. Вроде, вскрикнул кто-то. Потом умолк. Потом застонал, задышал громко, вскрикнул сызнова. Отроковица!..

Иноверов метнулся на звуки, дверь распахнул. И тут он увидел.

Окошко в отроковицыной комнате было распахнуто, и посреди неба, над огородами сверкала луна, подлая и безмятежная.

Отроковица с грудью плоской, словно доска стиральная, с парюю пупырышек на заметном фасадном месте, подскочила на постели. «Ей бы прикрыть срам!» — мельком подумал Иноверов, но отроковица срам не прикрывала. Хотя глядела на дядю пристально и без удовольствия.

Подлинный же срам заключался в другом.

С постели соскочил мухоморного вида некий юный, худосочный гнус. (Одно слово — тинейджер.) Гнус, как и отроковица, прикрываться не считал обязательным, и навстречу Иноверову освещённый подлой луной выставил наперевес огромный жадный половой уд не вполне тинейджерского содержания. Гнус нагло и напуганно смотрел на Иноверова, Матвея же Васильевича трясло от бешенства и непорядка. «Чтоб всякий там гнус со своим половым удом посягал на мою племянницу — нет, перенести такое затруднительно!» — сказал себе Иноверов.

— Стучать надо! — молвила отроковица не без некоторого двурушничества.

— А мы что? А мы ничего! — молвил и тинейджер.

— Ничего? — взревел Иноверов. — А ружьишка, сучонок, не хочешь испробовать?

Матвей Васильевич метнулся назад за ружьём в закрома, в избяные дебри. Но тут вспомнил, что никакого ружья у него давно нет. Зато есть кочерга. Он прихватил кочергу и призадумался. Что сделать ему: съездить ли тинейджеру сразу по жбану, или спервоначалу больно ткнуть железным предметом в половой уд (чтоб образумился) и только после того заняться освоением головной конечности?

И ещё сообразил Матвей Васильевич, что тинейджер с половым удом ему не совсем неизвестен.

Это был Лёшенька. Лёшенька... чёрт, как же фамилия?! Нет, нет у Лёшеньки никакой фамилии! Семья его была плёвая, мелочная, малосильная, потому Лёшеньке лучше даже без фамилии.

«Никаких достоинств у него не имеется, и эта ходячая мерехлюндия будет повсеместно уд свой половой распространять!» — яростно подумал Иноверов.

Тут-то он и кинулся для реванша в отроковицыну комнату.

Реванш, впрочем, не получился. Лёшеньки в комнате не было. Не иначе, в окошко выпрыгнул, покуда Иноверов, стоя, зрел для экспансии. Созрел бы он попроворнее, глядишь, и отоварил бы наглеца увесистой железякой. И это было бы хорошо — с наглецами так только и надобно.

— Спростила кобеля? — заревел Иноверов и ещё треснул кочергой по полу, будто бы тот и был пустой Лёшенькиной головёнкою.

— Ишь, дверь раскрыл — только сквозняк напускаешь! А я простужусь и заболеть могу всяческими женскими болезнями, и ты виноват будешь, — на одном дыхании невозмутимо выпалила отроковица.

— А ты на женские болезни не кивай! — крикнул на то Иноверов. — Видел я твои женские болезни!

— Не видел, и видеть их тебе не положено, ты уже старый, а они — дело интимное! — крикнула та.

— Окно затвори! — заорал дядя. — Ещё раз увижу *этого* — оба ружья отведаете!

— Ружьев мы никаких не боимся, а ты, дядя, пугаешь только, мозги себе все отоспамши! — отмахнулась племянница, пытаясь затворить окно. Окно, впрочем, не затворялось. Ввиду разошедшей рамы, ну и рук отроковицы, разумеется. Росших *не с того места*.

— Я тебе дам — отоспамши! — буркнул Иноверов и внушительно треснул кочергой в стену.

— Много вас тут, давальщиков! — шумливо не согласилась отроковица.

5

А было, в общем, так: когда отроковица замывала кровёнку материнскую на платишке, её подглядел тинейджер Лёшенька, тринадцати лет, кравший в соседнем дворе вишню. Отроковица платице застиранное сняла да развесила на проволоке. Тут-то бесстыжий отрок через забор и перемахнул. Снюхались они быстро. Щупались да тискались в невидной части двора за сортиром и даже приступили к *серьёзному* в тамошних лопухах, но тут хозяин дома показался в отдалении — пришлось Лёшеньке сматываться в спешном режиме, отроковице же облачаться в непросохшее платице. Другой бы, может, и заметил что, спешно упрятанный непорядок, к примеру, но только не наш создатель контентов.

Ретируясь, отрок наказал юной подруге своей ожидать его ночью. Что и было исполнено. Улегшись, отроковица поначалу выглядывала в окно, после же его растворила, не выдержав. Лёшенька, палимый известным отроческим огнём, тут как тут бродил наготове...

Правда, и Матвей Васильевич полубодрился с чуткостью.

Впрочем, сии обстоятельства уж описаны, да и бог с ними!..

Мы же пока порассуждаем немного об половых удах, коли уж к слову пришлось.

Все знают половые уды. За вычетом, возможно, каких-то закоренелых девственниц, но не об них речь. Половые уды бывают различны — велики и малы, тверды и податливы, тощи и телесны, сухопары и коренасты. Следует целую книгу написать об этих самых удах, да вот стыдятся людишки отчего-то и не пишут *половоудовые* книги. Может, кто из вас видел такую книгу? Да что книгу? Энциклопедии достоин сей неопиcуемый, многомерный, важнецкий предмет! Но нет, нет ни книги, ни буклета, ни энциклопедии, ни гимна, ни мадригала, ни эпиталамы, ни даже завалышенькой статеечки об удах, об всех предметах есть, о прыще, о волдыре, о заусенце есть (или, по крайней мере, могут быть), а об нём нет. Что за табу такое, что за проклятие, что за туман, гнусь, хмарь и околесица лежат на этом предмете! Разве ж он менее важен, менее значим, чем волдырь или заусенец? Невозможно, невозможно, не может такого быть!

Человек любит свой уд! Человек заботится об своём уде! Человек зависит от него, человек — раб уда куда более, чем раб своих привычек. Впрочем, многие привычки в человеке уд как раз и формирует. Человеку же рабом быть даже полезно. Зигмунд Фрейд очень любил свой уд, он даже написал, что всё *в* уде, всё *от* уда, всё *для* уда, и всё *под* удом. Так написал Зигмунд Фрейд (по правде сказать, брехливый старик, но в чём-то посвоему он был прав). Фрейд, разумеется, смутил человекoв, но человекaм и лучше прожить в смущении. А взять, например, *словосоставничество*, что (во все не пустая дисциплина): *в удовольствии* нам слышится *удова воля*, *в удовлетворении* — *забирай выше!* — некоторое даже *творение уда*. Это вообще отдельная тема — *удово творчество*. К тому ж, если сей молодец загуляет, раздразнится, разбубенится, распоясается, то он такое *сотворение мира* учудить в состоянии, что потом века и века будут расхлёбывать да расследовать итоги его происков! Уд сопоставим... да сами уж понимаете с кем! И нечего тут разводить всяческие турысы на колёсах, городить грядки, шпалеры, газоны и огороды!

Уд слышится в удаче (и несомненно там присутствует собственной разнужданной *удовой* персоной). Особенно ж много *уда* в *удобстве*. И сие также, разумеется, неслучайно. *Удобство* есть *удова* расхристанность, распалённость, распушенность! (Так похоже *удобство* на *поганство*, положим, или *паскудство*.) Многие, многие слова наши начинаются с *уда*, ни в одном чужом языке нет больше столько срама, непорядка и безобразия. Уд проник, просочился во все поры, во все норы, во все дыры, во все закрома и загашники, уд водрузился и утвердился, уд воцарился и превознёсся. В уде пьянящая сладость глинтвейна, дух и терпкость корицы, в уде мощь и индифферентность, уд — варвар и выскочка, уд — изощрённый мечтатель, уд — на большой дороге разбойник.

Да, но так же, как человек заботится о своём уде, как раболепствует перед ним, точно так же он на него плюёт. Суёт, куда ни попадя, дёргает, тербит, не даёт покоя и отдыха. Через уд происходят многие болезни, неполадки, а зачастую так даже и отброшенные коньки (если вдуматься, так не только всякая жизнь *от уда*, но *из-за него*, подлого, и всякая смерть). В общем, человек ведёт себя так, будто нет у него врага злее его собственного уда.

Да ведь и вправду, уд — враг рода человеческого, угроза всему живому, одушевлённому, искреннему, уд — зло, чума, застарелая отрыжка, рассвирепшая гюрза, бледная спирохета, ураган Катрина.

После всех ночных дислокаций Иноверов проснулся наутро злой и причудливый. К тому ж и тело болело, он забылся в обнимку с кочергой и намял железом свои многие места.

Лучше б ему не с кочергой спать, а с иным каким-нибудь тёплым предметом. А вот хоть бы и с отроковицей!

«Жениться на ней можно и насильно, — на всякий случай подумал он, — ибо, ежели что, егозе никто не поверит, а ко мне уважение имеют».

Да, это, пожалуй, строилось убедительно. Какая ж вера может быть егозам!

При теперешнем свете ему пуще давешнего хотелось прикинуть к контентам, контенты вообще подкрепляют, он поискал глазами тетрадь заветного свойства, но таковая отчего-то с первоначального взгляда не определялась.

Иноверов встал, походил колченого. Тетрадь будто пряталась от Иноверова. Поди ведь, не иголка в стоге — тетрадь-то. Размером с писчий лист, облачение коленкоровое, цвета гнусоватого, без пяти минут оранжевого, но всё ж ближе к грязновато-коричневому.

Тут Иноверов услышал звуки в смежном помещении и, облачившись в свой затрапезный текстиль да взяв кочергу половчее, вышел с настороженностью.

— Железяку затаскал, а мне в печке поворошить нечем! — недовольно бросила пробудившаяся ранее отроковица.

— Что тебе там в печке ворошить понадобилось? — столь же недовольно ответствовал дядя.

— Нешто не знаешь, что ворошат в печке? — усмехнулась нахраписто ювенильная постоялица. — Ну, наверное, золу и всякие угли!

Печка горела, создавая в жилище некоторые угар и теплоту, на плите доваривались макароны. Предвкушая завтрак, Иноверов благодушествовал и даже ущипнул племянницу за мягкое место.

— Молодец, — сказал Иноверов. — Сама печку растопила.

— Дрянь — твоя печка, — возразила отроковица, — я с ней полчаса мучилась, — и повела рукой, будто на что-то указывая.

Указывала же она на иноверовскую тетрадь заветного свойства, лежавшую на лавке, ту самую, без пяти минут оранжевую. К тому же несколько, как показалось Иноверову, исхудавшую.

Как она здесь очутилась? Здесь её Иноверов уж точно не оставлял.

Матвей Васильевич с тревогою подхватил тетрадь. Нет, листов в ней по-прежнему оставалось немало. Но только чистых. Тех же, что освящены были иноверовскими контентами, — буквально, раз-два и обчёлся!

— Где отсюда листы?! — завопил Иноверов.

— Говорю ж, у тебя печка дрянная! — отмахнулась маленькая стряпуха. — А чем мне было растапливать?

— Ты вообще понимаешь, чем печку растапливала?! — ещё громче возопил хозяин дома, в особенности упирая на гадкий и препустейший, русский союз «чем».

— Подумаешь, каракули всякие!..

— Это не каракули, это — контенты и мессиджи!.. — подспудно сказал Иноверов.

— Ты прекращай при мне выражениями выражаться! — крикнула отроковица. — Мне по *сызмальству* моему такое слушать никак не положено.

— Контенты не выражения, а самая что ни на есть сокровенная сущность! А ты по глупой дурости своей лишила мир этой немислимой сущности, — бросил ещё неостывший Иноверов.

— Ты, дядя, с виду *взросел*, а на деле так вроде птенчика желторотого! — сказала востроязычная пигалица.

— Это кто это здесь птенчик? — с угрозой сказал Иноверов.

— Ты, конечно, — весело ответила та.

Иноверов хлопнул дверью и вышел во двор. Маломерная его жиличка ставила его в тупик. Он всё никак не мог с ней взять верный тон. Такой тон, что помог бы решению главной его задачи — женитьбе на пигалице. Он непременно отыщет этот тон, любой тон отыскать можно, сказал себе Иноверов.

Вообще-то, между нами говоря, Иноверов собирался в сортир. Но отроковица могла подглядывать за ним из окна, подумал он и потому сделал вид, будто по двору просто прогуливается. Так, словно он дух святой, по сортирам не ходящий. Надобностей не отправляющий. Потребностей не имеющий.

В этом было кокетство, вскоре сообразил Матвей Васильевич, в этом гнездились фанаберия и заискиванье перед отрочеством. А потому он, более ни пред кем не заискивая, решительно направился, куда и вознамеривался идти.

Сидя в сортире, он победно размышлял о синтагматическом функционировании признака звонкости. Это были хорошие размышления, так размышлять можно долго. Но всё не вечно под этим гнусным небом, на этой подлой почве. Иноверов подтёрся, и думы его иссякли сами собой. В противовес тому он ещё немного *поидеяствовал* о гносеологии эксплицитного принципа женитьбы и отчасти о худобе отроковицы — соблазнительной такой худобе, совокупной с гибкой несмелостью тела, с теми поползновениями он и покинул особливую дощатую будку.

Он решил вернуться в дом агрессором, наглым победителем, сатрапом и громовержцем, борцом за бесправие отроковиц.

— Так! — гаркнул он с некоторым превышением, рванув на себя дверь.

Отроковица, не дождав дядю, лопала макароны.

— Как — *так*? — кротко спросила она, роняя пищу из пасти.

— Да вот так — *так*! — бросил он непримиримо.

— Ты бы, дядя, тарелки, что ли, мыл иногда! — укорила его отроковица.

Иноверов поглядел на неё какою-нибудь кислой простоквашей или иным несвежим продуктом.

— Присохшая пища питательна, и вообще нечего посуду водой пачкать, — возразил он угрюмо.

Громовержец из него всё-таки решительно не получался.

— Мне с тобой серьёзно поговорить надо, — сделал он новую попытку.

— Макароны-то станешь? — перебила дядю отроковица.

— Стану, — согласился Матвей Васильевич.

— Ну, так вари! — сказала та. — Макарон вышло всего две тарелки — мне и одной мало.

— Не могла на двоих приготовить?

— Говорю ж, просчиталась по *сызмальству*, и неча здесь обижать младших, ишь ты, обидчик нашёлся! — обиделась она.

— Макароны — это одно!.. — с риторической расстановкой молвил хозяин дома. — Но есть ещё и другое!.. Макароны — не главное...

— Дядя Мотя, а чего ты на работу не ходишь? — расправившись с пищей, отдуваясь да через зубы поцыкивая, перебила того отроковица.

— Какую ещё работу! — покоробился Матвей Васильевич.

— Ну, мало ли какую! Зоотехником там или говномесом!.. Почём мне знать, какие бывают работы!

— Никаких работ! — досадливо отмахнулся от несмышлёной племянницы Иноверов.

А ведь и верно заметила пигалица: ни на какую работу Иноверов не ходил. В Расеюшке вообще одни дураки работают, да гастарбайтеры из инородцев, умные же люди и без всякой работы умудряются существовать горделиво. Вот и Иноверов тоже существовал горделиво. Хотя и небогато.

— Всё равно, — молвила отроковица. — Лучше б ты на работу ходил, а не шлындаль по дому попусту.

— Ну вот, я ещё кому-то и мешаю!..

— Мешаешь или не мешаешь, а всё равно живёшь тщетно.

— А ты, что ли, не тщетно живёшь?

— Я не живу, а только приуговляюсь, у меня вся моя красивая жизнь впереди, и я ещё восемнадцать раз перемениться могу.

— Перемениться можно только при волевой силе и верном руководстве, а у тебя нет ни силы, ни руководства.

— Не ты ли мне в руководство набиваешься, дядя Мотя?

— А хоть бы и я. Человек я опытственный и мужчина неоднозначный — есть что почерпнуть и чему подивиться, — с достоинством сообщил он.

Тут отроковица, насытившись, бросила на столе всю посуду, пересела на лавку, поближе к иноверовской тетради заветного свойства.

— Не лапай тетрадь! — крикнул Матвей Васильевич.

— Каракули я твои выдрала, те, что остались, — успокоила отроковица. — Вон лежат. А мне тетрадь надо.

— На что тебе тетрадь?

— Письма писать.

— Это ещё кому письма? — удивился мужчина.

— Мамке и ещё прочим положенным личностям.

— Свою себе заведи и пиши, сколько вздумается!

— Тетрадь пожалел, дядька?

— Ничего не пожалел.

— А что же тогда?

— Так...

— Как — *так*?

— Это не просто тетрадь, — решился Иноверов, — а память от бывшей в употреблении жены.

— Уморил жену поди, дядя Мотя?

— Не уморил, а бог прибрал её от естественной причины.

— Не дашь тетради, я тебе не только каракули — ещё чего-нибудь по-палу! — пригрозила нахальная отроковица.

— Бери, но я проверю, что там такие за письма писать станешь, — немало отступил дядя.

Отроковица показала тому мимолётный кукиш, устроилась поудобнее и, высунув язык от усердия, проворно что-то намарала в тетради ручкой, приготовленной одним из сынов известного многомиллионного косоглазого племени.

Матвей Васильевич подошёл сбоку, желая подглядеть. Но приметливая отроковица поначалу прикрыла рукой свою писанину, а после и вовсе захлопнула заветную иноверовскую тетрадь. Стала подниматься.

— Куда? — крикнул Матвей Васильевич.

— Гулять пойду! — отмахнулась она.

— Куда это ещё гулять?

— Куда глаза глядят и куда пяткам схочется.

— Ты давай, гуляй осмотрительней, а то всяческая паскуда покуситься может!

— Ничего, не маленькая! И с паскудой управлюсь.

— Ты паскуд ещё настоящих не знаешь, — настаивал дядя.

— Можно подумать, сейчас *непаскуд* много!

— Может, и мало, но всё-таки есть, — твёрдо сказал Иноверов, разумея, по-видимому, себя самого.

Впрочем, покуситься-то он как раз и намеревался. Сегодня так непременно, твёрдо решил он. Покушаются же не только паскуды, но иной раз — индивидуумы с несортированным содержанием. Такие тоже к покушениям склонны.

7

Едва отроковица с заветной тетрадью под мышкой шмыгнула через порог, Иноверов, прежде смотревший некоторым даже житейским кашалотом, тотчас же преобразился. Сделался возбуждённо-деловит. Переменил текстиль и трузера. Отчего приобрёл облик этакого лилового деревенского декадента.

Он решил пошпионить за отроковицей. И мысль его при этом металась в диапазоне меж «уберечь» и «покуситься». «Ежели она куда-нибудь в интимное запустение забредёт, то я, пожалуй, тут как тут, на всё готовый выскочу. А ежели какая-нибудь местная гнида поганого свойства прибудит, то, так и быть, придётся урезонивать. Нечего всяким гнидам прилуждаться попусту!» — нештатно рассуждал Иноверов.

Матвей Васильевич с предосторожностью высунулся со двора. Отроковица шла в отдалении. Мужчина потоптался немного, отпуская племянницу, да и тоже вышел себе с богом. У этой мелкой фифы глаз острый, поэтому с сильной близостью следует повременить, решил Иноверов.

Однако куда же она шла?

Пигалица прочапала мимо татарского кладбища. Далее начинался не-большой лесок. Это-то место особенно пригодно для всяческих местных гнид, заключил Иноверов и невольно прибавил шаг. Но тут же снова ути-шил.

«Неужто на речку вознамерилась?» — догадался вдруг Матвей Ва-сильевич.

Да, путь был тот самый. Многими деревенскими хоженный. Хотя в по-следнее время натоптанность его приуменьшилась — лениво тутошнее пле-мя и летний досуг проводит вопреки купанию и иным спортивным процеду-рам. Откуда ж место сие знала отроковица? Бог знает, откуда знала.

Иноверов шёл, и пряткие кузнечики горстями шарахались из-под его расхлябанных пяток.

Тут Матвей Васильевич задумался об жизни (об своей иноверовской жизни), отчего даже *отрешился* немного.

«Живу я интуитивно и бесскарбно, хотя и *бездногато*, отчего, видать, и в ящик сыграю просветлённо и с лёгкостью, — помышлял он. — Да-да, *бездногато*сть — пожалуй, моё главное свойство. Человекам же следует иг-рать в ящики с лёгкостью, полными высоких экстрактов и иных духовных эссенций. И я укажу путь человекам к эссенциям! Мне бы только, призна-юсь, хотелось отведать пару подвенечных мгновений, с осозанием пигали-цыных сладких субтильностей...» — сказал себе Иноверов.

— Ку-ку, ку-ку! — вдруг сказала кукушка где-то в жухлой тополиной верхотуре.

Матвей Васильевич даже вздрогнул.

— Ну, ты! Не наглей! — крикнул кукушке. — Сама про три года накар-кала! А теперь пятками вперёд летать станешь?

Нынче, в обозрении подвенечной перспективы протянуть на этом под-лом свете всего лишь два года было, пожалуй, обидно. Этак ведь он и до пигалицыного паспорта в четыринадцать лет не доживёт.

«Впрочем, что такое кукушка? — оспорил себя Иноверов. — Летаящая курица — да и только! Что проку слушать её бредни!»

Хотя, нет, на курицу она всё же не походила. Но как бы там ни бы-ло — глупая птица!..

Матвей Васильевич был уж на берегу. Поискал глазом отроковицу, но оная окрест него не определялась. Ни в воде, ни под тополями — нигде он не видел эту мелкую выскокку. Не утонула ж она! — немало рассердился дядя.

Зато он увидел жёлтое полотенце недалеко от воды. Своё жёлтое по-лотенце. Утянутое потихоньку отроковицей. И ещё тетрадь заветного свой-ства, край каковой торчал из-под полотенца.

Матвей Васильевич опасноливо огляделся. С одной стороны текла не-большая извилистая река, с другой же под тополями теснились кусты, а из них его могли и увидеть. Тогда он пригнулся и с предосторожностями по-трусил к своей прибрежной находке.

Спервоначалу пошарил под полотенцем. Ничего, помимо тетради. За-бытые девичьи трусики его могли бы, пожалуй, порадовать. Но, как уж ска-зано, никаких трусиков не было.

Тогда раскрыл он тетрадь. И — ужас! — что там Иноверов увидел.

Только две строчки, гадких две строчки: «Дневник-перечисление несомненных дядиных Мотиных всячических сумашествий, которые увидеть удалось» — и более там не было ничего.

В его заветной тетради.

Боже, что за орфография! Что такое за «удалось»!.. Что такое за «сумашествия»! Что такое за «всячических»! Какие у него, Иноверова, «сумашествия»! У него, *бездноватого* и могучего *думщика*! У него, отъявленного и чрезвычайного *говорун*!..

Матвей Васильевич бросил на камни сии осквернённые скрижали. Он и сам был смятен и покороблен. Он стал отступать, будто бы намереваясь вовсе убраться восвояси. Он пошёл себе и пошёл. Отошед же на сотню шагов, воровато огляделся и вдруг шмыгнул в окрестный подлесок.

Здесь были бузина, крапива, полынь, редкие рябины как украшение. Папоротник и малиновые кусты. Иноверов шнырял как барсук. Кусты ему уж надоели, но шныряния своего он не оставлял.

Чудес не бывает, думал Иноверов, пигалица точно где-то здесь приютилась. И тут он услышал шёпот. Потом в кустах затрещало, и вдруг невдалеке от него, сверкая голыми задницами да мельтеша грязными пятками, с одеждами в руках, во весь дух помчались от него отроковица и подлый тинейджер Лёшенька. Улепётывая, те выскочили на берег. На берегу были камни. Иноверов запустил одним в подлого тинейджера, да не добросил. Запустил другим, да не попал.

— Стоять, стоять, гадина! — вопил Иноверов.

На берегу *племя младое и незнакомое* разбежалось врассыпную. Лёшенька, испуганно озираясь на иноверовскую артиллерию, помчался по берегу вниз по течению. Отроковица же, подхватив полотенце с тетрадь, метнулась обратно в подлесок.

Тут Иноверов и сам заметался да оплошал. Бросился было за отроковицей (пуще так за девичьими её ягодицами). Но припомнил, что Лёшенька остался без отпущения. Бросился за ним. Подбирая на бегу каменюки поувесистей. Но после будто опомнился — бросил все каменюки и снова пустился за пигалицей. Но той и след уж простыл. Может, залегла где, хитрюга.

У Матвея же Васильевича темнело в глазах. От ягодиц да от ярости. Неизвестно, от чего более. Он бегал по подлеску, он снова выскакивал на берег. Для ориентира, для свежего взгляда. И опять бросался в подлесок.

Нынче младость такова, что не над одной старостью, но даже и над равномерной зрелостью — и той — потешается да глумится. Вот Иноверов, к примеру, вовсе не дрябл и не ветх, а не смог, не сумел отроковицу и наглого её дружка уязвить и ущучить, изломать да покарать — разве ж справедливо сие? Разве не стоит младость посрамления? Разве не стоит ущучиванья? И разве такой младости ожидает всякий, по гуманности духа своего бросившийся в пучину семейственности, деторождения, детоприимства? Всякий ждёт младости почтительной, младости вдумчивой, младости обнадёживающей. И что же вместо того получает он? Такую вот наглую отроковицу, такого вот подлого Лёшеньку. Тьфу, тьфу, тьфу!.. А есть ли вообще справедливость в сём безобразном мире? Разве пригоден он для справедливости, разве готов он к ней, разве жаждет её?

Матвей Васильевич, наконец-то, угомонился. Отроковицыны ягодицы всё стояли перед его глазами.

«А жить в безъезозливом режиме с ней будет приятно, — подумал он. — Так что сучонок даже прав получается, что такой преждевременный бриллиант по слабомыслию своему разглядел».

8

Иноверов домой вернулся нескоро. Был он под несомненным влиянием иных косорыльных жидкостей, отчего держался уверенно и разрозненно и изымливал всякие каверзы.

«Надо шмакодявке сказать, что у нас теперь макаронная развёрстка вводится! Стало быть, ежели ты съестные макароны или иной продукт готовишь, так спервоначалу дяде свари, а потом уж себе стряпай, коли останется. А по-другому, так и ноги невзначай протянуть можно», — резонно рассуждал он.

Поначалу хотел он выпить водки казахской напротив магазина. Но там цену спрашивали не весьма аппетитную. А так-то казахскую водку он любил.

И пришлось ему употреблять бормотуху отечественную, каковую у нас народонаселение будто бы встарь регулируют, плюс к тому ноль-пять *крепыша* (стало быть, крепкого пива), плюс к тому некоторое химическое средство для очистки стёкол в неисследованной дозировке, в результате чего ещё немного прежней бормотени даже осталось. Но это на вечер, ибо день длинный, и в трезвости да разумности его прожить затруднительно.

Отроковица разлеглась на постели с ногами и что-то строчила старательно в заветной тетради.

Тут-то Матвей Васильевич и заявился.

— Ну, что стоишь-смотришь, как будто у тебя анализ *дээнки* непригодный?! — миролюбиво сказала она, завидев вошедшего родственника.

— Ещё раз тебя с этим Лёшкой увижу, хоть и домой не возвращайся! — убедительно крикнул Иноверов с порога. — Ты мне вообще никто, а я тебе дядя! Слушать должна! С почтительным духом и без егозливого норова! Поняла? — и треснул кулаком в стену.

— Да, дядя, — кротко молвила отроковица и уткнулась в свои каракули.

— И смотри на меня, когда я с тобой разговариваю! — гаркнул ещё шумливей Матвей Васильевич.

Отроковица старательно посмотрела на Иноверова.

— А ну-ка, скажи, что там пишешь такое в моей тетради? — выдержав невинный взгляд оной, сурово полюбопытствовал дядя.

— Так... выражения всякие, но больше не буду, — ответила та.

— Смотри у меня! Чтоб больше никаких выражений!..

— А хочешь, я для тебя макарон сварю, дядя, чем об всяких там выражениях думать? — предложила племянница. Похлопав немного ресницами. Будто бабочка крыльями.

— Свари! — согласился Иноверов.

Хотя об выражениях думать всё равно не перестал. Порой трудно перестать думать об выражениях.

Отроковица проворно и *сподручно* стала варить макароны.

Матвей же Васильевич слазил в чулан и вернулся оттуда с молотком и гвоздями. В отроковицыной комнате с размаху вогнал четыре гвоздя в оконную раму, пару раз — куда ж без того! — треснув молотком по собственным пальцам.

Теперь стало хорошо, теперь никакой подлый Лёшенька не залезет! Подлость же свою он теперь, если хочет, может где-то в других местах экспонировать.

— Вот так! — решительно сказал дядя, подумывая, чем бы таким ещё ему притеснить отроковицу.

Отроковица же сама собою не притеснялась.

— Чё молчишь? — буркнул Иноверов. Намереваясь пигалицу вывести на чистую воду.

— Думаю, хорошо бы, чтоб дядя, помимо макарон, раздобыл другой человеческой пищи, — без запинки ответила та.

— Что ты именуешь человеческой пищей? — досадливо спросил он.

— Чипсы, сухарики и ещё печенья домашние с сахаром и сметаной.

— Печенья домашние надо было дома трескать, пока давали, а не шлындать для этого по всяким там дядям, — сказал Иноверов.

— У меня дядь не много, а вовсе так ты один, дядя Мотя, — молвила отроковица, чем окончательно сразила придирчивого родственника.

«Может, она егозить отчаялась и переметнулась в истинную почтительность?» — заключил Иноверов, глядя на горячие пузыри и деловитое мельтешение всплывающих в кипятке макарон.

Иноверова немного подташнивало от негодных житейских жидкостей, но блевать всё же он не ходил. Ибо невольный форс держал перед пигалицей, и порочиться у него намерения не было.

Тут сварились макароны. Иноверов сел за стол первым, по-хозяйски, потом позвал и пигалицу. Та присела рядом со скромностью, макароны же впоследствии жрала с жадностью и удовольствием.

— Ладно, расскажи нам пока чего-то такое!.. — буркнул Матвей Васильевич для обеденного комфорта и взглянул на племянницу нерентабельно.

— Мамка, говорю, дура какая! — тут же начала она, будто бы дядя через какую-нибудь кнопку включил её с полуслова. — Сама женилась семь раз и всегда новую мужнину фамилию брала. Ну, брала бы сама, если ей нравится, я разве против, так она и меня всегда в *новофамильство* таскала. Я уж и Пёрушкиной была, и Крылышкиной, и Клювиной, и Нечайкиной, и Грымзяк, а прочих фамилий не помню, но тоже какие-то были!..

— Да, — важно согласился дядя. — Фамилия — это фамилия, а всё ж не всякому быть Иноверовым, тут уж значение надо иметь и дух — несгибаемый, а не косвенный. А у людишек дух, по преимуществу, косвенный!..

— Нет, ты представляешь, дядя? — настаивала отроковица. — Я была и Пёрушкиной. И Крылышкиной!.. А очень мне охота быть какой-то там Пёрушкиной! Или Крылышкиной!..

Дядя согласно кивнул головой и на Пёрушкину, и на Крылышкину.

— Иноверов — это тебе никакая не Пёрушкина, — сказал он.

— И Клювиной, и Нечайкиной!..

Голова качнулась на Клювину. Уже без высказывания. Особливо же качнулась на Нечайкину.

— И Грымзяк!..

Голова послушно качнулась и на Грымзяк.

— И другими фамилиями, которых не помню...

Тут уж голова Матвея Васильевича стала качаться вполне произвольно, на те фамилии, что невозможно упомнить, макаронина выпала из его рта. Размером с поливочный шланг. И её было жаль. В том же роде макаронина упала и на Хиросиму. В том же духе — на Нагасаки. И на Нечайкину. И на Грымзяк. Нечайкина и Грымзяк сошлись в паскудном и проворном танце, с присядками и притопами, с подкидываньем их разнузданных членов, организаций и прочих конечностей. И оные было никак не пересчитать. И от этой несправедливости, от таких презумпции и конвергенции Иноверов вдруг захрапел. Громко, гадко, полихромно, простонародно и необъективно. Захрапел Иноверов.

9

Спать Иноверов не любил, сны — прободения бытия, всегда полагал он. А потому ближе к ночи проснулся. Проснулся с досадой на бытие и с обидой на прободение.

Небо уж сменило каурюю масть на вороную. Повысунулась луна со всей её прилежною подлостью, со всем её наглым блистанием. Звёзды украсили небосвод, подобно ветряной оспе. Местные хозяйчики подоили рогатый скот, перепустили молоко, задали на ночь корм всяческой живности. Никаких этих забот не ведал наш Матвей Васильевич. У него иные заботы.

Отроковица сидела со светом в своей комнате. Чем занималась — неведомо. А хотелось бы знать, кратко помыслил смурной Иноверов.

По двору же укромно бродил (пользуясь иноверовским *бессобащем*) ненасытный Лёшенька, которого требовалось ущучить ввиду его наглости. А лучше так даже вовсе пожизненно истребить!

Лёшеньку Иноверов словно открывшимся третьим глазом видывал, хотя не было у Иноверова, конечно, никакого третьего глаза, а были только пронзительное понимание да обыденный опыт. И заурядные два глаза с астigmatизмом. И всё ж по поводу тинейджера подлого Иноверов нимало не ошибался.

Первым делом Матвей Васильевич решил дозаправиться. Подобно бомбардировщику в небе. Он взял сохранённую бормотуху и тут даже несколько вздрогнул: пока он спал, той поуменьшилось явно.

«Неужто пигалица продукт отхлебнула?» — возмутился Иноверов.

Продукта было жаль. Пигалицын продукт — макароны в умеренности, дядины же продукты — всё остальное, и нечего вообще беспардонно рот рязевать на посторонние взрослые жидкости!

Пароу залпов Иноверов выпил вино, передохнул, сделал горлом экстренный звук, который делают все нетрезвые индивидуумы, и взялся за ручку дверную. Дверь же теперь прекословила. Не отворялась, стало быть. Какая-то там подлая дверь! Что для бомбардировщика даже обидно.

— Что там со светом сидишь? — крикнул Матвей Васильевич *задверной* сей пигалице.

— Так... — ответила та.

— Что значит «так»? — возмутился наш декадент скудной семантикой.

— Света пожалел, дядя? — будто бы с прежнею егозливостью племянница бросила.

— Ничего не пожалел, а ночью со светом вообще одни антиподы сидят!

— Скоро выключу, — пообещала племянница. Кажется, струсивши, пред антиподами.

— Ты вино отхлебнула? — не отступал от неё Иноверов.

— Ничего не отхлѣбывала! — явственно сбрехала отроковица.

— А кто же тогда?

— А мне почѐм знать? Может, сам отхлебнул, а может, пролил, да спьяну не помнишь!

— Я не спьяну не помню! — завизжал Иноверов, немного машинально приплясывая. — А если б что-то пролил, на полу бы осталось.

— Может, и осталось, — победоносно молвила отроковица. — Я не проверяла.

В эту минуту ненасытный и наглый тинейджер тѣрся и скрѣбся в отроковицыно окошко с той стороны.

— Пусти! Пусти! — шептал он.

А с этой стороны в дверь дядя ломился.

Отроковица всё ещё злилась на Лѣшеньку. Там, на берегу он её сухой назвал. За то, что дядю с собой притащила.

А разве ж она дядю с собою притаскивала?

К тому же, если б она теперь даже хотела тинейджера в спальню пустить, против дядиных длинных гвоздей, в раму вколоченных, никак не попрѣшь!

Так что тебе самый настоящий *пардон, мон амур* получается!

Ей теперь никого не надобно было — ни тинейджера, ни — тем более — дяди. Она кое-что в заветной тетради писала, хотела написать ещё много, а ей эти двое препятствовали. А не следует отроковицам препятствовать! Отроковицы препятствовать и сами умеют.

— Ты знаешь, что такое вообще дядя? — снова под дверью заплясал Иноверов. — Дядя для тебя вроде бога! Ибо дядя *взросел*, а ты ещё несмыслѣная пигалица! Хотя понимать должна!

Та, утомившаяся от всех притязаний, свет погасила и сразу ей в новом месте антиподы стали мерещиться. Ночью отроковицам часто антиподы мерещатся.

— А ну, отвечай, что ты там делаешь! — заорал Иноверов.

— Ничего, ничего, — пролепетала из-под одеяла напуганная пигалица.

— Не верю никаким твоим «ничего»! — выкрикнул дядя.

— Пусти, Катька, пусти! — не унимался тинейджер.

Матвей Васильевич, скрупулѣзно подумав, решил к отроковице в окно со двора заглянуть. Очень ему знать захотелось, что теперь отроковица подывает. Он бы даже навряд ли заснул, сие не узнавши.

Если даже и свет погасила, наверняка, не легла мирно спать. Несомненно ведь вытворяет что-нибудь *особливое*. Матвей Васильевич был охоч до всего *особливого*. Он вообразил себе оное и от сладости даже зажмурился.

Иноверов взял кочергу. Он решил теперь повсюду с нею ходить, как иной застарелый джентльмен ходит с тростью. И вышел на двор.

Пигалица всё ещё пребывала в боязливости пред антиподами.

Подлый тинейджер, разумеется, слышал хозяина дома и тут же ретировался, не дожидаясь грядущей кочерги. Через покосившийся иновровский забор перемахнуть ловчиле-тинейджеру вообще-то раз плюнуть.

Матвей же Васильевич лишь погрозил издали Лёшеньке, да и угомонился. Отроковицыно окошко более манило его.

Он погладил стекло. С упованием. Затаённо.

— Не бойся! — шепнул он. — Он убежал. Я показал курёнку, где раки зимуют.

Тишина. Иноверов приподнялся на цыпочках. Лицом прислонился к окну.

— Не бойся, — укромно шептал Иновоеров. — Это я.

Тут в окно выставилась пигалица. Она была бела, будто мел. Она с ужасом глядела на дядю.

— Пшла! Пшла! Пшла отсюда! — стучала зубами отроковица. — Это не я, я — ничего, и зачем ты мне вообще конфет не дала, когда я тебя до *сошше* провожала!

«Каких это ещё «конфет»? — удивился Иноверов. — Что такое за «пшла!» За кого она меня вообще констатирует?»

Отроковица замахнулась на него через стекло. Иноверов отшатнулся.

— Ты чего это? Ты чего? — бормотал он, отступая.

Матвей Васильевич поскорее вернулся в дом. Заперся тут же покрепче. Так что — захочешь ночью до ветра сходить — скоро не выберешься.

Честно сказать, ему было не по себе. И виною тому отроковица. За мать свою, что ли, она его, Иноверову, приняла? Разве возможно его, Иноверову, за бабу принять? Он насколько не выглядит бабой.

Матвей Васильевич поскрёбся в дверь.

— Это я, это я, — медово шептал он.

— Пшла, пшла, не ходи сюда, а то я тебя только пугаюсь! — пискнула отроковица.

— Ничего, не пугайся, это я так только... для родственного регламенту!.. Во всяком доме порядку насаждаться положено.

У Матвея Васильевича ещё немного средства для очистки стёкол оставалось в запасе. Это средство хорошее: если уж стёкла чистит, так с кишками справится и подавно, а кишкам человеческим нужно быть чистыми, заключил Иноверов. Он выпил стакан этого средства. Слава богу, хоть отроковица до этого средства, как прежде до иноверовского вина, не добралась. А то бы Матвеем Васильевичу не хватило и средства!

Вот теперь сразу сделалось хорошо, теперь и с пигалицей можноரசуждать *целенаправленно*.

Он снова подёргался в дверь. Должно быть, шмакодявка тумбочку под ручку дверную подставила. А если так, то дверь теперь только трактором сворачивать надо. Уж он-то знает. Так покойная, бывшая в употреблении жена его делала, когда он временами бывал *усугублённым*. Хотя — а что здесь такого, спрашивается?! Разве мужчина в рамках семейственности не имеет права на некоторую *усугублённость*? В рамках настоящей семейственности вообще никакое *превышение* не возбраняется.

— Открой, — сказал он. — Это дядя, я только посмотрю, что ты делаешь, и тут же уйду и даже спать лягу.

— Ничего я не делаю, даже и смотреть тут нечего!

— А мне всё равно посмотреть надо! Для мониторингу. Для справедливого взгляду.

— В окно не влетела, так теперь в дверь вползти хочешь? Не будет тебе никакой двери, даже не старайся! — с некоторой угрозой молвила отроковица. И чем-то таким грохнула об пол.

— А вообще ты не бойся — это тебе только что-то приснилось, что я — это мамка, мало ли, что ночью может присниться!.. — примирительно сказал Иноверов.

— А вдруг ты — мамка, и дядькой только прикидываешься, я выйду, а ты тут накинешься и мне мстить станешь, а я ничего такого не сделала!

— Открой лучше по-хорошему и вообще рассуждай менее! — объяснил Иноверов. Он уж начал немного изнемогать. От бессилия и всяческих незапланированных полночных коллизий.

— Я боюсь, боюсь, боюсь!.. У меня от тебя сплошные ужасы! — бормотала отроковица.

Она была теперь такой напуганной, такой беззащитной, что Матвей Васильевич сам себе на мгновение показался заботливым родственником, а не подспудным женихом. Впрочем, ненадолго, конечно.

— Что же, разве я в своём доме не хозяин? — возмутился он. — А кто тогда хозяин во дому?

— Боюсь, боюсь, — снова бормотала пигалица.

— Открой, дрянь! Открой, чертовка! — вовсе уж взбесновался Иноверов.

— Мне некогда, я уже сплю! — кричала отроковица и в подтверждение своих слов начинала громко всхрапывать. Потом же затихала — прислушивалась, не убрался ли от двери противный дядька. Но дядька не убрался.

Он сполз на пол, сидел, спиной привалившись к лавке.

— Сама не откроешь — придётся ломать! — бессильно пригрозил Иноверов.

— Сломаешь — будешь жить без двери!

— Лучше уж без двери, но с полным порядком.

— Так что ж, открыть? — тихо молвила отроковица после паузы.

— Открыть, открыть! — востропел Иноверов.

— И выйти?

— Выйти! Конечно же, выйти!.. — бормотал он с жаром. Он хотел было подняться, но ноги его сами собой разъезжались, проклятые ноги! Для чего ему ноги, когда они разъезжаются?! Такие ноги вообще лучше отрезать поездом.

— Ты, правда, этого хочешь? — спросила отроковица. Голос её будто бы переменялся, стал глуше и тише, это был будто голос взрослой женщины, не отроковицы.

— Хочу, конечно, хочу...

— Ты ничего мне не сделаешь?

— Ничего, ничего!..

— А где ты находишься?

— На полу возле лавки.

— Подальше ещё отползи! — велела вещунья за дверью.

Иноверов стал отползать. Он рождён был не ползать, и ползти было трудно.

Тут в соседней комнате громыхнула тумбочка, и, заскрипев, дверь отворилась.

Иноверов даже зажмурился, а когда растворил свои зенки, увидел, что в дверном проёме стояла... нет, вовсе не отроковица, а жена его, бывшая в употреблении, покойная — Нина.

— Вот она я, коли звал, — сказала покойница.

— А-а-а! — завопил Иноверов. — Проклятая, пришла, пришла!..

Он кинул стаканом в пришлицу (который разбился), он кинул железною кружкой, ещё он чем-то кидался.

Он быстро-быстро на карачках пополз к себе в комнату.

— Пошла, проклятая! Пошла, пошла! — выкрикнул он из-за двери.

— Память обо мне не хранишь, невинных пигалиц притесняешь! Живёшь гадко и долго! Эх, ты! Мотя, Мотя!.. — попрекнула покойница и после будто бы растворилась в лунных лучах.

Тинейджер же Лёшенька, с поля боя сбежавший, вскоре вернулся. Он снова ходил под окном подруги своей, он скрёбся в окно. В доме слышались крики, слов же Лёшенька не разбирал.

— Катька, Катька, пусти! — шептал снова тинейджер.

Но его не пускали. Не всегда пускают тинейджеров.

— Сука! — крикнул тогда уязвленный въздыхатель, расстёгивая штаны. На него смотрела луна, молчаливая, подлая. Тинейджер погрозил луне кулаком. Его стрекотаньем своим подкрепляли сверчки да кузнечики. Он только плюнул в сторону сверчков да кузнечиков.

— Тебе же хуже! — злобно сказал он, блудливую десницу свою в ширинку засовывая.

10

Наутро отроковица пробудилась в невозможную рань, часов этак в десять. Дядя храпел за стенкою велеречиво, ширпотребно и без всякой эстетики. На полу были осколки стакана и иные следы ночного разгрома. Позавтракала она немойтой морковкой, другого ничего не было. Быстро собралась, прихватила с собою тетрадь, да вышла на улицу.

Прогулкой на сей раз и не пахло. Отроковица шла с целью, шла путём, отчасти ей даже известным.

— Здесь вообще одни дураки деревенские, закоснелые, и живут неуместно, а мне ходить между ними приходится! — возмутилась она по пути.

Уж бог знает, исходя из каких наблюдений была сооружена такая презумпция. Впрочем, не станем оспаривать.

К ней привязался какой-то отрочёнок лет пяти с половиной, весь кривенький, чумазенький, в соплях да в цыпках. Он бормотал что-то вроде: «Бе-бе-бе!» — стало быть, то ли барашком себя аттестовал, то ли бе-бе-беду большую накликивал.

— Кто ж тебя, кривьё-то такое полюбит? — сразу *не в бровь, а в глаз* бросила отроковица, тщательно разглядев гадкого отрочёнка. — Мамки-то нет, поди? — настаивала она. — Да ну, какая мамка?! — тут же оспорила саму себя. — Сразу видать, что *безмамочный!* Да и папки-то у тебя отродясь не водилось!

Отрочёнок взглянул на неё и заплакал.

— Баба!.. — проскулил тот.

— Баба! — фыркнула отроковица. — Бабы все старые и глупые — бабы никакие не в счёт!.. Бабам помирать пора.

Отрочёнок треснул отроковицу по руке.

— Баба!.. — повторил он с упованием.

— Ах ты ж, клоп такой! — сказала она.

И треснула его по затылку.

Отрочёнок отбежал назад и кинулся камнем. И не попал.

Отроковица подобрала камень и кинулась в отрочёнка. И попала ему по ноге. Она хотела вообще тут же придушить отрочёнка — ему-то только пять с половиной лет, а ей уж одиннадцать и полторы четверти, но — деревня вокруг, увидеть могли. Она же не дура, она понимает.

Отрочёнок побежал по улице, голося и прихрамывая, но отроковице уже до того дела не было — она пошла себе своею дорогой и собою довольная: хорошо она этого кривенького клопа образумила!

Так что дебют, можно сказать, вышел удачным.

Далее по дороге она увидела магазин и рядом лужу размером с кровать двуспальную, с краю же лужи — мужчину, лежащего без всяческих признаков жизни разумной и трезвого распорядка.

Магазин отроковицу интересовал, все отроковицы интересуются магазинами.

— Вот я — юная и красивая и женюсь скоро, а позавчера конфеты ела, а ты — пьяный и дурак и валяешься попусту, — с ходу определила она.

Мужчина с трудом отворил один глаз в удивлении от такой извилистой юриспруденции.

— Чего тебе, дрянь мелкая? — с трудом сказал он.

— Я всё сказала, и — твоё дело, если ты не понял ничего глупым своим мозгом, — укоризненно молвила отроковица, несколько даже притопнув ногой на пьяного мужчину.

Что, впрочем, оказалось её ошибкой. Ибо притопнула она у него прямо перед носом, а мужчина, прежде почивавший бессильным человеческим увальнем, вдруг извернулся и крепко ухватил отроковицу за пятку.

— Полиция! — перепугавшись, истошно завопила та.

Ей померещилось, что пьяный пень может её дёрнуть за пятку, отчего она беспрерывно втемяшится затылком в какой-нибудь сугубый камень на почве.

— Какая тебе полиция! — гулко хмыкнул захватчик. — Я сам — полиция.

— Пусти, дурак! — гадливо крикнула Катька.

— Да, он и вправду — полиция, — поддакнула вышедшая из магазина на всё верещание, осьминожьего вида продавщица. Прямо-таки не баба, а ходячая толщина какая-то. — Да только мозг себе пропил. Не стыдно тебе, Дмитрич, всяких маленьких обижать?!

— Я к тебе приободриться пивом шёл, а тут — эта... и я устал сильно, — с напряжением высказал пьяный, наконец, отпуская тощую отроковицу к конечности.

— Не будет тебе никакого пива за всё твоё хамство, а я право имею, — строго сказала осьминожиха и прибавила уже иным тоном:

— Он шибко тебя обидел, милая?

— Я шла себе, шла, хотела мороженку купить, а тут этот дурак за пятки хватается, — плаксиво пожаловалась отроковица.

— Какую ты мороженку хочешь? — ласково спросила баба.

— Эскиму и чтоб шоколадки побольше, — твёрдо ответствовала отроковица.

— Эскимы нет, а есть трубочка. Трубочку станешь?

— Стану! — крикнула та. — Коли точно эскимы нет.

— Разве ж я прятать возьмусь! — немного покоробилась баба.

— Я этого не говорила, но вообще эскимы везде есть! — возразила отроковица.

Обе зашли в магазин. Отроковица взяла холодную трубочку, разорвала бумажку и тут же начала жрать.

— А деньги? — подивилась такому проворству осьминожиха.

— Нет денег, — с полным ртом сообщила отроковица. — Меня мамка одну насовсем оставила и денег не дамши.

— Нет денег — ложь трубку обратно! — отрезала баба.

— А я уже укусила, — сокрушённо ответила пигалица.

— Укусила не укусила — всё равно ложь! Я потом скажу, что укусили случайно.

— А я ещё укусила, — потупившись, сказала та.

Собственно, от трубочки уж оставалось всего ничего. Баба подумала и размягчилась.

— Ладно, — сказала. — Должна будешь. Ты хоть у кого проживаешь?

— У дяди Моти, у Матвея Васильевича, — честно сообщила отроковица.

— У Иноверова? — удивилась продавщица. — Знаю таковского прощелыгу.

— Прощелыга и есть! — разумно согласилась отроковица.

Она стала выходить, но тут дорогу ей преградил Дмитрич, пытавшийся заползти в магазин, нисколько не стыдясь своего гнусного положения организма.

— Там этот дурак ползёт! — испуганно крикнула отроковица, убоявшаяся, что её сызнова ухватят за пятку.

— Скажи ему, пусть даже не ползёт — пива всё равно не получит! — хладнокровно ответствовала осьминожиха.

Выпроставшись кое-как из скудного сего магазина, отроковица продолжила путь. До всего ей было дело — до собачьей свадьбы с восемью драными кобелишками, трусившими уже второй день за одной шелудивой сучкой. До завалившегося забора, на котором теперь мирно паслась круторогая бородастая коза с кривым выменем, до бетонных плит, наваленных подле дороги, с торчащими из оных кривых хвостов арматуры. Мимоходом взглянула на левтевшую в небе стрекотливую авиацию в лице блестящего заоблачного самолёта. «Будь я авиацией, я бы всегда на бреющем полёте летала!» — замети-

ла себе пигалица и тут же показала, как она на бреющем полёте летит. Вышло похоже. Вскоре она перешла узкоколейный путь, потом — мост по-над широченной канавой, домишки далее потянулись гадкие и бедные, наша путешественница поглядывала на те с брезгливым любопытством.

«Свои пять километров засунь себе в заднее место! — попомнила она непутёвого дядю. — Тут, поди, все семь выйдет! Это только на автобусе близко».

Потом был лес, потом снова домики, отроковица посидела на камне, пошла снова. Несколько раз у всяческой деревенской мелочи уточняла дорогу. И лишь, когда она успела устать четырнадцать раз, а отдохнула же всего восемь, дошла она, наконец, до некоторого заведения, раскинувшегося дощатым своим фасадом поперёк довольно внушительного двора. Окна тускло блистали от светлой атмосферы, отчего заведение имело облик вполне непробудный. Несколько дураков беспрекословно гуляло на заднем дворе, и фасад они не усугубляли. За дураками там надзирали две гримзы постыдного телосложения, одна из которых уж придрёмывала на скамейке, другая чихала от аллергии, и молодой бугаёк в халате, вида похотливого, корявого и не вполне благонаправного. Припекало гнусное солнце, и природа размлела от того, разлеглась, раскинулась, расставилась всеми собственными членами, как расплывшаяся нервная баба с двух стаканов портвейна.

С фасада была главная дверь. В форме крыльца деревянного. Отроковица подёргала её, но та оказалась закрытой. У нас завсегда главные двери закрыты.

Отроковица поковыряла в носу в размышлении. Размышлять иногда надо. Даже отроковицам. На всякий случай она треснула кулаком в дверь. Та отозвалась гулкостью и сонным покоем.

Тут рядом к окну кто-то прильнул лицом, разглядывая отроковицу. Старая баба в белом халате и с глазом подбитым.

— Эй! — крикнула отроковица, приманивая бабу с фингалом на рандеву. — Мне надо!..

Баба исчезла, но и отроковица теперь посмирнела — её заметили, значит, можно и подождать.

Минут через пять баба появилась. Была она в белых валенках и в душегрейке, накинута на халат. Вышла из-за дома и на отроковицу смотрела без излишней приязни.

— Ну, чё стучишь-то? У половины дураков тихий час, а ты тут стучишь! — вполне равнодушно молвила баба.

— Стучу потому, что мне надо, — повторила отроковица.

— Чё тебе надо?

— Мне нужен главный психический доктор.

— Из-за тебя, *миллиметровки* такой, кто-то должен беспокоить самого главного доктора? — удивилась старуха.

— Да, должен, — твёрдо сказала отроковица.

— Почему это должен?

— Потому должен. Дело у меня.

— Какое ещё дело?

— Важное дело.

— Не скажешь, что за дело, никого звать не стану! — пригрозила старуха.

— Не позовёте, тогда вас накажут потом за то, что не позвали, потому что мне об дураке сообщить надо! — выпалила вдруг отроковица.

— Об дураке-е? — протянула её собеседница. — Ну, дураков у нас своих много.

— Много не много, а лишний все равно не помешает. Я знаю, вы их для списка собираете, отчего повсеместно дурдомом наименовывааетесь! — оспорила старуху отроковица.

— Ишь, какая умная выискалась!

— Какая есть — другой всё равно завестись неоткуда! — сказала отроковица.

— Ладно, посмотрю я, сможет ли тебя Владилен Моисеевич принять! — наконец, смилостивилась старуха. — За мной не ходи, здесь ожидай! — велела ещё она.

Отроковица стала покорно топтаться на крыльце.

Владилен Моисеевич под конвоем той же старухи появился минут через пятнадцать, наша пришлица за такое время успела себе весь нос исковырять и передумать все мысли, а мыслей у неё много. Главный психический доктор был лыс, сед, очкаст, оптимистичен. Невысок, небросок, худосочен, но парадоксально толстобрюх.

— Я ей говорю: тихий час у пациентов, а она всё стучит и стучит! — жаловалась старуха своему патрону.

Психический доктор, равнодушно поблагодарив, препроводил говорливую подчинённую восвояси.

— Ну, здравствуй, товарищ девочка, — ласково сказал он и направил на отроковицу такой взгляд, каковой бывает у одних только психических докторов и от которого у неё мурашки поспешно забегали по всем частям тела.

— А вы точно — самый главный доктор? — настороженно спросила она.

— Здесь — наиглавнейший, — серьёзно подтвердил тот.

— Ну, вас-то мне и надо, — обрадовалась пришлица. — А то здесь только стоят и голову мне морочат!..

— Слушаю, — сказал доктор.

— Я пришла об дураке одном сообщить, чтоб вы его арестовали и держали у себя навсегда, — неразумно выпалила отроковица.

— Что ж за дурак такой? — задумчиво спросил главный доктор.

— Дядька мой — дядя Мотя! То есть, Матвей Васильевич. Иноверов по фамилии. Меня мамка поселила к нему, а он настоящий дурак оказался, и мне с ним опасно, а жить хочется.

— Ну... — сказал доктор. — Нам задерживать кого-то с чужих слов затруднительно. Сама видишь, в какие гласные времена обитаем.

— Да?! — крикнула отроковица. — Пока вы тут спите, кто-то там, может, психует и буйствует! И даже убивать тщится!..

— Да я ведь не против, — примирительно сказал Владилен Моисеевич, сверкнув очёчными стёклами. — Но одних слов недостаточно. Нужны показания свидетелей или родственников, нужны справки и документы...

— Я сама — родственник! — снова крикнула та. — И документы имеются! И вот мои справки! — тут отроковица, взявши тетрадь двумя руками для весомости, потрясла ею пред лицом доктора. — Здесь у меня много записано всякого!

— И потом... — неспешно продолжал её собеседник. — По нынешним временам и нашему бюджету — у нас больных изрядно — и мы не можем ко-го-то у себя лечить долго... без дополнительного материального содержания...

— Возможно и содержание, — вдруг твёрдо молвила отроковица. Быть может, несколько неожиданно для себя.

— Да? — посветлел доктор. — Таки-таки и возможно?

— Возможно, — ещё твёрже сказала она.

— Приятно иметь дело со столь юной представительницей буржуазного класса.

— Никакого я не класса, но предложение одно учинить могу.

— Пусть будет: не класса — сословия.

— И никакого не сословия тоже! — топнула ногой отроковица. — А вы не обзывайтесь тут всякими сословиями! Вам обзываться не положено, а вместо этого только дураков лечить — вот что вам следует!

— Что ж, пойдём, обмозгуем твоё предложение! Да и тетрадку оставь. Почитаю, пожалуй, на досуге, — незлобиво сказал доктор.

11

Ближе к обеду Матвей Васильевич пробудился и вскорости также вышел из дома. В голове его пыжилась влажная бестелесная ширь, и теснились всяческие беспорядочные слагаемые. Больше же ничего в голове его не было. Но голове и не надо забитой быть многим, ей лучше в скудости и запустении. Матвей Васильевич любил свою голову вовсе без всяких слагаемых.

Он смутно припоминал причудливые ночные коллизии.

«Ну, пигалица, может, и присочинила чего, она — шушера мелкая и боязливая, а я-то Нинку отчётливо видывал, — озадачился Матвей Васильевич. — Чего ей, дуре такой, во гробе спокойно не лежится!»

Путь его лежал в магазин, а куда ещё может лежать путь приличного человека! Магазин Иноверов любил. Там можно всякую дрянь деревенскую повстречать и некоторые свои новые мнения этой дряни авторитетно поведать. У Иноверова же случались новые мнения.

Из магазина навстречу Матвею Васильевичу выперлись две старухи — сёстры Гадьевы — Полина и Аркадия. Ну, этим-то перечницам никаких новых мнений не поведает! У них под новые мнения умы не благоустроены.

Стало быть, в помещении оставались продавщица Людмила Федосьева осминожьего свойства и участковый полицай Дмитрич с непотребственной фамилией его — Ровнецов.

Дмитрич за прошедшее время уж вполз и даже умудрился подняться. Хотя стоял неуверенно. И целым рядом конечностей за прилавок держался.

Матвей Васильевич участкового не любил. Пусть его любят другие.

— Нинка вчера приходила, — зато доверительно он сообщил осминожьихе.

— Твоя, что ль? Она ж померла давно, — удивилась баба.

— То-то и оно! — со значением сказал Иноверов.

— Это всё от жидкостей, не иначе.

— От жидкостей видения видятся, а тут — явственность и сплошное осязание, хотя я непосредственно и не осязал, конечно, — возразил тот.

— Вот тут тоже стоит один... осызатель, — бросила та, покосившись на едва стоящего Дмитрича.

— Цыц! — отозвался оный прямоходящий. Впрочем, ходил он не так-то уж прямо.

— Цыцкать на жену будешь, когда заведёшь! — отозвалась баба. — Хоть кому ж ты такой эксклюзивный нужен!..

— Жён мне уж с полсотни набивалось, да только без всяческого прибытку от них проку нет, — возразил полицей.

— Так и будешь до самой могилы шлындать в полной безхозности, — небрежно махнула шупальцем осьминожиха. — А всё от неровной и нечеловечьей своей конфигурации.

От Дмитрича пахло шагов на пятнадцать, Иноверов стоял ближе.

«И такие тоже живут, и самомнение об себе имеют!» — подумал Матвей Васильевич.

— А если ещё ко мне сучонок Лёшка Гульков будет несанкционированно в двор впрыгивать, так я ему когда-то ноги переломою — чтоб потом ко мне без претензий! — безадресно выразился он.

— Да, Васильич, слышала я, гости у тебя, правда, что ль? — отозвалась пронырливая осьминожиха.

Дмитрич же пока всё переваривал закоснелым своим мозгом.

— Не гости, а гостья, — хмуро сообщил Иноверов. — Племянница. Родной сестры дочка.

— Погостить, не иначе, приехала? — слюбопытничала говорливая баба.

— Погостить.

— Заходила сегодня — мороженку испросила без денег.

— Не знаю никакой мороженки, — поспешно ввернул Иноверов.

— Не знаешь мороженки — не будет тебе и никакого кредита! — отрезала вздорная осьминожиха. — И вообще возвращай за старое!

— Ладно-ладно, пусть будет мороженка, — испуганно согласился отроковицын дядя. Он-то как раз собирался испросить продукты в кредит, а тут такая оказия!

— Лё-шенька-а? — вдруг всхрипнул и встрепенулся полицей участковый.

— Паскудник, если точнее, — через плечо отвечал Иноверов.

— И куда же он впрыгивает? — тяжело спросил Дмитрич.

— Племяшке моей ходу не даёт, сразу набегаёт да руками шупается.

— Не-на-ка-зу-емо!.. — увесисто констатировал тот.

— Она *несовершеннолетняя*, к слову сказать... — к слову сказал Иноверов.

— Точно несовершеннолетняя, я видела, но бо-ойкая!.. — даже зажмурилась баба.

Тут у кого-то из троих зазвонил телефон.

Впрочем, точно не у Иноверова. Иноверов не наблюдал телефонов. Осьминожиха дёрнулась, но тут же сообразила, что не у неё. Участковый же, пребывавший в муторных и разнокалиберных тягостях, не реагировал.

— Звонит у тебя — оглох, что ли! — крикнула баба.

Прилавок тот из-за какого-то там телефона отпускать не хотел никакю из всех конечностей. Ноги его забубённые могли невзначай и подгадить. Потом всё-таки, навалившись, стал искать по карманам.

— Витрину своротишь, чучело! — испугалась баба.

В одном из карманов он пошарил два раза, в другом — целых шесть, потому отыскал в третьем.

Участковый слушал свой телефон с некоторой натугой и нехотя. Но вскоре фасад его переменялся (хотя антаблемент и остался таким же).

— Из города? — переспросил он. — Да, да!.. Я так... я по делам... но теперь скоро буду!..

— Случилось что, Дмитрич? — спросила того осьминожика, пока он угасал несвежим мурлом после некоторой порционной выволочки.

— Случилось — и случилось! — хмуро отвечивал тот. — А только теперь с управления понаедут!

— На, приберись хоть немного! — сказала осьминожика, протянув тому из холодильника бутылку жигулёвского пива. — А то совсем перестал быть похож на индивидуума.

12

Дневник-перечисление несомненных дядиных Мотиныхвсячских сумашествий, которые увидеть удался

1) Дядя Мотя завсегда выступает против жизни прям тетрациклин какой-нибудь и он ещё называется моим дядей хоть и Мотей — тьфу! И другого ничего про него и не скажешь, вот!

2) Ежели дядя Мотя видит какую-то птичку кукушку там или ворону, так он грозит ей кулаком или плюёт напоследок. А иногда так даже и камнем. Правда попасть никогда он не может поскоку руки кривые. К тому ж птицы летают быстро и высоко. Это все знают. Но всё равно.

3) А ещё дядя Мотя за мной подглядывает, кагда я переодеваюсь, пень старый. Был бы молодой я ещё понимаю подглядывал бы. А так вообще ни в какие ворота! Чего старым подглядывать? Им надо смотреть в сторону!

4) Зачем меня мамка к дяде Моте поселила этого я не понимала с начала, а теперь понимаю чтоб дядю Мотю в сумашествиях евоных заметить и на чистую воду вывести, вот для того и поселила, но всё равно дрянная мамка и так делать не стоило. Хотя нет мамка ничего это я так только.

5) Дядя Мотя сидит до позна не ложится и пить не пьёт толком да и не ест, гадюка, а чего тогда сидит непонятно, эти пни старые и сами не знают что и зачем они делают.

6) А ещё дядя Мотя сегодня вот так вот сидел за столом потом вдрут тресь кулаком по столу, может таракана увидел но не было никакого таракана, я в этом уверена хотя тараканов у него много.

7) А ещё, дядя доктор, у него временами глаза будто бешеные и ничего в них нет кроме бешенства, он так смотрит тяжело и тогда даже страх забирает. Это я про дядю Мотю конечно но это и так ясно.

8) А ещё у дяди Моти ружьё есть, только он его пропил и хорошо что пропил потому что он иначе бы застрелил кого-нибудь как он чуть не застрелил одного друга моего Лёшу, а он точно мог.

9) А нащот Лёши здесь нет ничего такого, он просто друг и всё, а дядя Мотя пусть не выдумывает, будто у нас с Лёшей половой секс или что то ещё. Мало ли что вообще можно придумать вобщем я даже не знаю.

10) А ещё дядя Мотя сестру свою и мать мою Татьяну Васильевну не любил и вполне мог над ней удумать чего-нибудь. И он сам так потом говорил, я говорит так её не люблю, что даже над ней чего-нибудь удумать могу и я теперь дядя доктор не выдумываю и не сочиняю вовсе а говорю истинную правду.

11) Хотя я половой секс люблю конечно только больно, но это ничего что больно это пройдёт. Здесь не про дядю Мотю немного, хотя всё равно с дядей Мотей связано с ним всё связано.

12) А ещё он всё что-то такое пишит, а что непонятно, он ещё слово такое говорил, типа вроде котёнка, только неприлично и матерней, вот такое он пишит, это он сам говорил.

13) А что он ночью сегодня вытворял так это ужас просто и мне того передать невозможно, тут надо писателем быть а я не писатель но вытворял многое!

14) А ещё он пьёт сурагаты, а сурагаты пить не надо потому что от них всё выпадает а то что не выпадает потом наоборот не шевелится как ни старяся оно ноль внимания, вот что такое есть сурагаты!

15) Это ещё не всё про дядю Мотю но мне сейчас больше некогда а то бы я много чего ещё написала такого

16) Я потом ещё про него напишу многое, тогда все точно увидят хотя на самом деле уже и сейчас с ним с дядей Мотей всё ясно

Сердце пигалицы стучало с беспокойством. После ночной передряги она не знала, чего ждать ей от родственника. Он мог, положим, не пустить её на порог. Это самое малое. «Ну да, как же — не пустить на порог! — тут же оспаривала она себя. — А что я такого сделала, когда я вовсе ничего такого? И вообще я — племянница!»

Ещё мерещилась ей кочерга. Дядька что-то зачастил таскать с собой это железо. А когда железо долго таскаешь, поневоле хочется кого-то им приложить.

«А вдруг он станет меня обижать своей возмутительной личностью!» — тревожилась отроковица.

Вообще-то, возмутительной личностью отроковицу обидеть легко. Ибо она мала и слаба, а данная личность куражлива, безразмерна и обучена жизнью.

«А чего мамка вчера приходила? — спрашивала ещё себя она. — Ишь ты, живучей какой оказалась! Я, вроде, с душой всё сделала, и сколько треснула раз — посчитала, и присыпала листьями».

Но тут же стала себя противоположно оспаривать.

«А если я ничего и не делала? И мне это только приснилось? — усумнилась отроковица. — И вообще, это, может, чёртов дядька Мотя виноват и с мамкою такое выделал!»

То, что в очертаниях данного дела у *чёртового дядьки* подобие алиби, ею в исчисление как-то не принималось. В конце концов, ведь когда сие лихое производство свершилось, Матвей Васильевич был ещё в непорочном неведении относительно визитёрш.

Но это слишком умозрительно, и посторонние того знать не могли.

Ещё в сенях повеяло жаром на пигалицу. В доме было душно и маетно. Хотелось потрещать и бесчинствовать, и чтоб кто-то трепетно восхищался одиноким существованием души, и много ещё чего хотелось другого.

— Ку-ку, дядька! Решил здесь баню устроить? — с порога крикнула она девка.

— Что ещё за «ку-ку»? Я просто подумал и решил обед приготовить, — отвечивал дядя.

«Ну и ну! Будут тут всякие притворяться птицами!» — машинально помыслил он.

— Чтоб обед приготовить, не надо так сильно топить.

— Я не знал, когда ты вернешься, поэтому печь долго горела.

— Я могла и вообще не вернуться!

— Как это так не вернуться? Что же такое ты говоришь?

— У тебя, небось, опять макароны, у тебя всегда ничего другого нет! — сощурилась пигалица.

— Ещё есть сухарики, как ты хотела, зефир и пряник печатный.

— Вот ещё! Стану я пряники! — фыркнула отроковица.

— Ну, пряник не хочешь, пускай остаётся — не страшно. Засохнет не скоро.

— Ладно, зефир закончится — можно слопать и пряник, — смягчилась она.

Она помахала ладонями себе на лицо, разгоняя по дому горячий воздух.

— Я, дядя, может, скоро уйду от тебя в какую-нибудь дорогу, — сказала ещё. — А если нет, так, напротив, останусь у тебя жить вечно, хотя вечности никакой знать не получается.

— Вечность — это ничего, это стоит попробовать, только её напрасно не дают, — благодушно согласился тот.

— Ну, где там твои макароны, раз обещал? — крикнула ненасытная отроковица.

Вообще-то, в дурдоме главный психический доктор пригласил её снять пробу с обеда для дураков, поскольку наступал обеденный час, и дураки притомились с бескормицы. Но всё равно это мало, у отроковицы же — распутой организм.

— А хочешь, мы вынесем пищу во двор и пообедаем там? — сказал дядька.

— Ну, неси, раз предлагаешь.

У Иноверова стоял стол на дворе, прежде был даже навес, но давно прохудился, и в дождь там было валандаться неинтересно. Теперь же дождя не наблюдалось, потому можно было немного *пососуществовать* на природе.

Иноверов поставил на стол макароны. На сей раз насыпал в них тёртого сыра, наплескал жгучего кетчупа.

Они сели и начали лопать. У дяди обнаружилась бутылка вина. Себе он налил полный стакан, пигалице накапал на донышке. Пигалица потребовала больше. Чокнулся с нею как со взрослой. Выпили.

Отроковица ела и зефир, и макароны — всё вперемежку. Зефир ела с самодовольством, макароны же с рассудительностью.

— Я вот шла сегодня, — сказала она, — и мне попадались всякие старые пни и их несозревшие потомки, и я даже не знаю, кого не люблю больше — пней или потомков. А ты, дядя, кого больше не любишь?

— Всяческих человек во всём их неразборчивом обиходе, поскольку их любить не за что.

— А знаешь, дядя, почему они ходят и суются повсюду со своей облупившейся старостью?

— Кто? — выпучил глаза Иноверов.

— Ну, эти... всякие старые пни.

— Почему?

— Потому что дурак-бог так устроил, что сначала все юные, потом молодые, а потом старятся и ходят себе — еле ноги таскают, а помирать жаль.

— Бог дал человекам и всяческим инфузориям самый обыденный мизер, а всё остальное нагло устроил в свою пользу, — надув щёки, сказал дядя.

— Не знаю никаких инфузорий, они слишком мелкие, и их никогда не увидишь, чтобы знать, — возразила племянница.

Иноверов взирал на отроковицу как на самопроизвольную родственницу и неизбежную невесту. Она же взирала на него косвенно, по преимуществу увлекаясь пищей. И даже, когда он искал её взгляд, он всё-таки его не отыскивал.

Иноверов настроен был элегически.

— В общем, живу я вот так, — сказал он. — А ты по-родственному осознать должна.

— Да по-глупому живёшь, так не живут человеки, — осторожно молвила пигалица. Она всё не понимала причину дядиногo благодушествования. Тот, возможно, и сам её не понимал.

— Что мне до человекoв, когда их расплодилось в несметности! — отмахнулся от пигалицы родственник.

— Расплодились и расплодились! — не согласилась она. — Все равно подохнут когда-нибудь, но поздно.

— Вот! А надо, чтоб вовремя! — значительно сказал дядя.

— А отчего, дядька, у тебя изумрудов в земле не водится? — спросила ещё пигалица.

— Каких ещё изумрудов? — удивился тот.

— Зелёных, конечно! А я бы их выкопала и разбогатела сразу. Бывают же у кого-то в земле изумруды!

— Если б у меня были, я бы и сам их давно выкопал, — рассудительно молвил дядя.

— Ну, ты бы один-два, а я бы все остальные, но непременно чтоб было больше.

— А без изумрудов, значит, никак?

— Можно и без их, но только ждать долго.

— Да, ждать долго я и сам не люблю, — согласился дядя.

Они ещё выпили вина. Помолчали чуть-чуть.

— А к тебе жена, что ль, сегодня приходила ночью? — спросила сотрапезница.

— Да, бывшая в употреблении.

— Разве ж она не померла? Сам говорил. Ты мне — дядя, а она, стало быть, — приходящая тётя.

— Некоторые из покойников продолжают ходить. Машинально. Они при жизни привыкли.

— А ко мне мамка, — сказала отроковица. — Я так испугалась! Аж до сих пор дрожу.

Тут она оторвалась от макарон и показала, как дрожит. Дрожала отроковица отменно. Со знанием дела.

— Мамка — хорошо, чего тут дрожать! — кисло сказал Иноверов.

— Ну да — хорошо! — оспорила пигалица. — Только не ночью, ночью спать надо, и вообще: чего она не приходила долго — может, её уже и вообще нет!

— Что ты такое говоришь! — слабо махнул рукой Матвей Васильевич.

— А я сегодня ещё видела белку, — вдруг сказала отроковица.

Иноверов задумался.

— А зачем ты её видела?

— Ну, так... надо же всё-таки видеть белок...

— Нет, их видеть вовсе и не обязательно!.. Некоторую белку вообще не просто увидеть.

— Ну да, непросто!.. Скажешь ещё!..

Тут солнце блеснуло в зрачке пигалицы, Иноверов увидел и отшатнулся «Надо жить в тоске и в неразглашении», — сказал себе он. — А поймёт ли она тоску и тем более неразглашение? Надо, чтобы невеста могла понимать, а иначе новобрачное её содержание существенно ограничивается», — подспудно сказал он ещё. Вино ударило ему в лобную часть. Тут какой-то транспорт остановился против входа в иноверовский дом. Матвей Васильевич транспорту не поверил, как можно верить какому-то транспорту?! Мало ли кто чем способен прикинуться, когда кого-то захотел обморочить! В калитку стали заходить — небольшая народная масса, отроковица увидела и внутренне жалась. Впереди шла старая баба с фингалом — Фёкла Овидиевна, за нею — бугаёк Николай и ещё мужичок, отроковице неведомый, потом шёл главный психический доктор, за ним — какая-то тётка.

— Кто таковы? — тяжело спросил Иноверов.

Держась за корявую столешницу, он стал подниматься со стула.

Тут вперёд выступил Владилен Моисеевич и приосанился, будто бы собирался запеть арию из какой-нибудь скоротечной оперы Верди.

— Матвей Васильевич? — сказал он. — Здравствуйте. Учреждение наше известное, обитается здесь недалеко, и вот мы прослышали об вас и решили заехать — проведать. Ну, и помочь, так сказать.

— Чего мне вдруг помогать?! — буркнул недовольный Иноверов.

— Всем человекам помогать надо, но только не все об этом догадываются, — убеждённо сказал психический доктор.

Пигалица сжалась ещё более — так, будто её нет вовсе. Даже зефир жевать перестала — сидела с наполненным ртом. Но от дядино взгляда всё ж не укрылась. Припомнил дядя и тетрадь заветного свойства с подсмотренной негодной надписью, и отлучки племянницы.

— Ты, что ль, навела? — злостно рванулся он к отроковице.

— Держите! — завопила та, плюясь зефиром.

Через мгновенье Николай с мужичком схватили Иноверова за руки.

— Ишь ты! Ишь ты! — приговаривали они.

Парочка пришлецов повернула Матвея Васильевича лицом к психическому доктору.

— Ай-ай-ай! Разочарован я, дорогой Матвей Васильевич! — сказал тот разочарованно. — Я-то вас принимал за более разумного человека.

— А нечего меня принимать! — вскричал Иноверов, пытаясь выпростаться из стального захвата Николая. — Пришли тут в чужой дом и стоят — принимают! Себя принимайте!

— Буйственный какой! — в сердцах сказала Фёкла Овидиевна. — Аж ужас берёт!

— Ничего, — успокоил её психический доктор. — Справимся и с таким. Мы ведь справляемся с буйственными? — вдруг уточнил он тревожно.

Все в ответ закивали — и сопровождавшая его тётка, и Фёкла Овидиевна, и бугаёк Николай.

— Вот, — развёл он тогда руками. — Справляемся.

Иноверов плюнул перед собой.

— Ещё плюнешь — в ухо получишь! — миролюбиво предупредил Николай.

Матвей Васильевич, разумеется, плюнул. А как, собственно, он мог не плюнуть? В условиях такого-то самодержавия. В условиях самодержавия только и остаётся, что плевать втихомолку.

Бугаёк дал ему в ухо, в голове у Иноверова зазвенело.

— Звенит? — сочувственно спросил Владилен Моисеевич.

— З-звенит! — с досадою подтвердил тот.

— Непорядок, согласен. Но и вы зря не слушаете человеческого языка.

— Я слушаю, — угрюмо сказал Иноверов.

— И что ж, сами поедете, или придётся рубашечку одевать? — полюбопытствовал доктор. — Такую вот, с длинными рукавами...

— Не имеете права! — бессильно выкрикнул Иноверов.

— Помилуйте! — совсем уж изумился психический доктор. — Какого ж это права мы не имеем?

— Здоровых забирать!

— Ну, дорогой мой! Где ж вы вообще нынче здоровых-то увидали? А? Да вы так не переживайте, драгоценнейший мой Матвей Васильевич. Вам там понравится. У вас-то здесь сплошные Содом и Гоморра, из которых бежать хочется, да некуда, а мы у себя подлинный коммунизм продолжаем выстраивать, и многие к нам рассудительно примыкают.

«Коммунизм я люблю, — подумала отроковица. — Там можно зефир трескать бесплатно, и никому никого обижать не положено, особенно — родственникам».

Стало быть, в полной безопасности себя она ещё покуда не чувствовала. Скорее бы уж увели этого проклятого дядьку!

Про коммунизм же она сегодня наслушалась.

— Ладно, грузите товарища, а по дороге ещё укольчик для успокоения сделаем, — выразился психический доктор.

Мужчины потащили Иноверова. Тот упирался ногами об землю, так, что у него с ноги слетел шлёпанец, но об землю не очень-то поупираешься, когда тебя вдвоём тащат. Так они и вышли на улицу — двое тянущих, один упирающийся. Фёкла Овидиевна желала водрузить иноверовскую обувь на обыденное место, но Матвей Васильевич, сопротивляясь компромиссу, шлёпанец с презреньем отверг.

Здесь мужчины остановились немного передохнуть и незаметно снова треснули Иноверову в ухо. Но не по злобе, а так — для лояльности. Для мирного нрава.

Из дворов выглядывали соседи. Протестов оные не выказывали, хоть Матвей Васильевич и покрикивал, что забирают его *с незаконностью*. Иноверова не слишком любили, а к тому ж — где в наше время вообще правосознание, чтобы на какую-то там незаконность негодовать!

Владилен же Моисеевич задержался, будто бы рассматривая бесчинственный дворовый беспорядок и удивляясь оному. После подошёл к отроковице. Стал над ней, нависая. Так что та даже начала подниматься тревожно.

— Спасибо тебе, товарищ Катя! — пожимая ей руку, сказал психический доктор. — Сигнал своевременный.

— Да, — просияла она. — Я такая вот... своевременная.

— Если соберёшься его навестить — я не против. Но думаю, что не стоит. Ни к чему лишний раз будоражить больного. А мы своё дело знаем.

— Так он всё же — больной?

— Преопаснейший.

— Вот! Я так и думала!

— Глаз у тебя намётан. Вырастешь — полагаю, тебе стоит послужить в нашей отрасли.

— Я лучше поваром пойду, когда вырасту, а не дураков выяснять.

— Готовить любишь?

— Я лопать люблю, а повар всегда лопать может, у него вечно под руками всяческая вкусная пища.

— Дом... — огляделся Владилен Моисеевич, — мы в фонд нашего учреждения переведём. Как и решили. У нас для того и нотариус хороший имеется. Но ты пока можешь здесь оставаться, пусть бы даже в утехах с твоим Мишенькой. Окна никто больше не станет заколачивать.

— С Лёшенькой, — машинально поправила того отроковица.

— Или с Лёшенькой, — согласился психический доктор. — Про Мишеньку, правда, я не случайно сказал. Мишенька — сиротинушка жалкий, без малого четырнадцати лет, коего я подобрал для прогрессивного воспитания, и участие принимаю. Надо тебе его показать! Поди, приглянется!

— Гм, — существенно сказала отроковица, — ежели что — можно и на Мишеньку поглядеть!.. Мало ли что у вас там за Мишенька! Мишеньки иногда бывают даже и ничего!..

Взглянуть на Иноверова пришли все. Явилось даже несколько дураков, и их не прогоняли, полагая тех за привычных и отчасти даже за *своих* дураков. Дураки тоже бывают разные. С некоторыми дураками лучше, чем с иными умными.

Иноверова в учреждение привезли перемотанного, как мумию. По дороге он по неосторожности вспомнил о Гегеле, и на него для верности надели рубаху. И рукава сзади связали. Теперь бы никакой Гегель ему не поспособствовал. Хотя Гегель многим дуракам способствует.

Иноверов стоял с погранным и покоробленным духом, в одном шлёпанце, и вид имел самый философический.

Ближе всех сидел в кресле Владилен Моисеевич. Но и персонал поблизости тоже ничуть не дремал в безвестности.

— Ну-ссс! — протянул главный психический доктор.

— Чего? — хмуро спросил Иноверов.

— А если просто «ну-ссс!» и без всякого чего? Или *ну-ссс!* без *чего* вы не понимаете?

— Тогда пожалуйста! — пожал плечами Матвей Васильевич. — Без чего — так без чего! Мне и дела нет с этого!

— А вы знаете, какое сегодня число? — спросил доктор.

— Знаю, конечно, но вспоминать надо, а долго про гадкое думать не хочется.

— А вы всё же подумайте!

Иноверов подумал немного и содрогнулся.

— Нет-нет! — предосудительно пробормотал он. — Совсем думать не хочется.

— Вот! — вознёс указательный палец Владилен Моисеевич. — Я так и предполагал.

— Да, а как же другие думают — и ничего? Даже дураками не делаются, — с недоумением сказала одна тётка из персонала.

— А вы мне не соболезнуйте! — жестоковьюно крикнул Иноверов в сторону тётки.

— Да я и не собиралась! — возразила та мимо новоиспечённого больного.

— И год тоже не знаете? — снова запустил свою шарманку Владилен Моисеевич.

— И год тоже — тьфу! — встряхнул головой Иноверов.

— Тьфу?

— Конечно, тьфу! Как же не тьфу!

— И тоже думать не хочется? — уточнил доктор.

— Всенесомненнейше, — подтвердил наш смутьян и вольтерьянец. И в какой-то степени даже иносказательный большевик.

— Ну, насчёт года я с вами, пожалуй, отчасти и соглашусь, — согласился его собеседник.

— А чего тогда спрашивать! — буркнул Матвей Васильевич.

Тут и Николай взглянул на Иноверова. Не то, что бы он прежде не глядел. Но Матвей Васильевич этот взгляд, пожалуй, впервые увидел.

— Что смотришь вражеским руссишшвайном, вражина? — крикнул он с нерасшифрованной злостью.

— Ну-ну-ну! — примирительно сказал Владилен Моисеевич. — Давайте мы не будем посягать попусту!..

— Это не человек, а прямо какое-то хамло бесконтрольное, я его знаю, потому что уже издали видел, — объяснил Иноверов свою мимолётную выходку, немного смутившись.

— Надо ж! — всплеснула руками баба Фёкла Овидиевна. — И сам живёт нехотя, и другим от него жить тесно.

— Да-да, — кивнула головой тётка из персонала. — Именно, что тесно. Абсолютно верное слово!..

— Он пришёл, а обижать нас не станет? — слюняво предположил один из собравшихся дураков.

— Как сказать! Как сказать! — ответил психический доктор.

— Тогда нам не надо! — резюмировал прежний дурак.

— Может, ничего? Может, потерпите? — повернулся к тому Владилен Моисеевич.

— Нет-нет, — топнул ногою дурак. — Его нам не следует!..

— Хорошо-хорошо, Гриша, — сказал психический доктор. — Мы подумаем. Посидим, поговорим и помыслим.

— А вам следует не подумывать, а замечательно и непременно учесть! — крикнул ещё тот.

— Аминазин я тебе отменю, Гриша, на два дня, но только ты не волнуйся. А вот Матвею Васильевичу мы назначим. В той же дозировке.

— Отдайте ему мой! Отдайте мой! Мне не жалко! — возрадовался Гриша.

— С двух сторон, — пояснил Владилен Моисеевич приближённой своей тётке.

— В две попы, в две попы! — совсем уж возликовал больной.

— В одну и во вторую, — серьёзно согласился доктор.

— В правую и в левую, — заулыбалась и Фёкла Овидиевна.

— Вы меня, что ли, обсуждаете? — хмуро уточнил Иноверов.

— Кого ж ещё? — немного удивился тот же лечащий индивидуум.

— Это мне неведомо, — отвечал Матвей Васильевич.

— А ведь, поди, ходите и людей нисколько не любите, не так ли?

— Не люблю.

— Считаете их гнидами да паскудами? И всяческой ещё уродской кортой?

— Многих я паскуд видывал, самую же главную не разглядел.

— Ну, это тоже небесспорно, — протянул доктор.

— Нечего спорить! — буркнул Матвей Васильевич.

— И ведь, конечно, семья не имеет?

— Жена моя, бывшая в употреблении, померла, чему я тогда безутешно радовался. Всё равно с ней не жизнь была, а сплошная досада.

— Ну, досада досадой — это, пожалуй, можно и не смотреть, но вы ведь и жизнь не любите, не правда ли, Матвей Васильевич? Существуете без всякого оптимизма?

— Я всяческую смерть люблю вопреки запланированной жизни, — крупнокалиберно согласился тот.

Кто-то из дураков на то вознамерился даже заплодировать, но лишь частично икнул и произвел иные сытные звуки. Звуки дураков всегда имеют неполноценную или частичную форму. Тем более, дураки уже отужинали, Иноверов же не вполне.

— Ладно, Матвея Васильевича мы во вторую палату определим, — распорядился главный психический доктор. — Там у нас и место освободилось.

— А еще девяти дней, девяти дней не прошло! — обрадовался отчего-то Гриша, хлопая ладонями себя по бёдрам.

— Тсс! — пригрозила Грише старуха Фёкла Овидиевна.

— Да, Гриша, — серьёзно подтвердил доктор. — А то мне придётся тебе аминазин вернуть.

— Девяти дней не прошло — он ещё ходить может! — настаивал больной.

— Мёртвые не ходят, — покачал головой доктор.

— Ходят-ходят!.. — зашумела ещё пара других дураков. — Мы видели.

— И я видел, — согласился оппортунист Гриша.

— Мало, что видели, — оспорил их доктор, вставая. — Всякое виденное нужно уметь ещё достоверно отрезюмировать. А это только здоровому человеку под истинную силу.

15

Пользуясь отсутствием дядьки, отроковица враз съела весь зефир и все макароны, ещё хотела откусить от пряника, но за пряником в дом идти следовало, а в дом ей идти не хотелось. Ещё можно было доесть дядькину порцию, но там все остыло, и мухи садились, а мухами отроковица брезговала. «Пусть пропадает, здесь теперь все мое!» — заключила она.

Дул ветер-тихойей, солнце клонилось к западу, в этом мире всё клонится к западу. Запад же теперь и сам не стоит твёрдо.

«Я бы ещё малины поела, — решила пигалица. — Но так только, чтоб принёс кто-то. А если идти куда-то самой, так тогда, пожалуй, не надо».

Тут появился тинейджер. Шёл он как-то так преднамеренно, почти боком.

Сердце отроковицы немного застучало, но смотрела она вполне равнодушно.

— Ты, что ли? — сказала она.

— А то будто не видишь! — отвечивал тот.

— Вижу.

— И что же?

— Так... просто вижу и всё. Что мне ещё надо делать!

— А дядьку твоего куда повезли?

— В дурдом. Он настоящий дурак оказался, а я и без того знала раньше.

— А чего ночью окно не открыла? — жадно бросил тинейджер.

— А ты мне принёс что-нибудь? — спросила она.

— У меня несколько конфет было и ещё вафля.

— Давай, — протянула длань отроковица.

— Уже нет, я сам съел.

— А где взял?

— В магазине ukrал.

— А изюма ещё не мог, что ли, украсть?

— Изюма не мог.

— Напрасно, изюм я ем тоже. Особенно с шипучей водой.

— Ну, тогда в другой раз украду.

— Другого раза, наверное, не будет, — уклончиво молвила пигалица.

— Почему это ещё не будет другого раза? — глухо спросил тинейджер.

— А мне, может быть, Мишенька понравится, но только сперва на него посмотреть надо, — беспечно сообщила маловозрастная самочка.

Тинейджер посмотрел мимо отроковицы. Он вообще смотрел как-то косвенно.

— А это что, макароны? — спросил он.

— Да, дядька не съел, только там мухи, потому я не стала, — выразилась безудержно отроковица.

Тинейджер уселся на дядькино место.

— Подумаешь, мухи! — пробормотал он. И стал лопать непокусанную дядькину пищу.

Отроковица посмотрела на того будто бы даже с сочувствием.

«Тинейджеры — будущие мужчины, мужчинам же надобно много лопать, вот он и лопаёт, так всегда случается», — подумала она.

Мухи взлетали недовольные от взмахов тинейджерской ложки. У мух свой интерес. Тинейджерских ложек они почти не боятся. Тем более же — тинейджерских упований. Мухи — твари мелкие и наподобие птиц, хотя и ничёмнее, да и не птицы.

— Я себе лук со стрелами и с гвоздями сделал и буду гусей деревенских бить и на костре жарить. Ты любишь гусятину? — молвил Лёшенька.

— Я, может, принцессою скоро стану, только я этого не знаю пока, — сказала отроковица, — а ты тут сидишь передо мною, и макароны равнодушно трескаешь, как последняя шерамыга какая-то!.. — сказала она.

— Принцессой? — буркнул тинейджер.

— Самую настоящей, — сказала она. — Ты ведь, поди, не видел принцесс?

— Этого мне ещё не хватало!..

— Ну и дурак — я так и говорю!..

— А почему на тебе кровь была? Тогда, в первый раз... — спросил тинейджер.

— Какая ещё кровь? — отмахнулась она. — Не знаешь, отчего у девушек кровь бывает?

— Это не от того, да и вообще ты никакая не девушка.

— А кто ж ещё?

— Так...

— Скажи!

— Сказать, что ли?

— Сказать, сказать!..

— Пигалица маломерная! — выпалил вдруг тинейджер. И даже зажмурился.

Зажмурился он основательно. Отроковица стукнула его по лбу собственной ложкой. Хотела стукнуть ещё, да не успела. Во двор скорым шагом входило некое мужичье. Первым отроковица разглядела дуракополицая Дмитрича, он теперь был поприбраннее в сравнении с прежним. Ещё входил какой-то лысый в кожаной куртке, и с ним ещё молодой, да невзрачный — явный помощник сего лысого. И ещё дядька пузатый шёл рядом — в общем, много шло всяких. Отроковица стала сползать с места. Эти пришедшие ей не понравились. Слишком уж они входили нагло, уверенно. А нагло ходить здесь только она право имела, а не эти бесполезные дядьки.

Лёшенька вскочил с места, он тоже глядел на пришедших.

— У этой, что ль, была кровь? — спросил Дмитрич у Лёшеньки.

— У этой, — понурился тот.

Дмитрич оглянулся на лысого, молодой да невзрачный что-то записывал.

— Чего? Чего? Чего? — быстро забормотала отроковица.

— Ничего, — сказал Дмитрич.

— Какая кровь? Вы чего все выдумываете? — крикнула ещё она.

Тут вперёд выступил дядька пузатый.

— Я ехал и увидел, что тащит, — сказал он. — Ну, думал, мешок какой-нибудь. Хотя сердцем чувствовал: не мешок.

— Чего! — снова сказала отроковица. Теперь сказала с некоторой дерзостью. Нехорошо всё оборачивалось, почувствовала она.

— Значит, не мешок? — уточнил Дмитрич.

— Я когда узнал, что случилось, сразу понял, что не мешок, — повторил пузатый.

— Да что вы всё про мешок талдычите? — взвизгнула отроковица.

— Мне, наверное, остановиться надо было, но я не остановился, я кирпич вёз, — сказал ещё тот.

— Не про мешок, — сказал лысый. — Про мамку твою.

— Это не я! — крикнула та. И скорые слёзки брызнули из её глаз. — Я ничего!..

— Может, и ничего, — сказал лысый. — А может и «чего»!

Все они были заодно. Все смотрели на неё с осуждением. Отроковица взглянула в небо, будто любопытствуя прескверною атмосферой, но тут же рванулась и побежала. Краем глаза она увидела, что все так и остались на местах: и Дмитрич, и лысый, и смурной помощник его, и пузатый. Я так красиво бегу, так замечательно бегу, я убегу от них всех, подумала отроковица, а ещё я могу взлететь, как птица, я могу взлететь высоко-высоко, и тогда посмеюсь над ними сверху, я буду плевать на них с высоты, на маленьких и жалких, и крылья будут нести меня..

Она уже обежала дом и метнулась через грядки к забору. Но тут сбоку, прямо ей в ноги бросился тинейджер Лёшенька. Они рухнули оба. Тинейджер держал её за руки, он весь напалз на отроковицу. И жадно потёрся. «Ты что? Ты что?» — зло и испуганно пробормотала она. И пока мужчины не подошли не спеша и не растащили этих двоих, тинейджер так всё и тёрся о неё сверху, о её спину, о её ягодицы, о её тощие бёдра.

«Напоследок!..» — жалко подумала отроковица.

Холодный ливенёк на дворе колотился в стёкла и в карнизы. Хмурое тяжёлое небо сгрудилось возле окон учреждения, оно норовило всунуться во всякие щели, расточая окрест себя влагу и неожиданный ущерб лета.

Свет погасили, над дверью лишь скудно трудилась одна малосильная синяя лампочка, но никто из дураков не спал — им не давал Иноверов. Его пробил философический стих, Матвей Васильевич, привязанный ремнями к койке, спешил выговориться.

— Как там, интересно, паскуда? Хорошо ли себя мыслит хозяйкою во чужом дому? — саркастически спросил он себя. — Да-да, развела там во множестве свое лживое востроязычие, а я, безумец, и уши развесил на ветки. А не надо никогда уши развешивать на ветки, поддаваясь лживому востроязычию. Я забыл об этом, вот и поплатился. Но ничего, — успокоил он себя и заодно здешних дураков. — Зато когда выйду, так тут же женюсь на паскуде, без спросу и незамедлительно. Ах, да! — спохватился он. — Вы же ещё не знаете моих планов. Так вот, я намерен жениться! — горделиво сообщил Матвей Васильевич. — У меня даже и невеста припасена. Та самая паскуда. Но то, что паскуда — это ничего, это поправимо, главное — ягодичи. И всё остальное! Только вы мне не завидуйте! Вы же мне не завидуете? — тревожно переспросил он. — Правильно. Никогда не надо завидовать.

Но, наверное, ему всё-таки завидовали. Двое дураков сидели на краях своих кроватей и ковыряли — один в носу, другой в ухе — и ещё поглядывали на Иноверова вполне озадаченно. Зависть же тоже из рода озадаченности.

— Вы знаете, я понял, — доверительно сообщил дуракам Матвей Васильевич. — Мы нисколько не хомо сапиенсы. Никогда ими не были, а потом и вовсе переродились. Мы вообще не человеки, а просто червивые дырки.

— Дяденька, — жалобно сказал один из дураков. — Мы спать хотим, а ты нам препятствуешь.

— Чего жаждал я, чего домогался? — непримиримо бросил Иноверов. — Жить, лишь жить без ошалелости, тихо изобретая мои безнаказанные буквы. А вы хотите наказать мои буквы! Чего ещё иного ждать от вас, карателей, изуверов и живодёров?! Ныне и буквы не пребывают в безнаказанности, а они констатируют себя представителями рода людского — разве ж это возможно? Разве это мыслимо?! Нет, это мыслить даже не следует. Сколько всяческих вывертов и отшибов сгрудилось в недрах моего мозга! Просто удивительно! — удивился Матвей Васильевич. — Я вообще люблю удивляться, — сказал ещё он. И на всякий случай удивился сызнова.

Плохо только, что дураки не желали с ним солидарно удивляться. Бесстыжие племя! Скудные пентюхи! Одни пентюхи не удивляются!

Тут вошла старуха Фёкла Овидиевна всё с тем же, несъжившимся фингалом. Подковыляла к Иноверову. Тот для неё был новоиспечённый дурак, первозванный ныне в их скорбном учреждении, потому с ним следовало разговаривать.

— На что тебе жить-то такому? — ласково сказала она. — Когда у тебя обыденный стержень потерян. Таким жить — только мучиться.

— Позвоночник, что ль? — сурово спросил Иноверов, прервавшись.

— Какой ещё позвоночник! — досадливо отмахнулась старуха. — Позвончик — тьфу! Позвончик, ежели что, — хрясь! — и нет его, как никогда и не было! Говорят тебе: стержень!

— Я понял: стержень! — сказал Иноверов.

— Вот! — обрадовалась старуха. — А ты его потерял.

— Стержень титановый, что ли? — спросил Иноверов суровее прежнего.

— Не титановый, не молибденовый, а обыденный, я же говорю.

— Ладно, старая, ты иди себе — мне думать надо, — сказал Иноверов.

— Думать будешь — совсем пропадёшь! — всплеснула руками старуха. — Ишь, что удумал: думать собрался! Кто ж вообще теперь думает!

— Я думаю.

— Он не думает, он говорит попусту, — пожаловался один из дураков.

— Ему двойной аминазин сделали — спать должен, а он не спит! — удивилась Фёкла Овидиевна. — Надо завтра доктору сказать, чтобы ещё прибавил.

— Пустой человек! — слюняво сказал Гриша. — Зачем такой вообще?

— Видишь, какие об тебе мнения образуются! А ты не слушаешь мнений!.. — сказала старуха, поправила одеяло у Иноверова, да и побрела себе восвояси.

Матвей Васильевич дождался, покуда эта старая выйдет. Его смысл не для рухляди, не для ветоши. Скорее уж он для нищих разумом, чем для всяких там обрыдлых и букинистических человеков. Это не баба, а прямо какой-то ковыляющий палеозой! — рассудительно заключил тот.

— Дяденька, — снова жалобно сказал один дурак. — Ты не говори больше.

Но Иноверов с дураком не был согласен.

— Россия! — тихо сказал он. — Россия! Я ведь не сам по себе, я тоже пророссиенный до боли, до тоски, до мозга костей, — тут слёзы навернулись на его глаза, и слёзы его были горячи. — Тяжело мне жить — пророссиенному и прибезднённому человеку, лучше уж быть вовсе не человеком! Лучше скинуть, стряхнуть с себя человеческое! — решительно сказал себе он. — Да, но вы ведь не знаете, — сказал он. — Россия же не страна, не поля, леса и косогоры, не территория! Россия — чёрная, чистая бездна! Так много человек, народов, сословий... парламентов и диалектов ещё безвозвратно ухнет в неё! Да!.. А я и сам тоже — бездна! — тихо признался он. — Не верите? Ну, так убедитесь вскоре!..

— Эта шушера, сучья шушера довела любимую мою Расеюшку до гадливого содержания, до поносного свойства! — причитал Иноверов. — Человекам в ней нехорошо, человекукам в ней тяжело, как и мне в ней нехорошо и тяжело, и гадливо, и неудовлетворительно.

Что такое это была за шушера, он и сам, вряд ли, мог бы пояснить. И всё же он чувствовал: шушера существует! Такая, что творит всё вышеуказанное. Она не может не существовать. Шушера существовать любит.

— Это не я повредился мозгом, — сообщил он ещё. — Это Расеюшка им повредила.

Он хотел говорить о важном, он хотел признаваться в величественном.

— Трудна моя вера, густ и безбрежен мой нигилизм, — сказал он, — но с Христом и с Богородицей непорочной ко мне даже не подходите!

— И с пятью хлебами? — переспросил один безобидный дурачок.

— С ними в особенности! — взвизгнул Иноверов. — У меня другая догадка, другое безверие, другие догмы, инвективы и галлюцинации.

Тут он набрал в грудь нового воздуха.

— Я устал от вашей нравственности, — полновесно сказал он. — Устал, устал!.. Нет, я не противник ей, конечно, но пусть и она не суется мне в нос, в рот, в глаза, в уши и в другие органы чувств! Так мне проще будет сожительствовать с оной.

— А как вы живёте, как существуете! — вскричал он и восплакал практически без всяческой паузы. — Ни за что бы не смог жить так и существовать! А вы существуете — и ничего! И небо не садится на землю и не сворачивается как свиток, и тьма не поглощает вас! Тьма должна проглотить это племя, тьма да низойдёт на плечи людей, и тогда утвердится правда, и тогда восторжествуют истина и миропорядок!

Он захлёбывался своими словами, он захлёбывался своею жаркой слюной. Глотал, сплёвывал и продолжал.

— Расаюшка в мире славится одними диктатурами да большими свинячествами, и никто из зарубежных людей не мыслит её по-другому, — сказал он. — Зарубежные люди вообще нас не мыслят. А нас мыслить следует. Мы им содрогание безмерное принести можем, зарубежным людям, как не раз уже приносили. Исконная сила наша в содрогании, и смысл коренной наш в нём.

— Да что вы вообще понимаете в людях? — спросил Иноверов. — Или, положим, в жизни? Ничего ведь не понимаете, я по глазам вашим вижу! — глаз окрестных дураков Матвей Васильевич видеть, конечно, не мог, ибо было сумрачно. Тут уж он кое-что присочинил в увлечении. Все остальное же было правдой.

— Жизни у человека не существует, а есть одно лишь нервное угнетение, — сказал он. — И меня угнетают, и сам я угнетал прежде, многих угнетал, теперь не угнетаю, попавши в горестные обстоятельства. Есть ли выход из моих обстоятельств? Нет из них выхода, нет, даже не надейтесь! — крикнул он. — Когда-то и вы не будете знать выхода, когда-то и вы содрогнетесь от трудного воздуха своего. Когда-то и вас тесная грудь ваша обманет. А меня она уже сейчас обманула. Проклятая тесная грудь! — крикнул он. Хотел ещё врезать кулаком по груди. Для понятия. Но не мог он врезать по кулаком по груди своей. По известной причине. Несправедливо, когда даже не можешь треснуть себя по груди! — возмутился Иноверов. Грудь всегда должна быть у человека под рукою, готовую к сокрушениям.

Ему надо было ничего не забыть. А он будто бы забывал, казалось ему.

— Ах, да! — спохватился вдруг он. — Я букашек многих обижал, признаю. Но не до истребления. А только до осознания. Вот и народишки — те же букашки, и не надо обижать их до истребления. Но до осознания обижать непременно следует, куда же без этого?! И я на этом стою! Впрочем, я теперь не стою, конечно! Лежу! Говорю это справедливости ради!.. Ведь я же все-таки справедливый человек, не правда ли? Хотя вы это, конечно, не успели узнать.

Матвеем Васильевичу вдруг привиделось, будто к нему подошли проповедствующие, будто он окружён проповедствующими. (Может, и вправду

один или два дурака из непривязанных приблизились к нему и даже отчасти склонились над ним.) Но *проповедствующие* ему были теперь не нужны. Он ведь и сам такой.

— Отойдите от меня, проповедствующие! — взвизгнул и закричал он.

Дураки немного отпрянули. Матвей Васильевич, как мог, вытянулся. Прямой организм сопутствует и прямым мыслям, потому Иноверов постарался высказаться с недвусмысленностью.

— Я не враждебен к человекам, но лишь полон многих ответных реакций, — сказал он. — Вернее, я к человекам отношусь скептически, — поправился Матвей Васильевич. — К миру глумливо, к богу непримираю. К вам же не отношусь никак — уж извините! — сказал он. — Мир!.. Этот ваш мир! Да его давно уже пора денонсировать!

— Дядя, — молвил один дурак, поднявшись на своей скрипучей кровати. — Ты лучше еще про русских людей скажи, у тебя получается.

Иноверову это немного не понравилось — его тут, кажется, за некоторую заигранную пластинку принимали, полагая, что ему следует долдонить одно и то же без всякого распрядка.

— А что — русские люди? — хмуро сказал он. — Их, может, вообще не надо, а они живут и даже плодятся. А миру-то многих народишек не выносить, сам понимаешь, вот и надо среди тех выбирать пополезнее.

— Как выбирать? — жалко спросил всё тот же дурачок. Таким образом дело грозило обернуться диспутом.

— Не знаете, как — меня призовите, я помогу! — пообещал Иноверов. — Я в народишках кое-что смыслю. Пусть немного и не совсем...

Тут он зевнул. «Дураки, кажется, меня оценили», — горделиво подумал Матвей Васильевич. А и вправду, оценили ли его дураки? Никак не возможно ведь человеку не быть оцененному дураками! «А значит, нужна лишь одна маленькая эскалация (или экспансия) — да и делу конец! Дураки все мои будут! После эскалации-то! Тем более после экспансии!» — подумал ещё Иноверов.

— Я — фигурка, — беспорядочно сказал он. — Маленькая фигурка, а видели вы меня на подмостках? И на постаментах. Но нет, на подмостках меня вы не видели, безмозглые и безглазые, а меня надо смотреть на подмостках (или на котурнах) и видеть, как я мечусь и беснуюсь. Так беснуюсь, как никто из человеков ещё не бесновался — так беснуюсь я, и всё от ощущения жизни, коего вы не знаете, коего вы не ведаете! Вы вообще никакого ощущения жизни не ведаете! Поняли? Вы не ведаете ни-че-го!.. — бессильно сказал Иноверов, тут голова его откинулась, и он вдруг захрипел — громко, раскатисто, безапелляционно.

— Вставай уже! — сурово сказала глупая старуха Фёкла Овидиевна. — Лежишь тут, как пролежень!

Иноверов совсем одурел. С полусна, да с вечерних неведомых снадобий. Он ничего не соображал и даже не мыслил. И уж конечно, не понимал, что светло на дворе. Зачем в вашем мире за всякой ночью наступает день?

Не надо бы никакого дня после всякой ночи! Уж ночь так ночь, уж коли она есть, так пусть и будет всегда, пусть процветает и благоприятствует, пусть навеивает сны, в том числе и вечные, пусть распяляет грёзы, пусть оглушает человека и мир, пусть усыпляет и бога, пусть и сама станет — бог. Ночное — божественное и безграничное, светлое — тщетное, невесомое и поверхностное. Светлое — вертун, мотылёк, выскочка, ночное — истина, покой, недвусмысленность.

Его подняли, он мрачен был, но всё же поднялся. Его повели — он помрачнел ещё более.

Там был доктор. Самый главный, психический. И другие виднелись граждане, разного свойства. Была какая-то тётка, вся из себя беловолосая, полная, с огромной родинкой ниже носа. Тётка не казалась здесь главной, но от чего-то распоряжалась.

— Матвей Васильевич? — сказала она. — Садитесь.

Иноверов сел. Чего бы ему не сесть, собственно!

— Что? — сказал он. — Новые ещё изуверства измыслили?

— Молчите! — предостерег его Владилен Моисеевич. — Вас не спрашивают.

Матвей Васильевич умолк. Ему не жалко — можно и помолчать!

Тётка стала рассматривать паспорт.

«Мой», — сообразил Иноверов. Откуда бы у тётки мог оказаться его паспорт? Лично он тётке его не отдавал. Иноверов хотел было спросить, но припомнил, что ему говорить не велели.

— Хорошо, — сказала она. — Матвей Васильевич, вот документы — вам следует их подписать.

— Какие ещё документы? — взвился вдруг Иноверов.

— Необходимые, — вмешался психический доктор. — Согласие на госпитализацию. И ещё всякие прочие. Ведь вам же хорошо у нас? Вы же понимаете, что должны здесь ещё какое-то время пробыть?

— Я не стану подписывать! — крикнул Иноверов.

— Я не могу работать в таких условиях! — бросила и тётка. И нервно хлопнула пачкой документов по столешнице. — Вы же обещали, Владилен Моисеевич!..

— Сейчас, сейчас!.. — засуетился тот. — Все будет в порядке, Эмилия Бориславовна!

Тут к Иноверову подошёл Николай и тщательно посмотрел на него. Будто взглядом своим собирался глаза ему выдавить.

— Сначала паскуду подослали, а теперь вот изувера? Много вас тут — *подсылальщиков!* — мрачно сказал Матвей Васильевич.

— Какую ещё паскуду? — завопил психический доктор.

— Пигалицу, — пояснил пациент.

— Пигалицу мы не подсылали. Документы подписывать будете?

— Буду! — решительно бросил Иноверов и даже придвинулся к столу.

Блондинка разложила перед ним бумаги.

— Вот здесь. Фамилия, имя, отчество, подпись — в одну строчку, — сказала она.

— Читать, что ли? — тревожно спросил Иноверов.

— Можете читать, — махнула рукой Эмилия Бориславовна.

— Не буду! — непреклонно бросил Иноверов и торопливо подписал первую из бумаг.

Это оказалось не так сложно, это вызвало даже некоторое облегчение. Изуверы, в конце концов, тоже люди — так отчего бы иногда не сделать того, что им хочется! Но уж вечно им потакать он, конечно, не собирался. Матвей Васильевич подписал другую бумагу и третью. Там была и какая-то доверенность (судя по заголовку), и ещё одна, и другие документы, в которые следовало бы вчитаться, в которые следовало бы вдуматься, но вчитываться и вдумываться не хотелось, а хотелось снова вернуться в свою кровать, в окружение дураков, таких милых и уже почти привычных, дураки успокаивали его и умиротворяли. Эмилия Бориславовна выхватывала из-под его рук всякий подписанный документ, будто опасалась, что Матвей Васильевич передумает. Но Матвей Васильевич не передумывал, он с каждой бумагой, напротив, набирался решимости.

«Что — я? — думал он. — Я — ничто! Меня, может, вообще нет! Да и не надо! И мне ничего не надо!» — и подписывал, подписывал, подписывал.

— Довольны? Довольны? — вслух говорил он.

Тётка пожимала плечами, психический доктор же, кажется, пребывал в напряжении. Тётка подписывала сама те бумаги, что подписал Иноверов, хлёстко шлёпала печатью. Потом Иноверова вывели.

С ним был Николай и ещё изуверы, коих Матвей Васильевич пока не ведал. И ведать не собирался. На что ему ведать всяческих изуверов!

Тётка, наконец, вышла и звонко прошагала мимо Иноверова. Тот хотел о чём-то заговорить с нею, но та даже не взглянула в его сторону.

— Откуда только берутся такие непреклонные самки! — удивился Матвей Васильевич. В том же, что она самка (к тому же непреклонная), у него сомнений не было вовсе.

Тут Матвея Васильевича снова повели, на сей раз в процедурный кабинет. Там вскоре появились все: и Владилен Моисеевич, и Фёкла Овидиевна, и ещё всевозможные медицинские человеки. Они все расселись по стульям, Иноверова же привязали к железной кровати, сделали укол в вену. Матвей Васильевич хотел пошутить мрачно по поводу своего положения, но сумеречный его скептицизм оценить здесь было некому! Не стоило даже стараться. Тогда он захотел отвернуться, но даже и этого сделать не мог, сидевшие были везде. Плохо, когда невозможно отвернуться от чело-вечишек, подумал Иноверов. Но и смотреть на них невозможно.

Владилен Моисеевич придвинул стул поближе и даже склонился над Иноверовым с некоторой доверительностью. Матвей Васильевич хотел было плюнуть в это склонившееся психическое лицо. Но потом все-таки удержался. Думаете, он боялся репрессий? Нет, репрессий он не боялся нисколько. Он лишь остерегался выйти за рамки приличий. Исключительно по этой-то причине он и не плюнул.

— Хотел с вами посоветоваться, дорогой Матвей Васильевич, — сказал доктор, советуясь.

— Нечего тут советовать! — буркнул наш неуправляемый смутьян.

— Я почему-то думаю, что, несмотря на некоторые антагонизмы и иные обстоятельства, вы все-таки человек разумного толка.

— Ещё бы, — не без определённого подлого приспособленчества сказал Матвей Васильевич.

— И что ж, небось всякие... судороги, конвульсии и треморы любите? — поколебавшись, спросил доктор.

— Конвульсии я люблю, — отчего-то обрадовался Иноверов. — А особенно треморы. А что? — тут же насторожился он.

— А судороги? — уточнил Владилен Моисеевич.

— Судороги? — переспросил Иноверов. — Нет, судороги, пожалуй, не слишком.

— Как можно не любить судороги?

— Так и можно! — отрезал Иноверов.

— Жаль, — искренне огорчился психический доктор.

— Отчего? — удивился Матвей Васильевич. Он бы ещё, наверное, развел руками в изумлении, но развести руками в изумлении он не мог.

— Да так... есть тут у нас один аппаратик, — с оптимизмом начал Владилен Моисеевич, и тут дверь, будто по команде, отворилась, и вошёл старичок с чемоданчиком. — Он, правда, сломался недавно, но наш Семён Исидорович его починил. Ведь починили же, Семён Исидорович?

— А запчасти у меня были? — сварливо спросил старичок. — А инструмент?

— Но вы всё-таки справились, — ласково оспорил того доктор.

— Справился, — пробурчал старичок. — Но он, гад такой, теперь большую силу тока даёт.

— Вот! — торжественно сказал Владилен Моисеевич. — Семён Исидорович у нас настоящий народный умелец.

— Кулибин, что ли? — мрачно уточнил Иноверов.

— Не Кулибин, конечно, но всякие штуки починять в состоянии.

Тут Семён Исидорович раскрыл чемоданчик, и оттуда выставилась треснувшая панель из такой чёрной пластмассы, которую давно уже у нас не делают и даже забыли, как она выглядит, на панели были кнопки, рукоятки для регулировки, стрелки да индикаторы. А ещё из-под панели торчали какие-то нештатные проволоки, а в одном месте так предательски повысунулась серая потёртая изолянта.

— Это вы на мне, что ли, попробовать вознамерились? — спросил Иноверов.

— Милый мой, — отвечал доктор. — Пробуют на кроликах, и то на подопытных. А мы вас лечить вознамерились. Вы ведь понимаете, что в лечении нуждается?

— А если я не хочу?

— Ну, хотите или не хотите — а бумажечка-то подписана, — сказал психический доктор.

— Какая бумажечка? — крикнул Иноверов.

— Согласие.

— Какое ещё согласие? — шумливо выразился Матвей Васильевич. Согласие его возмущало. Потому как, на самом деле, он был ни с чем не согласен. Ни с предстоящей экзекуцией, ни с этими людьми, ни вообще с человеками, ни с этим застенком, ни с подлым миром, данным ему в осязание и в освидетельствование, ни с самим существованием — да много ещё было того,

с чем он никак не согласен. А они хотели решить дело простым подмахиванием гадкой бумажки, каковую он по простодушию своему даже и не прочитал?! Ну, нет! Бумажкой согласия не прибавишь!

Но с ним больше не разговаривали. Ему побрили виски, сделали ещё укол. В другую вену.

Иноверову же хотелось, чтобы с ним говорили.

— А что, если я хотел изобрести какую-нибудь лженауку? — сказал он.

— Ничего, — отвечивал доктор голосом коварным, как брюшной тиф. — После изобретёте!

— Изобрету? — с упованием переспросил Иноверов.

— Не знаю. Может, и нет.

— А если я хотел установить какие-то пресловутые каноны? — на всякий случай сказал он.

— Какие ещё каноны! — с некоторой раздражительностью бросил доктор.

Тут Матвею Васильевичу сунули в рот плотные резинки, так что говорить более он уж не мог. Разве что бормотать с некоторой слюнявостью. Но, когда бормочут со слюнявостью, человечешки это разбирать не обучены, понимал Иноверов. Отчего и смирился. Только нестандартно мычал.

Семён Исидорович вынул из чемоданчика два медных рожка с рукоятками и с толстыми электрическими проводами и прислонил медь к вискам Матвея Васильевича. Фёкла Овидиевна колдовала над чёрной панелью, как радистка-подпольщица над передатчиком.

— Шестьдесят для начала, — бросил главный психический доктор. — Не забудьте: сила тока большая, — добавил он едва ли не юмористически. Должно быть, в силу тока нисколько не веруя. Что такое вообще сила тока? Её, как и Бога, никто и в глаза не видывал. Может, и нет никакой силы тока, кроме как в нашем воображении. Да возможно, и вольт-то никаких нет!.. Блажь одна вместо вольт.

Старая баба с фингалом покрутила рукоятку настройки.

— Разряд! — скомандовал доктор.

Тут Матвея Васильевича пронзило одною большой болью. Ему почудилось, будто воспламенились виски. Он был никем, он не ощущал ничего, только сердце бешено и с припаданиями, колотилось у него в груди. И ещё в окно кто-то постучал, какая-то птица. Что за птица такая могла стучать в окно? Может, она хотела спасти Иноверова? Но какая птица могла хотеть его спасти, когда даже и человеки — все бесполезные человеки этого невозможного мира — желали его истребить, желали его израсходовать?! Неужто птицы выше человеков? Впрочем, нетрудно быть выше нижайшего, ничтожного, отрицательного. Так что и тля выше, так что даже мокрица значительнее! Не говоря уж о всяческой птице.

— Такому шестьдесят — что дробина в слоновью ляжку, — сказала Фёкла Овидиевна. — Вы, доктор, вчера ему двойной аминазин назначили, а он и сам не спал, и другим дуракам спать не давал. А дуракам спать надо.

— Ну, прибавьте, что ли! — махнул рукой тот. — Только чуть-чуть. Много не смейте.

Иноверов хотел крикнуть, чтобы остановились, он хотел умолять, чтобы оставили его навсегда. Но не мог ни кричать, ни умолять, он не мог вообще ничего, и даже самый воздух в груди его более не доставлял ему жизни.

И снова был разряд, и снова Иноверов содрогнулся. И птица постучала в окно, тёмная птица. Но её никто не слышал, на неё не обращали внимания. Один только Иноверов слышал птицу, слышал стук её крепкого клюва. Будто стального.

Старичок Семён Исидорович отнял электроды от его висков. Потом приложил снова. Посмотрел на Фёклу Овидиевну. Так посмотрела на доктора. Доктор посмотрел куда-то *промеж*.

— Ну, что, что? — сказал он досадливо. Сказал он так, будто не Иноверова, а его самого — мучили. — Ну, ладно! Ещё!..

Фёкла Овидиевна щёлкнула тумблером. Боли Матвей Васильевич не почувствовал. Только запахло палёною кожей. И ещё распахнулось окно, и влетела ржавчато-бурая длинная птица, сделала круг, уселась у изголовья, взглянула на него печально и круглоглазо и накрыла его своим темным крылом.

«Это ж она, подлюка, мне не три года — три дня нагадала!» — было последнее, что мелькнуло в голове Иноверова.

18

— Ну, что ж вы, голубушка, так неосторожно-то?! — попрекнул старую бабу Фёклу Овидиевну главный психический доктор. — Вам же не зря про силу тока талдычили. А вы — триста вольт...

— Ой, я так виновата, — сокрушённо сказала она. — Думала-то сначала о правильном, да потом у меня рука сама собой *исказилась*.

— Ничего-ничего, со всяким случается, — благодушно ответил доктор. — Но будьте осторожней в дальнейшем.

— Да-да, я буду, конечно, — сказала она.

Старичок Семён Исидорович сложил в чемоданчик всю медь, провода, закрыл его, да и вышел себе потихоньку, ни слова никому не сказав, не попрощавшись ни с кем. Его дело маленькое. Он и сам — человек маленький. Такой маленький, что и не разглядишь. И не дай бог — быть большим человеком. Или хоть даже — самым обыкновенным.

Денис ЛИПАТОВ

/ Нижний Новгород /



* * *

друзьям-поэтам

Когда они приходят
С закуской и вином,
И пьют, и колобродят,
И ходят ходуном,

Хамят, грубят соседям,
Дымят — не продохнуть,
И спать мешают детям
И женщинам чуть-чуть,

Ты радуешься тоже,
В хмельной их разговор
Встречаешь, корчишь рожи —
Хвостун и бузотёр.

До драки не доходит,
До поцелуев — да.
На нет веселье сходит,
На пятницу — среда.

И каждый вновь печален,
И молчалив, как бог,
И горизонт завален,
И в сердце — холодок.

МУСОРГСКИЙ

То ли мўзыка, то ли музыка —
Гроздьа звуков и нот лузга,
То ли ёрзает безъязыка
Беззащитная мелюзга.

Знатоков забирает зевота,
Дилетантов свербит задор,
Композитора жрёт икота,
Зубом мается дирижёр.

Что там слышится, что сгущается,
Что там прячется до поры? —
Там с грозой гроза встречается,
Там на вилы идут топоры.
Там вырастает в людей железо,
Там, зализывая рубцы,
То раскольничья спорит аскеза,
То хмелеют изменой стрельцы.

Я дышу этим воздухом зорко,
Как и ты — забулдыга — Модест,
По проулкам и по задворкам
Разбазаривая протест.
Заетильщина и Задонщина,
Завалдайщина прозвенит,
Но внезапнее, чем пощёчина,
Бунт хованщиной кровенит.

Божий дар — ноша всё же не лёгкая,
А свобода — не водки штоф —
Римский-Корсаков с поволокою
Вдруг посмотрит из-под усов.
Погрозит то смычком, то пальчиком,
То скрипичным поманит ключом,
То прикинется одуванчиком,
То маячит за левым плечом.

Музыкальной шкатулки жители,
Не ходите за мной толпой,
Отступитесь, друзья-учители,
Плачьте, скрипки, рыдай, гобой!
То не водочка под сурдинку,
Не кабацкий шумит пророк,
А заезженною пластинкой
Вьётся нищего тенорок.

* * *

Скоро снова всё начнётся,
вот сейчас уже — смотри —
мир, как люстра, разобьётся,
оборвётся всё внутри.

Засверлит, как боль зубная
в гладко выбритый висок —
не пытай меня, родная,
отпусти хоть на часок.

Может, всё определится,
устаканится потом,
расходиться и жениться
сядут люди за столом.

Будут пить вино, как в сказке,
кушать в яблоках гуся,
вспоминать ночные ласки,
брать чужое, не спрося,
аккуратно собирая
по осколкам новый быт,
тот, что даже умирая,
о приварке говорит.

* * *

Припади, говорят, к истокам,
изойди берёзовым соком,
спой о витязе светлооком,
Пересвете с электрошоком.

Вот гуляет он в поле широком,
ох, заденет, смотри, ненароком,
поколотит всех вместе, чохом,
назовётся альфредом кохом.

Редедя говорит Челубею:
я теперь за «Зенит» болею,
а и то его, знаешь, робею —
пересветит, ведь, за идею.

Челубей отвечал с неохотой:
у Батыя командовал ротой,
у Мамаю — уже туменом,
щас хурму продаю с Арменом...

но готов потерпеть за идею —
с электричества я балдею.

* * *

так намешано всё, что поди,
разбери, где свои, да кто наши,
починяют слова чинари,
а им велено быть у парашаи.

даниил нахмурился хармс,
харкнул, сказал — да ну вас!
завели, словно сифилис, декаданс,
как хотите — а я надул вас.

вот введенский идёт александр,
он при галстукe и в костюме,
дышит пряностью кориандр,
голова — не в причёске, а в шуме.

заголоцкий ещё николай
обучает стихам дубравы,
и тринадцатый даже далай
лама шлёт ему горные травы.

* * *

Задворки и задники городов
(Петербург или тот же Гдов)
однотипны: пустыри да помойки,
гаражи да «народные стройки»
Над грунтовой изгиб теплотрассы,
надпись на трубах: «Все — пи**расы!»
без ошибок и без помарок —
техно-стиль триумфальных арок.

Не цветут ни жасмин здесь, ни повилика —
а цветут «Боярышник» и «Гвоздика»
местный житель, с утра бухой,
в небо с брезгливой глядит тоской.
Сам себе говорит — мудака ты!
ни футбольного клуба, ни яхты,
ни киркоров, ни путин, ни пугачёва
не полюбят, конечно, тебя такого.

Мы на трубах там выпивали,
город теперь припомню едва ли,
и кто-то из нас, давясь икотой,
делился со всеми последнею шпротой.
А кто-то сказал: неужели, ребята,
родина в этом во всём виновата?
А кто-то ушёл по нужде в туман,
а кто-то лёг спать, потому что был пьян.

РОМАНС

Как любил я когда-то романсы —
Серебристо-нейлоновый рифф,
И надрыв этот псевдо-цыганский,
Михалковских рулад перелив.

Никакого не надо мне Цоя,
Никакого БГ с ДДТ,
Напоследок прослушаю стоя
«Шмель усатый», «Ямщик» и т.д.

До вертинской лимоновой дрожи
Слишком падох российский наш дух,
Оболенский-корнетик тревожит
Невзыскательных юношей слух.

С хрипотцою, с гнильцою и даже
С крокодилей бандитской слезой,
Так бумажные розы в плюмаже
Настоящей съедались козой.

Запотевший графинчик «Столичной»
Размывает культурный барьер:
Вдруг попросишь музон поприличней —
Джима Моррисона, например.

* * *

В Рождество все немного волхвы...

Волхованьям, гаданьям — предел.
В небесах не лазурь, но акрил.
Пустотелый гудит новодел —
проповедует Слово Кирилл.

И слова-то все вроде просты,
только голос не то чтоб с небес,
а с какой-то другой высоты,
и другой в них какой-то замес.

Почему-то горды гордецы,
властолюбцы — румяны и спелы,
и отчества даже отцы —
как мальчишки — беспечны и смелы.

Почему-то никто не смущён,
словно каждый безгрешен и благ,
словно каждый, как волхв Симеон,
сам баюкал Его на руках.

Вдруг очнёшься, как будто не здесь —
в допетровском каком-то народе,
где боярская трусость и спесь
с византийскою пышностью в моде.

Но за стенами ситцевый снег,
и мороз, как барчук своеволен...
Ямщики у скрипучих телег,
сонный благовест с колоколен...



Алла ДУБРОВСКАЯ

/ Нью-Йорк /

ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА¹

Голос молодой незнакомой женщины взволновал Спенсера Стоуна. Он решительно не мог вспомнить, когда в последний раз женщины звонили ему и просили о встрече. И дело было не в памяти, память он сохранил, несмотря на солидный возраст, а просто это действительно было давно. Очень давно.

— Интересно, какая она, — думал Стоун, машинально глядя в телевизор, — хорошо бы красивая. Так надоели эти жопастые кубинки. И живет в другом штате. Что же вам от меня надо, мисс Маккин? — мысленно обращался он к ней. — Должно быть, что-то важное. Для вас, не для меня. Мне давно на все наплевать, крошка, — и он улыбался, предвкушая предстоящую встречу.

Разочарование, промелькнувшее на лице старика при ее появлении, не укрылось от Джуди.

— Кого он ожидал увидеть? Элизабет Тэйлор? — вдруг рассердилась она и принялась с ответной бесцеремонностью рассматривать Стоуна, сидящего напротив нее в кресле. Конечно, людям с такими средствами, а они были немалые, судя по шикарной квартире на берегу Атлантического океана, не место в заведениях, принадлежащих Аззи Ковальски. Джуди придирчиво осмотрела залитую солнцем гостиную. Чистота. Комфорт. Бесшумные кондиционеры охлаждают воздух. За креслом старика она заметила баллон с кислородом.

— Астма, — опередил он ее вопрос. — Приступы не частые, но продолжительные. Поначалу ужасно мешали жить, но постепенно я привык. Не самая худшая болезнь на старости лет. Согласитесь, мисс Маккин.

И Джуди не только согласилась, но и пустилась в длительное плавание разговора о старческих болезнях и недомоганиях. Постепенно выяснилось, что у Спенсера Стоуна проницательный ум и прекрасная память. В свою очередь, Стоуну все больше нравилась гостя. Он пригласил Джуди отобедать вместе с ним и, получая удовольствие от ее болтовни, терпеливо ждал, когда

¹ Продолжение. Начало «Крещатик» №61–62.

же она перейдет к тому, ради чего появилась в его гостиной. Как и положено времени, оно пролетело незаметно. Солнце уже стало клониться к западу, и Джуди решила, что пора выплывать к интересующей ее теме.

— Говорят, вы входили в «Созвездие Щита», — наконец, начала она.

— Было такое дело. Ничего особенного эта организация из себя не представляла. Скорее, это был клуб встреч людей с определенными интересами. Я, видите ли, заядлый холостяк, никогда не был женат, и друзья заменяли мне семью. Спорт, охота, гольф, покер, нечастые поездки на бега и в Лас-Вегас — вот, пожалуй, и все наше совместное времяпровождение. — Старик с еще большим интересом стал рассматривать Джуди. Он увидел ее плохо скрываемое волнение, вдруг похорошевшее лицо и красивые полные руки с длинными пальцами.

— Значит, вы дружили с нашим покойным губернатором. Кстати, я работаю у Аззи Ковальски...

— Вот как? Аззи появился у нас еще совсем молодым человеком. Думаю, Харрисон был чем-то вроде его наставника. А что же вы, дорогая, делаете у Аззи?

— Он владелец нескольких домов для престарелых. Я управляю одним из таких заведений.

Мои подопечные — люди бедные, их старость не обеспечена так, как, скажем, ваша...

Они снова сидели в креслах друг напротив друга. Джуди допивала свой кофе, а Стоун с видимым удовольствием потягивал диджестив¹.

— Должно быть, вы помните и мистера Дорнера. Собственно, его вдова Элейн и направила меня к вам, — продолжала Джуди.

— Конечно, помню. Дорнер был отличным мужиком, а об Эйлен я вообще молчу. Белокурая красавица. Она мне ужасно нравилась, лет так сорок тому назад. Так что же вы хотели выведать у меня, дорогая мисс Маккин? Что-то важное для вас, да? Не стесняйтесь, спрашивайте. Буду рад вам помочь.

— Хорошо, Спенсер. Я хочу знать, что скрывается под названием «Одинокая звезда» и какое это имеет отношение к Александру Флинту.

— Подождите, подождите. Это кто ж такой? Знакомое имя. Уж не тот ли это алкоголик, о котором заботился Дорнер? Там еще была какая-то история с госпиталем...

— Ну, да! — обрадовалась Джуди. — Как хорошо, что вы его вспомнили! — И она вкратце пересказала историю Ромео, не жалея красок на описание его болезни.

Значит, вы появились в Майами только затем, чтобы расспросить меня про этого идиота? — искреннее удивление прозвучало в голосе старика. — Подумать только: Дорнер умер много лет назад, а этот Флинт до сих пор жив. Вы меня разволновали, дорогая. С каким удовольствием я выкурил бы сейчас сигару, да нельзя. Я давно живу во Флориде, и до меня редко доходят вести из ваших краев, а тут сразу столько событий в моей жизни: сначала появляетесь вы, моя дорогая гостья, а потом рассказываете мне об этом несчастном

¹ Общее название напитков, подаваемых после еды. Способствуют улучшению пищеварения.

Флинте. Конечно же, я припоминаю кое-что с ним связанное. Дорнер страшно переживал эту историю. Подождите, да ведь он же обращался к вашему Аззи за советом.

Упоминание имени Аззи вызвало достаточно сильную реакцию Джуди:

— Я с самого начала подозревала, что здесь не обошлось без этого сына, — не удержалась она.

— Вам так идет, когда вы сердитесь, радость моя, — и Стоун снова уставился на Джуди, но на этот раз было в этом взгляде что-то такое, что напомнило ей рассказ Элейн о «старом безобразнике».

— Ну что ж, хоть кому-то я еще нравлюсь — усмехнулась она.

— Мне нужно маленькое одолжение с вашей стороны, — продолжал старик, приблизив вплотную кресло к своей собеседнице и касаясь коленями ее колен, — Услуга, так сказать, за услугу. Не уверен, впрочем, что вы пойдете на это. Не скрою, ваше присутствие возбудило меня. Вы можете сами в этом убедиться, — он взял руку Джуди и положил ее на свои гениталии.

И поскольку Джуди молчала, но и не отдергивала руку, лежащую на подрагивающем бугорке, продолжал:

— Дело в том, что на старости лет мне стало не хватать не только любимых кубинских сигар, но и женской ласки...

— У вас неплохая эрекция для вашего возраста, Спенсер, — констатировала Джуди с вполне деловой интонацией.

Конечно, она могла возмутиться и послать похотливого старика куда подальше, но ей был нестерпим его жалобно-просящий взгляд, к тому же, он мог что-то знать. В конце концов, ей было совсем не трудно оказать ему подобную «услугу».

— Так не годится, милая. Немного нежности. Все-таки я не ваш подопечный.

— Ну, хорошо, — рука Джуди стала проделывать движения, приносящие старику видимое наслаждение. — Где у вас бумажные салфетки?

Стоун дернулся и, вскрикнув, выплеснул слизистый комочек в салфетку, вовремя подставленную Джуди. Потом затих, откинувшись на спинку кресла и, кажется, уснул.

— Как бы не помер, — обеспокоенная Джуди проверила пульс старика. — Вроде все в порядке.

Делать было решительно нечего. Пройдясь по квартире, она включила телевизор и свой телефон. По телевизору обещали безоблачное небо над Флоридой до конца недели, на мобильнике светился значок автоответчика. Прослушав сообщение от Пэт, Джуди решила, что перезванивать ей не будет. Родители забрали из барака Хайди Хантер.

«Ну что ж, будем надеяться, родители знают, что им делать с двадцатилетней дочерью, страдающей байполар¹, — подумала Джуди. — Главное, следить, чтобы она пила свои таблетки».

День подходил к концу, а у мисс Маккин было всего три выходных. Один из них ушел на вдову Дорнера, второй — на перелет в Майями и посещение Стоуна. Завтра утренним рейсом она должна была вернуться домой.

¹ Байполар-дисордер — одна из разновидностей маниакально-депрессивного синдрома.

Старик все спал. Похоже, ничего путного не вышло из ее попытки что-либо от него разузнать. Осталось только найти сумку и потихоньку прикрыть входную дверь.

— Куда же вы, Джуди? А ведь я все вспомнил. Не уходите.

Она обрадовано бросилась назад в гостиную.

— Учтите, что Дорнер ничего не знал, — Стоун сидел все в том же кресле, но на этот раз лицо его не выражало похоти, оно было осмысленно и сосредоточенно. — Он очень переживал за этого человека — Флинта. Чувствовал свою вину перед ним. Поэтому-то и обратился к Аззи с просьбой взять Флинта в один из его пансионов. Видите ли, «Созвездие Щита» было своего рода братством. Люди, входящие туда давали клятву помогать друг другу. Конечно же, Ковальски обещал пристроить Флинта где-нибудь у себя, но как-то все тянул. Скорее всего, ему было невыгодно брать такого больного. Насколько я понимаю, с «Медикэйда», или что у него там было поначалу, много не получишь на уход за вашим Ромео. Ситуация изменилась после суда. У этого калеки появились деньги. Видимо, большие деньги. Дорнер был просто счастлив. Он-то был уверен, что теперь Флинту хватит денег до конца жизни под надежной опекой вашего босса.

— И Аззи поместил его в «Одинокую звезду»? — прервала старика Джуди.

— Да откуда вы это взяли, душенька?

— Ну, вообще-то мне кажется, так записано в истории его болезни. Правда, я в этом не уверена.

— Вот и правильно. Потому что «Одинокая звезда» совсем не название заведения, а прозвище. И узнал я это давно и совершенно случайно, невольно подслушав разговор Харрисона с Ковальски. Кажется, дело было в Висконсине. Там отличная рыбалка, да и охота неплохая. Я, знаете ли, люблю, вернее, любил эти маленькие радости. У меня был прекрасный пойнтер, — но Стоун осекся и не стал развивать тему охоты, заметив нетерпение в глазах Джуди. — Так вот, в тот раз, о котором я вам начал рассказывать, они называли «одинокими звездами» инвалидов типа вашего Флинта. Понимаете, да? Деньги у человека есть и немалые, а близких — никого. Кажется, они обсуждали возможность опеки над такими людьми. Вполне возможно, что именно Флинт своей судьбой натолкнул Аззи на эту идею и ему нужно было узнать, как Харрисон к этому отнесется. И, насколько я помню, одобрение губернатора он получил.

— Одобрение на что? Они что, так прямо и говорили прямым текстом, хорошо бы обобрать несчастных одиноких придурков?

— Я уже не помню всех подробностей их разговора, милая, но смысл был примерно такой. Идея-то как раз и была в том, чтобы создать заведение для подобных людей, ну а Харрисон заверил Аззи, что тут всё законно. Я думаю, они просто обирали этих калек, какие у Аззи условия, вы знаете лучше меня, а когда деньги кончались, переводили их в заведения типа вашего барака, на «Медикэйд».

— Неужели все так просто? Обворовать и все...

— Да. Так просто. Обворовать и все. Семьи-то у вашего Флинта нет, а сам он, как понимаете, не особенно вдаётся в подробности своего материального обеспечения. Конечно, пока был жив Дорнер, Флинта содержали довольно сносно.

— Сукин сын, я засужу его вместе с губернаторской шайкой, — с яростной отчетливостью произнесла Джуди, покрывшись красными пятнами.

— Надеюсь дожить до процесса, но боюсь, он распадется от несостоятельности обвинения, а вернее всего, никогда и не состоится. В чем преступление? Доказательства-то у вас, дорогая, нет никаких. На моих открытиях ничего нельзя построить. Я — дряхлый, выживший из ума старик, старающийся привлечь к себе внимание молодой симпатичной особы, — осклабился Стоун.

— Аззи живет и процветает, я соберу данные о его финансовых махинациях.

— Сделайте одолжение, соберите. Меня это даже развлечет на старости лет. Только о каких махинациях вы говорите, дорогая?

— Насколько я знаю, Александр Флинт прибыл в наш дом для престарелых из заведения под названием «Одинокая звезда», которого, как сейчас выяснилось, никогда не существовало.

— Вы видели этот документ своими глазами? Аззи запросто докажет, что это какая-нибудь ошибка, или что такое заведение было, да разорилось. Он много чего сможет доказать, а вот вы просто потеряете работу. — Стоун увидел какое-то сомнение, пробежавшее по ее лицу.

— Мне просто до смерти жалко людей, вынужденных там жить. Большинство из них больны и не в состоянии обеспечить себе даже мало-мальски приличного существования. Я, по крайней мере, забочусь о них. Что с ними будет, если он меня уволит, — появившиеся слезы на глазах Джуди сменили вспышку ее бурного негодования.

— Вот видите, — Спенсер позволил себе опять дотронуться до ее руки, — вы просто потеряете работу, насколько не облегчив жизнь вашим подопечным. Я всегда не любил Аззи, но если разобраться, он не так уж и плох. Никому неохота возиться с больными и нищими стариками, включая их собственных детей и внуков. Прибыли от его бизнеса почти никакой. Одни затраты да неприятности. А он нашел для стариков такого человека как вы, а вы привели с собой еще парочку бескорыстных дурочек, работающих на него за гроши. Ведь так?

Джуди оставила этот вопрос без ответа.

— Ну вот, — на этот раз с нескрываемым сочувствием и нежностью, Стоун взял ее руку в свою покрытую старческими веснушками руку. — Все мы в своем роде «одинокие звезды» на вечернем небосклоне, мисс Маккин. Да вы и сами это знаете. Лучше посмотрите на прекрасный вид с моего балкона и успокойтесь.

Джуди медленно повернулась к окну и увидела последний отблеск опустившегося в океан где-то далеко за горизонтом солнца. Величественность картины успокоила и одновременно как-то подавила ее.

— Что это я, в самом деле, — она освободила, наконец, свою руку и высморкалась в бумажную салфеточку, протянутую ей Спенсером. — Мне, пожалуй, пора. Завтра я улетаю, а в понедельник возвращаюсь в барак.

— Как жаль, дорогая. Мне будет вас ужасно не хватать, — были последние слова, сказанные Спенсером Стоуном покидавшей его гостье.

Ветер с океана разогнал дневную духоту. Все-таки в Майами было не так душно, как в Мейзон-сити. Джуди открыла балкон и с удовольствием вдыхала ночной воздух. Спать решительно не хотелось, и дело было не только в Стоуне и его рассказе. Она никогда не доверяла Аззи и подсудно догадывалась о его участии в судьбе бедного Ромео. Просто с Флоридой были связаны дорогие для нее воспоминания. Может, поэтому она, не задумываясь, и отправилась сюда на выходные дни, истратив почти все сбережения. Много лет назад, только закончив колледж, она провела в Майами свой самый счастливый месяц в жизни. Со временем боль утраты, мучившая ее многие годы, утихла и сейчас отзывалась лишь легкой грустью. Но не о своем первом возлюбленном думала Джуди, возвышаясь горой на двухместной кровати гостиничного номера. Все ее мысли были устремлены к Джону Эвансу. Рассказ Стоуна дал ей прекрасный повод снова обратиться к нему. И уж не за этим ли она и ринулась на встречу со «старым безобразником», да еще и оказала ему «небольшую услугу». Впрочем, Спенсер Стоун со своим одиночеством и астой был ей даже симпатичен.

— У него был славный пойнтер, — почему-то вспомнилось ей уже под утро, когда сон и усталость, наконец, одолели ее большое тело.

Ровно в семь утра раздался звонок мобильного телефона, не предвещавший ничего хорошего.

— Бога ради, извините меня за беспокойство, но мне некому, кроме вас, сказать это, — голос Лизы дрожал от волнения.

— Да что случилось, Лиза? — спросонья закричала Джуди.

— У меня в груди опухоль. Я только что случайно ее обнаружила, когда мылась в душе.

— И большая?

— Ну, величиной с грецкий орех.

— Ничего себе. И вы только сейчас обнаружили такую большую опухоль. А маммограмму, когда вы делали маммограмму в последний раз?

— Я и не помню, Джуди... года два-три назад. Все некогда, да и сейчас такое неподходящее время. Я в Энгелвуде со своей группой агитирую за сенатора Эванса. Вот и не знаю, стоит ли мне продолжать кампанию или вернуться домой. Как вы думаете?

— А тут и думать нечего. Сегодня же возвращайтесь. В понедельник я вам позвоню и мы вместе решим, к какому доктору стоит срочно обращаться, — и, сделав глубокий вдох, Джуди отважно спросила тихо плачущую Лизу:

— А ваш муж уже знает?

Вы поняли, как Джордж Буш-младший стал президентом? Не очень. Кажется, там что-то пересчитывали. Правильно. Пересчитывали, пересчитывали — и получилось, что Ал Гор проиграл. Ну да. И не нужно тут удивляться. Это система такая. Избирательная. За тебя голосует большинство населения страны, но ты проигрываешь. А все потому, что у тебя меньшинство выборщиков. Как это так? Да так. Не спрашивайте. Бывает, и все. За двести лет четыре раза случилось.

Гор, естественно, впал в депрессию и сошел с круга, но если честно, была в нем какая-то «деревянность», отсутствие харизмы, что ли. Вот у Клинтона обаяния хватало на двоих, но после истории с Левински оставаться в его тени было уже невозможно.

Надо было бежать. Отрекаться. И всенародно обнимать свою жену, а не какую-нибудь практикантку Белого дома. Не помогло.

А что, у Буша-младшего с харизмой было лучше? Да, вроде, лучше, но с речью — хуже. То начнет заикаться, как король Георг VI, а то и вовсе слова переставит и оговорится так, что вся страна потом смеется. И, представьте, людям это даже нравилось. Свой парень. Простой и надежный. Гарвард, правда, кончил, но с трудом. Поливал, зато жене не изменял. Вот она — Лора. Тоже простая и надежная. Всегда рядом. Улыбается. Кажется, в семье только она книжки и читает. Все-таки учительницей была или библиотечкарейшей. Сейчас уже неважно. Но не ей обязан Джордж своей карьерой.

Человек, сделавший Буша-младшего губернатором Техаса, а потом президентом Америки, достоин упоминания. Карл Роув. С виду — провинциальный пастор: очки, круглое лицо с пухловатыми щеками, высокий лоб. Единственный интерес в жизни — политика, причем, с десяти лет, когда еще мама с папой смотрели по телевизору дебаты кандидатов в президенты. Родители болели за Кеннеди, а маленький Карл — за Никсона. С тех пор юный республиканец принимает участие в выборах президентов. Сначала — класса, потом — школы, потом — трех университетов, где он учился, но так ни одного и не закончил. Трудно сказать, была ли у него мечта выиграть главные выборы. Во всяком случае, он сам об этом не говорит, зато ходят упорные слухи о том, что Карл Роув гей. С таким багажом президентом Америки не станешь. Скорее всего, он понимал это лучше других. Ну, а если не власть как таковая, а процесс прихода к власти волновал с детства его воображение? Разве играющих на тотализаторе интересует, что происходит с лошастью, выигравшей скачки, после финиша? Так или иначе, увлечение политикой Роув обращает в профессию, в главное дело своей жизни.

В Техасе он знакомится с Джорджем, белозубую улыбку которого впридачу к кожаной куртке и ковбойским сапогам всегда вспоминает с любовью. А что, если слухи имеют под собой какое-то основание? Бедный Карл. У Джорджа нет ни малейшей склонности к однополый любви.

Хотя, почему бедный? Их союз длится более тридцати лет. И все-таки, дело не только в кожаной куртке и белозубом обаянии Буша-младшего. Есть в нем что-то, что говорит Карлу «это он».

Ну, во-первых, Джордж Буш человек религиозный. Для него аборт приравнен к убийству и потому греховен, однополый брак неприемлем, а смертная казнь — справедливое возмездие за преступление. Его вера в Джизуса Крайста искренняя и непоколебимая. Неверующему Роуву это кажется необходимым условием для успешной политической карьеры в Техасе. Импонирует ему и простота Джорджа в представлении картины мира. Никаких оттенков, только черное и белое, плохое и хорошее. К тому же, он верный семьянин. Набор достоинств можно дополнить фотографией святого семейства с грудными близнецами на руках у счастливого отца, а потом добавить авторитет, связи и миллионы долларов клана Бушей.

Но и это не все. Роув чувствует перемену настроения избирателей в Техасе — штате, где неизменно выбирали демократов со времен окончания

Гражданской войны между Севером и Югом. Он знал, что здесь у республиканцев появился шанс. Ну, а дальше его деятельность можно сравнить с уроками профессора Хиггинса. Того самого, который в пьесе Шоу обучает правильному произношению и манерам уличную цветочницу Элизу Дулиттл. Говорят, Буш заучивал целые предложения по карточкам, приготовленным его учителем. Но одного произношения и хороших манер недостаточно в борьбе с губернатором Энн Ричардс, соперницей Буша-младшего на выборах. Ей, а не ему предсказывают победу все опросы общественного мнения. Она блестящий оратор и открыто потешается над косноязычием Джорджа, троечника и неудачника, возмнившего себя политиком. Самоуверенность губит Ричардс. Ей бы почитать консервативные газеты, где регулярно пишут о гомосексуалистах, работающих в ее администрации, да послушать гневные проповеди протестантских священников, считающих ее лесбиянкой. Она не столько недооценивает Буша, сколько не понимает опасности тактики Роува. Накануне выборов активисты республиканской партии обзванивают техасцев. Они не агитируют за Буша, они просто задают вопрос: «Как вы относитесь к тому, что в администрации нашего губернатора Энн Ричардс работают, в основном, гомосексуалисты?» Отношение оказалось плохое. Дело сделано. Впервые за сто лет губернатором Техаса становится республиканец.

И тут выяснилось, что Джордж не такой уж и троечник. Он неплохо ладит со своим конгрессом, где пока сплошь демократы, и проводит реформы школьного образования. Не зря, значит, жена была учительницей или библиотекаршей. Снижение налогов на собственность и бизнес приносит ему невиданную популярность. К тому же, он поддерживает церковь и социальные программы. Он не только умен, он еще и крут. За годы его губернаторства в Техасе казнили сто пятьдесят два заключенных. Вера в Бога у Буша никак не сочетается с милосердием. Он очень скупо пользуется своим правом помилования. Некоторый ропот, пробегающий в стане борцов за отмену смертной казни, не услышан. Джорджа Уокера Буша выбирают губернатором на второй срок.

Что ж, пора приниматься за дело. Настоящее дело, свое. Карл Роув не собирается сидеть еще четыре года в Техасе, когда открывается путь на Вашингтон. К тому же, здесь больше нечего делать: все ключевые посты заняты республиканцами. Гнездо свито. Штат взят. Пора готовить Джорджа в президенты. Правда, мама так не считает. Барбара Буш женщина прямолинейная и своих сомнений не скрывает. Только кто же будет слушать маму, тем более, если папа молчит.

Гости съезжались на ранчо в Кроуфорде. Акры выжженной земли, покрытой мелким кустарником. Усадьба далеко в глубине. Сюда допускались только близкие люди, которых Джордж знал не один год.

Вы опять забыли Чейни? Его нельзя забывать. Вот он снова появляется в дверях гостиной. Легкая одышка. Все тот же цепкий взгляд из-под очков. Интересно, как он поладит с Карлом. Впрочем, делить им нечего. Если Роув архитектор, то Чейни, скорее, прораб. Пока.

А это кто там, такой подобоострастный, прячется за его спиной? Пол Вулфовиц — хороший парень. Чейни приметил его еще в Пентагоне. Большой

знаток Ближнего Востока, особенно в области нефтяных разработок. Заходите, Пол. Располагайтесь. Вы любите классическую музыку? Сейчас нам Кондолиза сыграет этюд Шопена. Мисс Райс почти профессиональная пианистка, правда, много лет связана с «Шевроном». Нефть представляет большой интерес для этого кружка.

Здесь каждому есть чему поучить Джорджа. Роув строго следит за расписанием. Идет работа.

Это не просто подготовительные курсы. Это будущий кабинет президента Буша-младшего. Осталось распределить роли. Как ты думаешь, Карл, кому предложить билет на место вице-президента? Карл советует выбирать из людей, работавших с папой. Совет хороший. Только у Чейни с Пауэллом, вроде, как-то разладилось под конец. Это ничего. От Пауэлла нельзя отказываться: он должен принести голоса чернокожих избирателей. К тому же, у него хорошие связи в ООН, его помнят и любят в Пентагоне и, вообще, он популярен. Поставим его госсекретарем. Кондолиза будет советником по национальной безопасности. Остается, вроде бы, Чейни. Слушай, а он согласится?

Вопрос, конечно, интересный. И вот почему: последние пять лет Чейни возглавляет «Халлибертон», а это компания серьезная, поставляющая оборудование для добычи нефти и газа. Впервые к нему приходят настоящие деньги. Согласится ли он жить на жалованье государственного чиновника, пусть и вице-президента? И потом, его дочь немного странно выглядит. Что вы говорите, неужели лесбиянка? Понятно теперь, почему он никогда не высказывается по поводу однополых браков. И все-таки, не это главное препятствие к выдвижению Чейни. К этому времени он перенес уже три инфаркта и коронарное шунтирование. У него высокий холестерин и подагра. Рак кожи не в счет, так как был вылечен без последствий. Достаточно ли он здоров для такого поста? После тщательного обследования врачи дают добро. Остается выяснить мнение самого Дика. Но мы уже знаем, что побывавшему в зоне власти, обладающей особой силой притяжения, трудно преодолеть эту силу. Чейни готов отказаться от миллионных доходов и жертвовать своим здоровьем.

Вот и прекрасно, билет выписан. Пара составлена. Остальное — за Карлом. Выбранная им стратегия кажется примитивной: атака, атака, атака. Помилуйте, да за что же нападать на Гора?

Экономика на подъеме, безработица минимальная. Есть, правда, некоторая усталость от Клинтонов. Как-то надоели бесконечные скандалы этого семейства. Гор пытается, как может, дистанцироваться от Клинтона. Роув чувствует некоторое разочарование среди молодых религиозных избирателей. Слабое место нащупано. Дополнительные голоса должны прийти из штатов, где не сложилась традиция голосования за демократов или республиканцев. В этой кампании Чейни отведена наиболее агрессивная роль. Он много ездит по стране и много выступает. Пока Джордж рассказывает о том, как вера в Бога изменила его жизнь, Дик клянет Гора за все грехи демократов. Особенно тому достается за внешнюю политику Клинтона: неоправданные затраты на необдуманные военные операции, не имеющие отношения к безопасности собственной страны. И вообще... хватит! Надоели. Главный

рефрен «Ваше время уходить, господа!» встречает горячую поддержку республиканцев. Пора, наконец, вернуться к простым американским ценностям: верность супругов, верность Богу, верность идеалам, низкие налоги и скромное правительство. Хватит нам высоколобых политиков. От них потом сраму не оберешься. Америке нужен простой и надежный президент.

В ночь подсчета голосов в особняке губернатора Техаса никто не спит. Ни у одного соперника нет явного преимущества. Карл Роув держит наготове команду адвокатов для начала оспаривания результата выборов. Наконец, приходит долгожданная весть из Флориды, где закончили подсчет. У Буша незначительный перевес голосов. Кажется, дело сделано, но победа какая-то неубедительная. По странному совпадению Джеб Буш, младший брат Джорджа, действующий губернатор Флориды. Не помог ли там братец, уж не знаем как. Надо бы посмотреть, как они считали. Команда Гора требует проверить бюллетени. И начинается пересчет.

Оказывается, что разложить на две кучки шесть миллионов бюллетеней совершенно невозможно. Во Флориде множество округов и запутанные правила голосования. Пересчет может затянуться на недели. Может ли оставаться страна без нового президента на длительный срок пересчета? Этот вопрос очень волнует директора ЦРУ Джорджа Тенета. Есть вещи, которые должны решаться немедленно, не дожидаясь прихода новой администрации. Его встречи с Бушем начинаются еще в Техасе. Именно от него Буш впервые услышит имя Усамы Бен Ладена. Директор ЦРУ считает, что терроризм стал главной опасностью для страны, президентом которой собирается стать Буш. Тенет долго и подробно рассказывает об Аль-Каиде и ее филиалах в шестидесяти странах мира. Они близко. Они нас окружили. Они могут быть уже здесь. Его волнение не передается Бушу. Прощальное рукопожатие. Надеюсь услышать от вас что-нибудь более значительное, когда стану президентом. Тенет не понял, что тот имел в виду.

Разбираться им придется позднее.

Между тем, пересчет продолжается. У Буша таки на девятьсот голосов больше. В интересах Гора продолжать пересчет, но в лагере его противника считают, что пора закончить, пока не поздно. Единственный способ остановить пересчет — подать об этом прошение в Верховный суд. Наконец, через месяц после выборов, страна узнает решение Верховного суда: сорок третьим президентом станет не кто иной, как Джордж Уокер Буш. Ал Гор поздравляет губернатора Техаса с победой, доставшейся тому по решению суда с перевесом в один голос.

И снова гости съезжаются на ранчо в Кроуфорде. Опять знакомые лица, только Чейни немного бледноват. В разгар пересчета голосов во Флориде он переносит четвертый, самый опасный, инфаркт. Врачи, вовремя открывшие артерию с помощью стента, спасают его жизнь. Подходящее время остановиться — оглянуться. Ему пятьдесят девять лет. Почему не дать покой своему больному сердцу? Тогда это был бы не Чейни, а кто-то другой. Уже через два дня после инфаркта он заявляет, что не собирается оставлять предложенную

ему должность. Разве одного желания тут достаточно? Нужна хоть какая-то гарантия того, что он не скончается скоропостижно на этом посту. Врачи устанавливают ему кардиостимулятор — крошечный приборчик, регулирующий ритм сердца. Жизнь продлена. Тема здоровья становится одной из самых закрытых тем в окружении Чейни, а сам он занят очень важным процессом — вхождением во власть. А что же Роув? Карл может уходить.

Нет, он, конечно, обласкан. Он советник при президенте, но может, наконец, отдохнуть. До следующих выборов.

Пока Буш вырубает кусты на своем ранчо, Чейни занимается подбором кадров. Запомним: Дэвид Эддингтон и Пол Вулфовиц. Это новые имена в большой политике. Оба блестяще образованы и бесконечно преданы Чейни. В свой аппарат он возьмет школьных друзей, бывших коллег по «Халлибертону» и Пентагону. Но главное, он вспомнит Дона Рамсфельда, давнего своего шефа, у которого начинал когда-то работать в Белом доме. Благодарность? Возможно. Скорее — расчет. Дону шестьдесят восемь лет. У него за плечами успешная политическая карьера и прекрасные связи в большом бизнесе. Пока непонятно, куда его пристроить. Немного обождем. Пусть новый президент освоится, примет дела у Клинтона. Портфели поделим позже.

В день инаугурации Дэн Куэйл, вице-президент при Буше-старшем, нанес визит вежливости Дикю Чейни. После поздравлений, положенных по этикету, Дэн сказал: «Ну, теперь тебе, Дик, придется мотаться по заграницам, посещать похороны, произносить речи на званых обедах, словом, делать то, что делают все вице-президенты». На что, слегка усмехнувшись, Чейни ответил: «У нас с президентом немного другое представление о моих обязанностях».

Дэн тактично промолчал. А что еще ему оставалось делать? Не спрашивать же Дика про эти обязанности.

В рапортах секретной службы Чейни значится как «Рыболов». Он начинает свой день в четыре тридцать утра. С шести тридцати до семи получает сводку новостей от своих сотрудников и уже через полчаса, обладая последней информацией, сидит на брифинге у президента. И так каждый день. Независимо от клева. Он держит в тайне численность своего аппарата. У него нет своей электронной почты. Все документы, входящие в его офис, помечаются грифом «Секретно» и уже никогда оттуда не выпускаются. Секретная служба обязана уничтожать журнал посещений «Рыболова». Может, это паранойя? Трудно сказать. Данные о состоянии здоровья Чейни тоже засекречены.

Тем не менее, он пользуется безграничным доверием президента. Раз в неделю Буш и Чейни обедают вместе в специально отведенной для этой цели маленькой уютной столовой, размещенной рядом с Овальным кабинетом. Именно там обсуждаются главные политические вопросы. Скорее всего, меню составляет вице-президент на правах опытного политика, а непьющий президент делает выбор из уже предложенных блюд. Умению выбирать Бушу предстоит научиться. Пока идет обучение, Дик Чейни получает право присутствовать на всех совещаниях, проводимых в Белом доме.

Такой привилегии не удостоивался ни один вице-президент до него. Становится понятным, кто будет главным игроком в этой команде. Вице-президент собирается курировать экономическую политику и безопасность страны. Чрезвычайно интересуют его и энергоносители. Позвольте, а чем будет заниматься президент?

Ну-у-у, он может заняться реформой образования. У него, вроде, неплохо получилось в Техасе. Можно отправить Лору в поездку по стране. Пусть посмотрит школы, поделится опытом. Все-таки была учительницей или библиотечаршей. Список составит. Кому что нужно и во сколько это обойдется. Кстати, нам позарез нужен министр обороны. Какая удача. Дональд Рамсфельд как никто сгодится для этой роли. А он не староват на такой пост? Может, найдем кого помоложе? Ни в коем случае. Дику Чейни нужен свой человек в Пентагоне, иначе у государственного секретаря Пауэлла, чрезвычайно популярного среди военных, будет слишком большое влияние в правительстве. Опасается он и Джорджа Тенета. Директор ЦРУ был поставлен на этот пост еще Клинтонном. Демократ в стане республиканцев смотрится как белая ворона. Может, заменим его на кого-нибудь из своих? Но тут, скорее всего, впервые, Чейни встречает отпор президента. Тенет ему нравится, и он хочет с ним работать. Приходится уступить. Вздох. Сдавать Пентагон нельзя. Последний аргумент в пользу Рамсфельда: Дон был министром обороны у президента Форда, знает, как делаются дела в армии, к тому же работает над реорганизацией Пентагона. Вздох. Ну что ж, пусть пообедает с нами на следующей неделе.

Так Дональд Рамсфельд становится министром обороны во второй раз. Опыт у него есть, а умения работать с подчиненными нет. Довольно скоро оказалось, что с ним никто не хочет иметь дела. Он как-то утратил способность разговаривать с людьми, в особенности, слушать. За предшествующие восемь лет генералы отвыкли от такого тона. Стали поговаривать о необходимости его смещения.

Пока скрипучий голос Рамсфельда разносится по коридорам Пентагона, кабинет вице-президента в Западном крыле Белого дома все чаще посещают представители нефтяного и газового бизнеса. Все правильно. Президент поручил ему заняться разработкой новой энергетической политики. С какой стати? Их что, не устраивает старая политика? Конечно, не устраивает. Вы что же думаете, губернатор Техаса стал президентом Америки, пообещав избирателям школьную реформу? Команда Буша, между прочим, летала во Флориду, пока там шли пересчеты, на самолете, принадлежащем «Халлибертон», а вот у команды Гора такого самолета не было. Тем хуже для Гора. Вы это к чему? А к тому, что пришла пора отдавать долги и выполнять обещания тем, кто проплачивал предвыборную кампанию. И такими обещаниями были: бурить всегда, бурить везде и невзирая на законы по охране окружающей среды. Над этим Чейни предстояло серьезно поработать, поскольку бурение на территории Америки ограничивалось всевозможными запретами, принятыми прежними администрациями, а бурение в Иране, Ираке и Ливии, чрезвычайно богатыми нефтью, было и вовсе запрещено. Новая администрация — новая политика. Хлопают дверцами «мерседесы» и «лимузины» у

крыльца Белого дома. Нефтяные лоббисты заседают в кабинете вице-президента. Но все-таки Белый дом это не Кремль, а Вашингтон — не Москва. Здесь есть старое правило: прозрачность или обязательное присутствие чиновника на встречах лоббистов при разработке любой государственной программы. Этот чиновник вроде сторожевой собаки — глаза и уши Конгресса. По американским законам Конгресс обязан контролировать действия правительства. Сторожевую собаку Конгресса в кабинет Чейни не пускают. Тогда в офис вице-президента летит вежливый запрос из Управления правительственной отчетности. Там хотят знать, кто приезжает к Чейни и о чем они беседуют за закрытыми дверями его кабинета. Ответа нет. Повторный запрос. Молчание. Сначала это вызывает некоторое недоумение в Управлении: Дик Чейни отказался быть «прозрачным». Как странно. Казалось, он умел когда-то работать с демократами в Конгрессе, сам участвовал во множестве комиссий, хорошо знаком с Конституцией и законами государства. Потом недоумение переходит в настойчивое желание выяснить, а, собственно, почему он отказался представить запрошенную информацию. Следующий запрос в офис вице-президента летит уже из Конгресса. И снова нет ответа. Молчание ягнят. Пресса с большим интересом следит за развитием событий. И, наконец, Дик Чейни высказывает открыто свою позицию в интервью корреспонденту ABC: «Получивший мандат доверия у народа вице-президент не обязан отчитываться перед любым членом Конгресса в том, с кем он встречается и по какому поводу». И снова в голосе металл. Очки поблескивают. Похоже, дело дойдет до суда, потому что некоторые члены Конгресса придерживаются другого мнения. Судебная тяжба длится два года. И только после распоряжения федерального судьи офис вице-президента представляет Конгрессу часть требуемых документов.

Как интересно. И что же они так упорно скрывали? Да карту нефтяных месторождений Ирака с пометками.

Они поделили между собой иракскую нефть за четыре месяца до террористической атаки одиннадцатого сентября.

С этого момента, если можно, поподробнее. Тогда процитируем Дика Чейни: «Что нам делать, господа, если всемогущий Бог распределил залежи нефти и газа на Земле так, что они оказались на территории государств, недружественных Соединенным Штатам?»

Вопрос риторический. Ответ напрашивается сам собой. Скромный служащий Пентагона Пол Вулфовиц подготовил план вторжения в Ирак еще при Буше-старшем. Несмотря на всю заманчивость, этим планом тогда не воспользовались. Похоже, время настало.

Не то чтобы нефти дома совсем нет. Одна Аляска чего стоит. Но бурение в Штатах регулируется жесткими ограничениями, а на Аляске и вовсе запрещено Конгрессом. У Дика Чейни накопилась масса претензий к этому органу власти. Надо сказать, что Конгресс вызывал раздражение не только у него. В свое время Ричард Никсон пытался осуществить переворот, лишив Конгресс не только права объявления войны, но и контроля над президентом и его аппаратом, не говоря уже о государственных расходах. Попытка Никсона повлиять президента над законом провалилась, но она произвела большое впечатление на молодого тогда Чейни.

А почему не попробовать еще раз? Но одного влияния и авторитета здесь недостаточно. Нужно превосходное знание государственного права. Чейни опытный политик, но не адвокат. Ему нужен человек, разделяющий его взгляды на власть президент и знающий в совершенстве законы. И он такого человека находит. Дэвид Эддингтон. Высокий господин с седеющей бородой. Внешность довольно необычная для сотрудника Белого дома. У него большой стаж работы в ЦРУ и Пентагоне. Говорят, он носит экземпляр Конституции США в кармане. Но интересуют его только определенные статьи. Права президента в случае войны или национальной катастрофы.

Вдвоем с Чейни они попробуют внести дополнения к основному закону государства, наделяющие исполнительную власть чрезвычайными полномочиями и превращающие власть законодательную в неполноценный довесок. Имперское президентство. Похороны демократии. Такие изменения не даются без боя. Что ж. Они готовы объявить войну Конгрессу. Осталось выбрать удобный момент для атаки.

Есть все-таки что-то странное в том, как одно мгновение может перевернуть всю жизнь. Оказывается, тело живет само по себе, независимо от мыслей и чувств, то есть всего того, что называется душой. Что-то там в его глубине зарождается и развивается, подтачивает и разрушает.

Тело, может быть, и посылает душе первые осторожные сигналы о каком-то неблагополучии, только той, занятой чем-то своим, некогда прислушаться.

Лиза была не в силах справиться с отчаянием, навалившимся на нее в момент, когда отдаленно маячившая неизбежность смерти приняла конкретную форму опухоли величиной с грецкий орех.

— Как это некстати. И почему именно сейчас? — вопрошала она таинственную силу, пославшую на нее неизлечимую болезнь.

Еще даже не встретившись с врачом, она знала, что у нее рак и, судя по всему, запущенный. В любом случае, она не собиралась сдаваться, прекрасно понимая, что лечение потребует от нее много сил. Впервые за многие годы Лизе нужно было остановить свой заботливый взгляд на длинную дистанцию под названием «президент Джон Эванс» и подумать о себе. Может быть, поэтому она и не позвонила ему первому, боясь распознать скрытое разочарование в его голосе, а набрала номер Джуди Маккин, человека ей малознакомого, но внушающего бесконечное доверие. Доброжелательный и сочувствующий голос Джуди успокоил ее. Решение возвращаться казалось единственно правильным в данной ситуации. Через несколько дней ей предстояло узнать подробности своего состояния, о которых сейчас не хотелось думать.

В автобусе, набитом портретами сенатора Эванса, было непривычно тихо. Все понимали, что возвращение вызвано какими-то важными причинами, но поскольку Лиза молчаливо и подавленно сидела в стороне, было решено ни о чем ее не расспрашивать, а ждать, когда она расскажет все сама. На полном ходу автобус въехал в грозу, обещанную накануне прогнозом погоды. Водитель включил дворники и сбавил скорость. До столицы штата оставалось два часа пути. Ровно столько времени было у Лизы, чтобы подготовиться к неприятному разговору с мужем, но она не думала о предстоящей встрече. Ей вспомнился вдруг тот счастливый поздний вечер накануне Рождества, когда, высадив Джона на автобусной остановке, она спешила домой в Вирджи-

нию по хайвею, покрытому тонким слоем льда. Лил проливной дождь, застывающий прямо на лету. Ехать куда-либо в такую погоду было сумасшествием, но разве она не была сумасшедшей? Сумасшедшей от любви. Конечно, она до смерти напугала родителей, опоздав к рождественской мессе. Впервые за последний день Лиза улыбнулась, вспомнив, как она вкатила обледенелую машину прямо в гараж и повисла на полковнике в приветственном поцелуе в ответ на его упреки, стараясь спрятать от внимательного и всепонимающего взгляда матери предательский засос на шее. Отвыкший от таких нежностей полковник простил непослушной дочери помятый бампер новенькой «тойоты», зато мама, воспользовавшись первой же возможностью, завела с ней основательный разговор на тему об опасности ранней беременности. Как выяснилось позднее, ее опасения не подтвердились. Лиза оказалась неизлечимо бесплодной, и это было причиной ее страдания и чувства вины перед Джоном. Намучившись со всевозможными видами лечений, они, в конце концов, оставили надежду иметь собственных детей и встали в очередь на усыновление. Само собой разумеется, что в семье молодых либерально настроенных родителей приемный ребенок должен быть непременно чернокожим. Так в их жизни появилась двухлетняя Таша, карапуз с громадными черными глазами и множеством коротких косичек, торчащих, как антенки, вокруг ее головы. Они обожали эту девочку. Казалось, с ее появлением пробел бездетности был благополучно заполнен, и вполне возможно, что они усыновили бы еще кого-нибудь, если бы не их постоянная страшная занятость. Так, во всяком случае, они тогда думали. С Ташей не было никаких проблем, пока она была крошкой. Годам к одиннадцати в ней обнаружился талант к рисованию, на развитие которого были брошены все силы молодой семьи Эвансов. Ее акварельками они увесили стены своего дома и с гордостью демонстрировали таланты дочери частым гостям. Шли годы. Вернее, они пронеслись. Школа была окончена, и Таша отправилась учиться рисованию в Нью-Йорк, в Купер Юнион. Лиза заметила пугающие и враждебные перемены в приемной дочери уже во время ее первых каникул.

Если раньше Таша гордилась честностью и неподкупностью адвоката Джона Эванса и всячески поддерживала его решение стать сенатором, то теперь она ополчилась на него с обвинениями в лицемерии и карьеризме. Дело дошло до открытой ссоры, когда, глотая злые слезы отчаяния, Таша бросила им в лицо, что и усыновили они ее только из корыстных интересов, никогда не задумываясь о том, каково расти черному ребенку в белой богатой семье. В этих словах была большая доля правды. Об этом они действительно никогда не задумывались, считая, что делают прекрасное благородное дело, и гордились собой. Все зывания к прощению и пониманию не были услышаны Ташей. Отношения так никогда и не восстановились. Пока, во всяком случае. Блестяще окончив Купер, Таша неожиданно нашла работу в Париже. Воспоминания об этом времени были настолько болезненными, что Лиза прогнала их усилием воли, привычно сглотнув выступившие слезы.

— Может, мне стоит позвонить Джону сейчас? — подумала она, уставившись в обмываемое непрерывающим дождем окно автобуса. Какое-то странное оцепенение не давало ей силы вернуться в настоящее. Почему их теперешние телефонные разговоры напоминают краткие сводки, ведь когда-то они могли болтать часами. Лиза до сих пор помнила его телефонный номер, набираемый ею сотни раз за время их первых зимних каникул.

Кажется, довольно быстро она убедила его в том, что не собирается быть образцовой женой в уютном домике, построенном под надежный кредит. На фоне ее честолюбивых планов его возвращение на бензоколонку выглядело жалким. Образование, полученное в либеральном колледже, открывало отличные перспективы перед ними обоими.

— Нужно быть распоследним лузером, чтобы отказаться от такой возможности, — возмущалась по телефону Лиза. — Можно, конечно, чесать яйца, заполняя бензобаки, и набивать карманы грошовыми чаевыми, только это херня. Понимаешь? Нельзя так бездарно просерать жизнь. А ты не думал о том, что можешь стать президентом, например?

Тогда он об этом не думал, но в колледж вернулся человеком, знающим, что ему нужно делать. С тех пор они не расставались.

Их колледж был островком бурлящей жизни среди сонных городков затрапезного штата.

Какие-то бесконечные дискуссии, семинары, лекции вперемешку с рок-концертами. Говорили исключительно о революциях как методе решения всех мировых проблем. «Капитал» Маркса входил в список обязательной литературы. Лиза не смогла сдержать улыбку, вспомнив изучение великого классика. Ну и что от этого «Капитала» осталось в памяти? Что-то про прибавочную стоимость пары сапог, пошитых бедным сапожником. А прекрасные бородатые и лохматые бунтари, закончив колледж, переоделись в костюмы с галстуками и стройными рядами влились в ту самую систему, которую мечтали изменить не иначе как революционным путем.

И все-таки Джон был другим. Ей вдруг вспомнился обрывок его страстной тирады на одном из семинаров, кажется, по методам борьбы с современным капитализмом.

— К черту все эти «Черные пантеры» и партизанские джунгли Латинской Америки. У нас уже есть самая справедливая в мире Конституция. С ними можно бороться только их же методами — законами. Но для этого нужно знать эти самые законы!

— Тогда тебе прямая дорога в адвокатскую школу, — довольно злобно прервал его кто-то, несогласный с таким простым решением проблемы.

— Все правильно. Я как раз туда и собираюсь поступать, — обезоруживающе улыбнулся Джон.

Где-то Лиза прочитала, что сенатор Эванс добился успехов в карьере благодаря своей обаятельной улыбке, безотказно действующей на людей. Это был, конечно, бред. Начать с того, что у него было немало противников и даже открытых врагов, на которых его обаяние не только не действовало, а наоборот — вызывало раздражение. Так что всего он добился сам, своим собственным трудом, ну и с помощью Лизы, конечно. Как-то так получилось, что в школу адвокатов она пошла учиться вместе с ним, хотя поначалу хотела заниматься журналистикой.

Интересно, что в своих интервью Джон всегда подчеркивал, что стал адвокатом вслед за Лизой. Сейчас было уже неважным, кто первым сделал этот выбор. Главное, они всегда были вместе.

За долгие годы она так привыкла видеть восхищение в его глазах, обращенных на нее, что не сразу заметила, когда оно исчезло. Что стало причиной его охлаждения? Лиза могла только об этом догадываться. Может быть, она слишком много на себя взяла. Как-то так получалось, что она все-

гда знала лучше Джона, что ему нужно делать, а он только следовал за ней, полагаясь на ее интуицию и поддержку. В конце концов, наступил момент, когда он захотел сам решать за себя. Но ведь его решения совпадали с ее советами. Или было что-то в его жизни, о чем она не знала? Сейчас ей не хотелось думать и об этом. Тогда о чем же?

Думать особенно долго не пришлось. За окнами показались небоскребы столицы, выросшие словно из-под земли. Гроза закончилась, но прохлады, как это водится в наших краях, она не принесла. Сквозь влажный воздух пробилась первая лучи солнца. Больше оттягивать звонок мужу Лиза не могла, он уже и так оставил ей два сообщения на отключенный мобильник. Как всегда энергичный и слегка встревоженный ее молчанием голос вызвал у нее прилив отчаяния.

— Джон, у меня плохая новость, — стараясь не расплакаться прямо в трубку, прижатую к уху, сказала Лиза.

Его испуг был неподдельным, как и желание немедленно утешить ее и быть рядом. Бросив все дела, Эванс приехал домой.

— Ну, подожди, не будем сейчас паниковать. Может быть, все не так уж и страшно, и это не злокачественная опухоль. Ее вырежут и выбросят, и мы забудем этот кошмар, как страшный сон, — так он уговаривал и укачивал Лизу как больного ребенка. И Лиза, затихнув и уютно пристроившись на его плече, слушала его рассудительный и спокойный голос.

— А кто это у нас был? — уже засыпая, вдруг спросила она.

— Кто был? — не понял Джон, — с чего ты взяла?

— Ну, там, на кухне... Стакан с недопитым соком и тарелка с двумя вилками. Помнишь, мы когда-то любили есть из одной тарелки, — хихикнула вдруг Лиза.

— Спи. Не думай ни о чем. Это, наверное, Роберт заезжал со своей подругой.

— А что, у него своей квартиры нет, что ли?

— Да там то ли ремонт, то ли еще что. Не помню. Спи и все.

Осторожно высвободив свою руку, на которой уснула Лиза, он всмотрелся в ее родное осунувшееся лицо. Она спала слегка приоткрыв рот, и Эванс заметил слюну, скопившуюся в уголке ее губ. Его сердце сжалось от чувства вины и жалости. Не то чтобы он никогда не изменял Лизе. К пятидесяти годам он накопил недлинный список измен жене. Все связи были случайными и короткими. Обычно вспышка вины гасилась приливами нежности и еще большей привязанностью. Но сейчас он не мог отказать от Хайди, прекрасно понимая, чем рискует, встречаясь с ней. В нем были уже даже не два человека. Появился третий, бесстрастно наблюдающий за теми двумя, и он не мог сказать, который из них он сам. Ему стало казаться, что его «самого» уже просто нет.

Джуди выполнила обещание и записала Лизу Эванс на прием к известному онкологу. Худшие опасения подтвердились: биопсия обнаружила злокачественную опухоль. После серии анализов и просвечиваний Лиза получила окончательный диагноз: рак груди четвертой степени.

Врач предложил немедленную операцию с последующей изнурительной химиотерапией. Никаких прогнозов он не делал и полного излечения не обе-

щал. Узнав подробности состояния жены, Эванс решил закончить политическую карьеру и выйти из гонки за сенаторское место, но Лиза была категорически против этого. И снова, как и всегда, она убедила его делать то, в чем он не был уверен. На этот раз ради нее. Было решено не только не скрывать страшный диагноз, а наоборот, заявить об этом открыто, что супруги Эвансы и сделали где-то в самом конце августа на лужайке перед своим домом. Собравшимся по такому поводу журналистам было сказано, что сенатор продолжит отстаивать интересы штата, даже несмотря на свалившееся на него испытание.

— Я не могу этого делать без поддержки своего верного друга и бесконечно любимой жены, — заявил Эванс, едва сдерживая слезы, — но для победы на выборах мне нужна так же и поддержка простых людей, доверяющих мне в этой борьбе.

Стоявшая рядом Лиза заверила всех присутствующих в готовности бороться на два фронта: со своей болезнью и за победу сенатора.

Таких козырей на руках у Макмэрфи не оказалось, и он начал проигрывать игру. Опросы общественного мнения показали, что его популярность стала падать.

Пассажир номер 23 вызвал бортпроводника. Ванесса неторопливо направляется в его сторону. Никто в салоне не замечает появившегося за ее спиной человека. Он бесшумно обхватывает ее сзади. Быстрое движение руки, сжимающей бритву. Кровь, бьющая из артерии, заливает форму стюардессы. Теряя сознание, Ванесса медленно опускается на пол. «Аллах Акбар!» — последние слова, услышанные ею в этом мире.

В холодном поту Тони просыпается в своей спальне. Включает лампу. Три часа ночи. Улыбаясь, Ванесса смотрит на него. Она улыбается ему с фотографии в любое время суток, в любое время года. Ванесса умерла несколько лет назад от сердечного приступа, и ее смерть не имеет ничего общего с кошмаром, который мучает Тони с того дня, когда он увидел по телевизору крушение Близнецов.

Неделю он не отходил от телевизора, переключаясь с канала на канал и вслушиваясь в голоса дикторов. По всем каналам снова и снова показывали самолет, врезающийся в небоскреб, кружащие в воздухе листы бумаги, людей, покрытых слоем белой пыли, похожих на ожившие статуи...

Через неделю Тони выбрался на крыльцо и присел на ступеньку, греясь в теплых лучах сентябрьского солнца. Тогда-то и появился Роджер. Как ни странно, старик совсем не удивился его появлению, и ему даже в голову не пришло спросить, откуда тот взялся. Он оглядел мощную мускулатуру пришельца, обтянутую футболкой защитного цвета, выцветшие джинсы, заправленные в высокие ботинки. Кажется, они уже когда-то встретались. Но где?

— Корея?

Роджер кивает.

— Инчхон?

— Нет. Порт Пусан.

— Видал, что они натворили? — у старика перехватывает горло. — Это ж надо было додуматься: воткнуть самолеты в небоскребы.

Роджер присаживается рядом с ним.

— Пусть они не думают, что это им так сойдет, — спокойно и уверенно говорит он.

Тони медленно кивает. Ему становится легче, но что-то всё еще тревожит его.

— Ты знаешь, почему они напали на нас? — спрашивает он неизвестно откуда появившегося гостя.

— Они ненавидят свободу.

Тони с удивлением смотрит на Роджера:

— Как это? Как можно ненавидеть свободу?

— Они ненавидят нашу свободу.

Тони задумывается:

— А что, есть свобода наша и не наша? Свобода, она и есть свобода. Это как же надо ненавидеть, чтобы и самим погибнуть, и столько людей с собой унести.

— Так они ж фанатики, — говорит Роджер. — Религия у них такая — ислам. Слышал? И называются они мусульмане. И война их против нас — «джихад». И враг это наш смертельный. Понял, старина?

Беспокойство снова охватывает Тони:

— А эти, наши умники в Вашингтоне, что? Как они могли допустить такое, а? Как этих ... как их там зовут... пустили в самолеты-то? А в самолетах-то, что, мужиков не было, повязать этих... как их... фанатов. Ну, на стюардессу напасть не проблема. Сзади навалился — и готово. Если бы у Ванессы был пистолет, она бы им всем там головы поносила... Пилоты... Знаю я пилотов-то: сидели, болтали. Дверь в кабину не закрыли, а ведь есть инструкция... Им бы только языком потрепать... про футбол, да про гольф. Вон... ни свет ни заря уже клюшкой по мячику лупят в нашем гольф-клубе. В Корее-то все пилоты знали правила самообороны...

— Эффект неожиданного удара знаешь? Не были люди готовы к отпору. Придется заново учиться защищаться.

— Защищаться, — думает Тони. — Нет. Тут нужно нападать самим. А на кого нападать-то?

Где они, эти мусульмане? Откуда явились? В Корее было проще: отбомбил по врагу и ушел на базу.

Роджер молчит.

Как хорошо: можно, наконец, закрыть глаза и немного вздремнуть. Телефонный звонок в доме будит Тони.

— Извини, дружище.

Звонит сын из Детройта. Дела у всех в порядке. Можно, наконец, попить кофейку и перекусить.

Странно, Роджера нигде нет. Жалко. С ним можно было поговорить. Из окна кухни старику виден заросший газон перед его домом. Надо бы подстричь.

— Да отвяжи ты его, — кричит Тони своей соседке, толкая перед собой газонокосилку, — пусть Бадди со мной поздоровается.

Отвязанный пес бросается к нему, перепрыгивая через низкую ограду, отделяющую газон Тони от соседского.

— А мы уже начали волноваться, чего это вас не видать. Как дела-то?

Соседи у Тони хорошие ребята. Всегда готовы ему помочь. Правда, газон возле дома он подстригает еще сам. Зимой сам расчищает снег. Он еще крепок и даже красив. Пастор говорит, ему не пристало ходить вдовцом. Может, пастор и прав. Надо бы ему рассказать про Роджера и Ванессу в самолете.

— Да какие у меня дела. Подстриг траву, теперь вот пойду газонокосилку затащу в гараж.

Бадди увязывается за ним. В гараже прохладно. Дел у Тони и правда немного. Утром он встает рано, как все старики. Шаркает на кухню, открывает шкафчики, заглядывая во все коробки и пакетики. Закрывать шкафчики он не любит. Ему кажется, что лишнее движение причиняет дверцам боль. Не случайно они жалобно скрипят под рукой соседки, изредка его навещающей.

Не говоря ему ни слова, она захлопывает все дверцы в доме, проверяет бутылочки с лекарством, отчитывает его за то, что он оброс седой щетиной как «старый еж».

Тони не любит включать воду в ванной. От лишних усилий кран может сломаться, а шум бегущий воды вызывает у него раздражение. Все-таки раз в неделю ему приходится «приводить себя в порядок». По субботам он играет в «Бинго» в клубе ветеранов, по воскресеньям ходит в церковь, потом на кладбище. Он никогда не гасит свет в гостиной. Дом кажется ему мертвым с темными окнами. После смерти Ванессы здесь его никто не ждет, но дом, в котором она была хозяйкой много лет, должен как бы сохранять её присутствие. Тони отвоевывает каждый его уголок у грязи и забвения. Вот и гараж нужно подмести. Бадди плюхается в углу, положив морду на лапы. Собака не проявляет ни малейшего беспокойства, когда появляется Роджер. Тони рад его возвращению.

— Я хотел тебе что-то показать, иди-ка сюда, — он открывает дверцу шкафчика, — видал такую игрушку? В бархатном углублении деревянного ящика лежит кольч «Даймондбэк».

— Никогда не видел, чтобы 38-ой спецверсии был такого маленького размера, — говорит Роджер.

— Эту игрушку я купил Ванессе в Лондоне, — Тони любовно поглаживает пистолет. — Тогда он мне обошелся в 600 баксов. Считай задаром. Некоторые женщины не выходят из дому, не подкрасив губок, а она всегда носила его в сумочке вместо косметички. Ванессочка говорила, что без кольч она как без платья. Смотри, рукоятка была в аккурат по её ладони. Поэтому он сразу и пришёлся ей по вкусу. Сталь голубая, видишь? Ни одной царапинки. У меня-то «Питон». Надежный ствол, но для Ванессы тяжеловат.

— Хорошая игрушка, — подтверждает Роджер, — чувствуется качественная работа, и отдача у него, должно быть, мягкая. Я смотрю, у тебя там еще кое-что припасено. Приготовь оружие к делу. Я тебе подам знак, когда начинать.

Тони не успевает узнать у Роджера подробностей. Бадди поднимает большую голову и бросается навстречу своей хозяйке.

— Всё, — говорит та, — хватит тут мешать. — Пошли домой, собака. А с кем это вы беседовали? С Бадди, что-ли? Он любит, когда его спрашивают, только никогда не отвечает. Смотрит, а сказать не может.

Соседка — молодая женщина, лет тридцати пяти. Любопытная, как все соседки. Тони не собирается посвящать ее в подробности своей стариковской жизни. Он неторопливо закрывает шкафчик, который захлопывается на этот раз без жалобных скрипов.

— Да, мы тут с Бадди обсудили международное положение. Я его спрашивал, будет война или нет.

— Ой, Тони, — соседка оборачивается уже в дверях, — вы бы машину в гараж загнали, а то гроза собирается... не знаю, что там Бадди думает, а похоже, война и вправду будет.

Ну что ж, гроза дело хорошее. Земля давно дождя просит. Отчего это время стало проноситься с такой скоростью, что совершенно ничего невозможно успеть? Тони устал. Он закрывает гараж, куда поставил свой «кадиллак», кольт приятно оттягивает задний карман. Есть в этой тяжести какая-то надежность. Не зря Ванесса носила его в своей сумочке.

Гроза нагрянула только ночью.

— Быстро одевайся, — скомандовал Роджер.

Тони испуганно подскочил в кровати. Его руки запутались в рукавах рубашки. Наконец, он справился с одеждой.

— Идем на перехват, — продолжал Роджер. — Машина готова к бою.

Они торопливо спустились в гараж.

— Ты пойдешь вторым пилотом, — скомандовал Роджер. — От винта!

— Роджер¹, — ответил Тони.

— Вижу цель, вижу цель. Приготовить заряд!

— Роджер, — ответил Тони.

Услышав выстрелы, Бадди зашелся лаем. Напуганная соседка вызвала полицию. Шериф с помощником нашли Антонио Кастелло в гараже. Старик лежал в глубоком обмороке на переднем сидении своей машины, обсыпанный осколками лобового стекла. На двери гаража отчетливо виднелись шесть крошечных отверстий.

Его отправили сначала в госпиталь, а через пару месяцев — в заведение, где Ванесса по-прежнему улыбалась ему с фотографии счастливо и безмятежно. Когда кончились деньги, вырученные от продажи домика в непрестижном городке, Тони оказался в бараке.

This is it, boys, this is war².

И снова гости съезжаются на дачу. На этот раз в Кэмп Дэвид. Вокруг длинного стола усаживаются главные игроки предстоящей игры. Ставки высокие. Американская военная машина самая мощная в мире. Сейчас время решать, как ее задействовать. Джордж Буш серьезен и сосредоточен. Свалившееся бремя ответственности превращает его в лидера. Это больше не парень в ковбойских сапогах, с трудом окончивший Гарвард, это президент Америки, обещавший своему народу возмездие за смерть ни в чем не повинных людей. Чейни рядом, но не к нему прикованы все взгляды.

— Ну что ж. Карты на стол. Что там у министра обороны?

¹ У американских пилотов слово «Роджер» используется в значении «вас понял».

² «Ну всё, ребята. Это война». Из песни группы «FUN».

Дональд Рамсфельд привез своего заместителя Пола Вулфовица. Значит, снова зазвучит тема Ирака. Так и есть. Особой любви к Саддаму нет ни у кого. Конечно, он враг. Кто бы спорил.

— А что разведка?

Люди Тенета поднимают донесения агентуры за последние десять лет, пытаюсь найти хоть какие-то связи Аль-Каиды с Хуссейном. Пока ничего нет.

— Так. Что у Чейни?

У того своя карта Ирака. Пока ей не место на этом столе. Спокойно, как всегда:

— Я разделяю мнение министра обороны.

Кто бы сомневался. Интересно, были ли когда-нибудь разногласия между этими людьми? Сейчас не время выяснять.

— Ну, хорошо, если начнем с Саддама, у Пентагона готов план операции?

— Помилуйте, господин президент, сегодня только четырнадцатое сентября.

— Значит, не готовы.

Следующий Тенет. Вот он, звездный час американской разведки. Теперь надо спокойно и убедительно рассказать о плане операции в Афганистане по уничтожению лагерей Аль-Каиды. В принципе, они готовы и к свержению Талибана. Над этой операцией ЦРУ работало последние три года.

— Отлично, Джордж, давай теперь посмотрим твою карту.

У сидящих за столом вытягиваются лица.

— Но тут же одни горы.

— Почему же одни горы, есть еще и пустыни.

— Так что же мы будем бомбить? — Рамсфельд явно разочарован. — Говорю вам, надо начинать с Ирака.

Джордж Тенет свой парень в любой компании. Кажется, президент тоже попал под его обаяние. Они встречаются каждое утро и хорошо друг друга понимают. Не случайно Чейни так его опасается. Но решать предстоит не ему.

— Послушаем Тенета, — Буш нетерпеливо прерывает Рамсфельда.

— Так это же качественно новая война, господин военный министр. В том-то и дело, что Бен Ладен рассчитывает на наше массированное вторжение. Вроде того, что предприняли русские двадцать лет назад. В таком случае, он может развязать партизанскую войну, приносящую большие потери противнику. Но мы не будем вводить в Афганистан регулярную армию. Мы разгромим Талибан, давший приют Аль-Каиде, при помощи северных племен, вожди которых готовы заключить с нами союз. Это не будет войной Америки против Афганистана. Это, скорее, наша помощь афганскому народу в освобождении от чужеродной Аль-Каиды, навязанной ему Талибаном. Мы начнем с посылки нескольких отрядов особого назначения. Они и наведут ваши бомбардировщики, господин Рамсфельд, на цели. Скорость и координирование совместных действий разведки и Пентагона решат исход этой войны.

— Спасибо, Джордж. Посиди пока. Что нам скажет государственный секретарь?

Пауэллу приходится тяжело в этой компании. Рамсфельд и Чейни пытаются ограничить его влияние на президента. Как дипломат он понимает, что нельзя начинать войну, не имея на это веских причин. Он не может допус-

тить падение престижа и изоляцию страны, за международную политику которой теперь отвечает. Как военный генерал он знает, насколько важен план операции. Пока такой план есть только у Тенета. И этот план кажется ему осуществимым.

— Я склонен думать, что мы должны начать с Афганистана, — Пауэлл задумчиво смотрит на карту, подготовленную Тенетом. Протяженная граница с Ираном. Договариваться здесь не о чем. Но вот с Пакистаном работать можно. У него неплохие отношения с генералом Мушаррафом. Нужно будет попробовать перетянуть его на свою сторону. Есть еще бывшие территории Советского Союза — Таджикистан и Туркмения.

— Можно ли работать с Путиным, господин президент?

Вопрос непростой. У Чейни нет особой расположенности к бывшему офицеру КГБ. Да к кому у него есть расположенность? Сейчас не время и место выяснять.

— У нас был довольно дружеский разговор по телефону сегодня утром. — Буш поворачивается к Пауэллу. — Господин Путин выразил полную поддержку и понимание. Он готов сотрудничать с нами в борьбе с терроризмом и не возражает против размещения наших войск, в случае необходимости, в Средней Азии. Разумеется, это будет временной мерой. Мы не намерены угрожать суверенитету бывших советских республик.

Пауэлл кивает.

— Значит, с русскими можно начать работать. Отлично. Как я понимаю, господин президент, коалиция государств должна быть самая широкая. Те из них, которые не будут принимать участие в военных действиях, помогут нам в сборе оперативной информации. Для начала неплохо было бы заморозить счета Аль-Каиды в банках наших союзников.

— Ну да, Колин. Скажите им всем, кто не с нами, тот против нас. Так. С Госдепом разобрались. А что думает государственный советник по национальной безопасности?

У Кондолизы свои проблемы с Чейни и Рамсфельдом. О взаимном понимании и доверии говорить здесь не приходится. При любой возможности ей дают понять, что не она главный игрок в команде. Это довольно унижительно. Зато президент дорожит ее мнением.

— Аль-Каида нанесла нам удар. Мы уже заявили о том, что не видим разницы между террористами и государствами, дающими им убежище. Не мы выбираем Афганистан, Афганистан уже выбрал нас, — она выразительно смотрит в сторону Чейни. — Американский народ нас не поймет, если мы начнем с Саддама.

Ну что ж, кажется, других мнений нет. Ирак или Афганистан. Решать будет президент.

— Спасибо всем за участие в этом серьезном разговоре. Через два дня я сообщу вам о своем решении.

Гости разъехались. У Рамсфельда плохое настроение. Похоже, Тенет перехватывает инициативу в войне с терроризмом. Где это видано, ЦРУ будет диктовать Пентагону правила игры. В его представлении должно быть наоборот. Но с другой стороны, ему понятно, что нельзя повторять ошибку русских. Многочисленность армии не обеспечит победу в Афганистане. Тенет прав, нужны точные оперативные данные. Придется сотрудничать.

Уже на следующий день после атаки на Америку Рамсфельд дал распоряжение генералу Томми Фрэнксу, возглавляющему Центральное командование вооруженных сил, подготовить план военной операции в Афганистане. За три дня такие задания не выполняются. Фрэнкс работает 24 часа в сутки. Для этого ему надо, по крайней мере, 15 чашек крепчайшего кофе и две пачки сигарет, не считая сигар. В Пентагоне генерала называют машиной, работающей на смеси никотина с кофеином. Еще там знают, что отношения между генералом и Рамсфельдом не складываются.

У Фрэнкса четыре больших звезды на погонах, ранение, полученное во Вьетнаме, участие в войне в Персидском заливе. Казалось бы, с таким опытом он может рассчитывать на доверие. Только Рамсфельд не тот человек, который может доверять кому-либо. Он изводит Фрэнкса бесконечными вопросами, ставя под сомнение каждое решение генерала. В конце концов, дело доходит до ультиматума. Рамсфельду приходится уступить. С ним и так никто не хочет работать.

Ну, да ладно. Пора узнать решение президента.

— Значит так, начинаем с Афганистана.

План Тенета одобрен. Он получает карт-бланш на ведение войны с Аль-Каидой. Отменены все старые правила. Времени на совещания больше нет. Скорость решает все.

На борту вертолета Ми-17, пересекшего границу Афганистана 26 сентября 2001 года, летят десять человек. Это спецгруппа во главе с Гари Шроеном, у которого за плечами двадцать пять лет оперативной работы в разведке. Группа состоит из таких же, как он, ветеранов, но есть и несколько молодых ребят. Для них это первая операция. Вертолет приземляется у высокогорного кишлака. Угрюмые таджики встречают гостей. Гари и еще пара человек свободно говорят на дари и фарси.

— Ассаламу 'aleyкум. — Они почтительно передают какой-то пакет старейшине. — Все в порядке. Можно располагаться. Распоковываемся, ребята. Вода и еда только из своих запасов. С местными общаться приветливо и уважительно.

Молодые начинают установку лагеря. Первая связь с Центром.

— Долетели. Устраиваемся. Вокруг нормальный феодализм середины 12-го века.

Кто-то из молодых открывает тяжелый рюкзак.

— What a fuck is that, Gary?¹

— Спокойно, парень. Здесь около двух миллионов. Вполне возможно, мне понадобится больше.

— Да зачем этим людям доллары? Неужели они знают, что это такое?

— А то!.. Я здесь как раз для того, чтобы раздавать зеленые направо и налево.

Гари оказался прав. Доллары работают и при феодализме. Уже на следующий день ему удается встретиться с Фахим Ханом, ставшим лидером Се-

¹ Это что еще за фигня, Гари?

верного альянса после смерти Ахмеда Шах Масуда¹. Шроен был близко знаком с Масудом и считал его своим другом. Пойдут ли разрозненные племена Северного альянса на сотрудничество с американцами после потери своего главного лидера? Таджики и узбеки, населяющие северную часть Афганистана, издавна воюют с пуштунами, ставшими главной опорой Талибана на юге. Они даже говорят на разных языках.

Шроен показывает Фахиму фотографию горящих Близнецов. Дома высотой с горы. Тот явно потрясен увиденным.

— И это сделали бойцы Талибана?

— Нет. Это дело рук Аль-Каиды. Вы ведь враждуете с ними тоже?

— Друзья наших врагов — наши враги.

— Что вам нужно, чтобы начать с ними войну до наступления зимы?

Фахим смотрит на тяжелую сумку Шроена.

— А ты спрости аксакалов, достопочтенный Гари.

Неделю Шроен мотается по горам, ведя переговоры с лидерами Северного альянса, раздавая сотни тысяч долларов тем, кто согласен сотрудничать с американцами. В блокнот он записывает все, о чем его просят старейшины.

— Молитесь Аллаху, и он пошлет то, о чем вы его просите. Прямо с неба. А я скажу, где подобрать эти подарки.

Шроен на связи со своим лагерем. Лагерь на связи с Центром. Уже через несколько дней с неба начнут падать первые подарки: оружие, продовольствие, передвижные госпитали, медикаменты, корм для лошадей и даже седла. На головы тех, кто отказался сотрудничать, вскоре посыплются бомбы. Такие новые условия игры. Кто не с нами, тот против нас.

В лагере тоже не сидят сложа руки. Идет сбор информации. Центр должен знать точное расположение лагерей Аль-Каиды и Талибана. Чем точнее координаты, тем успешнее война.

Это работа серьезная и опасная. Попытка контакта с вождями Талибана провалилась. На переговоры с американцами никто из них не явился. Зато мулла Омар пытался передать через своих посредников в Таджикистане предложение русским заключить союз против американцев. Только ничего у муллы не получилось. На такое соглашение с ним не пошли.

Тем временем в Америке готовятся еще несколько групп на помощь первой. Идет срочный набор бывших «морских котиков», бойцов «Альфы» и «Дельты». Готовят своих людей для отправки в Афганистан и англичане. Эти элитные группы вступают в бой с противником совместно с Северным альянсом. Предусмотрены большие потери, где-то до трети состава, но главная работа остается за оперативниками. Офицеры ЦРУ продолжают разведку. Время идет. Уже известны объекты уничтожения. Уже надо бомбить. Война ведется две недели, но только силами спецназа и разведчиков. Сколько времени они могут продержаться? Талибан и Аль-Каида в несколько раз превосходят их численностью.

— *Where is the fucken military?*²— Вопрос, конечно, интересный.

¹ Лидер Северного альянса, противостоящего Талибану. Был убит в результате покушения незадолго до начала вторжения американцев в Афганистан.

² Ну, и где эта гребаная армия?

На запуск военной машины требуется время. Конечно, Фрэнкс тоже спешит. Он понимает, что нельзя надолго оставлять наземные группы спецназа без прикрытия. Но если спецгруппы вылетели налегке, то армии нужны базы. Уходит время и на дипломатические переговоры. Тут мистер Путин немного помог. Спасибо. Узбекистан предоставил в распоряжение американцев бывшую советскую военную базу. Оттуда 7 октября вылетели сорок боевых самолетов, начавших методичную бомбардировку военных объектов Талибана. Ну, все. Теперь в мире знают о начале военных действий в Афганистане. Дело, вроде, наладилось. Можно готовиться к штурму Мазари-Шариф.

Не совсем. На одной из утренних встреч с президентом Тенет пожалуется ему на замедленность действий армии.

— Ну, что у тебя там, Дон? — живо отреагирует Буш.

— А то, что я до сих пор не знаю, кто командует парадом.

— То есть?

— Это военная операция, да? Так почему часть наземных войск остается в подчинении ЦРУ?

*Holly crap!*¹ Войска спецназа работают совместно с оперативной разведкой, не думая о том, что они рапортуют разным начальникам. У них, вроде, неплохо получается.

— Это же особая война, мистер Рамсфельд. Армия не может вести ее без разведанных, а оперативники должны работать самостоятельно, не дожидаясь приказов Центра.

Может, министр обороны и не согласен с таким объяснением, только тут уже вмешивается вице-президент Чейни:

— Дай разведке спокойно делать свое дело, Дон.

Кажется, бюрократическая атака отбита. Какое ошибочное умозаключение. Через пару дней офис Тенета навещает генерал Фрэнкс.

— Нам нужно, Джордж, чтобы твои люди, работающие в Афганистане, подчинялись мне.

Опять они за свое.

— Знаешь, Томми, я бесконечно уважаю твои военные заслуги, да и мужик ты, вроде, неплохой, но что ты понимаешь в оперативной работе и как ты собираешься ими командовать?

Томми Фрэнкс мужик и впрямь неплохой. Он уезжает, оставив тяжелый запах сигарного дыма в кабинете некурящего Тенета. Они таки договорились о том, что ЦРУ подготовит специальный меморандум, уточняющий распределение обязанностей и координирование действий с армией. Что поделаешь, надо как-то отбиваться от бюрократов.

Думаете, Рамсфельд на этом успокоился? Он только ждет удобного момента показать, что план ЦРУ неосуществим. В конце октября президенту на стол положен доклад DIA². Картина войны у военных разведчиков представлена в гораздо более пессимистических тонах, чем у Тенета. По их мнению,

¹ Черт возьми!

² Разведывательное управление армии.

сил Северного альянса недостаточно, чтобы взять город Мазари-Шариф до наступления зимы. К тому же они не видят противостоящих Талибану сил на юге. В воздухе повисло угрюмое слово «Вьетнам».

Утром 9 ноября очередное совещание, на котором выступает обеспокоенный Рамсфельд.

— Ну что, плохи дела, да? — обращается он к офицерам ЦРУ, которых привел с собой Тенет.

— Никак нет, сэр! Мазари-Шариф падет в течение следующих 24 часов.

И как в воду смотрели. Пару BLU-82¹ сделали свое дело. Это такие штуки весом по семь тонн каждая и три с половиной метра в длину. Они слетают вниз на парашюте и при взрыве не оставляют кратера. Во Вьетнаме такими «косилками» вычищали территории от мин и готовили площадки для посадки вертолетов. Навести на цель их сложно, но при взрыве впечатление они производят устрашающее.

Бойцы Талибана дрогнули и покатались из Мазари-Шарифа на своих гордых рысаках. Кабул они сдали без боя. Но война уже успела к этому времени показать свое уродливое лицо.

На чьей стороне только не был Абдул Рашид Дуступ. Жизнь заставила его метаться от одного вражеского лагеря к другому. Умный был. Беспощадный. Еще Наджибулла присвоил ему звание генерала, а когда не стало Наджибуллы, переходил Дуступ то от Масуда к талибам, то от талибов к Масуду. И границу с Узбекистаном тоже переходил, и даже встречался с президентом Каримовым. Свободно говорил на узбекском, туркменском, пушту, дари и русском, а английского не знал, но увидев сумку Гари Шроена, доверху набитую долларами, быстро понял, на чью сторону надо переходить на этот раз. Город Кундуз, разбитый бомбежками, он взял без труда, а бежавшим от туда талибам обещал амнистию, если они сложат оружие. Талибы сдались, побросав оружие в кучу, но, видя, что никто не собирается их обыскивать, кое-что припрятали. Скорее всего, Дуступ рассчитывал продать сдавшихся талибов американцам, потому что не отпустил их домой, как обещал, а отвел в средневековую крепость Калай Джанги, что неподалеку от Мазара. По разным подсчетам там скопилось до шестисот голодных и полураздетых людей, ожидающих своей участи. Восстание началось на следующий день, когда двое американских сотрудников ЦРУ с узбеком-переводчиком прибыли в Калай Джанги. Один из них был убит во дворе крепости, где вел допрос, но второму удалось прорваться к укрытию. В крепости оказались немецкие журналисты и несколько сотрудников Красного креста. Услышав стрельбу, они успели добежать до бастиона, охраняемого войнами Северного альянса. Рано или поздно с неверными было бы покончено, не окажись у одного из журналистов спутникового телефона. Через несколько часов на территорию крепости въехал «лендровер» с десятью американскими спецназовцами. Люди Дуступа хорошо знали, что за этим последует. Они кинулись врассыпную из крепости, унося раненых. Ведение подобных операций было уже отработано в Кундузе и Мазар-Шарифе: сначала налет бомбардировщиков, потом атака

¹ Название бомбы.

Северного альянса. Многодневное сражение закончилось резней и мародерством, остановить которые спецназовцы были не в силах. Оставшиеся в живых восемьдесят бойцов Талибана сложили оружие еще раз. Среди них оказался один американец, бог знает каким ветром занесенный в это страшное место. Кадры сражения, снятые немецкими журналистами, обошли весь мир. Не такая уж и новая эта война с терроризмом. Все та же кровь и изувеченные мертвые тела, разбросанные в песке, среди развалин древней крепости Калай Джанги.

Войска генерала Рашида Дуступа начали наступление на последний оплот Талибана город Кандагар.

События стали развиваться слишком быстро. Возникла новая проблема. Что делать, если узбеки с таджиками, преследуя бегущий Талибан, начнут резать пуштунов?

— Нам только гражданской войны не хватало, Джордж, — узнавшая о бунте в Калай Джанге, Кондолиза Райс чрезвычайно озабочена положением дел в Афганистане. — Вы можете предотвратить кровавую бойню в Кандагаре?

— Трудно сказать. Наши люди приставлены к старейшинам северных племен. Попробуем убедить их вести себя пристойно.

Странно, но это сработало. А может быть, дело было в чем-то другом. Кто его знает почему, но в Кандагаре обошлось без резни.

— А новое правительство? Кто у нас возглавит освобожденную страну? Хорошо бы пушун, но только при условии создания коалиции с другими племенами.

— Ну что ж, господин Тенет, о бедном Карзае замолвите слово. Он у вас давно на примете, кажется, еще со времен вторжения русских в Афганистан. Тогда он был на стороне моджахедов и активно сотрудничал с американцами. Но с Талибаном у Хамида Карзая отношения не сложились, и пришлось ему бежать в соседний Пакистан. Там вы его и нашли...

— Есть у нас такой человек, мисс Райс, он как раз из пуштунов, и к тому же противник Талибана с Аль-Каидой. Из знатных. Образован. Говорит по-английски.

— Вот и прекрасно. Возьмите его, пожалуйста, на особое попечение.

Скорее всего, Хамид Карзай не был хорошим воином, а может, Талибан испытывал к нему особую неприязнь. Так или иначе, они без труда разгромили небольшую группу его сторонников, перешедшую вместе с ним границу Пакистана в ночь на 9 октября. Зато Хамид Карзай был человеком умным и вовремя воспользовался спутниковым телефоном, оставленным ему американцами. За ним был срочно послан вертолет с отрядом спецназа.

Карзая благополучно спасли от неминуемой смерти и доставили обратно в Пакистан.

Второй раз он перешел границу уже вместе с двадцатью бойцами группы «Альфа». Весть о его возвращении быстро распространилась среди пуштунских племен, готовых в любую минуту переметнуться на сторону сильного. Казалось

бы, число сторонников Карзая растет с каждым днем, но при первой же стычке с Талибаном они рассыпались, оставляя его на произвол судьбы. Сохранение жизни будущего политического лидера Афганистана стало одной из главных задач ЦРУ. Второй раз это было сделано уже под Кандагаром, куда война докатилась в начале декабря. Тут не обошлось без ошибки наводчика, забывшего, что после замены батареек система наведения GPS покажет его собственные координаты. Под friendly fire¹ погибли восемь человек. Среди них не было Карзая только потому, что во время бомбежки спецназовцы повалили его на землю и прикрыли своими телами. Усилиями этих людей Афганистан получил главу нового переходного правительства.

Кажется, дело сделано. Подождите, а где же Усама? Ведь это его президент обещал выкурить из норы. А нору, меж тем, стало снегом заносить. Зима пришла в суровые Белые горы, и солдаты Северного Альянса категорически отказывались карабкаться на вершины Тора-Боры, да еще в священный праздник Рамадан. А именно там, в пещерах этих гор и сидел самый главный террорист в мире. И сил на то, чтобы его выкурить оттуда, прямо скажем, не было.

Перекрыть все тропинки перевалов ста бойцам спецназа было не под силу, сравнять горы с землей даже после трех суток непрерывной бомбежки было невозможно. К тому же, генерал Фрэнкс отказался прислать туда рейнджеров. Он вообще вдруг потерял всякий интерес к Афганистану. Так что осталась одна надежда на генерала Мушаррафа.

— Как ты думаешь, Джордж, могут пакистанцы вместе с твоими людьми закрыть перевалы? — спросил президент Тенета.

— Нет, сэр. Ни одной армии в мире не по силам с этим справиться в горах Тора-Боры.

Настал черед Усамы тайными тропами уходить в Пакистан. Что он и сделал.

В Вашингтоне праздничное оживление. Зажглись огни главной елки страны у Белого дома. Президент принимает поздравления с завершением удачной операции в Афганистане. Страна должна знать своих героев в лицо. С экранов телевизоров не сходит министр обороны Рамсфельд.

— Позвольте, он что, имел какое-то отношение к этой войне?

— Ну да. В смысле, всячески мешая ее проведению.

— Как бы у него голова не закружилась от такого успеха.

— Не волнуйтесь за него. У старика отличное здоровье.

Несмотря на рождественские каникулы, работа в комнате позади Овального кабинета продолжается. Надо решать, что делать с военнопленными. Пока их немного, Бог знает сколько будет со временем. Хорошо бы открыть специальную тюрьму, но не на территории США. Место заключения этих людей подсказано Рамсфельдом: военно-морская база в заливе Гуантанамо, на Кубе. Подальше от журналистов и всех других лиц, желающих знать то, о чем им знать не положено. Но что делать с ними дальше? Какие суды и по каким законам будут их судить? Можно, конечно, создать комиссию из специалистов по военному праву, подумать, рассмотреть существующие нор-

¹ Огонь по своим в результате ошибочного наведения.

мы в мире, обсудить, вынести на утверждение Конгресса. Но только это не стиль Белого дома. Такими глупостями занимается Колин Пауэлл в Государственном департаменте. Он усадил двадцать военных адвокатов за работу над составлением нового судебного права для военнопленных. Вот пусть они там и работают. А Чейни и Эддингтон продолжают свою работу в Овальном кабинете с президентом, который теперь может подписывать законы по своему усмотрению. Он и подписывает новый закон о специальных военных комиссиях. Заключение в Гуантанамо не обладают теми же правами, что и граждане Америки. Их будет судить коллегия судей из семи человек. Две трети голосов достаточно для признания вины подсудимого, на смерть можно осудить только единогласно. Вроде, все правильно. Что тут, собственно, такого? В защите-то им не отказано. А то, что в правовом государстве так не делается. Новые законы в правовом государстве принято обсуждать, вникать во мнения независимых экспертов. Над ними принято работать творчески, учитывая как все ранее существующие законы, так и последствия от принятия нового. Еще голосовать принято. Но, по мнению Чейни, в чрезвычайной ситуации нельзя потакать таким вредным привычкам. Закон написан верным Эддингтоном, у которого есть железный аргумент для своих оппонентов: «Кровь следующих жертв террористической атаки будет лежать на вашей совести». Не все могут с этим поспорить, но как далеко можно зайти, ссылаясь на чрезвычайность ситуации?

Колин Пауэлл случайно узнает о подписании Бушем закона о военных комиссиях, включив кабельное телевидение в своем офисе.

— *What a fuck was that?*¹ — спрашивает он по телефону Кондолизу Райс.

А ей-то откуда знать. Она давно не в курсе того, что происходит в комнате за Овальным кабинетом. Но на этот раз как-то и ее достало.

— Если мое мнение вас не интересует, зачем я тут нужна? — вопрос поставлен перед президентом решительно. Бушу все-таки как-то тоскливо оставаться один на один со «стервятниками, да и что скажет Лора? Она очень ценит мисс Райс.

— Ну, зачем ты так, Конди. Сейчас не время для выяснения отношений. Тебе не нравятся Чейни с Рамфельдом... так и не работай с ними. Ты, в конце концов, мой советник. Обещаю ничего от тебя больше не скрывать.

На этом и порешили. Но шум уже пошел по Вашингтону. Запахло очередным скандалом.

— Господин президент, позвольте вам напомнить, Сенат ратифицировал в свое время Женевскую конвенцию и мы, как вам этого не хотелось бы, обязаны ее соблюдать.

Не напрасно Чейни ненавидит журналистов в придачу к Конгрессу.

— Ну, какие они военнопленные, господа сенаторы? Это же убийцы и преступники. Назовем их «вражеские боевики». Вы уже забыли, что на их руках кровь невинных жертв?

Забывать такое трудно. Может быть, Буш и прав. Единодушие так и не было достигнуто, но под влиянием Райс и Пауэлла, президент идет на компромисс: хотя Женевская конвенция и не распространяется на членов Аль-Каиды, обращение с ними должно гуманным.

¹ Это что еще за фигня?

Между тем, первые двадцать «вражеских боевиков» доставлены в Гуантанамо, где для них еще нет даже тюремных помещений. Перед комиссией юристов, прибывшей из Вашингтона, открывается довольно жуткая картина: в клетках под открытым небом сидят люди, одетые в оранжевые робы заключенных. Впечатление неприятное. Впрочем, даже образцовая тюрьма — место не самое приятное. Джеку Голдсмиту никогда не приходилось видеть ничего подобного. Зачем он вообще согласился участвовать в составе этой комиссии? Сидел бы себе тихо в университете, преподавал право, писал научные работы, делал карьеру. Жалеть об этом уже поздно. Ему трудно забыть глаза людей, с ненавистью глядящих на него из клеток. Ну что ж, надо сосредоточиться на их преступлениях. Джек листает дела заключенных, протоколы допросов. А где обвинения? Нет обвинений. Есть предположения. Эти люди, возможно, занимались террористической деятельностью. Какой конкретно? Неизвестно. Что делать? Согласно существующим законам — освободить. Но существующие законы не устраивают людей, пригласивших профессора Голдсмита в эту поездку. Они рассчитывают на его готовность заняться разработкой статуса «вражеских боевиков» и обоснованием их содержания в тюрьме без предъявления обвинений.

— Почему столько сомнений, Джек? Ты что, не понимаешь, мы не можем отпустить их на волю, даже если не докажем их вину. Это же враги, Джек. Это наши смертельные враги.

Искушение велико. Джек Голдсмит принимает предложение возглавить тот самый офис, из которого был уволен его друг Джон Ю. Но вопросы остаются.

Так в чем, собственно, обвинять «вражеских боевиков»? Одно дело главари «Аль-Каиды», но как поступать с рядовыми бойцами Талибана? Каковы разрешенные методы дознания? Если собак в намордниках можно использовать для устрашения на допросе, то почему нельзя снять намордник, когда подсудимый не дает показаний? Если «крайние методы допросов» с причинением боли разрешены инструкцией, то в чем их отличие от пыток? Если можно ударить ладонью по животу, то кто сможет доказать, что удар не был нанесен кулаком? Как проверить правдивость показаний заключенных?

Не только профессор Голдсмит пытается найти ответы. Задействованы специалисты Министерства юстиции и военные адвокаты. Пишутся тома инструкций, но все они секретные. К писанию и обсуждению меморандумов допущены всего несколько человек. Это исключительно лояльные президенту люди. Свои. Практически ни у кого другого нет возможности проверить и установить легальность документов. Похоже, паранойя Чейни разрастается. Еще немного, и демократию нужно будет заносить в Красную книгу, как особо ценный вид, подвергающийся истреблению.

Много дел и у ЦРУ: война в Афганистане еще не закончена, но уже нужны новые методики ведения допросов. «Погружение в воду» считается самым жестким и эффективным. Каждый, кто собирается применить этот метод, должен опробовать его на себе. Таково правило. Привязанному к доске с мешком на голове допрашиваемому льют на голову воду. Через несколько секунд у него возникает паника от страха захлебнуться. Только несколько

особо опасных узников Гуантанамо будут допрошены подобным образом, но известно об этом станет во всем мире. Один из тех, кто категорически против применения пыток, сенатор Джон Маккейн.

— Вы что, хотите, чтобы наших ребят, попавших в плен, пытали таким же образом? К тому же, имейте в виду, под пытками человек готов сказать все, что от него требуется, лишь бы прекратить страдания.

И в самом деле, можно ли верить показаниям, полученным таким образом, и будут ли они считаться законными? Может, лучше сразу передавать заключенных в Египет или еще куда? Пусть их там пытаются. Там-то, по крайней мере, не задают вопросов, на которые у правосудия нет ответов.

Между тем, Вашингтон стал походить на поле боя. Оказалось, что далеко не все в Минюсте разделяют мнения Дика Чейни и Дэвида Эддингтона. Послышались голоса в Конгрессе, говорящие о том, что начавшаяся война с терроризмом угрожает американской демократии. Так можно дойти и до авторитарного режима...

— Подождите, но есть на них Верховный суд, — вдруг вспомнил кто-то.

Но и Верховный суд высказался неопределенно: «Ведение войны не освобождает от соблюдения законов, но у нас нет для вас законов, которые вы должны соблюдать во время войны».

— Это как прикажете понимать?

— Да как хотите, так и понимайте.

— А что это они все «война», да «война»? Разве война уже не закончена?

— Какой там «закончена»! Все только начинается. Настоящая война впереди.

Ночная прохлада, наступившая в сентябре, принесла облегчение обитателям барака. Измученные дневной жарой, они блаженно засыпали ночью под неугомонный стрекот цикад. Даже Джулиус прекратил свои ночные бдения. Частые грозы обильно поливали клумбы, посаженные привезенными Лизой роскошными цветами, да и само здание приняло более или менее приличный вид. Крышу починили, подтеки на потолках закрасили, а перекосившиеся комоды заменили новыми. Комиссия присланная губернатором, не нашла существенных нарушений в устройстве быта обитателей богадельни. Жизнь шла здесь своим чередом.

Однажды ночью Рэя разбудил отчаянный стук в окно.

— Хайди, детка, это ты? Что случилось? Да не стучи ты так. Разбудишь Джулиуса. Сейчас я выйду к тебе, — он натянул брюки и вышел во двор, где его поджидала Хайди.

— Хайди, что случилось? Ты в порядке? Ты можешь мне толком сказать, что с тобой? Хайди, ты пьешь таблетки? Помнишь, мисс Маккин велела тебе пить таблетки. Каждый день по одной, такие голубенькие. Влюбилась? Ты влюбилась? Детка, ты меня разбудила среди ночи сказать, что влюбилась. Хорошо, Хайди, ты пьешь таблетки? Хорошо. В кого ты, дурочка такая, влюбилась? Кого-кого? Какого еще сенатора? Хайди, ты пьешь таблетки? Ну, хорошо. Как зовут твоего сенатора? Джонни. Хорошо. Сенатор Джонни. Замечательно. А ты принцесса. Отлично. Ты его маленькая принцесса. Да где же ты его отко-

пала? К нам приходил сенатор Джонни? Отлично, Хайди. Надо пить таблетки, понимаешь? Голубенькие. Раз в день. Иначе снова поселишься у нас в бараке и к тебе будет приходиться сенатор Джонни. Ну, не сердись. Ну, хорошо. Ну, расскажи все по порядку. Давай сядем сюда, детка. Давай всё сначала.

Что было? Все было? У вас все было? Господи, Хайди. Да в каком еще особняке? Так. Подожди. Он тебя куда-то отвез? Так. В большой дом со стеклянными стенами. И сказал, чтобы ты звала его Джонни. Сукин сын, этот Джонни. Что дальше? Ты с ним летала на самолете?

Детка, ты ничего не путаешь? Куда ты с ним летала на самолете? За таблетками? Ну, хорошо, не буду больше про таблетки. Они тебе все равно не помогают. И охранник у него тоже есть? Залетела? Куда ты залетела? Беременна? Как беременна? У тебя что, будет ребенок? Да ты что, и вправду сошла с ума? Ты же сама ребенок! Хайди, ты уверена? Ребенок. Ребенок. Ребенок. Подожди-подожди-подожди-подожди... А ведь я знаю его... Пень обоссанный... ненавижу его... ненавижу его. Убери свои руки, Хайди. Да отпусти ты меня, ну что ты вцепилась!

— Рэй! — закричала выскочившая из барака Пэт. — Ты не видел Джулиуса? Его нет в комнате.

Нам сейчас звонили из полиции". Какого-то старика насмерть сбила машина на соседней улице.

Господи, сделай так, чтобы это был не наш Джулиус! — И она перекрестилась на бегу.

Но Господь так не сделал. Посреди улицы, освещенной фарами полицейских автомобилей, навзничь лежал старик, одетый в ночную рубашку, с аккуратно завязанными тесемочками на спине. Пэт узнала эти тесемочки и опустила на колени перед телом несчастного Джулиуса.

Уже на следующий день над этим телом добросовестно поработали в похоронном доме «Фирелли и сын». У них же был куплен и недорогой гроб, в котором Джулиус лежал, по словам Пэт, «совсем как живой». Проститься с покойным пришли всего несколько человек, среди которых был уже немолодой сын Джулиуса и директриса. Она положила на гроб небольшой венок с надписью «Незабвенному Джулиусу Ричардсону от родных и друзей». На секунду ей показалось, что волна каких-то чувств пробежала по лицу сына покойного, когда тот прочел эту надпись. После смерти жены старик был всеми забыт и его никто не навещал в заведении, где он провел последние 10 лет своей жизни. Церемония прощания была короткой. Катафалк с гробом отправился на кладбище, а грустные директриса и Пэт вернулись в заведение. С ними не было Мэри Баверсток, боявшейся вступить на территорию негостеприимных соседей, зато она написала письмо, в котором говорилось: «Дорогой Джулиус! У меня всё в порядке. Надеюсь, ты в порядке тоже. Благослови Бог тебя, всех нас и Америку. Прощай. Мэри».

Потерявшаяся в суматохе той злосчастной ночи Хайди нашлась на следующий день в городском парке, откуда полицейская машина доставила ее в госпиталь. Голубенькие таблетки были срочно заменены на беленькие, и уже через две недели Хайди отпустили домой под надзор родителей.

Зато у Рэя дела обстояли не так благополучно. Не находя себе места, он метался по бараку. На все попытки директрисы выяснить, что с ним происходит, он отвечал одними и теми же загадочными для нее словами «Так нель-

зя». Приглашенный в заведение психиатр решил, что причиной обострения болезни Рэя была гибель Джулиуса, и прописал голубенькие таблетки. Довольно скоро таблетки возымели действие, и теперь Рэй просиживал целыми днями во дворе на скамейке, стряхивая пепел сигареты на свои шлепанцы и распушивая промышлявших у его ног голубей. Он не обращал ни малейшего внимания на Ромео, все так же застревающего в дверях в своем инвалидном кресле и тщетно взывающего о помощи. У худенького Кэвина не было сил вытолкнуть это кресло во двор, и Ромео извергал потоки брани на бедного старика. В поисках защиты Кэвин отбегал в сторону безучастного Рэя, рассыпая по двору крошки недооженных булочек, которые, деловито перебирая лапками, подъедали голуби. Вид этих душераздирающих сцен надоел Пэт, и она решила поговорить с Рэем. Подсев к нему на скамейку и выкурив сигаретку, она осторожно начала:

— Слушай, а ведь я совсем забыла тебе сказать, что той ночью, когда машина сбила несчастного Джулиуса, я видела Хайди в нашем дворе. Ты случайно не знаешь, что ей здесь было надо?

Рэй долго молчал, словно раздумывая, стоит ли отвечать. Пэт терпеливо ждала. И Рэй, наконец, выдал из себя:

— Она пришла сказать мне кое-что. Можешь не верить, но она сказала, что беременна от сенатора Эванса.

— А от духа святого она, случайно, не беременна? — подпрыгнула Пэт. — То-то я смотрю, ты сам не свой. Ну, какой там, на хрен, сенатор! Да откуда он ее знает-то, эту нашу замухрышку несчастную. У него жена, такая хорошая женщина, столько для нас сделала. Торт нам привезла на праздник, цветов вон клумбу насажала. Я читала, что у нее нашли рак. Будут делать операцию. Господи, Рэй, да не верь ты Хайди, она ж больная на голову.

— Пэт, — совсем тихо сказал Рэй, — ты помнишь, сенатор приезжал к нам летом, еще когда жара стояла страшная и Пенни умерла прямо в коридоре?

— Ну, — сказала Пэт.

— Так вот. Он присмотрел ее еще тогда. Можешь верить, можешь — нет, но Хайди не станет выдумывать того, чего не было.

Пэт поднялась со скамейки и встала напротив Рэя, уперев руки в бока.

— Ладно. Даже, если она ничего не придумала, и все так, как ты говоришь, это проблема сенатора Эванса, а не твоя, понимаешь? — Пэт склонилась над Рэем, и, выставив указательный палец, повела им несколько раз из стороны в сторону, — и ты тут ничего сделать не можешь. Так что, красота моя, поди-ка лучше побейся и прими душ.

Развернувшись, она направилась в барак. Просидев еще с полчаса на скамейке, туда же поплелся и Рэй. Какой-то шум доносился из столовой. Директриса, стоя перед телевизором, что-то взволнованно произносила, обращаясь к Пэт. Рэй подошел поближе. Шел прямой репортаж из главного университета штата, того самого, где в начале лета побывал сенатор Эванс. Университетский городок был перекрыт. Повсюду стояли полицейские машины с мигалками.

Мальчики и девочки взволновано рассказывали репортерам местного телевидения о случившемся.

— Он же был болен, абсолютно болен, — причитала Джуди, — ему нужна была помощь психиатра. Ничего бы этого не произошло, получи он во время профессиональное лечение.

Рэй словно очнулся.

— Да что случилось-то?

Ему никто не ответил. Подключившаяся диктор CNN, сообщала: «Мы ведем репортаж из университета, где по последним данным, сегодня в 11 часов утра один из студентов открыл огонь по своим однокурсникам. Тридцать человек, из них двое преподавателей, убиты, девять человек ранено. В завязавшейся с полицией перестрелке нападавший студент погиб». Дальше шли ужасающие подробности бойни. Все молча прослушали сообщение.

Пэт, высморкавшись и вытерев слезы платком, подняла глаза на застывшую в горе директрису.

— Джуди, я не понимаю только одного. Почему эти дети не могли себя защитить? Смотри, какие здоровенные мальчики. Накачанные. Спортсмены. Да они могли просто свернуть голову этому несчастному. Ну, да, конечно, у него было оружие... и ...и первые попавшиеся ему под руку были обречены. Он неожиданно ворвался и начал пальбу... но... но в других-то аудиториях слышали, что идет стрельба, почему они просто валились на пол и закрывали голову руками? Они же могли забаррикадироваться, в конце концов. Почему только один старик-преподаватель держал дверь и не пускал этого психа в аудиторию до тех пор, пока тот и его не пристрелил, а здоровенные мальчики выпрыгивали в окна и ломали себе ноги? Почему мы не учим наших детей защищаться?

— Я еще меньше тебя понимаю, что происходит, — тихо ответила директриса. А как у такого больного мальчика могли оказаться два пистолета?

Она обернулась к Рэю.

Тот, замерев, уставился в экран. Лицо его исказилось какой-то непонятной гримасой боли.

— Рэй, что с тобой? Тебе нехорошо? — встрепенулась Джуди.

— Да-да, — забормотал он, — надо — надо защищать наших детей, если они не могут защитить себя сами. Вот и Хайди беззащитная. Совсем беззащитная. Она же пришла ко мне за помощью, а я ничего не понял. Ничего не понял. А как ей помочь? Что я могу? Кто заступится за Хайди? Кто заступится за маленькую Хайди?

Директриса понимающе переглянулась с Пэт. Совсем плохо дело с парнем. Она тихонько вытащила мобильник и набрала номер госпиталя. Через полчаса Рэй покорно и безразлично отправился вслед приехавшим за ним санитарам.

И снова жизнь в богадельне потекла своим чередом. Дни проходили за днями между завтраками и ужинами, взвешиваниями и осмотрами.

На место Джулиуса поселился Тони Каstellо, получивший кличку Генерал, должно быть, за прямую осанку и гордый профиль. Появление старого красавца вызвало настоящий переполох в дамском обществе барака. Мэри Баверсток ежедневно подсовывала белый конверт с письмом под дверь его комнаты. Генерал никогда этих писем не читал, а складывал их в стопку на тумбочку возле своей кровати. Другая дама — Нэнси По и вовсе перешла к наступательным действиям: каждый вечер в одно и то же время она появлялась в комнате Генерала и решительно направля-

лась к его кровати. А поскольку кровати в богадельне не были рассчитаны на двоих, Генералу приходилось уступать место даме. Никто не замечал ночных перемещений Нэнси, пока Рэя лечили в госпитале и старик мог спокойно спать на его месте, но когда Рэй вернулся в барак, бедному Генералу пришлось убраться в коридор на старое потертое кресло, где об его вытянутые ноги несколько раз споткнулись ночные уборщицы, недоумевающие, с чего это старый хрен растянулся у них на пути, вместо того, чтобы спать в своей постели. Рэю, в принципе, было наплевать на то, кто спит на соседней кровати, но беда была в том, что Нэнси По страшно храпела. В первую же ночь, проворочавшись пару часов, он вышел в коридор в поисках места спасения от доносившегося из комнаты храпа. Примостившись в кресле напротив Генерала, он еле дождался утра и, совершенно разбитый, отправился в столовую на завтрак, где первым делом увидел выпавшуюся Нэнси, сидящую за одним столом с его соседом по комнате. Вид у того был изрядно помятый.

Утром директрисе было доложено о странном поведении троицы, и она приступила к расследованию. Нэнси По была известная в бараке храпунья. Она перемещалась из комнаты в комнату, пока не достигла гармонического согласия в соседстве с полуглухой Эвелин Крон. На ночь обе старушки вынимали вставные челюсти, но у Эвелин был еще и слуховой аппарат. Вытащив его из уха, она засыпала, нисколько не обеспокоенная могучим храпом, издаваемым Нэнси.

Осторожно расспрашиваемый Рэй тут же сообразил в том, что Нэнси По провела ночь в его комнате, но в полном одиночестве. Генерал уступил ей место, как только она присела на его кровать. Он даже не раздевался и ничего «такого» между ними не происходило.

Вызванный в кабинет Генерал с порога заявил о своей невинности, в которой, надо сказать, директриса и не сомневалась, учитывая его возраст и данные медицинского обследования. Осталось выяснить, что делать с Нэнси.

— Дорогая, — осторожно начала директриса, — мне стало известно, что вы проводите ночи не в своей комнате...

— Ну да, — невинные голубые глаза Нэнси По встретили ее пристальный взгляд, — я сплю в комнате своего жениха. Генерал сделал мне предложение, и мы скоро поженимся. Венчание назначено на зиму, но мы решили лучше узнать друг друга в смысле... ну, вы понимаете — рука старушки сделала определенный жест — ... секса.

— Тони Каstellо спит по вашей милости в коридоре и никакого секса с вами не имел. Побойтесь Бога, Нэнси.

— Откуда вы знаете, — парировала старушка, — у меня есть свидетели, в конце концов...

— Если вы имеете в виду Рэя, то он подтверждает отсутствие интимных отношений между вами. К тому же, ему тоже пришлось спать в коридоре.

— Это сговор, — не унималась Нэнси По. — Он не хочет на мне жениться. Обесчестил меня сначала, а теперь отказывается от своего предложения. Офицеры так не поступают.

— Господи, да с чего вы взяли, что он офицер? Уверяю вас, это заблуждение.

— Ну, не знаю, — Нэнси разочарованно пожала плечами, — его все зовут Генералом...

Директриса почувствовала усталость от этих пререканий. Ей очень не хотелось обижать старушку. А что, если это последняя любовь, правда, с очевидной примесью идиотизма.

— Ну, хорошо, Нэнси, — решила она зайти с другой стороны, — допустим, вы поженитесь с Тони, но в таком случае вам придется покинуть наше заведение. Здесь не разрешается проживание семейных пар. Вы готовы к переезду? Что скажут ваши дети? К тому же, я не думаю, чтобы у Тони нашлись деньги на содержание семьи. Почему бы вам просто не остаться хорошими друзьями, вместе проводить время, играть в «Бинго», ходить на прогулки, смотреть телевизор... и спать... в своей комнате...

— Подождите-подождите, — Нэнси явно заволновалась, — в таком случае он не сможет жениться и на Мэри Баверсток, да?

— Господи, а причем тут Мэри? Она что, тоже собирается за него замуж?

— А как же? Вы что же, ничего не знаете? Она строчит в день по письму моему Тони и подсовывает конверты под дверь. Я сама видела. А потом еще норовит пробраться к нему в комнату, мол, нет ли там ее кошки. Я ее проделки знаю. Она и Стива так же окрутила, только он взял, да и помер. Вот она и набросилась на Генерала. Только ничего у нее не получается пока. Место-то я держу. А если вы мне не разрешите спать в его комнате, она туда — прыг, почище своей кошки, и охмурит его. Только, значит, им не жениться... Денег-то у нее нет ни черта... Зря старается.

— Понимаете, Нэнси, насколько я знаю, Тони нуждается в покое. Он устал от ваших посещений и хотел бы мирно спать в своей постели. Давайте мы с вами договоримся так: вы ночуете в своей комнате, а я поговорю с Мэри и попрошу ее прекратить атаку на Генерала.

Нэнси задумалась на какое-то мгновение. Лицо ее приняло совершенно осмысленное и горькое выражение. Она обвела взглядом кабинет директрисы, увидев портрет сенатора, близоруко прищурилась и вздохнула:

— Делайте что хотите, мисс Маккин. Мне всегда не везло в любви. Я своего покойного мужа не любила ни одной минутки, а мы прожили вместе 45 лет. Просто Тони напомнил мне кого-то, я и сама не могу припомнить кого. Как будто я его уже видела где-то или знала раньше. А может, мне показалось, будто Тони я всю жизнь свою ждала, и вот дождалась сейчас, только поздно уже. Да что я вам рассказываю, милая. Это кто ж такой у вас висит? Не жених ли ваш? Мужчина видный. Красавчик. На артиста, вроде какого-то похож.

— Да что вы, Нэнси! Это же сенатор Эванс. Он к нам приезжал летом. И жена его навещала нас несколько раз. Она нам еще розы посадила во дворе. Помните её?

Нэнси По не смогла вспомнить ни сенатора, ни его жену и выглядела очень усталой. Директрисе пора было заканчивать разговор и начинать свой обычный трудовой день.

Проводив старушку и вернувшись к себе в кабинет, она решительно выдвинула ящик письменного стола. Из угла выкатилась бутылочка с наклейкой «Принимать одну таблетку два раза в день».

«Не буду», — подумала Джуди и задвинула ящик.

Никто не знал, что она подвержена приступам той же самой депрессии, от которой страдали многие ее подопечные. Когда это началось? Да кто зна-

ет, когда это начинается. Дни в бараке пролетали с немислимой быстротой, сливаясь в однообразные годы. Джуди незаметно для себя начала стареть. Однажды она заметила на лбу и возле глаз врезавшиеся морщинки и с тех пор не подходила к зеркалу ближе, чем на полметра.

Она помнила, что поездки за покупками в детстве были настоящим событием для нее и брата. Великолепие праздника в больших магазинах — с бесконечной музыкой, огнями, мороженым и обновками поражало детское воображение. Все наскучило сейчас. Никакого праздника не было ни в торопливом выдергивании первых попавшихся джинсов в секции «Товары для полных», ни в примерке кофточек, напоминающих мешки, с разрезом сзади или спереди. Так же незаметно «тойота» вдруг стала не вмещать ее расплывшее тело и была заменена большим и приземистым «фордом». Каждый вечер, возвращаясь домой из барака, она заскакивала в «Блокбастер» за новым фильмом. Усевшись на диване и равнодушно жуя чипсы, просматривала очередной триллер, засыпая под финальные титры. Суббота была отведена под уборку и стирку. Церковь и магазины — по воскресеньям. Если кому-нибудь взбрело бы в голову спросить ее, верит ли она в Бога, она, скорее даже удивившись возможности такого вопроса, ответила бы — конечно, а как же иначе?

И если бы любопытный зануда начал выпрашивать, что же она понимает под этой верой, она, также не задумываясь, ответила бы: «Просто нужно делать добро, сэр. Где бы и когда бы ты ни был — делать добро всем, кому только можешь. Вот и вся моя вера». В своей душевной простоте она никогда не продвинулась дальше этого убеждения и никогда не задумалась над тем, что ее представление о «добре» может чем-то отличаться от представления «добра» кого-то другого.

Со всей беззаветностью своего сердца Джуди бросилась на помощь Лизе Эванс, каждый день навещая ее в госпитале после операции и пытаясь всячески поддерживать в ней веру в выздоровление. Но что-то подтачивало ее довольно искреннее желание помочь этой женщине. В глубине души она понимала, что навещает Лизу не только за этим. Ей страстно хотелось встретиться в госпитале Джона Эванса, но он был занят как всегда, и приезжал к жене обычно в часы, когда Джуди работала в бараке. Это не помешало сближению двух женщин. Лиза в порыве откровения рассказала о Таше и о своем бессилии завоевать сердце приемной дочери, на что Джуди ответила грустным рассказом о своей первой и последней любви по имени Тайлор, с которым она вместе училась в колледже. Они хотели пожениться сразу после получения дипломов, но его родители были категорически против свадьбы. Даже сейчас, через много лет, рассказывая свою историю внимательно и сочувственно слушающей ее Лизе, Джуди не могла удержать слезы. Самым тяжелым для нее было то, как быстро Тайлор дал убедить себя в том, что смешанные браки обречены на развод. Его семья категорически отказалась принять к себе белую Джуди, в то время как в ее семье никто не был настроен против чернокожего Тайлора.

— Успокойтесь, милая, у вас все еще впереди, — пыталась утешить ее Лиза.

И она сама верила в эту фразу, пока ее произносила, точно так же, как и Джуди верила в обязательное выздоровление Лизы, пока обсуждала с ней предстоящий план лечения. Но в глубине души Лиза прекрасно понимала,

что у некрасивой и толстой Джуди очень мало шансов выйти замуж, точно так же, как и Джуди знала, что пятой стадии рака уже не бывает и Лизе осталось совсем не долго жить, даже и при относительно успешном ходе лечения. И поэтому, понимая намерения Лизы утешить и поддержать ее, Джуди хватило силы улыбнуться и сказать шутивным тоном:

— Ну, да. У меня уже есть и поклонник, правда, немного староват, но еще хоть куда, — и она рассказала про Спенсера Стоуна, пригласившего ее к себе жить и радовать его своим присутствием. При этом она утаила подробности своей поездки в Майами, еще не решив, будет ли посвящать сенатора Эванса в открывшиеся обстоятельства обеднения Ромео.

Лиза выслушала рассказ о влюбившемся старикане с улыбкой.

— Это все потому, что вы такая добрая. Вы самая добрая из всех, кого я знаю. Разве может Бог не видеть этого? — сказала она.

Но оказалось, что можно устать даже делать добро. С приступами депрессии директриса боролась, чередуя таблетки с изнурительной работой в бараке.

Вот и сейчас за дверью ее кабинета стояла Тина Уолкер, молоденькая девушка, одетая в коротенькую юбочку, облипающую бедра. Она ожидала собеседования на место очередной сбежавшей с кухни помощницы, не выдержавшей духоты и тяжести работы.

— Ну, эта нам не подойдет, — успела подумать директриса, увидев наклеенные акриловые ногти на руках Тины.

Девушка присела на стул и выжидающе уставилась на директрису, читающую ее резюме. Долго ждать ей не пришлось.

— У нас работа тяжелая, мисс Уолкер. Вам придется готовить еду для восьмидесяти человек на раскаленной кухне, мыть котлы, поднимать тяжести. У нас нет медицинской страховки и получать вы будете гроши.

— Мне нужна работа, — с тихим отчаянием отозвалась Тина, — я могу готовить, правда. Видите, я работала в Макдональдсе, целых два года, пока менеджер не начал наезжать на меня со всякими приставаниями, а когда я ему отказала — уволил. И теперь меня никто не берет на работу.

Вот так всегда. Очередная девушка. Они думают, им тут откроются райские кущи.

— Ну, хорошо, мисс Уолкер, а если нужно будет, вы сможете убирать говно?

Тина слегка замешкалась с ответом.

— Я не знаю, мэм, — честно ответила она, глядя в глаза Джуди, — но я попробую. — Мне просто никогда еще не доводилось этого делать.

Честный ответ понравился директрисе.

— Ну что ж, пойдите. Я покажу вам нашу кухню, — сказала она, тяжело поднимаясь со стула.

Пэт оказалась не такой сговорчивой.

— Так, ногти ты отлепишь прямо сейчас, я не хочу, чтобы они плавали в нашем супе, — заявила она со свойственной ей прямоотой, — красоваться тут особенно не перед кем. Дедулькам ты и так приглянешься.

Тина торопливо стала отдирать наклеенные ногти.

— На голове будешь носить сеточку, — продолжала Пэт, — ну, так и быть, не сеточку, а кепочку, если хочешь, только чтобы волосы не лезли старикам в котлеты. Что еще? Начнешь завтра.

На личике девушки появилась счастливая улыбка.

— Это она еще не видела наш барак, — подумала директриса и распахнула дверь в коридор.

Барак встретил их все той же вонью и духотой. Обитатели расползались по своим комнатам после завтрака. В коридоре прохаживалась Нелли Гаджет с неизменной челюстью в руках и розовым бантом в волосах. Она приветливо улыбнулась директрисе и не обратила ни малейшего внимания на Тину. Зато Ромео, катившийся им навстречу в инвалидном кресле, оценивающе оглядел девушку с головы до ног.

— Кажется, я ему понравилась, — пошутила та.

— О, да, — рассмеялась директриса, — он у нас главный ценитель женской красоты. Вполне возможно, вам придется иметь дело с последствиями его обожания.

— Как это? — испугалась Тина.

— Он у нас страдает недержанием и требует, чтобы его подмывали молоденькие санитарки.

— Надо же, какой хитрый, а он не пристаёт?

— Ко мне — нет, — отрезала Джуди.

Она заглянула в комнату Рэя и, увидев, что он спит, осторожно прикрыла дверь.

На следующее утро Тина подъехала к бараку на своем допотопном «форде». Без лишних слов она начала помогать Пэт готовить завтрак для старичков, разносить тарелки с кашей и щебетать в столовой с обитателями заведения. Ни словом не обмолвившись о невыносимой жаре на кухне и закончив с мытьем посуды, спросила, что бы еще такого ей поделать. Дело нашлось — ее отправили в подвал заниматься стиркой.

— Главное, не перепутай подштанники. Старики очень обижаются, когда им подсовывают чужие вещи, — напутствовала ее Пэт.

Подвал встретил Тину полумраком и сыростью. На цементном полу валялись мешки, набитые грязным и вонючим бельем. Наморщив носик, она принялась рассовывать трусы и рубашки по стиральным машинам.

— Как же я узнаю, кому они принадлежат, — озадаченно подумала девушка. — Может, мне кто-нибудь подскажет после.

Вообще-то, ей даже понравился подвал. Здесь было прохладнее, чем на кухне, и можно было передохнуть. Присев на один из валявшихся мешков, она вдруг запела.

— Что это Роуз делает в подвале? — удивилась директриса.

— А это вовсе и не Роуз. Это там Тина распелась, — улыбнулась Пэт.

Директриса оставила открытой дверь в свой кабинет, чтобы лучше слышать пение девушки.

Где-то через час из подвала донеслось всхлипывание. Это еще что там такое происходит?

Пэт различила в полумраке Тину, плачущую над грудой безнадежно испорченного влажного белья.

— Ты что, белое засунула вместе с черным и стирала в кипятке?

Тина молча кивнула. Пэт встряхнула бывшую когда-то белую рубашку, пытаясь разглядеть под лампочкой метку невезучего обладателя.

— Черт, это рубашка Генерала.

— И что же мне теперь делать? — тихо спросила Тина.

— Как что? Сушить! — в приступе досады Пэт стала вываливать оставшееся грязное белье прямо на пол. — Темнота такая, что ни черта не различить. Забыла тебя предупредить, чтобы ты стирала в холодной воде, а то все белье полиняет.

— Ну, что там у вас? — послышался голос директрисы, не решавшейся спуститься вниз по крутой лестнице.

— Что-что, — недовольно пробурчала Пэт. — Пусть Аззи сам стирает тут в темноте и в холодной воде.

Тина перестала шмыгать носом и с восхищением уставилась на Пэт.

— Какая у тебя белая кожа, — с откровенной завистью вдруг сказала она.

— Ну, ты это брось раз и навсегда, — ответила ей Пэт, которой были совершенно чужды расистские предрассудки. — Твоя кожа ничуть не хуже моей. Господь Бог создал всех людей равными и все мы будем вариться в аду в одном котле за прегрешения наши и будет там жарче, чем на нашей кухне.

И встретив недоверчивый взгляд девушки, подмигнув, добавила:

— Но если ты опять будешь стирать белые рубашки Генерала вместе с черными трусами Рэя, директриса выгонит тебя к чертовой матери.

Но директриса совсем не собиралась выгонять Тину. Наоборот, ее беспокоила мысль о том, что девушка сама может уйти из барака, найдя более подходящее для себя место.

— Надо бы прибавить Тине Уоркер хотя бы 50 центов в час, — сказала она Аззи, заехавшему проверить дела в заведении, — у нас не держатся хорошие работники, а эта девочка — просто находка. Очень старательная и милая. Ее все любят. Что-то надо делать и с подвалом. Невозможно стирать белье в полумраке. Там горит всего одна лампочка и ни черта не видно.

Лицо Аззи искажалось страданием всякий раз, когда речь заходила о необходимых тратах.

— Джуди, вы знаете, как я потратился после того странного визита. Помните, летом?

Директриса кивнула, не сводя глаз с Аззи.

— Кстати, мы так и не знаем, кому обязаны таким вниманием. Кажется, вы большая поклонница сенатора?

— Да, — просто ответила она, — я даже участвую в его избирательной кампании.

— Вот как. Я и не знал, что у вас дело зашло так далеко, — какая-то работа происходила в голове Аззи. — Я бы не хотел, чтобы вы превращали наше заведение в политический клуб. Потрудитесь, пожалуйста, снять его портреты в кабинете и коридоре.

И, не услышав возражений от Джуди, добавил:

— Ну что ж, прибавим мисс Уоркер 25 центов и посмотрим, как дальше у нее пойдут дела на кухне.

Боясь, что Аззи может передумать и отказать Тине в прибавке, Джуди дипломатично решила не настаивать на дополнительной лампочке в подвале.

Дела на кухне у мисс Уокер пошли совсем неплохо, и через месяц Пэт доверила ей ключи от холодильника и кладовой. А после того, как Тина начала обходить старичков с блокнотом и записывать их излюбленные блюда, тихая благодарность обитателей барака была ей обеспечена.

Особенно привязалась к ней Роуз. И только Генерал затаил злобу на девушку. Видимо, он так и не смог простить ей испорченных рубашек, хотя директриса срочно купила ему новые, взамен полинявших старых.

— Слушай, ты, часом, не из ку-клус-клана? — спросил Рэй Генерала, когда ему надоело слушать источаемые в адрес Тины проклятия. Тони оторопело замолчал, уставившись в насмешливые глаза Рэя. Его лицо вдруг приняло торжественное выражение. По всему было видно, он решил сказать соседу что-то важное:

— Нет. Я не в клане. Я в «Черном шемроке».

Рэй понятия не имел о том, что это такое.

— Так ты ж, кажется, из итальянцев, — только и смог сказать он.

— Неважно, — ответил старик, — ирландцы там или итальянцы. Мы — католики, а значит, христиане, и объединяемся против мусульманам.

— Ну, а причем тут Тина, — не понял Рэй. — Она с Роуз гимны поёт, в церковь, небось, по воскресеньям ходит.

— Сегодня — в церковь, завтра — в мечеть. За ними нужно присматривать в оба. — По всему было видно, что Генерал остался при своем мнении.

— Да хоть и в мечеть, — не унимался Рэй, — тебе-то что? Какое тебе дело?

— Значит, есть у меня такое дело, — отрезал Тони, — ты, видать, забыл, что они нам устроили 11 сентября, а я помню.

Рэй не только не помнил, что было устроено в тот день, он этого просто не знал, пролежав два года в коме в соседнем госпитале. Барак жил своей обособленной от мира жизнью, где старые кинокомедии и допотопные шоу предпочитались всяким новостям. К тому же, большинство его обитателей страдали разного рода психическими расстройствами, и Джуди старалась оберегать старичков от любых неприятных сообщений.

— Хороший ты парень, — продолжал старик, — а главного не просекаешь. Защищаться надо, когда они нападают, и нападать на них, когда они этого не ожидают.

— Да от кого защищаться? У нас тараканов и то вывели.

И всё же Рэй почувствовал угрозу в словах Генерала. Как бы он не навредил Тине.

— А что он может ей сделать? Лишний раз обосраться? — удивилась Пэт, когда Рэй поделился с ней своими страхами.

— Ты же знаешь, он очень аккуратный, и с этим у него всё в порядке. А вот Тину он ненавидит.

Пэт думала недолго. Проинформированная директриса еще раз открыла историю болезни Энтони Костелло и углубилась в чтение. Так. Так. Так. Шизофрения. А у кого ее тут нет?... Не агрессивен... Легкая потеря памяти... Подчеркнутое стремление к независимости... Ветеран... Механик авиации. Вдовец. Тут не было ещё ничего настораживающего. Директриса дошла до раздела «Хобби». Так. Большая коллекция оружия, переданная во владение сына. Надо бы за ним поглядывать.

Большой синий автобус с полуметровыми оранжевыми буквами ABC на бортах, с утра припарковался возле особняка Эвансов. Но совсем не сенатор был причиной его появления в этой тихой и фешенебельной части городка. Последние опросы показали, что здоровье Лизы Эванс, недавно перенесшей операцию, и продолжающей борьбу с четвертой стадией рака, интересует около половины населения штата.

Польщенная таким вниманием Лиза согласилась на интервью и пригласила Полу Зак, восходящую звезду местного канала, к себе домой. В случае удачного сюжета Поле были обещаны две минуты на общенациональном телевидении. Зная симпатии телезрителей к Лизе, теледива сменила обычно резкий и агрессивный тон задаваемых вопросов на более интимный и мягкий. Они расположились в гостиной особняка, за окнами которой был сад — предмет любви и гордости Лизы. Интервью обещало быть недолгим, но постоянные технические накладки требовали пересъемок и повторений. Телевизионщики успели забросать газон перед домом Эвансов окурками и пустыми бутылками из-под кока-колы, пока Пола изводила Лизу одним и тем же вопросом, задаваемым в пятый раз. Собственно говоря, от миссис Эванс требовалось продемонстрировать оптимизм и готовность борьбы со страшным недугом при философском понимании неизбежности конца. Исхудавшая Лиза с потускневшими и поредевшими от химии волосами все хуже справлялась с этой задачей, явно устав от повторений. Когда последний кусок интервью был, наконец, отснят, Пола обратила всю свою нарастаченную злую энергию на «случайно» появившегося в дверях гостиной Джона Эванса.

Она не могла задавать ему много вопросов, все-таки не он был героем этой встречи, но успела перекинуться с ним парой острых фразочек типа «Как вы думаете, это болезнь жены способствовала повышению вашего рейтинга у избирателей?»

На все наскоки Джон отвечал терпеливо и достойно, а на вопрос «Что из видных демократов поддержит вас на предстоящих выборах?» почему-то без задержки ответил:

— Хиллари Клинтон, — встретив удивленный взгляд Лизы, не замеченный повернувшейся к нему в этот момент Полой.

— Ну, теперь-то ты должен ей позвонить, — сказала она, как только надоевший всем синий автобус скрылся из вида, — теперь у тебя просто нет выхода. И скажи, пожалуйста, Роберту, чтобы он убрал мусор с нашего газона, которые оставили эти свиньи.

После некоторых раздумий, Эванс таки позвонил Хиллари Клинтон с предложением принять участие в его предвыборной гонке. К его некоторому удивлению, она мгновенно согласилась.

*What is he building in there?
What the hell is he building. In there?
He is hiding something from the rest of us
Tom Waits¹*

Для многих служащих рабочий день в Пентагоне не заканчивается в 5 часов вечера. Здесь работают столько, сколько нужно. С наступлением темно-

¹ «Что он там строит? Он что-то там прячет от всех нас» — слова из песни Тома Уэйтса.

ты свет загорается в окнах гигантского пятиугольника, освещая постепенно пустеющие автомобильные стоянки. В коридорах-лабиринтах смолкают шаги. Бесшумные уборщики заполняют этажи, стараясь не мешать тем, кто остался в кабинетах за плотно закрытыми дверями заканчивать срочную работу.

Поздним ноябрьским вечером 2001 года Томми Фрэнкс позвонил своему заместителю генералу Майклу Дилонгу:

— Зайди. Есть дело.

Такое приглашение означало только одно: новое задание. Но Фрэнкс начал разговор довольно неожиданно:

— Выпить хочешь? У меня есть бутылка текилы.

Кто же отказывается от такого предложения в конце длинного рабочего дня? Выпили. Фрэнкс пожевал незажженную сигару, зажатую в углу рта. Дилонг запил текилу апельсиновым соком. Поговорили о погоде, бейсболе и рыбалке. Положив на столик длинные как жерди ноги, обутые в ботинки 46 размера, Фрэнкс перешел к делу:

— Слушай, что ты думаешь о Саддаме?

— Сукин сын, — кратко и уверенно ответил Дилонг.

— А ты бы мог смотреть ребятам в глаза, посылая их в Ирак?

— Без сомнений.

— Отлично, Майк. Тогда мы этим и займемся.

В Пентагоне хранилось несколько планов освобождения Ирака еще со времен Войны в заливе. Дилонг с интересом просмотрел в компьютере несколько файлов, пока Фрэнкс курил сигару.

— Это все старье, Томми. Рамсфельд никогда не утвердит ни один из них.

— Конечно, не утвердит, и не потому, что эти планы плохи, а потому, что с первого раза ничего не утверждает.

За год совместной работы Фрэнкс хорошо изучил Рамсфельда, но на этот раз дело было не только в сволочном характере министра обороны. Успех операции в Афганистане подтвердил намерение Рамми реформировать американскую армию. После распада Союза отпала необходимость содержания многотысячного контингента, зато возросла потребность в новейшей военной технике и людях, умеющих управлять этой техникой. Кто бы спорил. И все-таки, Ирак это не Афганистан. У Саддама есть обученная регулярная армия, самолеты и ракеты. Это его родная земля, в конце концов. Война может затянуться.

— Майк, давай для начала узнаем, что его не устраивает в старых планах.

Как и ожидалось, Рамсфельда не устраивала численность войск:

— Мы прекрасно обошлись меньшим контингентом в Афганистане, — он решительно перечеркивает цифру 380 тысяч.

— Окей, сэр. Я посмотрю, что тут можно сделать.

Десять месяцев в обстановке полной секретности в Пентагоне идет подготовка нового плана войны в Ираке. Собственно, нового в этом плане не так уж и много. Как бы этого ни хотелось Рамсфельду, одними массированными бомбардировками Багдад не взять. Нужны наземные операции. Плацдармом для наступления будет все тот же Кувейт, где разместят 180 тысяч человек.

Хотя Фрэнкс и сторонник создания преобладающего перевеса в численности войск, он уступает Рамсфельду. В случае затягивания военных действий это означает редеплоймент¹. Такой сценарий крайне нежелателен. Его пока не разрабатывают. В Кувейте спешно строят новые взлетные полосы и прокладывают нефтепроводы. Естественно, для таких приговлений нужны деньги, а деньгами распоряжается Конгресс. Так, по крайней мере, еще пока записано в Конституции. Интересно, кому в окружении президента приходит в голову простая и гениальная идея: взять деньги на подготовку одной войны из тех денег, что предназначались на ведение другой. Не иначе как Чейни. Так в распоряжении Томми Фрэнкса оказывается 700 миллионов долларов «афганских» денег. И никто в Конгрессе не имеет об этом ни малейшего представления. Но мир полон слухами. Один из журналистов спрашивает Фрэнкса:

— Так что, генерал, будет война с Саддамом или нет?

С непроницаемым лицом тот пожимает плечами: откуда ему знать. Генералы Пентагона военных тайн не выдают.

В полном неведении и человек, отвечающий за внешнюю политику государства. Государственный секретарь Колин Пауэлл категорически против этой войны. Он единственный в окружении Буша, кто думает, что на Саддама можно продолжать давить с помощью санкций ООН. Поэтому от него тщательно скрывают все приготовления в Пентагоне.

У Пауэлла окончательно разладились отношения с Чейни. Они открыто игнорируют друг друга. Но если вице-президент сидит в Овальном кабинете целыми днями, то попасть туда госсекретарю становится все труднее. Бывший вояка, он ничего не понимает в придворных интригах. Ему кажется, что это Райс перекрывает ему доступ к президенту. А ведь именно она могла бы быть его союзником в борьбе с Чейни. Дело доходит до открытой вспышки и обвинений. Несправедливо обиженная Конди устраивает Пауэллу совместный обед с президентом. В той же комнате позади Овального кабинета, где Буш обедает раз в неделю с Чейни, отставной генерал использует все свое красноречие на то, чтобы убедить президента не начинать войну с Саддамом.

— Подумайте о последствиях, — говорит он.

Тот обещает подумать. Пауэллу кажется, что он услышан. К тому же, Райс всячески поддерживает его в этом заблуждении, предлагая ему целиком переключиться на ООН.

Открытый своей удачей, госсекретарь разворачивает бурную деятельность по подготовке новой резолюции по Ираку. В окружении Буша не все так легковверны, как Колин Пауэлл. Дональд Рамсфельд, например, не верит вообще никому. Многих удивил его второй приход на тот же самый пост, да еще к сыну человека, с которым у него никогда не отношения не складывались. Буш-старший не устраивал его ни как директор ЦРУ, ни, тем более, как президент.

Только если при Форде Рамсфельд был самым молодым и многообещающим министром обороны, то при Буше-младшем в Пентагоне не могли дожждаться его отставки. Видимо, возвращение «на круги своя» окончательно испортило характер этого человека с большими политическими амбициями. Его надменный и высокомерный тон раздражает окружающих. Не все удачно

¹ Армия США строится на наемных началах. В случае нехватки резервов, с военными заключают повторные контракты.

складывается и в отношениях Рамсфельда с Кондолизой Райс. Вернее, все неудачно. Министр обороны открыто высказывается о непрофессионализме советника президента по национальной безопасности. Он не является на ее совещания. Зачем лишняя трата времени, когда у него прямой доступ к президенту. Главная же проблема в том, что он перекрывает поток информации, а информация в условиях подготовки к войне — решающий фактор. Будешь и впрямь выглядеть непрофессионалом, когда не знаешь, что творится в Пентагоне. Конди приходится засылать туда шпиона. Один из ее сотрудников, отставной военный чин, вынужден надевать свою старую военную форму и навещать друзей в министерстве обороны. От него, а не от Рамсфельда, мисс Райс узнает последние новости.

Не лучше идут дела у Дональда и с главой ЦРУ. Тенет вообще чужой в этой компании республиканцев, но его обаяние и искренность очень импонируют Бушу. С этим приходится считаться Чейни. Но он делает все, чтобы огранить влияние других людей на президента.

Как ни странно, разведка узнает последней о начале подготовки войны в Ираке. Конечно, в ЦРУ видят, что происходит в Афганистане. Тенету докладывают о выводе зеленых беретов из Афганистана в разгар операции в Тора-Бора.

— *What a fuck is going on?*¹ — вроде, им позарез был нужен террорист номер один, а в тот момент, когда его можно брать, они перебрасывают войска. Что-то тут не то.

Директор ЦРУ встречается с президентом каждое утро. Ему кажется, он в курсе всего происходящего, но это ошибочное представление. После его ухода с президентом остается Чейни. О чем беседуют эти двое? Откуда же ему знать. Оказывается, от него что-то скрывают. Люди Тенета работают во многих странах мира, а вот в Белом доме их нет. Поэтому он и не знает, что уже в ноябре, в самый разгар боев в Афганистане, Буш отводит Рамсфельда в потайную комнату в Белом доме и там, плотно прикрыв дверь, просит посмотреть, что в Пентагоне наработано на случай войны с Ираком. А он-то думал, что убедил президента в непричастности Саддама к терроризму и тот, вроде, согласился с его доводами. Какое заблуждение. Что делать? Ну, решений может быть несколько. Во-первых, подать в отставку. Никто не стал бы осуждать его за это, наоборот, проводили бы с почестями. В конце концов, он немало сделал на своем посту. Можно, конечно, остаться и объявить открытую войну Чейни. Это значит: продолжать спокойно и основательно информировать президента о данных разведки. И эта информация должна быть правдивой. Казалось бы, чего проще, а оказалось самым сложным. У Чейни нет доверия к сведениям, представленным агентами ЦРУ. Для них был полной неожиданностью развал Союза и вторжение Саддама в Кувейт, но самое главное, они не имели ни малейшего понятия о том, как близок Саддам был к созданию атомной бомбы в 91-м году. Тайный завод на территории Ирака был обнаружен случайно. Это открытие вызвало у Чейни шок. Может, кто-то про это и забыл, все-таки прошло десять лет, только не Чейни. Поэтому он относится с большим недоверием к словам Тенета. А впрочем, у него

¹ Что же это такое происходит?

могут быть и другие причины. В Пентагоне, под крылом его лучшего друга, есть своя разведка. Военные люди выполняют приказы. Если дан приказ «искать», они обязаны найти. Находят и на этот раз: шейх Аль-Алиби, захваченный в плен в Афганистане, признал, что Бен Ладен посылал людей в Ирак. Вроде бы речь шла о химическом оружии. Правда, это показание у него выбито египетскими спецслужбами под пытками. Когда шейха перевезли в Америку, он отказался от всех своих слов. Надежны ли такие показания? Кого это волнует? Да никого. Но одного свидетельства, все же, маловато. Военная разведка продолжает работу. Бинго! Найдено сообщение о встрече Моххамеда Атты с агентом иракской разведки в Праге за пять месяцев до 11 сентября. Только вот ЦРУ и ФБР абсолютно уверены в том, что Атта в это время находился во Флориде.

— Господа офицеры, у вас есть фотографии этой встречи? Ах, нету... Тогда извините. Ваши сведения недостоверны.

— Это для вас, господа шпионы, наши сведения недостоверны, а Чейни уже выступает по телевидению с сенсационными сообщениями.

Вот тут бы Тенету встать, застегнуть пуговицы на вечно расстегнутом пиджаке и сказать:

— Вы хотите избавить мир от этого сукина сына — отлично, только прекратите всю эту хрень о его связях с террористами. У вас нет никаких доказательств.

Но он молчит. Не устраивает скандала, не хлопает дверью. А это означает только одно — компромисс. Не все в ЦРУ понимают своего шефа. Некоторые думают, что он чересчур близок к президенту. Директор разведывательного управления должен быть личностью независимой.

— Как будто я принимаю решения. Меня просто ставят в известность перед фактом, — пожимает Тенет плечами.

Вот тут он прав. Решение начать войну с Ираком было принято не им. Но от него требовалось подтверждение правильности этого решения.

— Так пусть в ЦРУ поднимут зады и найдут, наконец, то, что уже и так известно без них, — легкое раздражение слышится в голосе Чейни.

Он вообще необычайно активен в последнее время. Много выступает. Гонит волну. Бьет в барабан. Похоже, что-то затевается в Белом доме. Иначе, чего стоит эта фраза, сказанная им на встрече с ветеранами:

— Нам доподлинно известно, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения.

Стоп. Это уже не разговоры, а важное заявление, сделанное вторым человеком в государстве.

В Конгрессе, наконец, поняли, что дело принимает серьезный оборот.

— Это что же, новая война? Такими фразами нельзя бросаться, господин Чейни. А доказательства? Откуда вам известно, что у него есть атомная бомба? Что-то Тенет ничего нам про это не докладывал. И вообще, может Саддама можно скинуть и без войны. Так сказать, тихо убрать и заменить более подходящей фигурой.

Вполне возможно, что планы такой операции и рассматривались там, где им положено быть рассмотренными. Только ответ был получен однозначный: нельзя.

— Ну что ж, тогда давайте все-таки посмотрим, что есть у ЦРУ. Пора, наконец, разобраться, угрожает Америке Саддам или нет.

В том-то и дело, что у ЦРУ на Саддама Хуссейна ничего нет. Не случайно же там считают, что не он главный враг Америки, а Аль-Каида. Но запрос Конгресса — приказ, и разведчики садятся за работу. Если надо, здесь работают двадцать четыре часа в сутки, как и в Пентагоне. Этим никого не удивишь. Удивительно другое: каждодневные приезды вице-президента в их главный штаб. Ну, прямо повадилась, честное слово. Делать, что ли, больше нечего? И вообще, с каких это пор люди из администрации президента торчат в Лэнгли? Раньше дело обходилось торжественными собраниями и раздачей наград. Конечно же, такой повышенный интерес не случаен. Чейни пытается взять под контроль работу разведчиков. Ему нужно убедить Конгресс в неизбежности войны с самым страшным тираном планеты. Вот рассказы людей о пытках в застенках иракских спецслужб, вот трупы погибших от химического оружия. Вот еще трупы. Опять трупы. Изувер, что не говори. И детки у него душегубы. Кто бы спорил. Но Саддам Хуссейн в своем неизменном репертуаре последние двадцать лет, а вот репертуар Чейни заметно изменился. Почему время убирать тирана пришло сейчас, а не десять лет назад? Ведь повод тогда был поубедительней.

— А вот тут у нас еще одна фотография есть, мистер Чейни. Ну, этого человека в берете и с усами мы узнали. А кто ему руку пожимает и приятно улыбается? Узнаете? Правильно. Дональд Рамсфельд. Тогда еще молодой, но многообещающий. Какая приятная встреча двух непримиримых врагов Исламской Республики Иран. Это не тогда ли мы подкинули Саддаму партию зарина?

— Прекрасно. Так и запишите: «Нам доподлинно известно, что Саддам Хуссейн обладает химическим оружием». И фотографии жертв представьте, пожалуйста, на обозрение.

— Но мы не знаем, есть ли у него это оружие по сей день. Фотографии-то десятилетней давности.

— Не знаете потому, что плохо работаете. У военных сомнений на этот счет нет.

И все-таки кое-что нашлось поновей: трубы. Много труб. 60 тысяч. И не медных, а из высокопрочного алюминия. Эти трубы пытался приобрести некий иракский заказчик для производства гоночных автомобилей в Ливане. Такое объяснение никого не устраивало. Тогда зачем они ему понадобились? Группа международных экспертов выдвинула различные предположения, но все сошлись в одном мнении: высокопрочный алюминий может использоваться в ядерном производстве. Грозит ли это безопасности США? Как посмотреть. Тем не менее, трубы войдут и в доклад ЦРУ, и в речи президента, и в выступление Пауэлла в ООН как доказательство устремлений Саддама к созданию атомной бомбы.

Если предотвращение покупки труб было реальным фактом, то донесение, пришедшее из MI-6 о том, что Нигер собирается продать Ираку 550 тонн оксида урана вызывало очень большие сомнения в ЦРУ. Вернее, там знали, что это дезинформация. Для Чейни же «yellowcake»¹ кажется настоящим подарком потому, что это практически конечный продукт для получения ядерного топлива. Он настаивает на внесении этой непроверенной информации в доклад ЦРУ по Национальной безопасности. В ответ Тенет делает единственно возможное, как он думает, в такой ситуации: добавляет туда 30 сносок со словами «нам доподлинно неизвестно». Это означает не что иное, как отсутствие данных о наличии атомного вооружения у Саддама Хусейна. Но отсутствие данных не означает отсутствия такого вооружения. Вот и разберись, что с этим делать.

Между тем, барабан грохочет все сильнее. Человек с усами и в берете не сходит с экранов телевизоров, о нем непрерывно пишут в газетах и журналах. Он преступник и очень опасен. Но он и на самом деле преступник и очень опасен, к тому же, непредсказуем. Как там говорит Кондолиза-то? «Мы не хотим, чтобы дым от огня превратился в атомный гриб». Страшно подумать, что может быть, если атомное оружие попадет в руки террористов, и если сейчас у Тенета и разведки ничего нет о его связях с Аль-Каидой, то это не значит, что такие связи не появятся в будущем. Но ведь есть еще Северная Корея и Иран, а что, если они продвинулись в этом направлении гораздо дальше, чем Ирак? Джордж Тенет кое-что об этом знает. Много лет его агенты вместе с MI-6 и итальянской разведкой работали над связями доктора Абдулы Кадера Хана — создателя пакистанской атомной бомбы, превратившего эту отсталую страну в ядерную державу. Доктор успешно продавал секреты устройства центрифуг и обогащения урана Северной Корее, Ливии и Ирану. Одному человеку такой бизнес не по силам. Вполне возможно, американцы догадывались, кто стоит за спиной Хана, но ссориться с пакистанским правительством после 11 сентября не входило в их планы. Тем не менее, Тенет выложил перед генералом Мушароффом при их встрече с глазу на глаз, документы и фотографии, подтверждающие сделки. Улыбка медленно сошла с лица генерала. Взгляд стал строгим и холодным:

— Ну что ж, мы разберемся с доктором Ханом сами, — сказал он, наконец.

Доктора посадили под домашний арест, откуда он посылал проклятия предавшему его правительству, но распродажа атомных секретов прекратилась. Надолго ли?

Кто же может ответить на этот вопрос?

Что бы там ни было, Конгресс принимает-таки резолюцию, по которой президент США наделен правом использовать военную силу против Ирака. Это победа Чейни. Благословение получено. Кажется, именно в этот момент Тенет сдает свои позиции. Его голос присоединяется к хору. Теперь решение начинать войну или нет, целиком возложено на Джорджа Буша.

¹ Желтый пирог.

Незаметно накатило Рождество. Залы Белого дома украсили елками и гирляндами. Лора Буш напекла печенье и готовит подарки для посетителей. Скотч-терьер Барни носится по коридорам и лестницам резиденции. В Овальный кабинет его не пускают. Там идет совещание.

На столе перед президентом разложены материалы, доказывающие наличие оружия массового уничтожения у Саддама Хуссейна. Все то же, что и в докладе ЦРУ Конгрессу, плюс снимки со спутника. Объекты в тумане. Ничего не разобрать. Зато для большей наглядности развешаны диаграммы и графики. Буш внимательно выслушивает сотрудников разведки.

— И это все, что у вас есть? Что-то маловато... А убедит ли ваше доказательство простого американца?

И вот тут бы в самый раз встать Кондолизе Райс со своего кресла, все-таки она советник президента по национальной безопасности, и выпрямить спину, строго сказать:

— Мы не можем начинать войну исходя только из ваших предположений. Нам нужны точные факты. А у вас их нет.

Но Кондолиза молчит. Свой совет она уже дала президенту раньше и совет этот однозначен — война.

Вместо нее встает с дивана Джордж Тенет и говорит:

— Все точно. Гарантирую. Это как *slam dunk*¹. И для большей убедительности показывает руками, как баскетболисты закладывают мяч в корзину. Промех невозможны. 2 очка. Стадион ревет. Команда Чейни победила.

Какие странные метаморфозы происходят порой с любителями баскетбола и директорами национальной разведки по совместительству.

Дело решенное. Остался один Пауэлл.

— Вы бы позвонили Колину. Как-то неудобно, все-таки он государственный секретарь.

— О, Господи! Представляешь, Конди, я про него совсем забыл.

На этот раз никто не сидит между ними. Пауэлл молча слушает слова президента.

— Все сводится к тому, что я должен начать эту войну, Колин.

— Вы хорошо подумали о последствиях? Начать — дело не хитрое. Это ведь как в посудной лавке. Если разбиваешь кувшин — платишь за него.

— Я понимаю, Колин. Могу я рассчитывать на тебя в этом деле?

Что может ответить человек, отдавший армии 35 лет? Для него решение старшего по званию — приказ. Он никогда не хотел этой войны. Подумав немного, Колин Пауэлл отвечает:

— Да. Я поддержу вас, господин президент.

— Ну что ж, — Буш протягивает ему руку, — время менять пиджак на военный китель, генерал.

Некоторое беспокойство охватило Тони Блэра, узнавшего, как близко оказался мир к началу новой войны. Одними телефонными разговорами тут

¹ Баскетбольный термин. Точное попадание мяча в корзину.

не ограничишься. Премьер-министр Великобритании прибывает с коротким визитом в Кэмп Дэвид. К его большому удивлению в комнате, где он рассчитывал поговорить наедине с Бушем, оказывается еще один человек.

— А зачем здесь Чейни? — успевает подумать Блэр.

Слава Богу, он умеет дипломатично скрывать свое разочарование. Буш кратко вводит его в курс дела:

— Так и так. Будем бомбить.

Блэр мрачнеет. Ему до смерти не хочется втягиваться в это мероприятие.

— Господин президент, дайте мне обещание, что не начнете, пока не получите санкции ООН, — говорит он наконец.

— Слово ковбоя.

— А вы, господин премьер-министр, дайте мне слово, что присоединитесь ко мне, когда все дипломатические возможности будут исчерпаны.

— Ну что ж. (Вздых). Слово джентльмена.

Встреча закончилась через час с небольшим. Интересно, а про нефть они говорили? В таком случае, Чейни бы очень пригодился.

Не со всеми главами европейских государств удалось договориться так быстро.

Телефонный разговор по линии секретной связи с президентом Франции Жаком Шираком принял неожиданный оборот. Буш предложил ему принять участие в божественной миссии по уничтожению Хуссейна. Будучи человеком малорелигиозным, но умным политиком, тот отказался.

— Учтите, Саддам, может, и преступник, но он удерживает шиитов и суннитов от взаимного уничтожения. Страшно подумать, какая резня начнется между ними после его устранения. Вам придется встречать еще и в это. И потом, вы значительно усилите позиции Ирана, убрав их смертельного врага. Нет-нет. Францию, пожалуйста, увольте. Нам хватает проблем со своими арабами.

Месье Ширак всегда был ненадежным партнером. В Техасе в знак протеста разбили все бутылки французского шампанского.

Герр Шредер поначалу горячо поддержал борьбу с терроризмом. Но при чем тут Ирак, так и не понял, и посылать туда бундесвер отказался.

Зато посол Саудовской Аравии понял ситуацию с полуслова. Правда, ему нужны были гарантии того, что на этот раз с Саддамом будет покончено. Такие гарантии он получил, и в ответ обещал увеличить добычу нефти к президентским выборам. Нефть за кровь. Второй президентский срок за дешевый бензин. Такие дела. Да кто же этого не знает.

Теперь дело за американским народом. Его нужно убедить в том, что Саддам Хуссейн — заклятый враг Америки и прямая угроза миру и демократии. Президент собран, строг и сосредоточен. В своем часовом обращении к Конгрессу, а значит и ко всем американцам, пункт за пунктом перечисляет он преступления Хуссейна. Дело серьезное. Это вам не бедуины на верблюдах с «калашами» наперевес. Тут химическое оружие, сибирская язва в пробирках и припрятанные атомные бомбы. Это большая война. Настоящая.

Если президент — демократ, собратья по партии вставляют овации в каждый интервал его речи. Республиканцы в это время сдержанно молчат. Сейчас молчат демократы.

Все сидят с серьезными лицами: теперь уже скоро.

Джордж Тенет хватается за голову:

— Какого хрена президент говорит о yellowcake? Это же явная фальшивка!

Фальшивка? Зато звучит убедительно, а это сейчас главное. Но одно дело, врать про отношения с Моникой Левински, и совсем другое — про Саддама Хуссейна. Масштаб ответственности, так сказать, другой. Джордж Буш — человек религиозный. Много молится, посещает церковь, советуется с Богом. Это что же, цель оправдывает ложь? Да какая у него цель, в конце-то концов? Неужели все та же нефть? Ну, тут все совпадает. Главные по нефти у них Чейни с Вулфовицем, а Буш, похоже, взвалил на себя тяжесть священной миссии освобождения угнетенного народа. И этот освобожденный народ, по его представлению, должен направиться твердыми стопами навстречу святой демократии.

Вот он, наш гневный проповедник, обличающий преступника-убийцу с трибуны Конгресса и ООН. Говорит и говорит. И слушают его, затаив дыхание, потому что за гневными словами стоит мощь самой сильной в мире армии. Но странное дело, согласно законам все той же святой демократии, он всего лишь главнокомандующий вооруженными силами США и наделен единственной обязанностью — защищать свое государство. В Конституции нет ни слова про освобождение народов других стран. И никто не наделял его этим правом. Это им избранная миссия. Его звездный час.

— В конце концов, Саддам хотел убить моего папу, — говорит он в одном из интервью, смущенно улыбаясь.

Ну, хоть это звучит как-то по-человечески. А с папой он посоветовался?

Не посоветовался. Такого разговора между Бушами не было, и советовался сын только с отцом небесным.

Теперь дело уже совсем за малым. Осталось дать финальное представление в ООН. И тут они вспомнили о человеке, которого до этого игнорировали и всячески унижали, но у которого оставался самый высокий рейтинг популярности в стране. Колин Пауэлл. Настал момент, когда им понадобилась не только его репутация, но и связи. У госсекретаря были личные теплые отношения с Блэром и генералом Машароффом — важными союзниками в войнах с терроризмом. Было в этом предложении что-то издевательское: убедить весь мир в необходимости войны, в которую он не верил сам. Дело дошло до того, что Пауэлл получил из офиса Чейни готовый доклад, который ему предлагали просто зачитать в ООН.

— Вот уж этого они от меня не дождутся, — Пауэлл решительно отказывается быть марионеткой в руках Чейни. Но с другой стороны, он дал слово президенту.

— Что ж. (Вздых) Придется выступить.

Но доклад он напишет свой и поможет ему в этом Тенет.

Пауэлл внимательно перечитывает материалы, подготовленные ЦРУ для Конгресса. Каждый пункт снова и снова оговаривается с Тенетом. Насколько надежна информация? Можно ли это обнародовать в Совете Безопасности? Нужны данные разведки других стран, тогда это будет звучать убедительней. Джордж Тенет еще раз оценивает надежность материалов. Наверняка очень трудно что-либо сказать. Прямых доказательств того, что бомба у Саддама уже готова, нет, но есть достаточно много доказательств, подтверждающих его стремление эту бомбу получить.

— Это точно? — раз за разом спрашивает госсекретарь.

— Да, — ручается директор ЦРУ.

Оставим этот ответ на его совести. Пауэлл ему доверяет. Доверяет настолько, что просит Тенета присутствовать во время его доклада в ООН, и не просто присутствовать, а сидеть рядом, чтобы в случае необходимости быть под рукой.

В назначенный день весь мир может видеть Колина Пауэлла и слышать его уверенный голос, рассказывающий обо всех нарушениях Ираком резолюций ООН. Потом следуют снимки непонятных объектов, сделанные со спутников — это могут быть мобильные лаборатории по изготовлению бактериологического оружия или спрятанные ракетные пусковые установки, далее — записи телефонных разговоров некоего генерала с неким полковником, алюминиевые трубы и еще много-много всего.

Немного сзади, за спиной госсекретаря Пауэлла сидит Джордж Тенет. Время от времени он поднимает глаза от каких-то своих записей. Вглядимся в это лицо. Лицо человека, знающего, что все происходящее — не что иное как фарс. Представление. Знающего, что война неизбежна в любом случае. Решение уже было принято, и не им. Он был только поставлен в известность о его принятии. Его обязанностью было не предотвращение этой войны, его обязанностью было представить строгие доказательства необходимости этой войны. Таких доказательств у него не было. По мнению коллег Тенета, его профессиональным долгом было четко и бескомпромиссно заявить это человеку, которому Конгресс дал право принимать такие решения — президенту США.

В мемуарах, написанных позже, Тенет будет оправдываться и признает свою ошибку. Он будет единственным из окружения Джорджа Буша, кто это сделает.

Ну, а пока никто и ничто не может предотвратить эту войну. Считайте, она уже началась.

Благослови, Господь, Америку!

(Окончание в сл. номере)

Майя ШВАРЦМАН

/ Гент, Бельгия /



ИЗ ПОЭМЫ «OLLA VOGALA»¹

Aan Filip Vleeshouwers

Ночь

Всю ночь дожди лились пружинистыми
потоками, гроза взметнулась,
и горько плакать было в келье
и смерть выпрашивать, как милостыню.
К утру отплакалось, очнулось.
Сад, весь в блестящей канители,
расправив влажную сутулость,
к окну ласкался веткой жимолости
и внутрь просился птичьей трелью.

Кукушка занялась пророчествами,
а листья мокрые прильнули
к стеклу, как будто проверяя:
минувшее отмылось дочиста ли...
Лучей прозрачные ходули
прошлись у топчана по краю.
И, словно искушая почестями
смирения, змей на стуле
свернулся пояс, выжидая.

Отныне с пылью и пергаменатами
жизнь провести, за книгой книгу
вжимать в тиски графлёных строчек
и тихо слепнуть над орнаментами

¹ Olla vogala — «все птицы» — часть надписи, обнаруженной в 1932 г. на внутренней стороне переплёта английского манускрипта Рочестерского аббатства. Самая ранняя запись на старом западно-фламандском, датируется третьей четвертью одиннадцатого века. Была ли это проба пера или специальная запись фламандского монаха, бывшего на послушании в Англии, неизвестно.

из киновари и индиго.
Вот так за грамотность, за почерк
пропасть за верстаками каменными,
за обещания вериги:
«Ты Богу посвящён, сыночек»!

В сгиб локтя вмять лицо зарёванное,
в рукав подрясника, в рванину
кошмы, в колючую солому.
Вот так и жить: с лампадой кованую,
с убогой утварью из глины
да в тяжких вздохах по былому,
век позолотой размалёвывая
чужого жития картины
взамен своих... А дома!.. дома...

В запруде разживясь камышинами,
вьют птицы гнёзда на раките,
то вместе, то поодиночке
поют со страстью быть услышанными,
усердствуя в весенней прыти.
Набрав воды, стоит у бочки
и смотрит, улыбаясь вишенными
губами, рыжая Магрите,
меньшая мельникова дочка.

Как тянутся дрозды за пахарями,
так за улыбкою манящей —
с щербинкою в зубах передних, —
тянулся я... Детьми за вяхирями
охотились, играли в чаще,
и с веток прямиком в передник
расстеленный орехи стряхивали.
Всё бегали к реке, но чаще
в поля — нарвать цветов последних.

А в роще собирали падалицу
под яблоней кривой и дикой,
и ей за шиворот украдкой
я посадил малютку-пяденицу —
о, сколько было смеха, крика, —
сам червячка на шее гладкой
ловил — и сам не мог нарадоваться,
так кожа пахла земляникой
за воротом, под рыжей прядкой...

Теперь ни женского, ни девичьего
лица вовеки не коснуться,
ни тела тёплого, живого!
Пигменты бурого да перечного
толочь, свечи огарок куцый

беречь, и спину гнуть сурово
над каталогами да перечнями,
и, краски растерев на блюдце,
копировать за словом слово.

Probatio pennae

Школа пространства. Ветра консоль.
В небе уроки чистописанья.
Связкой лучей, разлиновкой косой
кто-то, навек затаивший дыханье
за облаками, реющий вдоль
времени, в воздухе чертит заданье.
Он не снисходит до сострадания:
общая пропись — частная боль.

Неба страница. Синь, высота,
полная ряби, мелькающих крапин,
мелкими метками вся занята,
вся в растушёвке прозрачных царапин.
Птицы штрихуют раздолье холста.
Беглый набросок ещё непонятен,
но возникают из линий и пятен
знаки и буквы на глади листа.

Слова виток. Проба пера.
Быстрый зигзаг на небесной бумаге —
замысла вспышка, жизни мездра, —
всё говорит о снедающей тяге:
быть и остаться!.. ожогом тавра,
оттиском, эхом, каплей во влаге,
плёнкой на зеркале, нотой в форшлагге,
лишь бы не сгинуть в общем «вчера».

Росчерк крыла неуловим,
как на пруду след водомерки.
Зыблется в небе жизни нажим
и волосная линия смерти.
Тщетный творец, имярек, аноним,
что ты предъявишь на общей поверке
кроме метаний и круговерти?
— Лёгкого слова призрачный дым...

Фландрия

Во внутреннем дворике наледь никак не сойдёт
с шершавых решёток в тени боковой галереи.
Но воздух светлеет, и близится солнцеворот,
и зелень сквозит в прошлогодних соцветьях пырея.

Теплеют и пашни, и вечно бесцветный пустырь,
и виды в долину из пасмурных окон аббатства.
Март дышит на стёкла, пейзаж расправляется вширь,
и тянет от света сощуриться и улыбаться.

К концу февраля на поверхность выходит земля
неспешной медведицей, власть належавшись под снегом.
Подснежников мелкие крестики метят поля,
сияя как вышивка шёлком на фартуке пегом.
Неяркой фламандской весны принимая парад,
деревню и пруд озирает с холма колокольня.
Осевшие в тающий наст вереницы оград
дают сосчитать поредевшие за зиму колья.

На крыше сарая бахвалится зобом петух,
цепляясь за скат уцелевшей единственной шпорой.
В овине ягнята к коленям своих повитух
доверчиво жмутся, не ведая участи скорой.
Собака лениво следит за ватагою коз,
лежит, разомлев, у раскрытых ворот сыроварни,
откуда носилками горы янтарных колёс
таскают к телегам вспотевшие крепкие парни.

За кузницей бродят в колючем оттаявшем рву
заросшие, грязные овцы, — давно их не стригли,
и с тёплой земли выбирают губами траву,
шарахаясь вбок от порывов гудения в тигле.
Спешат подмастерья: горячее время пришло
мотыги прямить, затупившийся выправить лемех.
И птицы спуют по двору, теребят помело
и прутья воруют в заботах о будущих семьях.

В просторном гнезде на пятнистой от сажи трубе
над старой пекарней белеет торжественный аист.
Как божий избранник, как столпник стоит на столбе
навершием местного мира, лощён и осанист.
На хлопоты ржанок и славок, синиц и стрижей
от рощи окрестной до дальних изогнутых плавней
он важным владыкой взирает с вершины своей
и в птичьей сумятице высится буквой заглавной.

19 февраля — 20 марта 2013

ГЕОЦЕНТРИЗМ

С точки зрения птиц технология жизни —
в расстановке деталей, в сочетаньи частиц.
Это крошки и зёрна, это черви и слизни,
мошкара и стрекозы (с точки зрения птиц).

Поднимаясь над морем, зависая над бездной,
пролетая над лесом выше ив и берёз,
видя брачные игры облаков и созвездий,
топографию мира птицы учат всерьёз.

Птицы верят глазам и, пространство дырявя,
ударяясь о космос, выси пробуя до
колотьбы за грудиной, убеждаются в яви:
в основании — плоскость, в центре мира — гнездо.

В ликованьи полёта, в лучезарном пареньи
правоту очевидцев возвещают — прямой
не бывает (конечно, с точки птичьего зренья) —
и кричат в поднебесьи: «Птолемей! Птолемей!»

АДВЕНТ ВО ФЛАНДРИИ

В дымчатых наших краях на краю ноября,
ближе к зиме, спозаранку, едва развиднелось,
девичьим розовым светом — стыдливо, несмело,
словно на цыпочках — в небо восходит заря.

Как не пристал этот цвет из нездешних широт
к пепельным нашим полям в бахrome молочая,
к пегим коровам, что ищут медлительно брод
в низком тумане и в нём же по грудь утопают.

Зябко не выспавшись, к снам недосмотренным льнёт,
лбом утыкаясь в забор, ежевичный кустарник.
Первый дымок из трубы деревенской пекарни
словно разносчик пускается в ранний обход.

Дети стоят у калиток, качаясь, дремля,
все ещё в наспанной зыби постельных скорлупок.
Розовый свет освещает сквозной первопуток,
тронутый запахом хлеба, муки, миндаля.

Исподволь плавно теплеют скупые цвета
зимних поленниц, штакетников, пасмурных брёвен.
Утро смуглеет в духовках небесных жаровен.
Всё полновесней, всё жарче пылает плита.

Кем-то невидимым топится дальний очаг,
мягко растут облака в розоватой оправе.
«Это Святой Николай уже тесто поставил!» —
дети, толкая друг друга, с восторгом кричат.

Сказка придумана взрослыми: скрасить птенцам
тяготы тошных минут пробуждения в школу.
«Видишь, ещё до зари поднялись мукомолы,
небо в глазури, печенье готовится там».

Так повелось: ежегодно в конце ноября
дети томятся, живя ожиданием срока,
вытянув шеи, следят за окраской востока. —
Жаром их веры и светится в небе заря.

Солнца забавы, погоды ли зимней игра,
света с морозом ли в небе идёт поединок —
не угадать. У камина ночует ботинок.
Чуда, подарков и сладостей ждёт детвора.

ВЕТЕР

Воздушною пястью сграбастав простор,
его расстоянья шутя между пальцами
просеивая, поднимает и сор,
и вздор — то стремглав, то с неспешной развальцею.

Школяр неусидчивый множества школ,
всю жизнь забавляется поиском истины,
на лес налегает, как грудью на стол:
то бегло пролистывать томики лиственниц,

то буки обшаривать в поисках букв...
Лесные орехи сшибает обоймами,
щелчком проверяет зелёный бамбук
на прочность, чтоб позже тростями гобойными

присвистнуть — и ухнуть в печную трубу.
Он крыльями мельниц играет плечистыми,
он злит водостоки щекоткой в зобу
и флюгеры вертит во рту зубочистками.

Разбойник, охальник, взлетает на мол
портовой шпаной с вороватой повадкою,
прибрежной волне задирает подол —
и с визгом и брызгами мчит на попятную.

Он роз поставщик, что по краешкам схем
и карт расцвели над морскими маршрутами.
По атласам древним он помнится всем
лицом полнокровным, щеками раздутыми.

Пусть гибнет немедленно, лишь взаперти
окажется, но, воскресая уверенно,
вновь тянет и манит — с собой по пути, —
о ветер, о вертер, о вектор намерений...

* * *

В Венеции, что, золотой подвеской
с цепочки соскользнув, в залив легла,
теперь венецианского стекла
(заправского, чтоб не из Поднебесной,

по сувенирным лавкам) больше нет,
пожалуй, кроме ярких глаз кошачьих,
что смотрят с холодком туристам вслед,
не соблазняясь мелочью подачек.

Как бусы, украшающие ворот,
коты на входе в гавань, у снастей.
Подмокшей репутацией своей
гордятся, как и весь промозглый город.

По развороту площади Сан Марко,
исшарканному сотнями подошв,
проходит кот, надменнее, чем дож,
готичнее дворца в ажурных арках.

Коты везде: вдоль улиц и канав,
на низких подоконниках и сизых
от влаги парапетах, на карнизах —
сидят, брезгливо лапы подобрвав.

Им подражают местные мосты
и спины гнут, поджав худые брюха,
и лапами опор туда, где сухо
встают, блюдя каноны чистоты.

Когда коты снисходят до еды,
то покидают мраморные глыбы
палаццо, и в порту, на все лады
мяукая, выпрашивают рыбу.

На изваянья львов, на их зады,
присевшие в собачьем послушаньи,
кошачья ассамблея у воды
глядит с презреньем, поводя ушами.

Уж не от их ли глаз светлей приборя,
не от грудного ль *мур* произошло
лучистое, зелёно-золотое,
янтарное муранское стекло?



Инна ИОХВИДОВИЧ

/ Штутгарт /

МАЛЬЧИШКИ¹

Тишина становилась невыносимой. Павел усиленно рассматривал свои ногти, словно бы дивясь их гладкости и правильности формы, они казались ему чужими, ведь он всегда мысленно представлял те свои обгрызенные до крови ногти мальчика, подростка, юноши.

Посмотрел в зеркало, большое, напротив себя, и увидел мальчишечий взгляд, даже не враждебный, а ненависти полный... И содрогнулся, словно оттуда, из зеркала, смотрел он сам, десятилетиями раньше, когда к матери приходил он, её возлюбленные, а его враги, мужчины, отнимавшие у него её, единственную...

Вскоре пришла Катя. Рассматривая её, Павел решил, что она соответствует тому фото, на котором он её и увидел, была она не лучше и не хуже, чем на снимках в интернете: крупная, даже тяжеловесная, с броскими чертами лица. Одним словом, она соответствовала тому типу женщин, что в последние годы его возбуждали. Все они были бы хорошими натурщицами у скульптора Майоля.

— Хороший товар! — сказал он себе, не жалея, что созвонился с этой работницей сферы сексуальных услуг и договорился о своём приходе.

Катя что-то шёпотом говорила мальчишке. Тот резко, но неразборчиво, так что Павел не мог понять, отвечал. Один раз даже попытался что-то крикнуть, но мать властным движением закрыла ему рот.

— Я, наверное, пойду, — сказал, поднимаясь со стула Павел, — позвоно, договоримся.

— Нет, что ты, — почти взмолилась женщина, — не уходи! Понимаешь, у них в интернате карантин по желтухе, вот он и приехал. Теперь диктует тут, как да что, — махнув рукой в сторону сына, торопливо изъяснялась она.

— Никуда я не пойду, ни в какое кино, ни в Макдональдс, никуда, — Павлу почудилось, что ещё секунда — и мальчишка разрыдается.

— И не надо, — внезапно рассмеялся Павел, — уйду я.

¹ Рассказы взяты из книги «После СССР», которая должна выйти в издательстве «Вест-Консалтинг» в 2014 году.

— Нет, ни в коем случае, — теперь эта женщина, эта Катя, сама чуть не плакала.

В этот миг до Павла дошло, что у неё, наверное, нет денег, совсем нет, и что она в своём отчаянии готова была заняться с ним сексом прямо сейчас. А мальчишку прогонит, любой ценой избавится от него, чего бы ей это ни стоило.

Мальчик закрыл ладонями лицо, а Катя, моляще, склонилась над Павлом. Он резко поднялся и, вынув из бумажника зеленоватую банкноту, отдал ей.

Она смотрела на него умилительно-собачьим, непонимающим взглядом, радостно, словно у неё на глазах совершалось чудо! Онемевшая, она и благодарить не могла. Павлу стало не по себе. Только у двери он сказал, как приказал ей:

— Я тебе позволю. Но у меня к тебе одно: пока парень дома, чтобы ты никого не принимала, ясно?! Чтоб никто к тебе не приходил.

Она преданно смотрела на него своими огромными, с поволокой, очами, только кивала вслед его словам. И прошептала, так чтобы Павел услышал:

— Всё будет так, как ты скажешь! Ты мой...— промолвить дальше она забоялась.

Павел усмехнулся, он знал эту особенность проституток — сильную суеве-рность.

На пути к припаркованной далеко машине он всё думал, что понятно, почему суеверны моряки или пилоты, или люди, профессионально с риском повязанные, но проститутки почему? Правда, размышлял он, достаточно высокий процент риска нарваться на клиента-психопата, пьющего и бьющего, на озверевшего садиста, а то и на маньяка, решившего очистить от скверны, от них, «жриц любви», мир. Уж и в двадцатом веке, и в новом, нынешнем, сколько уж было продолжателей дела Джека Потрошителя...

С этой мыслью он сел в машину и выехал с платной парковки.

Домой ехать не хотелось, жену предупредил, что придет поздно, мобильные телефоны были отключены, вот он и поехал куда глаза глядят...

К этой своей новой машине, сделанной по спецзаказу, «Ауди» с автоматическим управлением, он был как-то по-особенному привязан, обошлась она ему недёшево. Наверное, за это и полюбил. Даже вслух произнёс: «Дорогая штучка!» И тут же расхохотался, вспомнив старый фильм, ещё с Симоной Синьоре, «Путь наверх». В нём герой говорил девушке: «Я люблю тебя за то, что ты дорого стоишь. За то, что ты — дорогая штучка!»

Он ехал в сгущавшихся сумерках в этот вдруг оказавшийся свободным вечер, и всё вспоминал своё ненавистное прошлое: детство, отрочество, юность. Тогда его, худенького, с оттопыренными ушами, очкарика с книжкой в руках, вызывавшего презрение на грани с ненавистью, избивали то одноклассники, то старшие дворовые ребята. Дворовые часто выхватывали и рвали его книжки, больно тянули за уши, что и так были почти перпендикулярны голове.

Он машинально провёл правой рукой по уху, он давно уже сделал себе пластику ушей.

А ведь одним из первых его прозвищ было — Лопоушка! Это потом уже оно казалось безобидным, по сравнению с последующими. Вспоминал бью-

щеся, как чудилось, прямо в горле, сердце, по дороге через двор, от дверей подъезда до арки на улицу, как хотелось быстрее пройти, пролететь, ускользнуть от своих преследователей и мучителей. Эти издеватели-мальчишки приказывали: «Стой, бить будем!», и тогда он бежал так, что казалось — ещё секунда, и сердце не выдержит...

А ни в какую секцию его брать не хотели из-за врождённого порока сердца.

А очки, сколько их было разбито этими же мальчишками?! Это нынче, после лазерной коррекции зрение его было в норме. Эх, если бы всё это было тогда...

Он и сам не заметил, как въехал в район своего детства, где когда-то знал все проходные подъезды и дворы, потому что через них мог спастись бегством.

Но позже, в отрочестве, показались все эти оскорбления ерундой по сравнению с тем, что пришлось ему вытерпеть от матери, разошедшейся с отцом. Влюбчивая, она готова была променять сына на того мужчину, которым была увлечена на тот момент. Потому и отправляла его в пионерлагеря которые были продолжением школы или, что было лучше, в санатории для детей-сердечников, или отдыхать вместе со знакомыми, отправляла в кино и в театр, в кружки Дворца пионеров. Кричала, что он отравляет, губит её жизнь, что разлучает её с (очередным) любимым, хочет её одиночества и...

И, как бывало, пытался он, возвращаясь раньше времени, открыть дверь, но мать оставляла изнутри ключ в замке, и он часами сидел в скверике, не только один на скамейке, но один в целом мире, где был никому не нужен...

Мать скончалась уже давно, скоропостижно, оказалось, что на удивление крепкая женщина была сердечницей.

А он, Павел, перерос свой порок и стал здоровым.

Единственными его друзьями в те года были книжки, да ещё на разных языках, что быстро ему давались. С феноменальной памятью и великолепным логическим мышлением учиться мальчику было не только легко, но и приятно.

Тут же припомнился случай, когда рвал его очередную книжку предводитель дворовых босяков, рослый Петька. Он смеялся над плачущим Павлом и заставлял его пробовать свой выпуклый бицепс. А когда он, Лопоушка, трогал этот каменный мускул, то Петька всякий раз говорил ему:

— Помни, Лопоушка! Сила есть — ума не надо!

Ехал Павел по району и изумлялся его «незнакомости», правда ведь, больше двадцати лет прошло, как съехал он отсюда в своё нынешнее жильё и больше никогда здесь не бывал.

Зачем-то вышел он из машины, а ведь в ней он ощущал свою полную от внешнего мира защиту, когда находился по иную сторону пуленепробиваемого стекла. Правда, в кармане пальто *от кутюр* у него всегда было травматическое оружие.

Присел на одну из скамеек, на которых когда-то сидел, поджидая, когда от матери уйдёт её кавалер, очередной возлюбленный. Почему-то они все её со временем бросали.

Вспоминал, как после школы поступил в престижный вуз, выучился, попал в элитную команду политехнологов, стал тележурналистом, имел свою колонку в популярной газете, был публичным лицом. Карьерный рост был фантастическим, хоть работать приходилось много.

Женился по расчёту, но жену жалел и неплохо к ней относился, она же, однолюбка, стала его надёжным тылом. Любвеобильный Павел и «гарем» имел, любовниц-содержанок, и все они, каждая из них, нравились ему, все как на подбор рослые, с крутыми бёдрами и выпуклыми мускулистыми животами — они все походили на молодую Дину Верни, модель и женщину Аристида Майоля. Эта сегодняшняя Катя, приглянувшаяся ему на сайте интим-услуг, была того же «майолевского» типа, а ему внезапно захотелось новую женщину. Сам и сказал себе: «Лучшая женщина — новая женщина!» Эх, если бы не мальчишка, её сын. Ему в какой-то миг даже показалось, что это он сам ненавидяще смотрит на взрослого самца, пришедшего к матери...

На скамейку рядом завалился какой-то выпивший пожилой мужчина. Запах дешёвого алкоголя окутывал его.

— Сигаретка не найдётся?— просительно произнёс он.

— Не курю, — сухо ответил Павел, вставая и досадуя на себя за эту сентиментальную прогулку, и тут же внутренне усмехнулся, вспомнив одноименное стихотворение Верлена.

— Пашка?! — вдруг закричал мужик, — ты ли это, Лопоушка?! Глазам не верю!

— Петька? — опешил Павел, чтобы тут же подумать, что, вероятно, всё же права народная мудрость, гласящая, что «дураки легки на помине»! — Только что, Петька, вспоминал о тебе, — сказал он, всматриваясь в незнакомое лицо этого старого, обрюзгшего мужчины, в которого превратился крепыш Петька.

— Да, — удивился тот, и тут же жалобно стал клянчить, — Павлик, одолжи мне бабла немного, на опохмел завтра. Я ж тебя как в ящике вижу, так сразу и говорю всем — это мой кореш, друг моего детства, а мне, идиоты, не верят!

— Правильно, что не верят, Петька! — отвечивал Павел, — возьми себе на опохмел, но вот, знаешь, чего я тебе скажу. Хоть «ум — подлец», как говорил один писатель, да ты его всё равно не знаешь. Но и сила — дура!

ДЕКАДА СЧАСТЬЯ

Легко поднимались кверху крошечные пузырьки со дна бокала со светлым вином. Освежающим был и дым от ментоловой сигареты, майское солнышко ласково грело, от него не хотелось прятаться не только под тентом, но и за стёклами солнцезащитных очков. Хорошо было Нине сидеть за столиком уличного кафе и неотрывно смотреть на весеннее, помолодевшее после зимы море, на проплывающие, на солнце сказочно белоснежные, корабли.

И вот это состояние внутренней расслабленности, нежелания знать об обыденности, когда нужно куда-то спешить, с кем-то встречаться, созваниваться, что-то делать... было сладким, как после любовной горячки...

Сама весенняя Ялта с распускающимися магнолиями, олеандрами и глициниями в эти десять праздничных дней, между тридцатым апреля и десятым

мая, являла собой даже не декорации к пьесе о человеческом счастье, а сама по себе, своим радостным видом была предвестником счастья, символом светлого и будто нескончаемого Праздника...

Ради этого и ездила Нина сюда ежегодно на эти десять дней.

Новый год и эти десять дней в мае были её самыми лучшими, самыми-самыми днями в году. Они словно бы предвещали радость, так никогда и не случавшуюся, обещание неведомого счастья...

Новый год с ёлкой, боем курантов, с загадыванием желаний, что каждый раз волновали, биение ждущего сердца и замирание души — казалось, что вот-вот всё-всё сбудется... а они, эти желанья, постепенно истаявали в монотонности дней, месяцев, лет...

Но майская декада была сама по себе счастьем, десятью днями счастья! В солнечном, ещё нежном свете, в свежести моря, в бутонном расцветании. И тоже обещанием, как и в Новый год

Сидела она, погружённая в своё бессловесное, но осязаемое счастье. Впитывая в себя этот клонящийся к вечеру день, и запахи, доносившиеся из соседней чебуречной, и еле чувствуемый морской ветерок, любясь на подошедший к берегу чёрно-белый круизный теплоход «Иван Франко». Подали трап, и пассажиры стали по нему спускаться. Нинин взгляд, лениво озиравший живописное пространство, отчего-то сосредоточился на этих людях.

И вдруг послышался крик, поначалу единичный, потом закричали многие, крик стал несмолкаемым...

Нина вместе с другими побежала к теплоходу. Но подъехавшие машины «скорой помощи» и появившиеся в громадном количестве милиционеры не дали ничего — ни увидеть, ни понять... Ясно было одно — произошла беда, как ни трудно было поверить в это в такой безоблачно прекрасный день.

Уехали «скорые», исчезла милиция, сошедшая с корабля женщина подала обо всём.

Оказалось, что когда подали трап, то люди бросились к нему толпой, спешили на пропущенный обед. Среди них была и женщина с мальчиком лет шести. Мальчик споткнулся и упал, но толпа продолжила своё движение, не обращая внимания на крики матери, которую она же и вынесла на берег...

Потом, когда сошли почти все, в «Скорую» погрузили труп раздавленного мальчика вместе с матерью, что была без сознания.

Эта неожиданная, нелепая смерть в этом почти райском уголке мгновенно вернула Нину к тому, что, казалось бы, с годами должно было перестать мучить её...

Девушка, синяя девушка (она была именно синего цвета) лежала на гречке песке Евпаторийского пляжа. Все попытки спасателей оживить утопленницу ни к чему не приводили. Нина, пятнадцатилетний подросток, и сама пошевелиться не могла. Ведь эту девушку, наверное, студентку, она встретила ежедневно. Та являлась для Нины образцом для подражания! Всё что ни делала девушка, и то, во что она была одета, не просто нравилось Нине, она сама мечтала быть такой же. Особенно нравился девочке-подростку ситцевый белый, в крупный красный горох, купальник.

— Вот как вырастет у меня как следует грудь, тоже хочу такой, — не только себе говорила Нина, но и маме.

Но эта лежавшая, будто синькой выкрашенная девушка была словно ненастоящей, не той, что играла в пляжный волейбол, залиvisto смеялась и постоянно отводила рукой падавшие на лоб волосы. Только этот высохший под палящим солнцем белый купальник в крупный красный горох был тем же. Поднесли носилки, на них положили тело, укрыли сверху простыней. Нинина мать перекрестилась, а Нина потеряла сознание.

— Солнечный удар! — констатировал врач курортной поликлиники.

Многие десятилетия боролась с собой девочка, девушка, женщина, чтоб загасить в себе воспоминания о синей девушке, о белом купальнике в крупный красный горох...

И сейчас, вместо ужаса от мысли о затоптанном несчастном мальчике, снова, и, наверное, навсегда, заняла своё место в душе эта синяя девушка-Смерть.

Тем закончилась Нинина многолетняя «декада Счастья», да и на дворе стоял уже 1985 год, положивший конец её монотонному, заранее известному, будто на годы «расписанному» существованию. Не знала она ничего о грядущем, в котором для таких как она, тихих мечтателей, места не предусматривалось...

СПИ, МАША, СПИ

Матери она не помнила. Правда, иногда во сне та, незнакомая, появлялась. Она не то чтобы узнавала её, а как-то знала — мама! Так же смутно представлялись и братишки, их ребяческая возня, когда друг на дружку падали, и другие шалости, весёлая погоня. И знала, что если бы довелось им встретиться, то вряд ли признала бы.

А домом, единственным домом, был и остался цирк. Тут её Машей и нарекли, и выкормили её маленькую, и научили всем премудростям циркового искусства, вырастив настоящей Артисткой! Репетиции ей никогда не были в тягость, потому что Машенька была старательной ученицей, а представления казались настоящим Праздником! Играл оркестр, светили прожектора, на арену выбегали артисты цирка в красочных, особенно блестящих в лучах яркого света костюмах, раздавались детские восхищённые вскрикивания и шквал аплодисментов...

Эта ни с чем несравнимая радость Праздника, длящегося годы и десятилетия, скрашивала другие, подчас тоскливо-тянущиеся дни выходных, отпусков, переездов, вынужденного безделья и невольной обездвиженности...

Сластёна Маша всех любила и всеми была довольна: и своей цирковой труппой, и дрессировщиком со всей его семьёй. На её глазах подросло не одно поколение детей. Ей нравились в цирке все — от директора цирка, музыкантов оркестра до уборщиков клеток. Те сначала побаивались Машу, всё-таки медведица, но привыкнув, подчас даже предлагали «составить» компанию в распивании спиртных напитков. А в цирке немало было зверей, пристрастившихся к алкоголю, «потреблявших». Особенно часто это встречалось у родившихся в зоопарке и взятых оттуда.

Маше водка не пришлась по душе, и сменявшим друг друга цирковым рабочим об этом стало известно. Больше ей «не предлагали».

Но счастье, наверное, бесконечно не может длиться. Вот и Машину закончилось, когда после смерти отца и деда, руководителя Медвежьего цирка, труппа распалась. Да к тому же оказалось, что в стране началась какая-то Перестройка, и животных стало нечем кормить.

Начались Машины странствования, от одних дрессировщиков к другим, из одной труппы в другую, да те, вроде карточных домиков, были недолговечны, так безрадостно протекали годы, пока не попала цирковая пенсионерка, медведица Маша, на ИПС, на потравочную станцию.

Вот там-то Маша и увидела по-настоящему несчастных животных, загнанных, с ошмётками шерсти и даже шкуры, лисиц, енотовидных собак, диких кабанов...

Все эти животные были превращены в живые учебные «пособия», в предметы растерзания охотничьими собаками, которых здесь обучали натравливанию на живца.

Вот и Маша пополнила ряды собачьих жертв. Не ведавшая в своей долгой жизни, что такое горе, здесь она почти ежедневно испивала полную чашу...

Бегая по кругу на цепи, она только и могла, что уворачиваться своим худым, но тренированным телом от жестокой вседозволенности, от осатанелости собак, она только жаждала одного, чтоб наконец закончилось это мгновение, этот час, этот снегом подсвеченный день, закончилось это в с ё...

Она знала, что конец есть, на цирковом веку довелось ей увидеть и обычную смерть, от старости или болезни, и от несчастного случая (на последние цирк был богат). И вот во время травли молила она, чтоб закончился этот бег, любой ценой, пусть даже Жизни.

Ночами на этом источающем запах смерти полигоне, в грязной, тесной клетке сон не шёл. К тому ж, ночами приходилось и раны в доступных местах зализывать, тереться о прутья решётки, мучаясь от зуда, в этом аду ветеринары не были предусмотрены. Здесь даже зимой, когда обычно Маша становилась сонной, выспаться было невозможно.

Не знала ни Маша, ни другие животные — живые пособия для собак, для обучения их охоте, что о закрытии станции хлопочут защитники животных. Они приходили, когда владельцы станции уже не могли их не пустить. Маша распознавала их по ласке, по лакомствам, давно уж позабытому рафинаду, леденцам, ягодам...

Под зиму и случилось её «освобождение» из рабства этой ИПС, в которой она погибала.

Машу, как заслуженную цирковую пенсионерку, разместили среди старых, как и она, отслуживших своё циркачей. Это был своеобразный «дом для престарелых животных цирка».

Раздобрела Маша, мех вновь залоснился, а шёл ей уже пятый десяток (это на воле коротка медвежья жизнь). И Маша вдруг, впервые в жизни полностью ощутила приближение зимы. Дни становились короче, ночи длиннее, Маша тоже становилась сонной, вялой, пока на старости лет, но впервые в своей медвежьей жизни, не впала она в спячку, посасывая свою натруженную лапу.

Женщина, обслуживавшая животных, разносившая еду, убиравшая за ними (её Маша зачислила в свои подруги), часто смотрела на спящую старую медведицу да приговаривала:

— Спи, Машенька, спи спокойно, хорошая! Всё будет хорошо!

Борис ХЕРСОНСКИЙ

/ Одесса /



ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

1. Нулевые

Вечный мир, омраченный Цусимой и Порт-Артуром,
Век двадцатый на марше — антихристом-гадом брюхат.
Первая революция — на смех курам,
смело клюющим пыль у крестьянских хат.

2. Десятые

Вечный мир. Облако хлора ползет к окопам.
Агитатор машет руками — обещает спасенному рай.
Опять — революция с притопом, да — эх, с прихлопом,
с такою кровью, что кажется — через край.

3. Двадцатые

Вечный мир. Ленин в гробу. Торгаши в угаре.
Продразверстке конец, да здравствует продналог.
На рубле — чистого серебра — крестьянин с рабочим в паре.
На заднем плане — солнце. Вне поля зрения — Бог.

4. Тридцатые

В кольце врагов — и внутри кольца их валом.
Едут-летают по улицам воронки.
Германия распрямляется. Дело за малым.
Свяжем себя с нацистами — узы будут крепки.

5. Сороковые

Война. Победа. В землю легли миллионы.
Всех не упомнишь. Бабы воют в тоске.
Церкви снова открыты. Нравится — бей поклоны.
Европа наша. Мир снова на волоске.

6. Пятидесятые

Вечный мир. Борьба за него. Гонка вооружений.
Сталин в гробу. Берию — под расстрел.
Никита и кукуруза. Время новых свершений.
Режим немного расслабился и временно — подобрел.

7. Шестидесятые

Ишь чего захотели! Румяных яблочек с Марса!
Дескать, в красной пустыне яблони будут цвести!
Очередь разошлась — ни молока, ни масла.
Мальчик мамину мелочь обратно принес в горсти.

8. Семидесятые

Вечный мир. То есть — разрядка. Съезды. Дефекты речи.
Чехи под каблуком. Солженицын отправлен в дальнюю даль.
Диссидентские междусобойчики. Международные встречи.
Здравствуй, земля Афганская! Цвети, мой горький миндаль!

9. Восьмидесятые

Три гроба — один за другим с небольшим промежутком
зарыты в кремлевскую землю. Мишка с родимым пятном.
Тэтчер и Рейган не склонны к уступкам и шуткам.
Империя зла погибнет и очнется в мире ином.

10. Девяностые

Лебединое озеро. Ельцин на танке. Беловежская пуща.
Спущен красный стяг. Идет на брата брата.
А тут еще и Чечня. Скажи нам, кофейная гуща,
зачем этот гребаный век был нам от Бога дан?

* * *

В некотором царстве революция победила.
В некоторой республике случился переворот.
Позднее установилась диктатура дебила.
Он сидел на престоле, разинув слюнявый рот.

Приросшие мочки ушей. Нос седлообразный:
наследственность конноармейца с усами на всю ширину.
Простой народ на печке валялся, праздный.
Никто не гнал на работу, как в старину.

Раз в тридцать лет кто-то с авоськой в лавку
заходил посмотреть, как выглядит пустота.
Раз в полвека ребенок у мамы просил добавку
и получил подзатыльник, но сила была не та.

Раз в три века попадалась волшебная щука,
и печь приходила в движение, что большой паровоз.
Расцветало искусство. Развивалась наука.
Летом стояла жара. Зимой крепчал мороз.

Весной расцветали яблони. Но осенью было хуже.
Грязь непролазная. Ветер. Провисшие провода.
Зато вся страна отражалась в огромной луже
хоть и вверх ногами, но прекрасная, как всегда

* * *

вот и думай теперь когда мы стоим со своим товаром
вдоль подземного перехода
не нужна была и даром эта гребаная свобода
жизнь тришкин кафтан на заплате заплат
заслужанный отчет заслуженный отдых а до того зарплата
красный сиреневый зеленый коричневый ленин в профиль
даром что лысый а вылитый мефистофель

часть силы что вечно желает блага а вот совершает
исключительно зло хорошо что не завершает

а этот космос тренога летающая по орбите или конус
фаршированный радиостанцией серия марок называется космос
я собираю космос два блока три беззубцовки
китайские кеды лучше чем нынешние кроссовки
ракетки легкие шарики для пинг-понга
убили гады лумумбу что вы сделали с конго

а эта не к ночи помянута ядерная угроза
ядерная зима без снегурки елки и деда мороза
мандельштам со своим воронежем и холмами в тоскане
когда мы стоим в подземном переходе с шерстяными носками

все мы подделка и где взять настоящих
если город имел номер а завод назывался почтовый ящик
первый отдел допуск второго сорта
тетка из киева привезла два одноименных торта

то-то было сладко то-то взяло в зубах доньне
в желудке тяжесть пирамидки консервов в витрине
расстрелянные зверушки в подвале местного тира
ты осталась одна на хера тебе бабка двухкомнатная квартира

1960

Лямку тянуть или горе мыкать,
с каждой получки десятку ныкать,
вставать на службу с больной головой,
трястись в автобусе, нависая
над сидящей гражданкой. Воронья стая
кружит по небу — ей не впервой.

Хорошо — весна, хоть снег и не тает,
и все же немного раньше светает,
опять же птицы кричат по утрам.
Звонят к обедне в соседнем храме,
какой-то безумец роется в хламе,
с грехом, как водится, пополам.

Хорошо — весна, хоть холодный ветер
пробирает насквозь, но удел наш светел,
жить стало лучше и веселей:
снова цены повысят к Новому году,
но хватает на хлеб и воду,
да и дети стали взрослей.

Мы-то в детстве копали траншеи,
а они — сидят на отцовской шее
и ногами болтают — а мы — молчок,
пусть растут себе горе-девицы,
а папаше пора удавиться,
в уборной запершись на крючок.

Хорошо — весна, и автобус катит,
и пора пробираться к выходу — хватит
себя накручивать. Вспомним о том,
что собачки в космосе весело лают,
и на землю обратно к нам не желают,
не заботясь, что будет потом.

* * *

Бронзовая голова на черном мраморном кубе
соображает, как разместить ракеты на Кубе,
да так, чтобы не заметил кудрявый Джон.
Но Джон и за гробом неплохо соображает,
военно-морскую эскадру в путь снаряжает,
а на досуге пленяет прекрасных жен.

Одна из них теперь уже не одна из,
она уже ни Кеннеди, ни Онассис,
но в талии — пчелка, и ножка под ней стройна,
Монро конечно покраше была блондинка,
плывет по Стиксу, истаявая, как льдинка,
и тоже боится, что скоро начнется война.

На белом экране мелькают — мелькают кадры:
навстречу друг другу движутся две эскадры.
Ракет не счесть, направлена каждая в цель.
Но вот придет в Аид бородач со свитой,
и обнимется с Джоном, потом с Никитой,
и оба вместе скажут: превед, Фидель!

* * *

идут родные плечом к плечу в плащ-палатках и касках
в камзолах рясах в грехах как в шелках в карнавальных масках
вечерних платьях с открытой спиной сарафанах и вышиванках
едут в трамваях на БТР или в тачанках — танках
едут идут летят лицо земли покрывают былью
историей временных лет пороховою пылью
смотрятся в зеркала в кофейную гущу или в витрины
ложатся в землю что в детстве на бабушкины перины
идут все с собой уносят тебе ничего не осталось
а если осталось то какая-то малость
одна весна плетеное кресло под цветущую вишней
на самом донышке чуть несправедливости вышней

* * *

Центральная площадь занимает почти всю площадь страны.
Столица идет по краю — далее — за граница.
Граждане все на площади в колонны построены,
и у всех — широкие плечи и счастливые лица.

И главное — что-то все время вспыхивает и гремит:
то свет, то цвет, то тьма расцветает в цвете.
А что там — салют, гексоген или динамит —
это как повезет. Подробности — в местной газете.

* * *

Ишь чего захотели, страну под себя подмять,
знать не знали, что Родина это — мать,
что вождь усатый — отец, а не черт рябой,
что смело идет в атаку бешеный рядовой.
Что смерть — не сахар, но жизнь тоже не — мед.

Свои это знают, чужой никогда не поймет.
Враг это пугало — гимнастерка надета на жердь.
Что русскому здорово — немцу, известно, смерть.
Что русскому — смерть, немцу — смерть вдвойне.

Это знают все, кто не бывал на войне.

* * *

История занята тем, что рекламирует зло:
кто выбрал зло, тому повезло,
он умер в пурпурном плаще и латах,
а тот, кто следовал за добром,
весь дрожал, пил то водку, то бром,
а умер в чужой рубахе, и та — в заплатах.

Что ни страничка учебника — то злодей,
убийца, грабитель, творец идей —
в мраморе, в песне хвалебной, в тексте,
который в школе нужно заучить наизусть,
кто выучил умница, в награду заучка пусть
съест на углу сосиску, запеченную в тесте.

Как сосиска в тексте, смысл внутри сокрыт.
Оболочка — гроб, смысл в глубине зарыт:
ухо к земле приложи — и услышишь стоны.
Искал себе спасенье, а приобрел
монету — дельфину в спину вцепился орел,
а на обороте — чудовищный лик Горгоны.

Анатолий МИХАЙЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

1

Я думал, завалинка — это такое бревно и верхом на метле сидит Баба-Яга. А это, оказывается, крыльцо и верхом на табуретке читает газету дядя Павлик. У дяди Павлика румяные щеки и покрытые волосами мясистые пальцы. И, если их потрогать, то так и хочется сложить из них фигу.

Дядя Павлик — папа Наташи Мартыновой. Считается, что я в Наташу влюблен, и, когда играли в «бояре», Наташа меня выбрала себе в женихи.

Я перешел во второй класс, а Наташа пойдет уже в четвертый. У Наташи золотистые локоны и голубые с отогнутыми ресницами глаза. Точно у куклы Мальвины из спектакля про деревянного мальчика. Я еще спектакль не смотрел, но уже знаю, что деревянного мальчика зовут Буратино.

Так за приличный «паяльник» прозвали в нашем классе Анешина.

— Ну, как, Егорыч, дела? — останавливает меня дядя Павлик и, отложив газету, шуточно толкает кулаком в живот. Мы теперь с дядей Павликом друзья.

2

А через тринадцать лет (после свадьбы я уже переехал на Фрунзенскую) он мне напомнит папу Милкиной подруги Лерочки. Мы пришли к Лерочке в гости, а ее папа лежит на кровати.

Мы вошли чуть ли не на цыпочках, но Лерочкин папа открывает один глаз. Лерочка говорит, что дядя Митя чувствует неприятеля, как немецкая овчарка. Такой у дяди Мити нюх.

— Фамилия?! — с какой-то угрожающей хрипотцой ворочается дядя Митя и, тут же проснувшись, открывает еще один глаз.

— Да не волнуйся... Михайлов... — успокаивает своего папу Лерочка, и мы с Милкой проходим в Лерочкину комнату.

Лерочкин папа — генерал-лейтенант государственной безопасности.

3

До дяди Мити дяде Павлику, конечно, еще далеко. Но он считает, что моя фамилия мне совсем не к лицу. Да и отчество, пожалуй, тоже.

— Ну, брат, — смеется, — ты меня и огорчил...

Но Наташа с ним не согласна.

— Ну, чем тебе, — заступается, — не нравится имя Гриша?

— Ну, что ты, Паша, к нему пристал? — приходит мне на помощь и тетя Рая, — ну, разве человек виноват?

Тетя Рая — Наташина мама.

— Конечно, не виноват, — соглашается с тетей Раей дядя Павлик и поворачивается ко мне, — ну, что повесил нос?

— У меня, — говорю, — мама... Вера Ивановна... Вера Ивановна Михайлова...

— Вот это, — улыбается, — уже совсем другое дело! А то что это за фамилия... Киновер... Вот, — продолжает, — сравни... — и, вскочив с табуретки, надувает свои румяные щеки, — Герррой Советского Союза... Анатолий... Егорыч... Михайлов!!! Ну, как... — хохочет, — звучит?

— Звучит, звучит... — успокаивает дядю Павлика тетя Рая.

4

Я раскачиваюсь в гамаке, и напротив меня в другом гамаке раскачивается Наташа. Все девочки бегают без маек, а у Наташи на плечах завязанные бантиком бретельки.

Только что прошел дождик, и на фоне застекленной веранды из водосточной трубы в бочку стекает вода. Еще погромыхивает, и никто не должен знать, что я боюсь грозы.

Я смотрю на Наташу и, сам не знаю зачем, оттягиваю у себя на трусах резинку... Все дальше и дальше... и как-то вдруг неожиданно показываю свои «глупости»...

Наташа понимающе улыбается и в какой-то задумчивости продолжает раскачиваться.

ГОЛУБИ МИРА

1

— Драки-драки-дракочи... — врывается в класс ватага «неутомимых мстителей» и, навалившись на щуплого Ициксона, молотит по нему кулаками. — Налетели палачи! Кто на драку не придет — тому хуже попадет. Выбериай из трех одно: дуб, орех, пшено?

На Ициксоне пришитые к распашонке и пропущенные через трусы с металлическими дужками резинки. После урока физкультуры он пристегивает к ним чулки.

— Орех... — шепчет на смерть перепуганный Ициксон.

— На кого грех? — и, заломив ему за спину руку, выворачивают ее ладонью вверх еще дальше...

Ициксон затравленно озирается и на свое спасение замечает вернувшегося из буфета рыхлого Гернера. У Гернера большое сердце, и он от физкультуры освобожден.

— На Гернера... — снова лепечет Ициксон и с виноватой улыбкой опускает глаза.

Отмолотив Ициксона, ребята набрасываются на Гернера...

2

Нам устроили переключку: классная руководительница прочесывает алфавит, и каждый, услышав свою фамилию, обязан встать и отчеканить имя-отчество своих родителей.

— Киновер, — добирается до моей фамилии Анна Алексеевна, и, откинув перед собой крышку парты, я поднимаюсь. Сначала надо назвать маму.

— Вера Ивановна! — выпаливаю с гордостью я и с видом победителя смотрю на своих товарищей. Пускай все слышат, что моего дедушку зовут Иван.

А теперь надо назвать папу. Но моего другого дедушку зовут совсем не Иван. Что делать?

— Григорий... — неуверенно мямлю я и запинаясь, — Григорий... Макарович...

— Зачем же ты, Толя, говоришь нам неправду? — Анна Алексеевна обижено меня стыдит и, оторвавшись от журнала, смотрит мне прямо в глаза, — ведь тут же все записано. Не Макарович, а Маркович...

Товарищи покатываются со смеху, и маму вызывают к директору. И в журнале вместо фамилии Киновер появляется фамилия Михайлов. А фамилия Киновер превращается в кличку.

3

Мы мастерим голубей — делаем их из бумаги и пускаем во двор. Один подумал и на крыле написал: БЕЙ ЖИДОВ — СПАСАЙ РОССИЮ!

Из нашего класса вылетают голуби мира.

СВИНАРКА И ПАСТУХ

1

Я смотрю на абажур и, вспоминая связанные с ним события тридцатилетней давности, слушаю историю маминой дружбы.

Мама рассказывает мне про свою старинную подругу Галю Настюкову, а папа откладывает в сторону газету и, включив телевизор, снова усаживается в шезлонг.

На столе стоит корзина с красной смородиной и, опустошая очередную кисточку, я склеиваю на ней ягодку за ягодкой.

Со стороны может показаться, что папа уже давно клюет носом, но на самом деле это далеко не так, и, несмотря на свои 78 лет, папа даже и не думает дремать. А на экране, подогревая нахлынувшую волну ностальгии, по многочисленным заявкам трудящихся трансляция замечательной советской комедии «Свинарка и пастух».

На весь экран — расширенные от счастья глаза простой советской труженицы из далекого северного колхоза: ну, вот, наконец-то, и сбывается самая сокровенная мечта — ее вызывают в Москву на Выставку достижений народного хозяйства!

Свинарку зовут Глашей и перед ней на фоне бесконечных вольеров и клеток — на весь экран — красочный стенд с портретом знатного пастуха-овцевода из далекого южного аула.

И крупным планом — поросята, поросята... миллион поросят... и над розовыми пятачками — олицетворяя Родину-мать — огромная свиноматка по имени Ласточка.

В кружащихся блестях конфетти — всё девчата, девчата, девчата... и все бегут, и поют, и радостно улыбаются... И вместе с ними — бежит и яростно хохочет счастливая Глаша — и снова на весь экран ее расширенные от счастья глаза.

Опять на весь экран — теперь уже похожий на юного Джугашвили горный орел — и окрыленная СВИНАРКА со слезами на глазах зачитывает ему свои социалистические обязательства.

И ей в ответ сошедший с красочного стенда ПАСТУХ делится самым сокровенным — по сколько килограмм шерсти он планирует настричь с каждой овцы.

Под музыку Лебедева-Кумача — величественная кантата о дружбе, рожденной в самом сердце нашей великой Родины — в златоглавой Москве. И после дуэта о величавой столице Свинаярка и Пастух дают друг другу клятву верности.

Она уезжает на Север — к своим любимым свиньям. И всюду — свиньи... свиньи... свиньи... и сверкающие в рубиновом свете звезд белоснежные ковры... на фоне провисших попонами ветвей сказочных исполинов дубов и встроенных в сугробы с резными петушками светящихся изб...

А он уезжает на Юг — к своим любимым овцам. И всюду овцы... овцы... овцы... миллионы пасущихся овец... на фоне необозримых горных пиков и глубоких ущелий...

2

Я смотрю на ползущую по абажуру гусеницу и слушаю мамин рассказ о ее боевой подруге.

До революции Галочкин папа был владельцем самой крупной в России ткацкой фабрики, но в годы военного коммунизма, показывая личный пример, из стана эксплуататоров переметнулся на сторону своего классового врага и, засучив рукава, вместе с ивановскими ткачихами встал за ткацкий станок. И маленькая Галя еще со школьной скамьи очень переживала, что ее пролетарское происхождение подвергается сомнению. Правда, совсем недавно в газете «Неделя» о Галином родителе был опубликован целый разворот. Среди мануфактурщиков города Иванова уже в советское время он получил первый патент за изобретение. Он изобрел защитную одежду «хаки».

Еще до этого изобретения юная безбожница жила, если уместно это выражение, как у Христа за пазухой. Она была очень смазливая, и все молодые люди, охмуренные ее красотой, сразу же в нее влюблялись. Как, впрочем, и в маму, но с той оговоркой, что они с Галей почти никогда не соперничали. Мама брала своей выдержанностью и собранностью, а у Гали, по мнению мамы, был просто испорченный вкус. При этом недостатке Галя еще и злоупотребляла выпивкой, в то время как маме такой образ жизни претил.

Уже вступил в свои права и был в самом разгаре НЭП, и неразборчивая Галя меняла своих ухажеров, как перчатки, и среди ее воздыхателей больше всех преуспел Адольф.

В ту пору Гитлер считался еще борцом за рабочее дело, и имя Адольф в нашей стране даже пользовалось уважением и популярностью.

Адольф тоже «работал над фюзеляжем», но прельстил он Галю совсем не этим. Он прекрасно играл на рояле и на любой вкус мог подобрать изысканную мелодию. Он был по природе импровизатор и заводила всех молодежных компаний. Но маму туда, в эти бездумные посиделки, никогда не тянуло. Маму больше привлекало организовывать комсомол и прокладывать колею идущим за передовым отрядом молодежи пионерским ячейкам. И маминым пионером был известный потом детский писатель Анатолий Рыбаков, автор прогремевшего на всю страну знаменитого «Кортика». И Анатолия Наумовича мама всегда называла просто Толей, и он, в свою очередь, с ее мнением всегда очень считался. И мама и теперь уверена, что дала будущему автору легендарного романа «Дети Арбата» путевку в жизнь и в свое время даже подкинула ему несколько самых острых сюжетов.

3

За вычетом «возмутительно отобранного» Днепромихайловска, дедушке, учитывая его боевые заслуги, дали квартиру на улице Грановского, и, будучи наркомом тяжелого машиностроения, сам бывший слесарь высокой квалификации, он привил маме дух пролетарского интернационализма, а в это время ветреная Галя на очередной вечеринке спуталась с Цфасманом, и уже тогда это был известный на всю страну композитор легкого жанра и такой же крутой импровизатор, как и его самый близкий ему по духу товарищ. И в результате Галя от него заразилась гонореей, и, обеспокоенная состоянием здоровья своей подруги, мама ее от этой не совсем красивой болезни вылечила.

Я удивился:

— Ты... вылечила тетю Галю от гонорей?

Но мама мне потом все объяснила.

Конечно, не она сама, а врачи. Просто Галя тогда вдруг стала очень серьезно болеть, и не только одной гонореей, и благодаря бабушкиному дыхателю товарищу Буденному (который жил на нашей лестничной клетке, и когда дедушка уезжал за границу, то приходил к бабушке в гости и, сидя на табуретке, успокаивал ее своей игрой на баяне), а также дедушкиному соратнику по борьбе товарищу Ворошилову (с чьей женой Екатериной Давыдовой бабушка была очень дружна), у мамы наладились тесные связи с Кремлевской больницей, тем более, что эта больница находилась у нас под боком, на той же улице Грановского, где жили только одни члены правительства, и во дворе каждого дома возле полосатой будки стоял милиционер, а в каждом подъезде в качестве вахтера дежурил с кобурой на боку неразговорчивый офицер.

Обескураженный Галиным недомоганием, Адольф, конечно, очень переживал и, выясняя отношения, они с Цфасманом даже чуть не подрались, но по своей натуре Адольф был очень отходчивый и все Гале простил, и не совсем благородная Галя даже после выписки из больницы все продолжала вести свой разгульный образ жизни, но, невзирая на все Галины закидоны, Адольф все равно ее любил, и по его настоянию (у

Адольфа была отдельная квартира) они с Галей, в конце концов, зарегистрировались. А потом Адольф в чем-то проштрафился, и в качестве профилактической меры его куда-то послали на перековку, тогда ведь еще не совсем сажали, а отправляли в глухую провинцию поднимать производство, и Адольф иногда к Гале из глубинки приезжал и чуть ли не каждую неделю присылал ей продукты питания, хотя она тогда практически ни в чем не нуждалась, так как была уже таким же специалистом по прочности, как и мама. Но, «сколько волка ни корми, он все равно смотрит в лес» — и, возобновив свои «пагубные привычки», Галя, в отсутствие Адольфа, стала от него снова погуливать.

4

Наступает 37-й год, и побывки Адольфа неожиданно сходят на нет, а в свою очередь Галя, как под копирку с мамы, получает точно такую же директиву, и теперь она должна от своего Адика письменно отказаться; для достижения этой цели ее все в том же скоростном лифте увозят в подземный кабинет, где, аннулировав паспорт, выдают ей, как и в случае с мамой, очередной следующий, и она, точно так же (во время дружественной беседы) в поддержку своему суженому передает ему в камеру предварительного заключения всю их историю любви, запечатленную в письмах и фотографиях.

Отвлекаясь от экрана, папа настораживается и, поднимаясь из шезлонга, прежде чем идти готовить маме лекарство, успевает заметить, что уже и тогда, в «старые добрые времена», Галя была «настоящая тварь» — и для убедительности повторяет эту свою оценку еще раз.

— Да. Это была тварь. Самая настоящая тварь. Да и сейчас, — все с той же настойчивостью невесело добавляет папа, — да и сейчас «эта нечистоплотная потаскуха» еще нам с тобой, Верка, покажет!

5

Ну, а потом, со скорбной гримасой, чуть изменив тон повествования, продолжает свой рассказ мама (расстроенная даже не репликой папы, а не совсем красивым поведением своей подруги), наступает черед и самой Гали, и ее тоже отправляют в ссылку, точнее даже не в ссылку, а без отрыва от коллектива ЦАГИ (как тогда говорили, в составе «шараги») дислоцируют на «вольное поселение», и задним числом теперь принято «навешивать всех собак» на знаменитого тогда Гришку Кутепова, но мама считает, что Гришка был вообще-то парень неплохой, по крайней мере, в «шараге» многие сослуживцы его уважали и, наверно, не зря в свое время его даже выбрали комсоргом, но папа тут же встрял и возразил, что этот Гришка был на самом деле «настоящая сволочь», «ведь ты же, Вера, сама, помнишь, рассказывала». И уже на поселении Галя снюхивается с молодым военпредом и живет с ним, как «обычная вольнонаемная», и только ходит отмечаться в комендатуру, и этот военпред в Галю «по уши втюхался», и когда мама в лице Климента Ефремовича пустила в ход тяжелую кавалерию и, в конце концов, все-таки выхлопотала Галино возвращение в Москву, то «этот мальчишка» чуть не сошел с ума и, по свидетельству очевидцев, не пережив разлуки, прямо в своем кабинете выстрелил себе в висок.

6

А еще перед самой ссылкой Галя влюбилась в ЦАГовского светилу Остославского (которого за организаторские способности в свое время ценил сам товарищ Орджоникидзе), и в производственных интересах, оставив на переподготовку в Москве, его даже не отправили вместе с «шарагой» на поселение, и уже в министерстве, как и ожидалось, он пошел на повышение, и, вернувшись в Москву, Галя его вдруг застукивает со своей родной сестрой, и чтобы Галя не переживала, мама знакомит ее с Сенечкой Вигдорчиком — уже имеющим опыт работы пионервожатым и проверенном в деле еще до маминной работы в ЦАГИ, но Остославский потом Галину сестру бросает, нет, кажется, наоборот, она его бросает сама и отбивает от жены знаменитого хирурга из военного госпиталя в Серебряном переулке на Арбате, сейчас мама, правда, уже не помнит его фамилию, а Галина сестра хоть и считалась «форменная дура», но была очень красивая, даже красивее самой Гали, и еще у Гали был брат, и тоже очень красивый, и в качестве полпреда уже дослужился до чина подполковника, но потом оказался троцкистом и, когда вышел инвалидом из заключения, то, будучи еще совсем молодым, спился и умер.

7

И с помощью Климента Ефремовича мама выхлопатывает для Гали возврат ее квартиры, полученной Адольфом еще до знакомства с Сенечкой, и Гале даже возвращают всю ее мебель, включая и знаменитый рояль, и в память о своем возлюбленном Галя рояль все-таки оставляет себе, а стулья решает продать маме, те самые, что теперь стоят у нас на веранде, — всего шесть штук — и все с черными коленкоровыми спинками и точно такими же сидениями, а сами — темно-фисташкового оттенка, сейчас, они, правда, уже давно обтрепались — ведь шутка ли — прошло уже почти полвека; хотя тогда и гляделись, как с иголочки, но Гале они были совсем не нужны: ну, зачем ей эти стулья, когда с ней уже нет ее любимого Адика, а маме, наоборот, позарез понадобились: Наташеньке исполнилось пять лет, и мама тогда с Башкировым уже развелась, но с папой они еще не встретились, и значит, был (задумывается) как раз 37-й и стулья маме понадобились в квартиру Ивана Петровича, и еще спасибо, что бабушка успела их потом с первого захода вывезти из Ленинграда в Москву.

8

И мама до сих пор не может Гале простить, что за эти «несчастные стулья» ей пришлось еще и платить. А ведь могла бы и подарить — за все, что мама ей тогда сделала: и вылечила от гонореи, и вызволила из ссылки, и выхлопотала уже совсем было уплывшую квартиру; да плюс ко всему еще и познакомилась с Сенечкой.

Да и вдобавок еще сорвала с мамы какую-то «баснословную сумму», по крайней мере, по тем временам, а ведь самой Гале эти стулья достались фактически бесплатно, да еще и по маминой протекции.

Но мама зла не помнит (ведь и сама она, чего греха таить, тоже не сахар!), и даже «эту вопиющую низость» своей лучшей подруги готова теперь «безвозмездно проглотить».

9

А с Сенечкой у Гали тоже как-то не заладилось, потому что Сенечка оказался импотент, и у него ничего с Галей не получалось. Да и вообще он был «такой развратный, что ему всегда нужно было сразу много баб».

И я опять удивляюсь:

— Импотент и нужно много баб?

(И, отвлекаясь от экрана, папа опять настороженно хмурится, а мама как-то беспомощно улыбается.)

По правде сказать, она и сама не может этого понять, но ей все-таки кажется, что Галя от нее что-то утаивает. Но мама твердо уверена, что в этих делах Сенечка был не совсем порядочный, и по этому поводу Галя очень страдала.

10

А потом неожиданно в Галину квартиру возвращается Адольф — в отличие от расстрелянного Ивана Петровича, Адольфа чекистская пуля не берет. И возвращается не один, а со своей новоиспеченной невестой — ведь Галя же сама от него отказалась — и вот Адольф нашел себе молодую подругу. И это Галю сначала просто взбесило и она поставила перед собой цель — вернуть себе Адольфа во что бы то ни стало. И вспомнив все ее прелести, Адольф на эту приманку клюнул. И Гале Адольф показался ужасно жалким, а над его новой подругой она откровенно поиздевалась. Адольф к ней приехал на грузовике за своим роялем, и Галя его, оставив у себя, сначала соблазнила и, добившись своего, потом вероломно выгнала. А его молодуху спустила с лестницы. И просто убитый таким поворотом событий Адольф, конечно, очень переживал и все ей звонил и звонил, и Галя иногда его до себя опять допускала, но, неожиданно приблизив, тут же его снова прогоняла. И это ей (она маме не раз признавалась) даже нравилось, хотя сама она уже давно крутила шуры-муры с Сенечкой. А Сенечка, хотя и оказался импотентом, но так на ней в результате и не женился, и Галя ему потом этого так и не простила.

11

А когда еще в 39-м году мама женихалась с папой, то Галя маму, игнорируя мамин выбор, в этом вопросе очень отговаривала.

Кто-кто, но мама могла бы себе найти кого-нибудь посолиднее. Ну, что такое папа — тьфу и растереть — ни чина — папа был старшим лейтенантом, ни научных трудов. И папа Галю сразу как-то не очень взлюбил. Потом, правда, пришлось ее, стиснув зубы, терпеть — ведь, как-никак, а самая близкая мамина подруга, и когда Галя приезжала к нам на дачу, то папа тут же отправлялся за продуктами в Москву или садился на велосипед и укатывал на кладбище в Малаховку посидеть над могилой бабушки и дедушки.

12

Но иногда Галя гостила у нас по несколько недель и даже ничего с собой не привозила, а аппетит у нее был (по мнению папы), ну, просто зверский (и, отвлекаясь от экрана, папа показывает, во что сейчас пре-

вратилась мамина любимица: такая вот харя — изображая размер Галиных щек, папа надувает свои и для наглядности еще и обхватывает их пальцами, и такой вот бюст — изображая размер Галиного бюста, папа прикладывает растопыренные пальцы к своей груди и для наглядности еще и выдвигает их чуть ли не на полметра вперед, ну, а глаза — прямо вылитый Мао Цзэдун — изображая щелочки Галиных глаз, папа, поморщившись, дурашливо прищуривается и для изящности, все продолжая кривляться, даже как-то аппетитно зажмуривается).

Я хохочу, и, обидевшись за свою подругу, мама плаксиво, но как-то все равно понарошку, надувается и, не согласная с мнением папы, утверждает, что по ее мнению «тетя Галя до сих пор сохранила следы былой красоты».

«Ты, Толюн, папку не слушай. Ведь папка же у нас артист!»

13

А вот ко мне тетя Галя относилась с большой симпатией. И, по мнению тети Гали, «девок вообще всегда нужно только портить!»

И ей очень по душе, что у меня уже четвертая официальная жена, и ничего в этом нет зазорного, что перед самым бракосочетанием моя невеста (рассказывая ей про мои достоинства, мама имела в виду мою магаданскую Зою) поставила мне прямым попаданием фингал, и в результате в загсе Гагаринского района города Москвы марш Мендельсона мне пришлось слушать в темных очках, и по этой же причине мама даже не пожелала встретиться с Зоей у бабушки Груни и, ссылаясь на свое неважное самочувствие, вообще не приехала, а папа хоть и приехал, но когда, одетую в подвенечное платье, я подвел к нему свою новую избранницу, то так и не пожелал пожать моей возлюбленной руку.

14

Но в особенности тетю Галю порадовал жалобный мамин рассказ о «моих проститутках» и в частности о том, как еще в 68-м она (мама) выжиwała меня чуть ли не из борделя и с «пьяной девкой» тоже «совершенно пьяного» везла в троллейбусе оформлять на улицу 25-го октября бронь, и я, хоть и был под мухой, но в скверике напротив Большого театра все-таки обратил внимание, как прямо на голове у памятника Карлу Марксу устроила себе наблюдательный пункт ворона.

15

А вот какая история приключилась ровно 30 лет назад, после которой мама с тетей Галей насмерть поругались, правда, потом все равно помирились, но после нее (этой не совсем красивой истории) мама теперь с тетей Галей всегда начеку, и я уж не говорю о папе.

И все из-за этого абажура, по которому сейчас ползают увесистые гусеницы и на оранжевый свет, как на огонь любви, летит и бьется насмерть самая красивая бабочка по имени опель-адмирал.

Он до сих пор еще не увял — весь этот в рюшечках и в оборочках оранжевый пенсионер-красавец — висит себе как ни в чем не бывало, и мама его

до сих пор чуть ли не каждый день протирает специальной щеточкой, а папа, пока эту щеточку нашел, то объездил, наверно, пол-Москвы, правда, купил ее все равно у нас в Удельной в отделе уцененных товаров Маленковского универмага.

16

А когда-то этот абажур висел на Покровском бульваре, и было это в 55-м году, как раз перед самой Наташенькиной свадьбой.

И вот примерно за неделю до свадьбы тетя Галя была у нас в гостях и ей «смертельно понравился» наш абажур, она уже, наверно, несколько лет к нему тайно присматривалась, а маме как раз были срочно нужны деньги. И они с тетей Галей поторговались и, хотя маме тоже было «смертельно жаль» с ним расставаться, в результате она его тете Гале уступила за 200 рублей (сейчас двадцатка, но тогда на эту сумму можно было купить, как теперь на тысячу; но и этого, конечно, было мало за такую «чудесную вещь»). И тетя Галя, страшно торопясь (а вдруг мама передумает!) его увезла, а мама (время поджимало) тут же купила Наташеньке на свадьбу постельное белье и плюшевые занавески, а на фарфоровый сервиз и на тумбочку под телевизор все-таки не хватало (у нас уже тогда был КВН, еще, правда, без линзы). Так что пришлось еще и занимать у бабушки Лизы.

17

А за два дня до свадьбы к нам вдруг в квартиру звонок — и, точно спущенная с цепи, с абажуром наперевес врывается разгневанная тетя Галя и требует вернуть ей обратно эти «несчастные 200 рублей». И маму это настолько возмутило («ведь только подумать, какое все-таки варварство!»), что папа ее (тетю Галю) с «совершенно спокойной совестью» вместе с ее «вонючим абажуром» выставил за дверь. И в результате ее (тетю Галю) даже не пригласили на свадьбу, и своими постоянными звонками она попыталась всю нашу праздничность омрачить, и чтобы не портить маме нервы, папа, для сохранения спокойствия, на время торжеств даже отключил телефон.

18

И тетя Галя еще, наверно, целый месяц нам названивала, и иногда даже по ночам, а потом все-таки не выдержала и в местный комитет ЦАГИ (где мама уже тысячу лет не работала, но где ее все, как облупленную, знали) написала на маму заявление, где очень подробно перечислила все нюансы этой «сомнительной сделки», и подчеркнула, что абажур уже старый, еще времен попа Гапона, и чуть ли не весь в клопах, и красная цена такому «сокровищу» не больше ста рублей, пускай не ста, ну, ста пятидесяти или даже ста сорока. Но уж никак не двухсот. А 200 рублей — это, по мнению тети Гали, «самая настоящая спекуляция». И параллельно «этому пасквилю» прислала к маме на переговоры двух «низкопробных» подружек, которые тоже знали маму, как облупленную, еще по довоенным делам и, как и следовало ожидать, очень маме завидовали. А «эти склочницы» опять врываются в нашу квартиру со своим «вонючим абажуром» (и маме

даже показалось, что они его нарочно чем-то измазали) и, бросив его папе под ноги, тут же поспешно сбегают, и папа потом очень жалел, что это была не сама Галя, а так папа надел бы этот «шутовской колпак» на ее голову. И мама сейчас тоже очень жалеет, что не смогла ей «швырнуть прямо в морду» «эту несчастную двадцатку».

19

И тут же следом на кафедру начертательной геометрии Галя посылает еще одну бумагу, обкатанную теперь уже в ЦАГИ и подписанную тамошним председателем месткома, где обнарудует все свои «отвратительные пако-сти», и в результате эта бумага ложится на стол самому начальнику академии имени Жуковского генерал-лейтенанту Волкову (и со словами «очень гнусный был человек» папа опять отвлекается от экрана). И все, конечно, понимали, что всё это — «шитые белыми нитками происки», но какво было маме, одной из двенадцати женщин-полковников на весь Советский Союз!

20

И мама до сих пор хранит в своем «секретном архиве» квитанцию, где зафиксировано, что она послала «этой неблагодарной сквальжнице» на ее домашний адрес «эти несчастные копейки», и с тех пор дружба прошедших огонь и воду пламенных подруг хоть и не совсем свернулась, но пошла как-то наперекосяк, и, как всегда, мама потом ей, конечно, все простила, «ведь сердце-то не камень», но что-то «самое хорошее и святое» оборвалось навеки, и теперь, пожалуй, уже и не склеить.

Зато папа тете Гале не только ничего не простил, но до сих пор очень доволен, что «эта подлая тварь так себя проявила».

1986

МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД БУДАПЕШТ

В сопровождении бегущих титров хор имени Пятницкого завершает кантату о Родине, и, предваряя передачу «Спокойной ночи, малыши», на экране появляется тетя Валя.

Папа выключает телевизор и, выйдя на крыльцо, запирает веранду на ключ. Спускается по ступенькам в сад и, растворившись в темноте, исчезает... Побренчав колотушкой под висящим у летней кухни рукомойником, возвращается уже из коридора и, повесив ключ на гвоздь, готовит маме лекарство. Папа вытаскивает из облатки таблетку и, разрезав на блюде заранее приготовленный персик, подносит его четвертушку к маминым губам. Перед принятием лекарства сначала надо что-нибудь съесть.

Мама выплевывает косточку на салфетку и, проглотив таблетку, запирает ее из протянутого папой стакана. Поперхнувшись, заходит в кашле, и, постучав маме по спине, папа уходит на кухню.

Папа приносит горсть грецких орехов и придвигает еще времен Покровского бульвара миниатюрный сверлильный станок.

— Давай, Толюн-писун... налетай! — подмигивает мне папа и скармли-
вает маме еще один ломтик.

— Все, Вера, все! — хлопает в ладоши папа. — Пора, Верунчик, спать...

Папа берет маму за локоть и бережно приподнимает. Но мама сопротив-
ляется: когда еще доведется так пооткровенничать с сынулей!

Я закручиваю крантик, и похожий на штопор хоботок вонзается в рас-
щелину лежащего в лунке ореха. Орех с треском раскалывается и, обнажив
извилистые внутренности, разваливается на две половины.

Мама дожевывает персик и продолжает свой рассказ про орден в е н -
г е р с к о й с в о б о д ы .

...Климент Ефремович поручил маме произвести аграрную реформу, и
этот хамелеон Ференц Надь для притупления бдительности вручил маме ор-
ден, а когда попытался сбежать, то его тут же поймали, но, вместо того, чтобы
сразу же обезвредить, проявили халатность, и между его сторонниками и сто-
ронниками Матиуса Ракоши опять разгорается спор; и Климент Ефремович
сначала был на стороне Нады и дал маме задание составить списки голосую-
щих за национализацию земельных участков, но когда речь зашла об ответст-
венности, то все сразу же засомневались и уклонились, и оставшейся в оди-
ночестве маме пришлось за всех отдуваться и все подписывать самой, так ей
велел этот мерзавец Надь, а сам, прежде чем еще раз сбежать, все свои пол-
номочия передал бывшему партизану из местных крестьянских вожаков, од-
ному из тех предателей, кто переметнулся в стан врага и выступил против на-
ционализации; а потом Надя поймали уже окончательно и расстреляли. И те-
перь мама понимает, почему после подавления путча, уже при вышедшем из
тюрьмы Януше Кадаре (после доноса мстительного Ракоши) ни ее, ни Климен-
та Ефремовича (какое все-таки варварство!) даже не пригласили на юбилей-
ные торжества, посвященные десятилетию Венгерской народной республики.

А потом нам надо было лететь в США, но я почему-то заупрямился и ле-
теть в Америку категорически не захотел.

Я маму перебиваю:

— Кто, я?.. я не захотел лететь в Америку?

Мама на меня смотрит и с какой-то печальной укоризной качает го-
ловой:

— Ты что, забыл, тебя еще вызывали к Лёвушкину...

Я говорю:

— Мамуля, мне же тогда было только шесть лет...

Мама на меня смотрит и молчит.

Тут вмешивается папа.

Он смотрит на маму и говорит:

— Ты что, Вера, того? Зачем ты впутываешь Толю! — и, повернувшись
ко мне, крутит у себя возле виска указательным пальцем.

— Все, Толька, — строго замечает мне папа, — видишь, мама уже уста-
ла... Пойдем, Верунчик, пойдем поупрелептикаем...

Попурлептикаать (от французского пур ле пти) — это значит сходить в
туалет по-маленькому. В отличие от всех остальных, маме разрешается
ходить в утепленный туалет, куда из бака при помощи мотора качается
горячая вода.

Но мама опять сопротивляется:

— Ну, как же... я еще ходила к Микояну... и все просила... ты что, Гриша, забыл?..

И оказалось, что мама все перепутала. И к генералу Лёвшину вызывали совсем не меня, а папу, и дело происходило совсем не в Будапеште, а в Тегеране, где состоялась легендарная конференция, когда товарищ Сталин дал исторический шелабан сначала мордастому Черчиллю, ну, а потом и этому несчастному Рузвельту; а мне тогда было всего три года и, чтобы я не вываливался, меня привязывали к сидению «виллиса» и вместе с папой возили по воинским частям, где папа был военным переводчиком, а мама продолжала свою работу над фюзеляжем; и потом папу перекинули в Иорданию, а после Иордании в Багдад, и папа там сопровождал концертную агитбригаду, и в Константинополе начальник колонны попросил папу купить отрез бостона, бостон тогда был в моде, и папа купил целый рулон, но в последний момент начальника колонны успевают перехватить представитель агитбригады.

Руководитель ансамбля песни и пляски берет папу за лацкан и так это скептически ему улыбается:

— Ну, что ты, — прищуривается, — мечешь бисер перед этой свиньей? Дай лучше, Григорий, красивую тряпочку бедному артисту!

И папа немного подумал и дал: ведь *папка-то наш*, как любит повторять мамуля, тоже *артист*.

И начальник колонны потом папе и пригрозил:

— Ну, Киновер, смотри, ты еще об этом пожалеешь!

И когда на папу затребовали в США личное дело, то этот шоферюга все потом папе припомнил и в характеристике указал его самые низменные черты — что папа *лентяй*, *неисполнитель* и вообще *ненадежен*. И в результате нас в США так и не послали: ни маму, ни папу, ни меня и ни Наташеньку.

Но папа об этом совсем не жалеет.

Вместо нашей семьи в Америку послали наших конкурентов. И всех членов семейства, включая и приставленную домработницу, оказавшихся, как потом выяснилось, *врагами народа*, в результате расстреляли.

А мама под крылышком Климента Ефремовича успешно завершила национализацию, и в 47-м году мы благополучно вернулись в Москву.

В АМЕРИКУ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

К нам на дачу приехал дядя Саша. Дядя Саша американец. Он папин брат. Папа с ним не виделся тридцать два года.

Дядя Саша привез барахлишко: несколько отрезков шевиота, пару шерстяных безрукавок, часы...

Но, узнав, что мне поменяли фамилию и я уже больше не Киновер, дядя Саша во мне разочаровался. И еще подлила масла в огонь бабушка Лиза.

Бабушка пожаловалась дяде Саше на маму и рассказала ему про случай с пионами, когда мама ее чуть не пристукнула, и дядя Саша все маме высказал, что он о ней думает. Мама не осталась в долгу и, назвав бабушку склочницей, выскочила из-за стола, а дядя Саша и папа отправились в бабушкину халупу выяснять отношения.

Но не успели они войти, как на пороге нарисовалась мама и бросила эти несчастные отрезки дяде Саше под ноги.

Бабушка и братья ругались между собой по-еврейски, а мама кричала по-русски. И ночью дядя Саша уехал, и папа его даже не провожал.

Мама выкатила из сарая тачку, и Дуняша, погрузив на нее дядисашин саквояж, покатила его на последнюю электричку.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Папа рассказывает про детство: маленький Гриша нашел на даче клад. Играл с мальчиками в «орлянку», и под конуру закатилась бита. Папа за ней — и вдруг натывается на коробочку...

Мальчики ушли домой, и папа — снова под конуру. Вытащил и принес бабушке с дедушкой. И оказалось золото. Монет пятьдесят. Наверно, домо-владельца.

Бабушка задумалась, но дедушка велел отнести на место — мало ли что? А дядя Саша все слышал.

Папа отнес и на следующий день пожалел: надо, думает, взять, хотя бы монетку.

Полез — а под конурой пусто.

НО ПАСАРАН!

1

Я сижу на диване и смотрю на папин кадык. По шее моего папы уже давно плачет подрамник. Папа рассказывает о своей молодости.

Я приехал из Ленинграда и меня на верхней полке просифонило. И теперь больно глотать, а на губе, мешая мне сосредоточиться, наклеивается лихорадка.

В этом году папе исполнилось семьдесят пять, а мне еще только сорок два. Папа меня зачал в возрасте Иисуса Христа.

Будучи атеистом, папа относится ко мне по-божески, и я, в свою очередь, чувствуя себя как у Христа за пазухой, отвечаю папе той же монетой.

Двенадцать лет тому назад, когда я прилетел из Магадана в Москву, мама хотела мне дать ключи. Но папа заупрямился. Папа не любит, когда ключи от его квартиры попадают в чужие руки.

(Наверно, все никак не может забыть того случая: мне нужна была хата, а дача на зиму заколочена.

Сначала пили на лавочке, и после второй бутылки я все-таки решился. Возле сарая стояла метла.

Я схватил метлу и, немного подумав, развернул ее тыльной стороной. Потом разбежался и ударил по раме.

А утром соседи позвонили в Москву. Скорее всего, услышали звон разбитого стекла. А может, и видели, как я со своей возлюбленной вылезал из окна.

Обеспокоенный полученным сигналом, папа рванул на электричку и, прежде чем вызывать милицию, произвел вещественный досмотр. И по черку зафиксированного преступления узнал своего сынишку.

Во избежание рецидива мама сделала в двух проекциях чертежи, и папа заказал складные решетки. И когда все на даче, то решетки по всему периметру дома раздвинуты. А когда уезжать, то снова сдвигаются — и на каждом окне висит замок. И теперь, если опять собраться зимой на дачу, то нужно с собой прихватить клещи.)

И хотя папа был против, мама настояла на своем.

— Гриша, — сказала она папе, — дай Толе ключи. Только, Толюн, не поздно...

Мама сказала, что я даже могу на кухне покушать, она мне оставит. Ну, кто еще, кроме матери, позаботится?

Мама и папа ложатся ровно в одиннадцать. У них режим. А я пришел в пятнадцать минут четвертого и даже не стал есть. Прошмыгнул на цыпочках в комнату и юркнул под одеяло. Лежу и никак не могу заснуть. Все еще не верится, что я в Москве.

И вдруг я слышу папин голос. Папа решил, что меня нет.

— Опять этот сволочуга не пришел...

Мы не виделись с папой целый год. А на следующий день я снова уехал. Года на полтора.

Когда я появился на свет, то папа сначала обрадовался. Но потом как-то сник. Папа не совсем уверен, что я от него. Хотя я, как утверждают в один голос все родственники, и «вылитый папочка».

2

Для своих семидесяти пяти папа держится молодцом. Все еще широкий в кости и каждое утро, как и тридцать лет назад, занимается гимнастикой. У папы прекрасная осанка и живой пронизательный взгляд. Я смотрю на папу и, думая о папиной молодости, слушаю его не очень внимательно. Витая в облаках, я представляю в нашей беседке на даче старый папин альбом и вспоминаю к нему папины комментарии.

У папы есть фотография, где он стоит на стуле, а рядом с ним бабушка Лиза. У бабушки Лизы замысловатым шиньоном пышная прическа и царственный шлейф, а у папы до плеч кудри. Папа похож на девочку.

Фотокарточка дедушки. Перед отъездом в Константинополь дедушка с закрученными усами и в бабочке.

И снова папа. Папа и дядя Саша. У папы за спиной ранец. Папа гимназист.

Дача «Зант». Одесса. Еврейские керосинки. Сухая полынь. Солнечное марево. Пыль. Черное море. Кроветки. «Шаланды, полные кефали...» (Этих диковинных слов я все никак не мог в детстве понять.) Утренний молочник. «Молоко! Молоко!» Медузы. Дядя Саша весь в мускулах. Летит ласточкой с вышки. Набил антисемиту морду. Папа за ручку с прадедушкой. Прадедушка слепой и, когда молится, то на лбу на такой ленточке кубик. Купил маленькому Грише леденец. Дедушка уплыл в Константинополь. Константинопольская халва. На дедушкин пароход напали враги революции. Бабушка уже без шлейфа. Дедушкин брат Моня, которого расстрелял красноармеец. Дедушка сторож. Прадедушка умер. Дядя Саша свалил в Южную Америку. Папа изучает испанский. Бабушка с дедушкой

готовят чемоданы. Мама считает, что хотели тоже свалить, а дядя Саша поехал в разведку. Но папа не подтверждает. Дядя Саша присылает папе шифскарту.

Я поднимаю голову:

— Шифскарту?

Папа говорит:

— Да. Шифскарту. Это известное слово. Ты что, не слышал?

Я говорю:

— Да что-то не приходилось. Подожди, не рассказывай. Я сейчас.

Папа прерывается, а я поднимаюсь с дивана и плетусь в ванную. Зажимая поочередно каждую ноздрю, я в несколько приемов высмаркиваюсь и, потрогав в зеркале набухающую лихорадку, возвращаюсь. Мама сидит в кресле и внимательно перелистывает журнал. Кажется, «Новый мир». Папа в очках за столом. Протягивает мне листок, на котором изречения мыслителей. О хорошем настроении. Папа их выписал из журнала «Здоровье». Красным карандашом.

Я читаю:

НАСТРОЕНИЕ

Поддерживать положительные эмоции. Ровный настрой — спокойный.

Доброжелательных и уважительных взаимоотношений

(гасить вспышки раздражительности).

Папа спрашивает:

— Ну, и как?

Я киваю:

— Угу.

Папа засовывает листок под стекло и продолжает рассказывать дальше. Все в той же позе мама внимательно разглядывает журнал. Немного скособоившись, мамыны губы все так же слегка приоткрыты.

Надо запоминать, но все никак не сосредоточиться. Но, даже если, пересилив недомогание, взять себя в руки, папа все равно не расколется.

3

Папа приехал на поезде в Москву. Он очень легко одет: заправленная в штаны вельветовая рубашка, евпаторийская тюбетейка. Стопанные сандали прямо на босу ногу.

Шифскарта — это заверенный печатями документ, где указаны все виды транспорта и стоянки на пути следования из Москвы в Монтевидео. (Дядя Саша уже давно в Уругвае.) И, кроме оплаченного проезда, еще и оплаченное питание.

Первый маршрут Москва-Рига с Виндавского вокзала (так назывался Рижский вокзал в середине 20-х), и к евреям из Москвы чуть не на каждой станции присоединяются евреи из Белоруссии, а Латвия — уже другое государство.

Папа запомнил, что, когда въехали в Латвию, то сразу же стало чище. И проводники сделались посolidнее. Не такие жлобы, как в Белоруссии. Раньше были кто в чем, а теперь в специальной форме.

Больше всего папе понравилась Рига. Своей аккуратностью и сплошными торговыми рядами. Например, целая улица — и одни обувные товары. Другая улица — и теперь одни костюмы. Все очень дешево, и все бросились мести все подряд, но папа ничего покупать не стал. Дешево-то дешево, но лучше дотерпеть до Франции.

Остановились в общежитии. На подоконниках горшочки с цветами, и аккуратным столикам, как будто в чистом поле, не видно конца. На каждом столике из штофа торчит салфетка, и кормят вполне прилично, во всяком случае, намного вкуснее, чем в Евпатории.

Несколько дней оформляли на пароход багаж, и к евреям, приехавшим на поезде, присоединились евреи посолиднее. И пароход оказался тоже огромный, с тремя внушительными трубами, и эмигрантов поместили в четвертый класс, и это значит в трюм — в угрюмый просторный зал, где штук пятьсот, а может, и тысяча коек, в три яруса, и папе досталась середина, и ночью папа с непривычки очень страдает: кто прямо в нос храпит или сопит, и некоторые портят воздух, а утром приходит капитан и все похозяйски осматривает, и все поднимаются на палубу, а полати посыпаются хлоркой, как во время дезинфекции в общественном туалете.

И на палубе больше всего папу поражает первый класс, в особенности путешественники с гувернантками, а некоторые даже с собачками, и у каждой собачки, как на лошади в цирке, игрушечная попона, и у некоторых — даже комбинезон, и папа первый раз в жизни увидел иностранную валюту, правда, менять на нее можно только 10 рублей, и один добрый человек предложил папе поменять за него, и папа подумал и согласился, и сразу же заработал 25 центов, а может, и целый доллар.

Папа уже точно не помнит: ведь прошло — шутка ли — пятьдесят четыре года.

Я говорю:

— Пап, но ведь могли бы и попросить человек 20, правда? И каждый бы дал по доллару...

И папа меня сразу же понимает и, напрягая на лбу складки кожи, как-то азартно оскалившись, морщится.

Оказывается, не могли: ведь если бы папа пошел менять по новой, то в обменном пункте его бы сразу же попутали.

Папа смотрит на меня через очки, а мама тревожно прислушивается. И, успокоившись, продолжает разглядывать журнал.

Я улыбаюсь:

— Ясно.

Про свое саднящее горло я уже как-то и позабыл.

— А помнишь... — вспоминает вдруг папа, — помнишь у бабушки чемодан?

Я уточняю:

— Тот, что на чердаке... в котором вместе с шарами лежали молотки для крокета...

— И я его, — оживляется папа, — привез, когда ты уезжал... на Фрунзенскую...

— А потом, — улыбаюсь я папе и, в ностальгическом порыве, представляю уже покрытый ржавчиной кованый рыдван, — а потом его протерли керосином и сушили на балконе...

(Еще бы не запомнить — мой первый колымский чемодан, и в последний момент мама в него запихнула аптечку со списком лекарств и с луком от цинги, в полотняном мешочке, в котором я когда-то сдавал в гардероб галоши, и еще папины с начесом кальсоны, папа в них сражался в Каталонии, по-моему, в Бильбао, но в Красноярске, когда стрелка на весах стала зашкаливать за 32 килограмма, лук вместе с лекарствами пришлось высыпать в урну, а кальсоны с начесом — оставить под Магаданом Пете, наверно, до сих пор так и работает в них на пилораме, если еще не протерлись и не оторвались тесемки, а в чемодан, чтобы не ругалась коридорная, складывали пустые бутылки.)

4

Папа говорит:

— Я его купил в Гавре вместе с костюмом.

И папа оказался прав: в Гавре костюм еще дешевле, чем в Риге, и вдобавок намного добротнее. Папа купил себе самый красивый и сразу его в этот чемодан и спрятал, а все ехали дальше в костюмах, и если у всех костюм, мало того, что рижский и к концу пути похож на тряпку, то у папы — настоящий французский, да еще и вдобавок лиловый — как с иголки. Вместе с костюмом папа купил две поплиновые рубашки и несколько шелковых галстуков, и тоже запихнул в чемодан, и даже хватило на соевый шоколад, и после Гавра его, правда, пронесло: слишком много, улыбается, съел.

А следующая остановка была в Лиссабоне, с пересадкой на пароход, курсирующий из Лиссабона в Рио-де-Жанейро, и к эмигрантам теперь присоединились сезонники-пастухи, и эти в основном были в заломленных набор беретках. (А когда приедут в Уругвай, то наденут с широкими и загнутыми полями шляпы.) И в Лиссабоне все обращают на папину тубетейку внимание. Все эмигранты в пиджаках и в костюмах, а папа — в закатанных до колен штанах.

И в честь посланников из Советского Союза устроили прямо на пароходе вечер, и португальцы папу покорили своими песнями. Он до сих пор не слышал ничего подобного. Ах, как они пели! Помимо песен, были еще и танцы, и папа первый раз в жизни услышал фокстрот.

И еще папа запомнил одного русского. Такой здоровенный, как шкаф. И весь в татуировках. Наверно, еще с Гражданской войны. И папа его потом встретил в Уругвае.

(И уже на плантации под Монтевидео папа его сразу же узнал.

— Ну, здорово, — говорит, — Иван!

И в свою очередь Иван папе тоже очень обрадовался.

— Ну, здорово, — говорит, — Хрыхорый!

Так папа имитирует родную речь простого русского человека. И Иван, вспоминает папа, так и остался потом в Уругвае. В должности конюха.)

Лиссабон папе понравился, и в особенности папе пришлось по душе лиссабонский рынок. Сплошная зелень, и все опять поют и танцуют.

И папа посылает дяде Саше в Уругвай телеграмму, что он уже в Португалии. И когда просовывает телеграмму в окошко, то девушка-португалка папе ослепительно улыбается.

5

Сначала шли на запад, а потом через экватор на юг. И где-то на острове Мадейра очередная остановка. На остров не пустили, но к пароходу подчаливают шхуны или обычные лодки с местными рыбаками. И сверху можно спустить веревку и, поторговавшись, бросить им несколько монеток. И к веревке тогда прикрутят бутылку высшего сорта «Мадеры». Но почти никто не берет. Слишком дорого.

А Рио-де-Жанейро папу просто ошеломил. Какая там еще Москва! И даже Ленинград — и тот против Рио — щенок. А что за народ! И никаких трущоб. Папа в восторге.

6

Но в Монтевидео дядя Саша почему-то папу не встретил. Он уехал в командировку и поручил своему товарищу, который встречал одну еврейскую семью, встретить и папу. И папу это удивило. Они не виделись с братом три года.

И дядисашин товарищ познакомил папу с семейством Баев. Баи уехали из Одессы еще при царе. Считались «босьяками», а теперь их шоколадная фабрика выпускает фигурные шоколадки «Казак», известные на весь Уругвай. Бай уже миллионер. Но в Евпатории у него осталась родственница, которая в 13-м году с ним не поехала, и кто-то из семейства Баев — ее сын. Она не видела сына 15 лет, и послала ему через папу (которого знала еще мальчишкой) письмецо и несколько сушеных кефалей.

Баи были папе очень рады, и он у них прокантовался несколько дней. А когда вернулся дядя Саша, то братья не успели еще расцеловаться, как сразу же поссорились. Дядя Саша дал папе какое-то задание, и папа все сделал, но не совсем так, как велел дядя Саша. И дядя Саша на него наорал. Папа говорит, что дядя Саша был очень несдержанный, и, если положить руку на сердце, то даже какой-то склочный. Нахамит, а потом сам извиняется. И папе это не понравилось. Но, несмотря ни на что, после их встречи осталась такая фотокарточка: папе 21 год, а дяде Саше — 24, и оба в шляпах и с тросточками, и на папе тот самый лиловый костюм, который он купил в Гавре, но что костюм лиловый, правда, не видно, фотокарточка черно-белая.

Дядя Саша уже завел свое дело и стал держать папу на побегушках. И опять ему нахамил. И тогда папа в ответ вспылил и, обидевшись на брательника, подался на вольные хлеба. И сначала его взяли на стажировку вагонновожатым, но папа, не выдержав напряжения, с непривычки задумался — и вдруг на рельсах старуха; еще хорошо, что не задавил. Тогда папу понизили в должности, и он примерно полгода проработал кондуктором.

Папа становится на табуретку и из настенного шкафа достает потрепанный чемоданчик. Этому чемоданчику уже пятьдесят с лишним лет. И в нем, в этом укромном чемоданчике, поместилась вся папина тревожная молодость.

7

Папа роется в бумагах и показывает мне учетную карточку кондуктора. На ней папина фотография и отпечаток папиного пальца. И никаких паспортных данных, только в графе «национальность» красуется единственное слово — «русский».

Вот это, я понимаю, фокус. Ведь у папы — и дедушка, и бабушка, и прабабушка — все чистокровные евреи.

Но, оказывается, все очень просто: национальность ставят по стране, откуда эмигрант приехал.

И еще отмеченные черным карандашом цифры. 11.45 — 16.30 — и роспись. 16.30 — 21.15 — и снова роспись. И так — весь испещренный цифрами листок.

Я удивился: ну, надо же, как помалу работали. Вот тебе и гидра капитализма

Платили, правда, неважно, и папа решил опять сходить к Баю. Бай встретил его опять очень дружелюбно и сказал, что он возьмет папу своим подручным, а жить папа будет в комнате одного из его племянников, в этом же доме, и повел папу на второй этаж. Но племяннику папа чем-то не приглянулся (наверно, решил, конкурент), и жить с ним в одной комнате он наотрез отказался. Угостив папу своей фирменной шоколадкой, старый одессит стал папе пудрить мозги, что он его вообще-то берет, но пускай папа сначала найдет себе жилье.

Папе опять не понравилось, но он все-таки продолжал приходить к Баям в гости, снимал форму кондуктора и надевал свой лиловый костюм. И ему, как работнику трамвайного парка, выправили койку в общежитии.

8

И как-то к нему в трамвай вдруг садится заплаканная девушка, и папа сначала подумал, что у нее просто не хватает на проезд. Но девушка рассказала папе свою историю. Она еще моложе папы, и родственники (оказывается, тоже из Советского Союза) привезли ее насильно «с Одессы» и совсем еще, можно сказать, ребенка, хотят теперь отдать в публичный дом. И сначала она даже попыталась утопиться, но папа ее чуть ли не силком вытащил из фонтана. И она к папе сразу же потянулась. Папа в фуражке кондуктора и с сумкой для билетов на боку сидит с ней в обнимку на скамейке, и под небом чужбины их окружают экзотические кипарисы. Но это не помогает: ведь не вести же эту наивную девочку в папину каморку. И скрепя сердце папа был вынужден с ней расстаться. И бедную еврейскую «золушку» определили в публичный дом, и папино «еврейское счастье» обошло его стороной. Но дядя Саша, когда об этом потом узнал, то похвалил брата за бдительность и даже над ним посмеялся: «какой же, ты, Гриша, дурачок». Неужели папа так и не понял, что это была самая обычная шлюха. И, папа с ним, подумав, согласился.

Зато у Бая, вспоминает папа, была красавица дочь, и она в папу с первого взгляда влюбилась. И папа в нее влюбился тоже. (Папа вообще, как и мама, в молодости был ужасно влюбчивый.) Они друг другу улыбались и вежливо раскланивались, но, к сожалению, дальше реверансов дело так и не пошло. В конце концов, папе это надоело, и он махнул на Баев рукой.

9

Отработав смену, папа возвращается к себе в общежитие. И вдруг на проволоке вывеска — совет трудящихся при уругвайской коммуни-

стической партии. И рядом приклеенное к столбу объявление. Производится набор в секцию бокса. В нерешительности папа чешет затылок и, потоптавшись, входит в открытую дверь. И папе тут же дают испытательный срок.

Папа заслуживает боксерские перчатки, и после изнурительных тренировок с «грушей», освежившись в кабинке душа, он выполняет мелкие партийные поручения.

Я оживляюсь:

— А че за поручения?

Папа на меня внимательно смотрит и нахмуривается.

Он уже и не помнит.

— Да что-то, — говорит, — переписывал... куда-то что-то носил...

Я говорю:

— Понятно...

Мама откладывает «Новый мир» и, упершись в подлокотники, пробует подняться. Отрывается от кресла и семенит к тумбочке. Ей нужно принять лекарство. Мама качается над стулом и, долго прицеливаясь, плюхается. Папа замолкает и, посмотрев на будильник, поднимается маме на помощь. Вытаскивает из футляра пипетку и накапывает лекарство в стакан. У мамы — болезнь Паркинсона, и папа теперь за мамой ухаживает. «В тяжелую минуту жизни» папа тянет ее на буксире.

10

Я говорю:

— Пап, а покажи свой партийный билет...

Папа ко мне поворачивается:

— Какой еще партийный билет?

Я говорю:

— Уругвайский.

Папа снова роется у себя в чемоданчике. Наконец, достает.

Я читаю:

Удостоверение взамен партийного билета Уругвайской коммунистической партии за номером таким-то для обмена на партийный билет ВКПб.

Я спрашиваю:

— А где же сам билет?

И папа мне объясняет.

Оказывается, сам билет папа уже на Родине сдал. И папин партийный билет теперь в архиве.

Я чуть ли ни ерзаю узнать про папин архив, но, обуздав свой азарт, больше ничего у него про архив не спрашиваю. А то еще возьмет и замолчит.

Я говорю:

— А потом?

А потом папе вдруг подвернулся компаньон старика Бая. И целую неделю все водил папу по карнавалам. В Уругвае (как и в Бразилии, и в Аргентине) два раза в году никто целую неделю не работает. А только поют и пля-

шут. Как на пароходе в Португалии. И старик Бай даже подыскал для папы комнатенку. Но папа на этот раз не клюнул.

Папа снимает фуражку и, сдав вместе с боксерскими перчатками форму кондуктора на склад, идет на пирс. И перед его глазами качаются огни пароходов.

11

Месяц тому назад у моей дочери родился сын, и уже почти два года, как из жизни ушла моя мама. Мы приехали с папой в Евпаторию.

...Я стою с приготовленным полотенцем, и возле меня, деловито орудуя совком, строит подземный туннель в нахлобученной панамке малыш. Рядом с малышом на резиновой уточке плещется девочка. Я смотрю на папину спину.

Папа делает шаг и, зачерпнув море в пригоршни, похлопывает себя под мышками и по животу. Папины икры перевиты старческими венами. Вот он делает еще один шаг, и теперь ему уже и море по колено. Откатываясь обратно, прибой оставляет на синеватом узоре папиных вен налипшую зелень болотного цвета водорослей.

12

И папа вдруг понял — он теперь нужен Родине. И потом он разыскал уже давно приглянувшийся ему пароход Монтевидео-Ленинград. И пароход почему-то оказался с овцами. И папа на него устроился подметать помет и таскать, обеспечивая необходимый моцион, овцам жратву.

Сюда папа плыл в трюме, а теперь его повысили на палубу. Овцы лежали в клетках, а клетки стояли на лесах. И эти леса были построены из полатей. И папа их сразу же узнал. Те самые полаты, на которых папа не мог заснуть, когда еще выходили из Риги.

Сначала папе было мутрно: замучила морская болезнь. Но дней через 10 папа привык. Он разделся до трусов и от тропического солнца сделался совсем папуас, и если бы не папина тубетейка, то его вполне можно было принять за мексиканского матадора.

И папа даже вел полевой дневник. Записывал свои наблюдения.

— Дневник... — я даже чуть не поперхнулся, — ты-ы вел дневник?!

А вообще-то, чего я удивляюсь? Человек возвращается на Родину и в порыве вдохновения хочет излить свою радость на бумагу.

13

Я смотрю на заветный чемоданчик и спрашиваю:

— Пап, а где сейчас этот дневник? (Вот бы почитать...)

Но, оказывается, папа его сдал вместе с партийным билетом. Папин дневник тоже теперь в архиве.

И уже в Ленинграде капитан предложил:

— Ребята, кто хочет заработать? Плачу полторы тыщи!

Нужно было разобрать на палубе леса. И сразу же нашлись добровольцы. Человек десять, в том числе и папа. Шутка ли — сто пятьдесят рублей. По теперешним временам — тысячи по две баксов.

Папа говорит, что работали день и ночь и почти не спали. Поработают, потом поедят — и снова за работу. А ребята в основном были почему-то русские. Закаленные. И не совсем понятно. Ведь туда же ехали одни евреи.

Папа отмантулил два дня и сломался. И чувствует, что уже больше не может. И ребята доделали без него. Правда, папе все равно перепало. Рублей 50. Но и то хлеб.

И вот, наконец, папа на Родине, и когда папа ступил на родную землю, то он даже чуть не заплакал.

Папа надел свой лиловый костюм и «с корабля на бал» намылился в Красный уголок, где, кружась в «белом танце», познакомился с синеокой «комсомольской богиней» — и она папе призналась, что «первый раз в жизни видит настоящего одессита».

И на вечеринке папа первый раз в жизни крепко выпил — стакан за стаканом — и наутро проснулся без денег и с тяжелой головой. И ему дали какой-то драный армяк, и папа в нем свернулся калачиком. И это был для него поучительный урок. (После своего путешествия в «джунгли чистогана» папа снял напряжение и раз и навсегда понял, что так жить нельзя.)

14

Истекает последний месяц НЭПа, и комсомольские активисты порекомендовали папу в самый тяжелый и самый низкооплачиваемый цех кораблестроительной верфи. Но папа все равно счастлив. Папа никак не может привыкнуть, что он под родимым небом. Помнится холод, грязный неряшливый двор, а папа возит на самом примитивном автокаре какие-то опoki для литья.

И это было первое утро пятилетки — 1-е ноября 1929-го года.

15

Но так и осталось «военной тайной», кто же все-таки прав: мама, которая считала, что следом за папой хотели «рвать когти» и бабушка с дедушкой, или дядя Саша, который в одном из своих последних писем (уже перед самой смертью), папа рассказывает, признался, что, если бы он захотел, то мог бы папиному возвращению в Советский Союз воспрепятствовать, и для этого ему (дяде Саше) было достаточно пойти к начальнику Торгпредства (и папа даже запомнил) по фамилии Пахомов и «поставить его в известность», что папа уже успел связаться с уругвайскими сионистами, и тогда бы папу на пароходе с овцами тормознули и он бы навсегда остался на чужбине, и там бы его, по всей вероятности, остригли, но дядя Саша почему-то этого не сделал, и папа ему в ответ признался, что если бы он не уехал тогда на Родину, то бабушка с дедушкой в Крыму попали бы в плен, и дело бы закончилось неминуемой газовой камерой и горсточкой пепла («и ты бы тогда, Толька», улыбается мне папа, «вообще бы не родился») а мама, вспоминая дядясишны выкрутасы, когда его провожала на электричку Дуняша, все потом папе и высказала: ну, что это за миллионер, который не оставил своему нищему братишке ни копейки и все свое богатство завещал еврейской общине в ФРГ (дядя Саша скончался в Западном Берлине) в помощь голодающим студентам израильского университета, кажется, в Яффе, вообще-то можно было туда и

сгонять, и подать на эту общину в суд, и что-нибудь тогда бы, глядишь, и обломилось, но все это писано вилами на воде, и еще неизвестно, перекрыли бы эти крохи папины расходы на поездку, но потом как-то вдруг проговорилась, что на самом деле папа получил задание еще в Москве, и «за бугром» его держали под колпаком и, поручив «изобразить дневник», удостоверились, что папа им — своей наблюдательностью и четкостью, но самое главное — отсутствием всяких лирических отступлений — подходит; и об этом же свидетельствует и такой дополнительный факт: оказывается, после возвращения из «логова врага» папа почему-то «ютился» в Смольном, и к нему на стажировку тут же был вызван его бывший товарищ по Евпатории, с которым они когда-то ставили ловушки на крабов, а через 14 лет встретились в Тегеране на конференции, где, утерев Черчиллю с Рузвельтом сопли, выступил товарищ Сталин.

16

По телевизору в рубрике «Ими гордится страна» идет передача о народных мстителях, и новоявленный Левитан рассказывает, как расстреливали врага народа — «английского шпиона» Берия.

Всем суют пистолет, и, хотя Лаврентий Павлович с завязанными глазами и в наручниках, всё равно все дрожат. А под сапогами дрожащего Климента Ефремовича лужа.

И только один генерал армии Батищев не испугался и всадил несколько пуль Лаврентию Павловичу в лоб. И теперь этот отважный воин — Герой Советского Союза.

17

Папа вдруг оживает:

— А я, Толька, этого генерала знал...

И дело было в Испании, он тогда, правда, был еще не генерал, а подполковник.

А может, и полковник, папа уже точно не помнит. И у этого Батищева имелся свой личный шофер, кажется, Николай. И они с папой были «не разлей вода».

И вдруг, уже в Москве, папа его где-то на Трубной площади встречает. И со словами «Но пасаран!» папа сгребает этого Николая в объятия в надежде, что, вскинув кулак, и Николай его, в свою очередь, тоже обнимет. Но вместо объятий Николай очень невежливо от папы отстраняется и что-то ему, даже не по-испански, а почему-то по-английски, лопочет.

— Ай эм, — шипит, — сори... — мол, че те, сука, от меня надо...

Папа ему:

— Да ты чего... Николай... — и все его, не выпуская, дружески трясет, — да ты, — повторяет, — Коля, чего... не узнаешь своих?..

А он все никак не может из папиных объятий вырваться — и морда такая недовольная — мол, че ты ко мне, козел нерусский, пристал... — ай эм — и все долдонит и долдонит, — сори...

И уже стали останавливаться прохожие. И даже подошел милиционер.

Я улыбаюсь:

— А дальше?

А дальше поведение «коморадоса» Николая показалось папе подозрительным, и он тут же об этом, куда надо, сообщил.

— Но ведь он же тебе, — смеюсь, — ничего такого и не сделал...

И папа сначала нахмуривается, но потом постепенно успокаивается.

— Такое, — улыбается папа, — было время.

18

Кто первым успел добежать — тот и прав.

19

А дальше папа поступил в институт военных переводчиков. При министерстве иностранных дел. На испанское отделение. И это ему в 36-м году пригodiлось в героической Испании. А бабушку с дедушкой вызвал из Евпатории в Ленинград.

— Привезли, — рассказывает папа, — мебель. И нужна машина. Был у них такой один жлоб. Язык — ни бум-бум. Бывший начальник колонны.

Папа ему говорит:

— Василий, ты не устроишь мне машину?

И Василий папе отвечает.

— Конечно, — говорит, — Хрыхорый... какой разговор...

Ну, и пошли.

Выходят они с папой на Лиговку, и Василий тормозит грузовик. Шофер из кабины высовывается, и Василий ему все объясняет. Мебель уже на Полтавской, и шофер открывает дверцу.

...Вот и перевезли. И шофер даже помогал тащить. А потом Василий шоферу и говорит.

— А теперь, — говорит, — гуляй... теперь, — уточняет, — уматывай... — и подталкивает его обратно в кабину.

Шофер не понимает: ну, как же так — ведь они же договаривались, так же нельзя!

Но Василий как на него заорет.

— А, ну, — кричит, — проваливай... ишь ты, левак проклятый... я до тебя еще... — и грозит ему кулаком, — доберусь...

— И так и не заплатил? — спрашиваю я у папы и улыбаюсь.

— Так, — смеется папа, — и не заплатил.

20

Передо мной «Красная звезда» за 1942-й год. В газете — список награжденных. И в этом списке — фамилия моего папы:

Киновер Г.М. Награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».

И еще — похожая на почетную грамоту с вензелями открытка. Под Кремлевскими башнями почерком ювелира — золотистые буквы:

Младшему лейтенанту Киноверу Григорию Марковичу

А дальше — типографский оттиск:

Климент Ефремович Ворошилов имеет честь пригласить Вас на празднование 30-й годовщины Великой Октябрьской революции.

Будапешт. Гостиница Британия, 1947 г.

21

Я сижу на диване и смотрю на папу. Конечно, папа в душе коммунист. Но членом Коммунистической партии Советского Союза папа так и не стал.

И, так и не расколовшись перед супостатом, подмигивает мне с фотографии у меня над столом.

1982–2009

ПО СТОПАМ ДЕДУШКИ

Это Клим Ворошилов
даровал нам свободу...
Вл. Высоцкий

1

Мы набрали «анютиных глазок» и дружным семейством входим в ворота монастыря. Мы приехали навестить дедушку.

Двадцать пять лет своей жизни дедушка провел в подполье. А потом написал про это книжку. Бабушка ее переиздает.

Мой дедушка был товарищем по борьбе Климента Ефремовича Ворошилова — они боролись за советскую власть: Климент Ефремович сражался на Луганщине, а дедушка — под Екатеринославом. А потом дедушку обделили — всем давали города, а дедушке не досталось даже паршивой деревни. Екатеринослав так было уже и назвали — Днепромихайловск, но потом почему-то раздумали. Его назвали Днепропетровск, хотя бабушка говорит, что Петровским там и не пахло.

А сейчас дедушка уже давно умер — он лежит на Новодевичьем кладбище — у нас тут семейный склеп. И в этом склепе нас всех когда-нибудь похоронят — и бабушку, и маму. И мою сестренку...

И я надеюсь, что для меня здесь тоже забито местечко.

2

Мы на даче у Клина Ворошилова. За столом человек пятьдесят. Расселись и поглядываем.

Только что прокричали «ура» — и зачавкали...

Мама уплетает лососину — кусок за куском. И не останавливается. Если бы это было у нас дома, то мама сошла бы с ума.

И папа тоже не отстаёт — что-то, не прекращая жевать, раздрает... И с подбородка у него течет.

Папа накапал на скатерть, а мама даже не обратила внимания. А дома бы уже был скандал.

3

Через всю стену бильярдной — картина: Климент Ефремович и Иосиф Виссарионович, оба в шинелях, прогуливаются по Кремлевской набережной.

Тот, что крутится возле, натер мелом кий и подскакивает. Все стоят и смотрят.

Климент Ефремович прицеливается и бьет. Климент Ефремович промахнулся. Теперь очередь за мной.

— Подставь, подставь... — шепчет мне папа и подмигивает.

Но я папу не послушался. Я прицелился и с треском «положил шара» в лузу.

4

Мы уезжаем, и вокруг Климента Ефремовича толпа. И мама все норовит чмокнуть Климента Ефремовича в щеку. А те, что возле Климента Ефремовича, все норовят маму оттереть.

Мы увозим с собой продукты: рыбу, икру, телятину... До следующего приезда хватит.

5

Мой дедушка — старый большевик — вспоминая свою жизнь, написал «Четверть века подпольщика».

Я пошел по стопам дедушки.

ЗА МНОЙ!

1

Площадь Пушкина проскочили галопом, а возле Моссовета сгрудились так, что ребра грудной клетки, подобно прутьям тюремной решетки, готовы были разорваться.

Я этого не выдержал и, выбравшись из толпы, пошел против движения.

2

Я подошел к постаменту и, задрав голову, уставился на макушку памятника.

— Смотрите, — заорал я, — ворона!

Все вокруг возмутились:

— Ты, давай, тут не каркай! Не узнает голубя мира!

Я протер глаза и снова увидел ворону.

Странно. Неужели никто не видит?

3

Тот, кто меня совсем не знает, может подумать, что я — враг народа.

Но на самом деле все наоборот.

4

— За мной!!!

За мной... следят.

В НЕВОЛЕ

Ну, хорошо. Голову мне отрубят. Но пускай, сколько шагов я сделаю без головы, столько моих товарищей отпустят на волю.

Но когда мне отрубили голову, я все позабыл. Потоптался на месте и упал.

А мои товарищи так и остались в неволе.

МОЗГ ТОВАРИЦА СТАЛИНА

Товарищ Сталин дал приказ — исследовать мозг Владимира Ильича и доказать его гениальность.

Вот приходят к нему ученые и, водя по извилинам указкой, читают ему доклад.

Товарищ Сталин сначала их наградил, но, сообразив, что при сравнении может обнаружиться неравенство, законопатил открытие в сейф. А самих авторов доклада на всякий случай расстрелял.

БАЛАНДА О СТАЛИНЕ

Собрались однажды Рузвельт и Черчилль, и ждут они Сталина. А Сталина все нет. И вот, наконец, идет.

Рузвельт сразу вскочил, глаза выпучил, руки по швам и не шевелится. Уж больно он Сталина уважал. А Черчилль, сука, сидит. Попыхивает сигарой и ни с места.

Сталин только на него посмотрел — Черчилль и обосрался. Тоже вскочил, весь трясется и тоже руки по швам.

С тех пор, подлюка, так и ходил по струночке.

ВЕЧНО ЖИВОЙ

Товарищ Сталин подошел к плите и, оторвав у мухи крыло, зажег под сковородкой конфорку. Муха пошевелила еще не оторванными лапами и поползла. Товарищ Сталин прикурил трубку.

Здесь все, как у Льва Николаевича: не было ни плиты, ни мухи, ни сковородки. Но, в отличие от Анны Карениной, которой тоже никогда не было, товарищ Сталин — в е ч н о ж и в о й.

В ТЯЖЕЛУЮ МИНУТУ ЖИЗНИ

1

На пожелтевшей фотокарточке в кругу нашей семьи запечатлен Клим Ворошилов. Моей дочери исполнилось две недели, и Климент Ефремович пригласили почетным гостем к нам на дачу. Так что теперь он ей вроде крестного.

Правда, уже со слуховым аппаратом и трясет головой. А когда «поднимали тост», то, пригубив рюмашку, все, шамкая, приговаривал: «цэ нам дали, цэ нам нет». Значит «Цинандали». Такой шутник. И все ему радостно аплодировали. Но совсем не так, как бывало в старое доброе время.

Раньше, когда он приезжал на дачу к бабушке, то сразу на трех машинах. И все три шофера вместе с домработницей обедали на кухне. А сейчас, когда приехал к нам, то шофер был уже всего один. И его пригласили к столу.

Мама говорит, что Климент Ефремович спас нашего дедушку от крупных неприятностей. Я думал, во время Гражданской войны. Но, оказывается, в годы мирного строительства. (Под нами тогда жили Кагановичи, а выше этажом — Калинины. А когда дедушка уезжал за границу, то из соседней квартиры приходил Буденный и играл на гармошке. Все обхаживал бабушку.)

Дедушка бабушке рассказал по секрету, а бабушка — маме. А папа говорит, что на дедушкином примере тогда закручивали гайки. В такой специальной камере. Дедушка сам привез для ее оборудования чертежи. Когда возвратился из Германии. Его туда посылали в командировку. В порядке обмена опытом.

А после испытаний дедушку осматривали врачи. И потом поставили диагноз. И если бы не Климент Ефремович, то дело бы, наверно, закончилось печально. А так только ограничилось параличом. И я дедушку помню уже в инвалидной коляске. В поселке старых большевиков.

А папа, наоборот, сразу же ушел добровольцем. В психиатрическую клинику. Уже после войны. И там его тоже лечили. Пока не вмешался Климент Ефремович.

В тяжелую минуту жизни эта фотокарточка иногда согревает и меня. Во время дружеской беседы я ее показывал на Колыме в Комитете государственной безопасности.

Я смотрю на темно-матовые грозди и под стук сыплющейся на дно корзины смородины слушаю историю маминой любви.

2

В ноябре 1934-го года для расширения кругозора в нашу квартиру поделяют дальнюю родственницу Сергея Мироновича Кирова.

1 декабря на Сергея Мироновича совершается покушение, и советская страна погружается в траур.

Родственницу Сергея Мироновича из нашей квартиры выселяют, а дедушку перебрасывают за рубеж. Ему дают задание — произвести чистку в рядах братских коммунистических партий.

Дедушка производит чистку через ячейки Интернационала, а бабушку вместе с мамой направляют в Крым.

3

В Крыму бабушка снимает комнату, а мама надевает купальник. На пляже санатория ЦК она сбрасывает платье и ложится на топчан. Мамино тепло стройное и нежное.

После мертвого часа — экскурсия, и мама вместе с бабушкой прохаживаются возле автобуса. На маме полупрозрачная пелеринка, а бабушка в строгом декольте. Обе обмахиваются веерами.

К маме подходят молодые люди и предлагают ей составить компанию. Но мама не обращает на них внимания. Зачем ей эти расхлябанные молоко-сосы? Ее привлекает вон тот, уже в летах. И с безукоризненной выправкой. Мама его заметила еще на пляже. Он тоже едет на экскурсию.

Интересно, кто это такой?

4

Мама поднимается в автобус и садится возле окна. Рядом с ней свободное место.

Молодые люди все еще пытаются маму закадрить. Но мама их всех отшивает. Это место уже давно занято.

И вдруг тот, кто маме приглянулся, садится с ней рядом и нечаянно дотрагивается до ее колена. И мама не возражает. Мамин сосед оказывается правой рукой и любимцем Сергея Мироновича Кирова — Иваном Петровичем Светиковым.

Автобус трогается, и мама из окна высовывается. Она машет бабушке платком. Бабушка посылает ей в ответ воздушный поцелуй.

5

А Иван Петрович сразу же в маму влюбляется. И в этом нет ничего удивительного: мама говорит, что когда она была молодая, то в нее все влюблялись.

И маме он тоже по душе. Такой обходительный. И еще совсем не старый. Ивану Петровичу всего тридцать восемь лет. У него безупречная биография и приличная пятикомнатная квартира. В Ленинграде.

Правда, там еще жена и двенадцатилетний сын. Но разве для любви существуют преграды!

6

Иван Петрович предлагает маме руку и сердце, и мама скромно опускает глаза. Она, конечно, все понимает. Семья — это самое святое. И потом, простит ли Ивану Петровичу сын?

Но Ивану Петровичу уже ничего с собой не поделаться — он не может без мамы жить. Сын его когда-нибудь поймет.

Конечно, все не так-то просто — ведь он же коммунист. Какой же он покажет пример! И, к тому же, его жена тоже член партии. Ивану Петровичу могут припасть моральное разложение.

Но он уже все решил — он со своей женой разведется и женится на маме.

Иван Петрович и мама дают друг другу клятву верности, и мама возвращается в Москву, а Иван Петрович — в Ленинград.

7

В Москве мама заказывает пропуск в Кремль и идет на прием. Ей надо еще посоветоваться с Климентом Ефремовичем.

Перед мамой две большие дороги: разведка или контрразведка?

И Климент Ефремович советует маме разведку. Он говорит, что в контрразведке одна сволочь.

8

Выполнив задание партии, из-за границы приезжает дедушка. Дедушка был в Норвегии, и бабушка очень волновалась: прошел слухок, с дедушкой флиртанула Коллонтаиха.

Обычно Коллонтаихе кавалеры целуют руку.

— А я бы ничего не имела против, — улыбается дедушке Коллонтаиха, — если бы вы меня поцеловали в губы...

9

Маму приглашают в Разведуправление и предлагают ей на выбор Америку или Англию.

В Америке маме дадут ателье, и мама станет портнихой. А в Англии работа нелегальная. В Англии мама будет специалистом по прочности фюзеляжа.

Конечно, в Америке опасно, но зато интересно. Больше самостоятельности. А может, все-таки в Англию?

И мама снова идет на прием, и Климент Ефремович ей советует в Англию. В Америке можно погореть.

Мама улетает в Англию, а Иван Петрович остается в Ленинграде.

10

В Ливерпуле она знакомится с представителями фирмы «Фэрри» и со знаменитым французом Лябэлем.

Мамина кличка — Джон, а мамин начальник — Миша Вайнштейн по фамилии Соколов.

11

На английской земле появляется «Як», и из истребителя вылезает сам генеральный конструктор.

И не успел он спуститься по трапу, как тут же приударил за мамой. (Но она ему не далась — мама любит одного Ивана Петровича.)

А после своего легендарного разговора с товарищем Сталиным все над ней подтрунивал:

— Ну, что, Верка, небось, теперь жалеешь...

12

Для конспирации мама начинает переезжать с места на место, и Миша Вайнштейн все никак за ней не уследит.

Тогда мама снимает комнату у белоэмигрантов, а Мишей заинтересовывается контрразведка.

Через несколько дней Мишу из Лондона отзывают и приглашают на ковер. И через несколько часов расстреливают.

13

Мама возвращается в Москву и тут же едет в Ленинград. Она привезла Ивану Петровичу подарок: «Майн кампф» Гитлера и «Биографию Муссолини».

Правда, сразу не показывает. Мама хочет преподнести сюрприз.

14

Пока мама бороздила небо чужбины, Иван Петрович уже успел подготовить на Родине почву. И его бывшая жена уступает своего кормильца по собственному желанию.

Влюбленные расписываются, и Иван Петрович покупает в салоне для новобрачных свадебный гарнитур.

У мамы и у Ивана Петровича медовый месяц.

15

Советский народ принимает Конституцию и в феврале 1937-го года опять погружается в траур: скончался Серго Орджоникидзе.

Проносится слухок, что товарищ Орджоникидзе застрелился.

16

И вдруг Иван Петрович возвращается с работы и признается, что у него неприятности.

Ни с того ни с сего забрали Абрамова, а Абрамов — его первый заместитель. Правда, у Абрамова жена немка, но у нас же с Германией мир. Иван Петрович просто ничего не понимает.

Но мама его успокаивает. Ведь Абрамов это еще не Иван Петрович. И вообще, все это недоразумение, и скоро Абрамова отпустят.

17

Но Абрамова не отпускают, и у Ивана Петровича опять неприятности — уже снимали всех его заместителей. Ивана Петровича оставляют в одиночестве и вызывают наверх.

Его вызывают наверх после заседания тройки.

18

Мама бросается к Клименту Ефремовичу, и Климент Ефремович объясняет, что тройка во главе с товарищем Ждановым все выяснила. Да, товарищ Светиков смалодушничал: он не проявил бдительности.

И мама возвращается от Климента Ефремовича вся в слезах.

19

Иван Петрович пробует ее успокоить, но мама ничего не желает слушать.

Мерзавцы! Какое они имеют право! У Ивана Петровича такая безупречная биография!

Да. Это все она, сволочная немка, жена Абрамова. Это ее рук дело!

20

«Рассказать... — колеблется Иван Петрович, — или не рассказывать...» — и Иван Петрович решается. Он рассказывает маме про «восьмерку».

После заседания президиума мнения выступающих разделились, и большинство проголосовало «против». В том числе и Иван Петрович.

Но это какая-то ерунда! Не может быть! Все восемь человек — прекрасные, преданные делу революции коммунисты. Иван Петрович знает каждого из них лично. Нет. Этого просто не может быть!

21

Мама слушает «Ивана Сусанина», и в антракте к ней подходит Чесноков.

Чесноков — ординарец Климента Ефремовича, и он Клименту Ефремовичу очень предан. Даже слишком. И когда перестал давать исчерпывающие сведения, то его тут же убрали. Сразу же после войны, когда Климента Ефремовича посылали наводить порядок в Венгрии.

Мама помнит такой случай: Климент Ефремович садится в эшелон, и к нему подводят его любимого ординарца. Но Климент Ефремович его не узнает. Оказывается, Чеснокова уже заменили однофамильцем, и теперь вместе с Климентом Ефремовичем едет совсем не Чесноков, но тоже Чесноков. Чесноков протягивает Клименту Ефремовичу удостоверение, и Климент Ефремович читает: Чесноков. Климент Ефремович возвращает удостоверение Чеснокову и успокаивается.

Чесноков отзывает маму в сторону и докладывает, что ее вызывают в Кремль.

У мамы опускается сердце — это насчет Ванечки. Она уже чувствует. Может, Ванечка и не виноват...

Ах, что ей сейчас скажет Климент Ефремович?..

22

Нет, нет. Только не это. Не надо, не надо этого произносить! Но Климент Ефремович непреклонен.

Он, конечно, все понимает, но он обязан сказать маме правду. И мама должна крепиться.

Да, мама в Иване Петровиче ошиблась. Иван Петрович — враг народа.

23

Мама закрывает лицо руками и выбегает из Кремлевских ворот. Скорее, скорее на Комсомольскую площадь и в «Красную стрелу»... Застать, хотя бы застать...

Иван Петрович маме открывает и греет ее на своей груди. Он чувствует — ему уже нет спасения.

Но он-то, ладно... Он же все-таки мужчина. А вот она... Что же теперь будет с ней?

24

Наступает их последняя ночь, и они ни минуты не спят. И она все на него смотрит, все смотрит. И плачет. Она его хочет запомнить. Навсегда.

25

А утром Иван Петрович уходит и больше уже не приходит. И тут же появляются с обыском.

И вдруг обнаруживают «Майн Кампф» Гитлера и «Биографию Муссолини». Мама потрясена.

26

Дотронувшись до диска телефона, мама выходит из оцепенения и набирает номер. Она должна, должна им все высказать. И ее обязаны выслушать!

За мамой приезжает машина, и маму увозят. Она сидит в кабинете на Литейном, и ее выслушивают. Мамины показания записывают.

27

Но почему же эти люди ей не верят? Ведь он же ни в чем не виноват! Он хороший, он очень хороший. Может, он просто оступился... И она... — к маминому горлу подступает комок, и ей предлагают стакан воды, но мама твердым движением его отстраняет, — она к нему придет... пусть эти люди ему передадут... — мама берет стакан и, сделав глоток, судорожно переводит дыхание, — она к нему придет в ссылку...

Мама роется в сумочке и достает все их фотографии и письма. Это история их любви. Мама просит все это передать ему. И тогда ему станет легче. Он будет знать, что она к нему придет. Он должен это знать. И это придаст ему силы.

28

Переполненная надеждами, мама возвращается в пятикомнатную квартиру и, не находя себе места, ложится на тахту. На окне колыхнется занавеска, и мама смотрит на люстру.

Из Москвы приезжает бабушка. Мама бросается бабушке на шею, и обе садятся на диван и, прижавшись друг к другу, рыдают.

Бедный Иван Петрович... Бедный, бедный Ванечка.

29

Бабушка вытирает дочери слезы и снимает со стола скатерть. Уже пора собираться.

Мама не может здесь больше оставаться — ведь все тут напоминает о нем. И когда ей приходит в голову, что кто-то может эти святыни осквернить, то ее начинают душить спазмы.

Да. Надо взять. Надо все-все взять!

30

К подъезду подкатывает грузовик, и его нагружают мебелью. Но все не влезает, и бабушка с мамой уезжают. А через неделю мама возвращается за остатками, но квартира уже пустая.

Ничтожества, жалкие ничтожества! И как они только посмели переступить через самое святое!

31

Мама бросается в комиссионный и застывает. Она так и знала: их кресло, их любимое кресло, на котором мама сидела на коленях у Ванечки столько часов, теперь уже здесь!

«Подлые! Подлые! — У мамы мутится в глазах, — и как они только смогли...»

Но мама его покупать не станет. Ведь покупать — это уже осквернить. Это кресло бесценное.

32

Возвратившись в Москву, мама решает повеситься. Зачем ей жить, когда с нею нет ее Ванечки? Мама умрет, и они с Ванечкой встретятся. И снова будут вместе. Навсегда.

От Ванечки у нее остался шарф, и мама придумает приспособление. Ведь она инженер. И Ванечка будет доволен.

33

Но маму спасает дедушка. Дедушка видит, как она страдает, и не отходит от нее ни на шаг.

Он объясняет ситуацию: сейчас нужна бдительность, бдительность и еще раз бдительность!

Лес рубят — щепки летят.

34

Дедушка привозит маму на дачу к своему товарищу Любимову. (Любимов — нарком торговли, и его потом тоже расстреляют.) В саду у товарища Любимова весь цвет молодежи, и Верочке надо развеяться.

С букетом тюльпанов подходит Бельский. Его родители из Польши, и он давно мечтает с мамой познакомиться.

Он пробует с ней заговорить, но мама вспоминает Ванечку и закрывает лицо руками.

Через несколько дней Бельского забирают и увозят в товарном вагоне на Восток. Правда, через восемнадцать лет выпускают, и он уезжает на Запад.

А недавно мама разговаривала по телефону с друзьями из Разведуправления, и они ей сообщили, что во время последних событий в Польше Бельский покончил с собой.

35

И тогда мама уходит в лес и любуется сомкнутыми рядами стволов. Потом выходит на опушку и смотрит на облетающие листья. И такой простор, простор... И все листья, листья, листья...

И мама решает жить. Она собирает листья осени 1937 года...

36

И вдруг мама открывает «Правду» и читает всю правду. А там разоблачается та самая восьмерка предателей, про которую ей рассказывал Ванечка. И из этой «Правды» мама узнает, что Ванечка ей сказал неправду.

Как!? Она просто не может этому поверить... Оказывается, он тогда глосовал не «против», а «за»... И как же это он, Ванечка, мог? Ведь она же совсем ничего не знала. Почему он ей потом так и не признался? Глупый, глупый Ванечка...

Но нет... Наверно, он хотел, как лучше... Милый, милый Ванечка...

37

Маму вызывают на Лубянку и предлагают ей заменить ее паспорт. Она должна от Ивана Петровича отказаться.

У мамы изымают ее очередной паспорт и выдают ей следующий. И с ней теперь ничего не случится.

Да и Ванечке тоже будет спокойнее: ведь если с мамой что-нибудь случится, то Ванечка этого не перенесет. Он же сам ей говорил.

38

И теперь маму приглашают уже в контрразведку и посылают во Францию. И перед самой поездкой ее опять вызывает Климент Ефремович.

Климент Ефремович ею доволен: мама не посрамила дедушку.

— А Иван Петрович... — Климент Ефремович смахивает с подбородка слезу, — а Ивана Петровича больше нет.

39

А после войны, когда вместе с Климентом Ефремовичем мама навела в Восточной Европе порядок, ей вручили такой документ:

ГОСПОЖЕ ИНЖЕНЕР-ПОДПОЛКОВНИКУ
МИХАЙЛОВОЙ ВЕРЕ ИВАНОВНЕ

По случаю 2-й годовщины освобождения Венгрии президент Венгерской республики присваивает Вам своим президентским решением от 11.4 се-го г. орден «Венгерской свободы» серебряной степени в признание Ваших выдающихся заслуг, приобретенных в связи с освобождением нашей страны. 1947 г.

Ференц Надь

(впоследствии тоже расстрелянный и тоже как враг народа).

40

Уже почти полгода как прах моей мамы покоится в нашем семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

А на поминках после возвращения из крематория, когда родные и близкие сидели за столом и каждый что-нибудь о маме говорил, я тоже поднял руку и встал.

И я сказал:

— Я всегда был в нашей семье белой вороной и приносил своей маме одни неприятности. И если бы я не был воспитан атеистами, то я бы сейчас обратился к Богу. И я бы сказал ему: Господи, отпусти мне этот мой грех.

И грехи моей мамы.

1971, 1989



Денис БЕЗНОСОВ

/ Москва /

СОН ПЕРЕД СНОМ

восемь марионеток щеки в мраморной копоти
за столом круглые в доме коридорами замкнутом
самим в себя строгий порядок чередования
пиджаков черный белый черный белый и обратное
чередование напротив таким образом сидящие
в совокупности подобны шахматной доске при наблюдении

беглом а при более детальном их изучении
порядок прихотлив поскольку сидящие не только разного
пола женщина напротив мужчины напротив женщины
мужчина но и признаки полового различия надуманы
одинаковая одежда гладкие деревянные головы
без какой бы то ни было существенной поросли внешностью

подобные друг другу но все-таки некие закономерности
на лицо даже при эпилептическом свете лампочек
тяжелых на вес тугой провод из потолка единственный
источник света в темноте где вилку мимо рта гордые
неподвижные каждая осанка по струнке в сосредоточенном
спокойствии на стуле с высокой спинкой в доме предназначенном

для собраний гостей первостепенных важных высокопоставленных
дорогих хозяину неизвестному наблюдателю за зеркалом
отражение с одной и прозрачное стекло с другой стороны именно
там самое уютное местечко молчаливые но при безучастности
своей неподвижности деревянной мертвости все-таки полностью
одушевленные то ли по вине мельканий на лаковой поверхности

то ли из-за мастерских рисунков глаз морщин бровей выпуклых
скул неровных ассиметричных губ верхние статичны а нижние челюсти
на проволочных крючках под каждым ухом для беспрепятственной
речи посторонней но вероятнее всего своей собственной вырезы
по бокам отсутствия трения ради большого размера большого
чем размер обыкновенной куклы из театрального представления

старые кое-где лак облупился распух пузырями сидят вытянув руки перед собой ладонями вниз из отверстий подкожных в петельки вдетые еле заметные нитки растущие из костей в потолок сплетенные в сумбурный узел между собой и каждое даже произвольное движение влечет мгновенную соседнюю судорогу волной к каждому подступающую вздергивающую конечности всем пальцами

указательными указывают на сидящего напротив неподвижными пальцами вместе со всем запястьем лежащими в спокойствии ногтями вверх расслабленными до тех пор пока вдруг сидящие следуя некоему импульсу внезапно не ставят запястья медленно на ребро сгибают руку подтягивая ее к себе принимают синхронно стучать пальцами по столу беспрекословно следуя

единому ритму ускоряясь по возрастающей усиливая интенсивность ударов с каждой секундой быстрее синхроннее громче продолжая смотреть пустыми рисунками лицами лишенными всяких человеческих признаков исключая разве что внешний вид человекоподобие быстрее громче стучат о стол пальцами указательными указывая на сидящего напротив подражая каждому

своему двойнику беспрекословно следуя заданным интервалам громкости интенсивности извлекая гладкими костяшками из древесной поверхности хоровое звучание непрерывный поток постукиваний дерева о другое дерево дергая нитки движением руки отражаясь через узел в движении другого стучат громче и быстрее и громче наконец достигнув кульминации когда извлекаемый звук прекращает делиться на отдельные срastается

наподобие спутанных ниток под потолком в клубке дрожащие конвульсии стряхивающем с себя когда громкости уже некуда увеличиться и не разобрать какой стук кому принадлежит они вероятно чувствуя некий нащупанный предел также внезапно как начали прежде синхронные удары о стол прекращают стучать пальцами и кладут запястья медленно и застывают в прежнем положении молчаливые и опять неподвижные

ОДА ЦЕЛЕБЕСУ

окрест переливаясь из
червирого наречьем в челюсть
коровью черепом нацелясь
промеж подслеповатых вниз
к закуренному переулку
вразвалку вверх и вперевалку

колесами слипаясь с тем
что попадет на распутье
дорожном перекрест распутье
между обшитых плиткой стен
верша внимательное дело
протягивает хобот дуло

по чешуе ползком
корзина для бумаги
сетчатая идет
споткнутая походка
губами шевеля
достаточное этим
но тех не пропустив
имея основанья
не двигаться вперед
стоять по швам на месте
но продолжая воп
реки тому тянуться

по кромке ленты напрямик
слон механизм безглазо вертит
лицом своим железный вентиль
где нос быть должен на прямых
конечностях под тяжким весом
не согнутых со стружкой ворсом

отсутствующий голос пьет
из глубины резного горла
взвывая наподобье горна
к земле клонясь и роя под
нее шагами перед носом
стоящих тело переносит

протягивает вглубь
толпы зевак скривленный
цилиндр пустой внутри
полуживого мяса
по виду жестяной
напоминает обруч
кайма вокруг него
сплошного в серой коже
внимательно вперед
направлено окошко
смотрящего на всё
единственного глаза

качает в такт себе туман
неповоротливая глыба
холодная с дороги грубо
пихает полные дома
к обочине дробя их крыши
и крошит брошенные вещи

он вертит серой головой
по сторонам пейзажа прямо

перед собой смотря направо
воя налево и на вой
его выходят и внимают
они к пустым шумам немые

которые стоят
вдоль улицы фигуры
обыкновенных лиц
до дна опорожненных
с протертой до кости
изжелта-белой кожей
небрежно на скелет
натянутой когда-то
имея верно цель
того или бесцельно
и из последних сил
зрачки передвигают

в тени огромного слона
вползающей в пробелы склона
пунктиром черной пленки скромно
углы темня его слюна
расплывшаяся в спазме лица
морщинные накрыв змеится

стеклянный глаз ребрист и пол
внутри следит так каждый прочий
обнюхиваемый на прочность
предмет проверен хобот по
щербатой плоскости от раза
сужаясь к разу вдоль отрезан

в замедленной идет
и монотонной съемке
за хоботом таща
по переулку тело
танкоподобное
несовершенно сшитый
ломая на пути
своем что попадетя
а по бокам стоят
статичные на кукол
похожие они
и воздух доедают

на небе рыбы полувы
тянув хвосты спиной повисли
распластанные вдоль по выси
над женщиной без головы

наспех составленной по дробным
лекалам вне сродни подобным

у целебеса желтый слух
он слышит собственную ёмкость
фонемы каждого обломка
истертого под весом в пух
он видит рыб и рты за толком
невидимым у них затылком

и слон лицом к лицу
отпугивает буквы
и эти будят тех
в припадке шевелящих
гортанями свои
неясные предельно
суждения тому
подобное случалось
и раньше говорят
разбуженным об этом
а те молчат в ответ
растеряны спросонья

расплывшись рябью по воды
сухой пластмассе слепо стынет
запечатленный свист в пустыне
под ним безротый поводырь
нутром глухие вои важно
шагая между кукол вяжет

стоишь среди подобных нерв
в запястье сжав под безымянным
с глазами или без обманом
межпозвоночным взят из недр
в параличе следишь на череп
надев туман и смотришь через

движение по прямой
стального целебеса
тяни изрешеча
сознание в продольном
разрезе по пятам
предметы проседают
на ощупь ощутив
поверх стальную массу
без формы становясь
с каждой секундой пуше
бесплотней каждый час
привычно приходящий

Люся ЦВЕТКОВА

/ Москва /

Наталья Синельникова (в девичестве Наталья Карасик) некогда опубликовала книгу рассказов «Музыка Вселенной» под безобидным букволическим псевдонимом «Люся Цветкова».

...До жути рядовые мэнээсы, писатель, два художника. Они сформулируют то, что недоступно прочим персонажам: инженерам, алкашам, домохозяйкам, юродивым, старушкам и заблудшим девицам. Герои Натальи Карасик несчастны, убоги, жалки.

Они бедны, их никто не любит, и они любят только своих детей, да и то бросают их и предают, как некий Отец некоего Мальчика, причём Мальчику предлагается принять уход Отца из семьи как рок и правильный жизненный закон. Как норму. Предательство и эгоизм — норма. Причем Отец выигрывает только молодость и тонкую талию у новой жены, но это ведь тоже бrenно и ненадолго.

Семейная жизнь у героев Натальи Карасик состоит из ссор с тещей, химчисток, подсчета жалких грошей, стирок и уборок. Их радости — горсть клубники в кармане для ребёнка. На трэшку, потому что это весь их резерв. Дочь не любит, денег нет, жена не понимает, вокруг — убогий советский пейзаж.

При этом слышит ли художник музыку Вселенной? Чужую музыку на своих вечных похоронах? Писатель много ли шёлка нарядит из своего кокона, и станут ли носить этот шёлк, сотканный из серых дней? И ведь даже молодой мэнээс не покончит с собой из-за того, что он не учёный, а ремесленник. Его вылечат, он будет птичек слушать. И прав Серёгин, ещё один учёный, когда видит, что мы здесь проиграли бой, что советская действительность убила Бога, что на чёрной доске нет ничего, что над землей нависает мрачный, глухой и пустой Космос. Нам нет утешения. Наталья Карасик сказала нам правду. Хватит ли у нас мужества принять её?

Валерия Новодворская

СТАРСТЬ

Старик был уже очень стар, и у него были нелады с невесткой. Ему казалось, она должна уважать старость, но как ей это объяснить, он не знал. Невестка была с образованием, толковая, дельная, но старика она не любила, и мелкие, накопившиеся против нее обиды были горьки, убивали в нем радость. Ему не хотелось жаловаться сыну, который любил невестку. Да и жаловаться-то было не на что. Она ничего дурного не делала: она была к нему равнодушна, не замечала. Но это было несправедливо: он прожил долгую жизнь, он трудился, его всегда уважали люди. Но объяснить все это ей он не мог.

Старик хорошо помнил, как сын привел ее первый раз в дом. Она была толстенная, крепенькая, смешная. Ей было очень немного лет по сравнению с сыном: ей — двадцать, ему — тридцать пять. И старику нравилось, что она молодая, нравилось, что красива. И сына она любила, он это видел. Старик сразу понял, что сын уже все решил и что она будет жить с ним. Ей все в доме нравилось, она всему радовалась как ребенок: его цветам на балконе, его вишневой наливке — он сам ее настоял, его шкатулкам, которые он теперь делал, чтобы занять время. Она, казалось, все приняла в нем. Но ведь, выходит, она лгала и в действительности его мир был непонятен, враждебен ей?

Конечно, с ее приходом навлелся у них порядок. И сын был ухожен. Он мог теперь, как всегда мечтал, по вечерам работать, не тратить время на пустые дела хозяйства. Но ведь старик был не приложение к дому, а человек. Так почему же она не понимала?

Сейчас он сидел на скамеечке возле дома, и радостный день весны не радовал. Он думал о том, как сделать, чтобы невестка поняла его. Ему не нравилась семья невестки. Он сам был рабочий. Он был механик, очень искусный. Всю жизнь он трудился не покладая рук и выучил на ученого сына. И сын его был теперь врачом, был уважаемый человек. Невестка была образованна, потому что в ее семье много читали, а мать ее была учительницей в институте. Семья та была спесива. Они никогда не звонили старику поболтать: там вечно спешили, По праздникам, правда, звонили и поздравляли, но это формальность. И то, что формальность знали, а чувства не было, — оскорбляло.

Подумать только, как пусто прошел день, и ведь вчера был похожий, и позавчера. Невестка пошла в институт, сын — в клинику, старик же был не у дел. Она как-то ловко отстранила его от ведения дел в доме. Он, правда, ходил еще в магазин, но не чувствовал благодарности за то, что он, старый и очень уже больной, отстоял ради семьи очередь в магазине. А раз все, что он делал, было лишено для нее смысла — она не умела этого скрыть, — он тоже проникся отвращением к тем мелким хлопотам быта, которые доставляли ему недавно — до ее прихода к ним в дом — радость. Жить было теперь нечем — вот что страшно. Сын с ним перестал делиться. Он стал невнимателен, его сын. Конечно, он полюбил. И все-таки было горько.

Мимо подъезда шли люди. Привычно здоровались, проходили. Все они шли по своим делам, и все были равнодушны к нему. Он это чувствовал по их устремленным навстречу дневным делам лицам. Все были заняты делом, все — но не он. И даже деревянные резные шкатулки — он так гордился когда-то ими, теперь эта работа была нерадостна и даже обременяла. Не было ничего, за что бы он мог сейчас цепляться в своей жизни, чтобы почувствовать ее смысл.

— Была бы у нас дача, — рассуждал старик, — я занялся бы садом. Но так ведь нет дачи... И нет собаки. Я с ней мог бы гулять, разговаривать, кормить.

Собаку хотелось завести очень, и сын обещал ему до женитьбы. Но вот она, невестка, не любила собак. И было обидно, что она, не любя собак, лишала его возможной радости. И так во всем, думал старик. Все, что люблю я, что дорого и близко мне, нерадостно, скудно ей.

Так как же ему быть? Со всем смириться? Так вот и жить бессмысленно, как трава? Вон ее сколько. Бессмысленно зеленеет, потом умрет. Что есть, что нет. Но он человек, и люди его всегда любили.

Около скамейки остановился ребенок, стоял и смотрел на старика.

— Ты почему один? — спросил старик. Мальчик молчал, и что-то в его улыбке насторожило, заставило старика вздрогнуть неясным предчувствием беды.

— Ты что, не слышишь? — спросил старик. Но мальчик, на вид лет трех, в вязаной красной шапочке, молчал.

Подождала женщина, немолодая, с лицом, измученным застарелой уже болью.

— Он что, немой? — сказал старик.

Женщина кивнула старику и хотела увести ребенка. Но он не ушел, уцепился за край скамейки, тянулся ручками к старику. Тогда женщина села со стариком рядом.

— Хорошенький такой, — сказал старик, обрадовавшись возможности поговорить. — Больной, — сказала женщина. — Жалко, лучше бы не рожали.

— Не лучше, — сказал вдруг старик. — Вы бабушка?

— Мать, — сказала женщина.

— Он же живет, — сказал старик.

— Живет, — согласилась женщина. — Его будут учить говорить по губам. Теперь такой есть метод. А все-таки тяжело.

— А у меня, — сказал старик, — такая невестка злая. Очень с ней тяжело. Все-таки разучились сейчас стариков уважать.

Женщина посмотрела, как бы не понимая. Было видно, что разговор ей неинтересен и думает она о своем — быть может, о мальчишке, который стоял рядом и трогал ее ручонками за край платья.

— У всех свое, — сказала вдруг женщина и, подхватив малыша, быстро пошла от старика.

И эта спешит, подумалось старику, спешат все. А мальчик хорошенький. Его вылечат. Теперь медицина шагнула. Можно было догнать мать с сыном и сказать все это — сказать слова утешения. Но полно, нужны ли женщине эти слова? Нужно ль его утешение?

Старик решил, что родственники малыша во всем разберутся сами. Вот в чем весь фокус, решил старик. Все стали самостоятельные. И никому не нужно чужое мнение. Привыкли жить сами, своим умом. Вот и невестка. Все по-своему. Советы его не нужны, и опыт жизни его не нужен.

Но правильно ли, что все это так? Быть может, это была какая-то общая, не одной его старой жизни неладность? Может быть, это была всех беда, не его одного? И от мысли, что, может быть, есть какая-то общая неполадка во всем мире, которую он, один, конечно, не в состоянии ни разгадать, ни исправить, стало легче. Причем же тогда старик, когда все неладно у всех людей? Невестка, она как все, вдруг понял старик. Она не хуже и не лучше, чем все.

И я ведь такой, как все, вдруг подумал он. Так, значит, и у меня все идет, как у всех, и совсем не хуже.

Потом зазвонили колокола. Это маленькая, единственная уцелевшая в их районе церквушка подавала звон. Немелодично звонили колокола, трезвонили вразнобой глухим, ухающим каким-то ударом. Совсем не так, как

надо, звонят, подумал старик. Наверное, звонарь плохой, а может, колокола не те. Старик любил колокольный звон и рассердился на звонарей. Наверное, напились и трезвонят, подумал вдруг он. Праздника же нет сейчас. Пасха была. Троица далеко. Без праздника и звонят.

А звон все шел и шел: бум, бум, бум, бум. И постепенно удары становились все слаженней, ритмичней. Наверное, звонари все же справились в конце концов со своей задачей. Красивые, торжественные, теперь плыли в весеннем воздухе звуки. А старику вдруг стало спокойно и захотелось спать. Солнышко припекало, и его совсем разморило. Он тяжело встал со скамейки и пошел к подъезду дома, где жил. Решил, что сначала поспит, потом станет пить чай и что невестка, может быть, и не очень плохая. Да и вообще, все не так уж у него и плохо. И еще подумал, вспоминая о глухом мальчике, что хорошо бы невестка родила внука. Подумал, что если бы даже она родила такого, как этот, хорошенький, в красной шапочке, то он бы не роптал на судьбу, не сетовал, что внук родился, а очень бы полюбил его и, кто знает, довел бы до ума.

ОТЕЦ И МАЛЬЧИК

Мальчик шел по пустырю очень долго. Потом не выдержал и побежал. Он все бежал и бежал, а пустырь не кончался. А дом, казалось, стоял совсем близко. Крупнопанельный дом — близнец, рядом с которым стояли стена к стене его крупнопанельные братья. Но он знал, что ему нужен именно этот дом, № 2, и именно этот подъезд, заброшенный и грязный, пропахший собачьими и кухонными запахами. Лифт не работал, и он побежал по лестнице, так же быстро, как бежал до тех пор по пустырю. Дышать было уже невмочь, когда он наконец нажал кнопку звонка. И дверь сразу открылась, как будто за стеной стоял и ждал его волшебник. И он вошел и огляделся вокруг, ища того, кто открыл, но его уже не было: скрылся в комнате. Это жена открыла, догадался мальчик, та самая, новая, вторая жена.

В голове застучало тяжелым молотком, вся решимость его исчезла. Он стоял и смотрел, как на давно немывом паркете некрасиво и мокро отпечатались его ботинки.

Вдруг голос отца позвал не его — ту самую, чужую и ненавистную женщину. Ее звали так же, как и мать мальчика, — Люда. И оттого, что имя было одно, стало совсем невмоготу, и в нос и в горло полезло мокрое. Но глаза его оставались сухи, и губы разжались, позвав еле слышно:

— Папа. — Дверь открылась, отец стоял и смотрел, как невыплаканные слезы застыли в синих, как у него, глазах сына.

— Войди, — позвал отец. И он вошел.

Комната была все та же, комната его детства, где когда-то жила уютная и добрая бабушка, мать отца, где в праздники угощали вкусными пирогами с маком; здесь, в этой комнате, его всегда любили, ждали, желали. Сейчас он пришел чужим. Бабушка давно умерла, иначе она, конечно, не позволила бы отцу жить здесь с той новой, второй женой. И праздничные запахи исчезли, и былой уют. Все было грязно, уныло, запущенно в этой квартире, которой правила чужая и злая женщина. И то, что здесь было плохо, мальчик отметил со злорадством.

— Заходи и садись, — говорил отец. — И вообще, мне жаль, что ты сюда не приходишь.

— А я, — сказал мальчик, и слезы ушли из голоса, глаз и горла, — я здесь не был, не буду, не жди. И пришел я по делу, ты знай.

— Я знаю, — сказал отец. — Через пять лет ты будешь думать иначе. Но я не настаиваю. Садись и рассказывай.

Мальчик сел напротив буфета, где так же, как при жизни бабушки, стояли на самом верху красивые стеклянные вазы — компотницы и тихо звенели при каждом шаге хрустальные фужерчики.

Отец ушел из дому полтора года назад. И до сих пор мальчик не мог примириться с потерей. До этого они были друзьями, отец учил, что друзья не предают, и вот об этом и хотелось говорить с ним сегодня. Полтора года они не виделись: приходили только денежные переводы и вещи, которые отец покупал для мальчика в заграничной командировке.

На письма отца мальчик не отвечал, но отец не знал, что он каждый день бывает у его дома и каждый раз бежит по этому пустырю в тревожных ночных снах.

«Зачем ты это сделал?» — хотел спросить мальчик и не спросил.

«Неужели это неотвратимо?» — хотел спросить мальчик и не спросил.

«Ты не мог, не можешь, не должен нас разлюбить», — хотел сказать мальчик и не сказал.

Отец не помогал сыну. Сидел и молчал. Смотрел прямо перед собой; ни тревоги, ни страха не было в его ровном взгляде. Спокойная уверенность в своей правде, уверенность в том, что ничего не изменишь, — их мальчик увидел, понял... И — испугался.

— Я должен идти, — заторопился он. — Если хочешь, приходи к нам. Мама на даче. Она варит варенье. Там много крыжовника, и голова кругом. А Танька не попала в театральный. Ревет целыми днями, — оживился мальчик. — Я рад, хочу, чтобы она, как мама, была врачом. Но она плачет.

— Я бы хотел прийти, — сказал отец, — очень. Если, конечно, ты согласовал с Таней, это во-первых; и если мама действительно на даче, вторых.

И он улыбнулся мальчику застенчиво и неожиданно робко... как другу.

— Я думаю, Татьяна тебя выгонит, — сказал мальчик злым убежденным криком. — Она тебя ненавидит и будет ненавидеть всю жизнь... А я... я... я нарочно тебя пригласил... Я ведь теперь тоже тебя ненавижу, ты так и знай.

Отец помолчал; лицо его медленно серело и отекало на глазах у мальчика неестественной болезненной полнотой.

— Мне жаль, что Татьяна провалилась, — наконец сказал он. — По моему, она талантливый человек.

Внезапно вошла новая жена и подала отцу капли Зеленина.

— Быть может, чаю? — сказала она, и в голосе ее были упрек и некоторая досада.

Мальчик осмотрел ее внимательно и строго с головы до ног. Она была красивая и молодая, много моложе мамы. И фигура у нее была стройнее. И как же он ее ненавидел!..

— До свидания, — сказал мальчик и пошел к двери, все время оглядываясь на бабушкин буфет. Лицо отца, отечное, больное, расплылось на

фоне буфета в огромное белое пятно. Мальчик понял, что это опять были слезы; уже не было сил их удерживать ни в горле, ни в глазах. Они шли и шли по лицу ровными и косыми струйками, а платок затерялся где-то в огромном кармане джинсов, когда-то подаренных отцом.

Чужая женщина ушла и пришла опять, с полотенцем, которое бережно принял у нее из рук отец. Отец теперь стоял около мальчика и гладил его по плечу и волосам. Другой рукой он осторожно вытирал глаза сына и мокрые щеки. Потом он взял его за руку, как когда-то в детстве, и осторожно вывел на лестничную клетку. В кармане отца позвякивали ключи. Они спустились вниз, держась за руки, как когда-то, давно, полтора года назад, обогнули дом и долго стояли на пыльном шоссе...

Засверкал зеленый огонек, отец сел в машину и посадил мальчика на сиденье рядом с собой. Он молчал и только по-прежнему гладил его волосы и плечи. Стало спокойно и уютно, как когда-то давно, полтора года назад. И прежняя надежда проснулась в мальчике с новой силой.

— Поедем домой, — требовательно и властно сказал мальчик. Но отец ему не ответил.

— Поедем, — повторил сын, — она злая, не надо ее любить.

— Она хорошая, — с неожиданной грустью сказал отец. — Вот вырастешь и поймешь. Очень хорошая.

— А мама? — спросил мальчик, и взгляд его стал упрям.

— И мама, — сказал отец с той же грустью. — У тебя очень хорошая мама. Ты ее люби, пожалуйста, и не обижай никогда.

Машина подъезжала к дому, где жили мальчик, его сестра и мать и где когда-то очень давно жил с ними отец. Отец расплатился и вывел мальчика из такси за руку, как когда-то в детстве.

— Никогда, никогда я этого не пойму, — непримиримо и зло сказал мальчик.

— Поймешь, — устало сказал отец, торопливо притянул его к себе и ушел вдаль, туда, где были асфальт, машины, троллейбусы — шумная, гудящая, поющая на все голоса автострада. Сейчас он смешается с толпой пешеходов и исчезнет. А мальчик все стоял и смотрел ему вслед. Отец ни разу не оглянулся, а мальчик стоял и смотрел. Долго смотрел, пока не устали глаза и не спутулились тяжелой усталостью плечи, все еще ощущающие на себе тепло больших, когда-то самых любимых на свете отцовских рук.

ОДИНОКИЙ ГЕНИЙ МОЕЙ ЮНОСТИ

Памяти Фридриха Горенштейна

В газетах я прочла о его смерти. Писали во многих газетах... Достойные уважительные некрологи... Проскальзывало легкое недоумение: «Надо же! Русский Кафка! Надо же! Новый Достоевский!» Но ни признания всемирного, ни славы громкой, ни денег у него всю жизнь так и не было... Надо же! Нобелевскую премию не дали! Надо же! В один ряд с Габриелем Гарсиа Маркесом не поставили!

Все, все в этой его жизни не складывалось. Женщины не любили, а если и делали вид, что любят, или им и вправду казалось — любят, любви их продолжались как-то недолго, и безобразием все кончалось... Одна из

избранниц пила безбожно, и о том, что любимая им жена — пьяница, знакомые и друзья узнали годы спустя, перед самой его эмиграцией, после неожиданного для всех его с ней развода. Тогда-то я и задала ему свой вопрос, который мне не забыть; вернее, его ответ не забыть.

— Да как это так, Густав? Сабина твоя пила, а ты между тем работал, тома писал... В общем-то написал собрание сочинений... Как это получилось, в однокомнатной квартирке крошечной, рядом с непросыхающей алкоголичкой?

А вот ответ его был замечательный!

— Да как ты могла подумать, чтобы кто-нибудь мог помешать мне работать?! Просто невероятно!..

Конечно, никто не мог ему помешать работать! Никто не мог помешать! Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Потому что в начале всего у него, как в Евангелии, было Слово, а потом уже все прочие жизненные отправления...

Все-таки это было ужасно, что он умер, а я так хотела познакомить с ним своего сына. Я только не учла, что сегодня мальчики предпочитают хорошим писателям поп-звезд и героев нового Голливуда. Так что мой сын ничего не потерял из-за того, что он умер. Ничего бы это гипотетическое знакомство в жизни моего сына не изменило.

Конечно, покойный был гений, но уже умирают люди, которые в этом уверены; уже состарилось поколение, которому еще можно это самое объяснить. Уже надвигаются на мир люди другой культуры, в начале которой было совсем не Слово; а вот только что? Не знаю... Может быть, в начале этой новой культуры будет стоять клонированная овечка Долли и ее размноженное на лазерных дисках бляение станет основой религиозных песнопений новых землян... И может быть, напишется даже новое Евангелие, первым звуком и первым знаком которого будет бляение этой самой клонированной овцы...

Но гений моей юности жил в другом мире, в другом солнечном просторе, где бытие отсчитывалось другой системой координат. В ярком весеннем свете, на фоне первых зеленых листьев и неминуемого будущего счастья пытающаяся похудеть школьница-толстоножка входила в подъезд многоквартирного дома. У лифта чуть горбился, на ее взгляд, совсем немолодой, лет тридцати двух, мужчина. Он чавкал мороженым крем-брюле, он вытирал запачканные сладким пальцы о рубашку не первой свежести, и он дошел с ней до двери ее квартиры... Он был неприличен... Он громко сморкался в очень грязный платок и долго жал на звонок.

Оказывается, это был знакомый ее брата, работающего в модном тогда журнале под названием «Новый мир».

— Я вот принес... — и человек протянул разбухшую папку с тесемочками ее маме. Она вошла следом и почему-то почувствовала, что с приходом неопрятного человека в дом вошла, может быть, ее гипотетическая судьба. Потом таких «гипотетических» судеб, которые так и не станут ее судьбой, в ее жизни будет немало... Чет или нечет. Да или нет... Ей стало неуютно под натиском своей юношеской интуиции и восторженной готовности к взрослому счастью.

— Я вот пойду...

Человек уже повернулся к двери, а мама что-то ласково, как и всем другим соискателям литературного счастья, попадавшим в дом, говорила этому человеку. Кажется, она советовала подождать брата...

Конечно, он ушел, чтобы прийти к ним еще и еще раз. Часто он приходил, сидел у них в доме целыми днями, делил с ними нехитрые обеды и ужины и очень прижился там, где оценили его талант и поняли его неприкаянное одиночество.

— Не было у него ни угла, ни прописки, ни достойных родителей, ни достойного образования за плечами. Только талант был и сознание собственной миссии. Люди, которым надлежит сказать новое слово, одарены знанием того, что им выпала эта участь. И, хочешь не хочешь, они идут своим путем до конца. Это как в Библии. Спаситель знал наперед все, что будет, но ведь иначе было нельзя! Чаша должна была быть испита... А дальше, как кого любит Бог. Прижизненное признание — для одних, посмертное удивление, что вот проглядели гения, — для других, и новая эпоха, равнодушно перешагнувшая через избранника, появившегося на рубеже эпох, — для третьих.

В газетах я прочла о его смерти... Все-таки это невероятно! Все путешествовала-путешествовала по миру с мужем — внешторговским работником, все мечтала о гипотетической нашей встрече. Вначале, после его тщательно спланированной эмиграции, это было ну абсолютнейшим образом невозможно! Советским гражданам, трусливо не желающим расставаться с сытной советской пайкой, нельзя было общаться с предателями, покинувшими советскую родину. Она смирилась с благонадежной трусостью мужа; она только надеялась, что, живя в Лондоне, куда, как она знала, он перебрался из Вены, они обязательно встретятся с ним случайно.

Тогда в маленькой кондитерской на Риджент-стрит они съедят по пирожному. Заплатит, разумеется, она или, быть может, он, если он вдруг богат. Хотя откуда же быть богатым, если живет, как писал одному бесстрашному приятелю ее брата, в самом бедном и неприличном районе Лондона?

Они тогда вспомнят, какой он был сладкоежка в пору ее юности, а его молодости... Вспомнят ее бабушку, которая умерла много-много лет назад. Тогда еще в Москве варили варенье; теперь не варят, как и во всем мире... У бабушки варенья были замечательные, а ему она специально варила его любимое из айвы.

Бабушка называла его «болезным». А он и вправду тогда болел; еще до встречи с первой женой, цыганкой, которая потом оказалась пьяницей. Болел желудком... Эта добрая женщина Сабина, благодарная Густаву, что он увел ее от мужа-актера, пившего вместе с ней и покалечившего ее в пьяном виде так, что детей она от Густава уже родить не могла, вылечила «болезного». Она, цыганка, крестьянка, молдаванка, отпаивала его травами и отварами из сухих фруктов; он стал, живя с ней, даже толстоват и внешне благополучен. Но вот потом она запила...

...Да, они бы замечательно посидели, и она бы, рискуя карьерой мужа, выпила с Густавом чай с молоком и съела бы пирожное. Они здесь не хуже, чем были много лет назад в любимой Густавом Филипповской булочной на улице Горького...

Она бы повинилась тогда пред ним, что ни она, ни брат не пришли проводить его. А ведь он уезжал с беременной молодой женой, с кош-

кой... Многие пришли, а вот она нет. Зато ее близкая подруга, у которой папа — ветеринар, по ее просьбе оформила Густаву ветпаспорт, чтобы он вывез кошку.

Но нет, она не встретила его в те годы ни на Оксфорд-стрит, ни на Пиккадилли, ни в Гайд-парке, где валяются на траве, загорая, те, у кого нет денег, чтобы загорать в Истборне или в Бомосе. Но ведь потом-то началась и была другая жизнь, когда страх исчез, когда даже муж начал говорить, что думает, когда перестали они включать радио каждый раз, когда приходили гости...

Да, тот первый страх исчез, но, увы, появился новый. Теперь ей стало казаться, что уже нет повода для их встречи. Потому что так далеко отодвинулись ее юность и его молодость; потому что страна, куда она время от времени из Англии приезжала, стала жить совсем другой жизнью, где начало их жизни было уже таким призрачным и далеким, что часто ей даже не верилось, что оно, это начало, было именно таким: с братом, работающим в прогрессивном журнале «Новый мир» и смело продвигающим талантливых авторов; с ней, безнадежно влюбленной в друга детства, который на ней жениться не захотел, с Густавом, которого литературно-киношная Москва вдруг открыла как писателя-сценариста. Она появлялась с ним то в Доме кино, то в театре одну или две зимы так часто, что даже судачили о ней как о его девушке...

Тогда-то в ней обнаружился некий изъяс душевный, а именно страх перед его талантом. Несколько моментов в их общении той поры она и сейчас вспоминает с какой-то к себе брезгливостью...

Она в каморку, которую он снимает у пожилых музыкальных дам, принесла ему еду и лекарства. Он болен, и мама с братом подрядили ее по-мочь. Заснеженный арбатский колодец-двор в итальянском мутно-грязном окне, алюминиевая кровать с шашечками, на которой он, кутаясь в нищее байковое одеяло, читает очередной ненапечатанный рассказ. Его уже не печатают, уже закрыли зеленый свет. Уже совсем ничего не печатают; и кормит его киноподенщина, сценарии, за которые его друзья-режиссеры платят ему гроши... Грязь неустроенной нищеты, жидкий чай в стаканах, видимо, заимствованных хозяевами квартиры в общепите, и лихорадочный, даже затравленный блеску него в глазах... Один ее взгляд ответный, даже не женский, сочувствующий, человечный... Но женский инстинкт прожить свою жизнь, как принято, был у нее сильнее...

Не только она боялась... Еще до Сабины, цыганки-пьяницы, привел к ним в дом красавицу латиноамериканку, крупную, круглолицую. Но милая девушка Бегония обманывала Густава с арабом, за которого вскоре и вышла замуж. Араб оказался террористом, сидел в тюрьме во Франции, пока лет через десять не обменяли его на чилийского коммуниста. Бегония уехала в Коста-Рику, и след ее потерялся...

О мистическом пред ним ужасе влюбленной в него знаменитой актрисы Лидии Толкачевой Густав рассказывал брату и матери даже с гордостью. — Бойтся и любит, а может быть, и не любит... — глубокомысленно рассуждал Густав.

Роман расстроился как-то быстро и был забыт.

Перед самым отъездом Густав женился на очень молодой девушке по имени Катя, родившей ему сына и уже в Лондоне сбежавшей с каким-то китайцем. Полная чепуха...

Все книги Густава я читала в рукописях, которые бережно хранил брат, надеющийся их рано или поздно опубликовать. В послеперестроечные годы один из его романов, может быть самый лучший, «Новый мир» отказался печатать. В редакции сочли, что автор искажает суть и историю христианства. Роман напечатал бывший реакционный журнал «Октябрь», и вскоре он вышел отдельной книгой у нас и за рубежом. Но, странное дело, роман, с проповеднической страстью предложивший человечеству свою оригинально- дерзкую трактовку Библии и даже «досочинивший» Евангелие до XX века, беззвучно, как падает камень в воду, был встречен и на Западе, и в России. О нем не спорили, его не хвалили и не ругали. И в этом смысле отторжение романа проправославным послеперестроечным журналом моего брата «Новый мир» было его признанием, увы, единственным в своем роде...

В рукописи роман предварен шутивным мне посвящением:

Может, свидеться нам не придется,
Знать, печальная наша судьба,
Пусть на память тебе остается
Эта скромная повесть моя...

Этот стишок с налетом провинциального графоманства — предвидение... «Может, свидеться нам не придется...» Так и не пришлось нам свидеться... А может быть, это благо, что не пришлось? Ведь книги его остались. Передо мной лежат. И я могу их читать, когда захочу. А сын все равно их читать не будет. Да и зачем человеку, который учится на экономическом факультете Лондонского университета, книги Густава?.. Книги-напоминания о том времени в истории человечества, когда главным было Слово, когда «в начале было Слово»?..

Мне вспоминается нежный апрельский вечер. Прозвенел звонок, я открыла дверь, и на пороге стоял Густав. На нем была клетчатая рубашка, светлые брюки и польская кепка с длинным козырьком. Он был непривычно аккуратно, даже щегольски одет. Он только что получил гонорар за свой единственный рассказ, напечатанный в журнале «Новый мир», рассказ о его отце, репрессированном австрийском коммунисте. Из-за роковой веры своего отца в коммунизм Густав, собственно говоря, и оказался в России.

Да, русское слово дано было ему Богом случайно. Но ведь, с другой стороны, ничего случайного у Господа быть не может. Как его далекие предки-евреи ели в Египте долгие годы горький хлеб изгнания, Густав должен был вкусить горький хлеб России XX столетия от рождества Христова, пройдя все российские круги ада в качестве сына «врага народа», — чтобы стать самому себе Моисеем, вывести себя из рабства страха, нищеты, обездоленности и прийти до того высокого состояния духа, когда главным делается Слово. Я очень надеюсь, что на том свете Бог простил Густаву его роман — дерзновенную попытку некоего Евангелия XX века, дышащего неукротимым ветхозаветным гневом к злу и утверждающего добро, увы, не новозаветным добром, а опять-таки ветхозаветным злом. Быть может даже, Густав сейчас в раю, в одном пространстве с апостолами, с которыми он, да простит его Бог, на страницах романа спорит. Ведь, как и они, он доказал всей своей жизнью, что «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (см. *Новый Завет господя нашего Иисуса Христа. От Иоанна Святое Благовествование*).

Анастасия АНДРЕЕВА

/ Брюссель /



* * *

И.

Ты давно мне не пишешь и не надо и не пиши
Буду думать что все у тебя в порядке
Что живешь не горюя в своей первозданной глуши
Что коза у тебя что клубника зреет на грядке
Буду думать ты всегда с улыбкой встаешь по утрам
Получаешь письма часто от дочери взрослой
От избы твоей тропинка ведет через лес да в храм
А в сарае местный Харон хранит свои весла

* * *

Серебристым брюхом вспахивая облака
Медленно движется будто не устояв на месте
Цеппелин забросила в небо чья-то рука
В приступе то ли скупой любви то ли щедрой мести

На земле дожди вышивают крестиком по стеклу
Изучают листья деревьев лица друг друга
Мечет солнечный карп не бисер — золотую икру
Воет на это золото оценившись сука

Каждый жучок каждая божья тварь
Знает в итоге куда идти и чем поживиться
Как приумножить сакральный свой инвентарь
И какая дорога ведет напрямиком в столицу

Каждый жучок непременно находит шесток
Скрипочку в тонкие руки берет и давай пиликать
Чтобы не был так страшен тот кто мудр и жесток
Тот же кто милостив чтобы не отворачивал лика

Все мы в меру свою понимаем что да к чему
 В самый верх устремляются наши железные птицы
 Это вопросы и просьбы что будоражат тьму
 Или просто еще один способ к Нему обратиться

* * *

Трудно быть богом, подумал Румата. Он сказал терпеливо:

— Вы не поймете меня. Я вам двадцать раз пытался
 объяснить, что я не бог, — вы так и не поверили.

«Трудно быть богом», Стругацкие

Встану пойду за ними
 будто и не было ничего
 они позвали меня по имени
 они зашли уже далеко
 Встану и поплетусь сквозь заросли
 сквозь буреломы и чащи
 посуху и по воде
 и не то чтобы из-за жалости
 просто вдруг они долгожданные — те

Отдохну
 и отправлюсь в дорогу
 просто нет сил по жаре такой
 Ты говоришь что легко быть богом
 давай поменяюсь разок с тобой

* * *

Как хорошо в покинутых местах!
 Покинутых людьми, но не богами.

Леонид Аронзон

на лодке двое
 двое как один
 на лодке двое и ни одного
 куда плывем поведай страж глубин
 и почему так небо высоко

весло заденет маятник-камыш
 блеснет плотва изгибом плавника
 и все опять застынет гладь да тишь
 как неподвижно движется река

ЛЕТОМ

Всё прочее забыв
Всё новое приняв
Задумчив и ленив
Лежишь в созвездье трав
Мерцает стрекоза
Бестрепетным крылом
И мир как будто за
Чтоб ты остался в нём

* * *

наконец-то настала зима
за окном
белый рой
снежный рай
упивайся зимой задарма
и о дальней земле вспоминай
там такие же точно снега
над избою дымка белый чуб
и затерянность так велика
что слова застывают у губ

что становишься миром в себе
ощущая пронзительно — жив
сад парит в белоснежной крупе
а за садом лес да залив

* * *

*Памяти русского дворника,
вписанного в осенний питерский пейзаж*

Гадает по опавшим листьям ветер,
Раскидывает их в причудливую вязь
И ловит души птиц в слепые сети,
Чтоб к небу ни одна не поднялась.

И с песней им не вырваться на волю,
Казенный дом ободранных ветвей
Им выпал до весны... Но дворник Коля
После второй поет как соловей!

ПИТЕРУ

Я скоро упаду в твои объятия
В твоё кричащее стальное небо
Распоротое чайкам на потребу
Крестами шпилями антеннами
Гремящее лучами медными
Стирающее времени понятие
В моё родное северное небо

* * *

Распахнуто окно, струится лето,
Деревья говорят на общем языке,
Провозглашённом сумасбродным ветром,
И как-то всё легко и налегке.
Всё кажется доступным и несложным,
Приходит просто и терять не жаль.
Зимю тупо мы ковали сталь,
Чтоб первого июня спрятать в ножны.

* * *

Собираюсь в дорогу
Перекладываю с места на место вещи
Устаю понемногу
По ночам каждый сон теперь вещей
Время сжалось до точки
Можно глотать его не разжёвывая кусками
Пляшет лето в сорочке
Расстоянье всё меньше между двумя городами

ВЫЧИТАЛОЧКА В ДУХЕ АРОНЗОНА

с каждым днем все меньше дней
с каждым часом все меньше часов
с каждой минутой все меньше минут
с каждой секундой все меньше секунд
я — еще — тут

Вальдемар ВЕБЕР

/ Аугсбург /



ЗОЛУШКА¹

В 50-е годы зимы стояли суровые. Когда столбик градусника опускался до тридцати, занятия отменяли. Некоторые родители оставляли детей дома и при меньших температурах. Ведь в школу ходили пешком, а из соседних с городом деревень — за несколько километров.

Блаженные дни. На все появлялось время, на чтение, на каток.

Сегодня 28 градусов. Можно бы и не пойти, тем более что не успел подготовиться по алгебре. Родители не возражают. Но тогда целый день не увижу ее. И она тоже будет разочарована (так я думаю), не найдя меня в школе. Бабушка закутывает меня широким шарфом, закрывает половину лица, заставляет надеть валенки, которые я никогда не ношу. Мне кажется, что я выгляжу как чучело огородное, но на улице рад, что бабушка была такой настоящей.

Но *она* не пришла. На перемене, дождавшись, когда все выйдут в коридор, сажусь за ее парту и мне кажется, что ощущаю тепло ее тела.

Ее зовут Саша. Кое-кто называет ее Шурой, но для меня это какое-то другое имя. Мой слух признает только имя Саша.

Не помню, как и когда мы оказались в одном классе, то ли она пришла из другой школы, то ли два класса объединили.

Воспоминание о том морозном дне, видимо, — результат чувства, начавшегося много раньше. Предыдущие дни, ровные и счастливые, удовлетворявшие сознанием ее существования и еще не проявлявшие потребности в признании, неожиданно сфокусировались в горьком разочаровании от ее отсутствия в классе.

У любого человека есть образ начала. Часто мне снится сон: зимним солнечным утром вхожу в широченные ворота какой-то прекрасной усадьбы и медленно иду по аллее парка к заснеженному дворцу, туда, где по светлому полу жарко натопленной сверкающей залы ступает *она*, совсем еще девочка. Дворец маячит вдали, я иду и иду, но он все на том же от меня расстоянии, не приближаясь и не отдаляясь... Словно видение чего-то навсегда утраченного и вечно желанного.

¹ Глава из книги «101-й километр, далее везде».

Каникулы после окончания шестого класса. Меня отправляют до осени в Волгоград к родственникам. Это значит, я не увижу ее больше двух месяцев. Родители везут меня на вокзал, и я плачу. Отец стыдит, я же мужчина и не должен распускать нюни. Хорошо, что он не догадывается, из-за чего я плачу. Он думает, это волнение перед первым в моей жизни самостоятельным путешествием.

Первые дни учебы в седьмом классе. Бабушка делает мне замечание, что я слишком небрежно одеваюсь, а в классе, наверное, девочки. Это хорошо, что у вас в классе не только мальчики, говорит она, и рассказывает, что хотя и училась в школе исключительно женской, все преподаватели были мужчины, и это подстегивало. Возможности у девушек были ограниченными — на всех одинаковая форма, и все же каждая изощрялась придумать что-нибудь свое, то в прическе, то в покрое воротничков и манжет. Слова бабушки оказывают воздействие, и я неохотно заменяю фуфайку на новый пиджак с хлястиком на спине.

Радостная новость — у нас будет свой школьный театр. Директриса, бывшая ткачиха-стахановка, настаивает на том, чтобы первым спектаклем был «Приключения Чиполлино» Джанни Родари. Ей, мол, рекомендовали на учительской конференции в Иванове. Современная пьеса-сказка, автор — итальянец, коммунист. Ну, подумали мы, коли пьесу Подъячева отобрала, — придется маршировать под барабан.

Но герои сказки одолевают зло без патетики, без гильотины. Важного и надутого начальника полиции синьора Помидора, роль которого поручается мне, никто не боится. Чиполлино и его друзья Редиска, Крот, кум Тыква и Земляничка сильны, потому что их объединяет взаимопомощь. Разыгрывая пьесу, мы не думали ни о каком классовом смысле. В Карабаново были свои синьоры Помидоры, пузатые начальники и бездельники.

Директрисе явно не нравится, что с прислужниками режима поступают гуманно — графини Вишни эмигрируют, барон Апельсин становится грузчиком, но в стране — самый разгар *Оттепели*, и Подъячева скрепя сердце пьесу пропускает.

Саше достается роль Землянички, подружки Чиполлино. Моя главная забота: как я буду мою Сашу преследовать и заточать в темницу. С другой стороны, я этому рад, могу по праву полицейского беспрепятственно хватать ее за руку, даже брать в охапку, чтобы тащить в участок, таскать за косы. И при этом вдыхать ее запах. Лучшей роли, чем роль Помидора, невозможно и придумать.

На Саше короткая юбочка, на репетициях сверкают ее голые колени и икры. На премьеру приходят наши родители. Мама Саши за кулисой поправляет ей костюм, что-то подшивает. Я гляжу как замороженный и впервые отмечаю про себя, что меня волнуют формы Сашиного тела. В них, еще неразвитых, совсем нет, как у большинства девочек ее возраста, капризной мальчишеской угловатости, она выглядит не то чтобы маленькой барышней, но в ее движениях уже есть что-то осознанное, в осанке гордая небрежность. О ней никогда, ни до, ни позже, нельзя было сказать «плод незрелый», она словно не имела переходного возраста.

Первый урок в 8-м классе. Зоя Михайловна, учительница физики, наш классный руководитель, объявляет нам, что будет теперь называть нас на «вы», что отныне мы — старшеклассники, юноши и девушки, что мы больше не дети.

Читаем в классе вслух восьмую главу «Евгения Онегина»:

Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Это обо мне. Выписываю печатными буквами на отдельном листочке не всю строфу, а только эти слова, и незаметно запикиваю его в портфель Саши. Потом несколько дней не решаюсь взглянуть на нее. Наблюдаю со стороны, но не вижу в выражении ее лица никаких изменений.

После Пушкина проходим Лермонтова. Читаю его стихи не только в «Родной речи», но и в одностомном дореволюционном издании, сохранившемся в нашей семейной библиотеке. Отвечая урок, рассказываю о стихах, написанных поэтом, когда ему было, как нам, — пятнадцать. Лилия Ивановна, учительница литературы, недовольно пожимает плечами и просит меня к следующему уроку подготовить подборку из «этого раннего Лермонтова».

Отбираю исключительно о любви: «Незабудку», «Я видел раз ее в веселом вихре бала», «Первую любовь», «Я не унижусь пред тобой». Всем стихи понравились, но Лилия Ивановна смазывает впечатление, сказав, что они незрелые, несамостоятельные, что в них автор еще не освободился от влияния Байрона, еще не стал реалистом, а романтизм от реализма отличается надуманностью и отвлеченным фантазерством. В пятнадцать лет человек не может переживать и понимать настоящей любви.

Класс молчит. По лицам видно, что многим есть что сказать по этому поводу, но они не решаются. На лице Саши невозмутимость и, как мне кажется, безразличие.

Школьный театр на этот раз репетировал пьесу о партизанах, о детях-героях, но Лилия Иванова вовремя поняла, что наших актерских и ее режиссерских способностей для изображения серьезных драматических ситуаций явно недостаточно, и тогда я предложил опять поставить сказку, и не какую-нибудь, а сказку сказок: «Золушку». В школьную библиотеку как раз поступила новая инсценировка «Золушки» для самодеятельных театров. Она была упрощенной и короткой, и мы вместе с Лилией Ивановной решили увеличить число действующих лиц, используя мотивы из всех известных нам вариантов сказки.

Мое предложение не было бескорыстным. Я был уверен, что роль Золушки и принца обязательно поручат Саше и мне. У Саши не было конкуренции. Мне же роль принца, считал я, даже если об этом знало только мое сердце, принадлежала по праву любви. Так оно и случилось.

Вариант Евгения Шварца, знакомый в то время каждому по известному фильму, мы сразу отвергли. «Золушка» Гриммов мне нравилась больше, чем «Золушка» Перро. У Гриммов все волшебства совершает не фея, а силы природы: дерево, политое слезами Золушки, а также птички на нем, понимающие Золушкин язык и сами умеющие говорить. Туфельки Золушки у Гриммов из кожи, хрусталь же Перро — твердый и холодный. Но главное, в варианте

Гриммов король устраивает пир, длящийся целых три дня, и в конце каждого Золушке удастся ускользнуть. Три бала, три комплекта нарядов, а значит, и время нашего с Сашей общения на репетициях и на сцене будет продолжительней. Победил вариант Гриммов, но, к моему сожалению, с одним только балом.

В костюмерной городского клуба я раздобыл золотистый камзол — нечто среднее между кафтаном Гвидона и жакетом венецианца, он удачно прикрывал верхнюю часть белых трикотажных кальсон производства ГДР, плотно облегающих ноги и призванных имитировать чулки-штаны эпохи Ренессанса. Роста мне прибавляли массивные женские туфли с застежками и на широких каблуках, тоже взятые из клубной гардеробной.

Каждый, участвовавший в спектакле, заботился о своем костюме сам. Сашино платье помню ослепительным. Впрочем, оно могло быть любым: я был ослеплен ее голосом, движениями ее тела, но самое главное — восторгом в ее глазах.

Лилия Ивановна советовала: играйте, как вам подсказывает чувство. Мне не надо было *играть*, не надо было изображать влюбленности в Золушку. Поэтому проблема — не дать никому заметить моих чувств к Саше — отпала сама собой. Я переживал происходящее как осуществляющуюся на сцене собственную судьбу и почти не ощущал границы между реальностью и мечтой. Во мне царила такая очарованность и такое разливалось счастье, что я видел перед собой не Золушку, а Сашу в образе своей невесты.

Помню локоны, белоснежную кожу обнаженных ключиц и шеи, блески на платье, наше недолгое кружение в танце, нежность ее ладони в своей руке. Помню первое прикосновение. И хотя уже в «Чиполлино» у меня была возможность «прикоснуться» к Саше и почувствовать тепло ее тела, но там ей по роли положено было сопротивляться, отбиваться, колотить меня кулачками, здесь же прикосновение, верил я, было с ее стороны желанным. У Лермонтова я читал, что «первое прикосновение решает дело» и что «все почти страсти начинаются так», и надеялся на «электрическую искру из моей руки в ее руку».

Нормы поведения в тогдашней жизни даже на сцене диктовали предельную чопорность. Когда король объявлял Золушке, что скоро венчание, я искал глазами Сашиного взгляда, мы должны были изображать радость, но она, словно стесняясь, смотрела в сторону, смущенными казались и все участники спектакля, и зрители тоже. И под это общее смущение я протягивал Золушке свои руки.

Было непонятно, как вести себя принцу, никто не пришел ему на помощь, не сказал, должен ли он обнять свою невесту или хотя бы поцеловать ей руку. В фильме по сценарию Шварца Золушке и принцу было позволено коснуться друг друга лбами. Саша сама нашла выход и на мгновение (всего лишь на мгновение!) положила голову мне на плечо.

Потом до конца заключительной сцены мы держали друг друга за руки. Мне хотелось, чтобы сцена эта длилась вечно. Опустился занавес. Еще не придя в себя, я все также продолжал держать Сашины руки. Она же, недоуменно взглянув на меня, высвободила их и, ничего не сказав, куда-то убежала.

Все закончилось, но я не уходил со сцены. Потом Саша опять появилась, деловитая, уже переодевшаяся, начала помогать собирать реквизит, я

же, как загипнотизированный, продолжал бродить по сцене, не желая смириться с тем, что все завершилось. Голос Лилии Ивановны вывел меня из оцепенения: «Вебер, костюмерша просит сдать камзол и туфли!»

«Золушка» была воскресным утренним спектаклем, и его участники решили встретиться сразу после обеда в школе и вместе побродить по окрестностям. По дороге я повстречал Сашу с подружкой и уговорил их сбежать от остальных и погулять отдельно, втроем.

Несмотря на апрель, было необычно жарко, и деревья уже начали распускаться. Клейко пахло лопающимися почками. Саша была легко одета, слишком легко для апреля, в летнем платье с накинута на него кофточкой, в носочках и туфельках. Она разговаривала больше с подружкой, чем со мной, но никогда до этого я не мог так подолгу и беспрепятственно разглядывать ее, задавать ей вопросы, слушать ответы — слова, обращенные ко мне...

Именно с того счастливого дня начались мои мучения. Прежде я не задумывался над тем, ответит ли она взаимностью, жил накоплением своего чувства. Мне было достаточно его одного, и я не страдал от отсутствия ответной волны. И был убежден, что Саша меня тоже любит, но только, как и я, старается пока не показать этого.

Теперь ее неучастие в моей жизни показалось мне чудовищной нелепостью, хотелось везде и всегда быть с нею. Однако в ее поведении ничего не менялось, и меня впервые посетило тревожное подозрение, что причина ее сдержанности вовсе не в том, что она пытается скрыть от других свое ко мне отношение.

Весна разгоралась и впервые принесла ощущение боли. Чем лучше была погода, тем мучительней были мысли о Саше. Все чаще учителя проводили свои занятия в прилегающем к школе парке, я старался сесть на траву поближе к Саше и млея от ласки утреннего ветерка, овевавшего нас. Порой она снимала кофточку и оставалась в одном платье без рукавов, оголяя нежную ямочку от прививки оспы. Хотелось коснуться этой ямочки губами.

Однажды майский жук сел на Шашины волосы и спрятался в них, и она попросила меня извлечь его. Потом я несколько дней не мыл свою руку, пахнущую ее волосами.

Я совершенно не представлял себе, как проходят дни Саши вне школы. Я знал, что у нее есть старшие сестра и брат и что они учатся в институтах в каких-то других городах. Пытался представить себе, как она по утрам встает с постели, как ложиться спать, что делает в свободные от подготовки уроков часы. К этой недоступной мне части Шашиной жизни я мучительно ревновал.

На каникулы Саша куда-то укатила, город без нее превратился в невыносимую пустыню, и я упросил отца отправить меня к родственникам в Одессу, провел там несколько недель в блужданиях вдоль берега моря и в мечтаниях о том, как по возвращении, наконец-то, ей откроюсь.

Первого сентября я встретил Сашу в школьной раздевалке. Она стояла у зеркала и поправляла волосы. Ответив на мое приветствие и мельком взглянув на меня, она продолжала заниматься прической. — Как ты загорел, а у меня вот не получается — И хорошо, тебе загар не к лицу. — А вот кое-кто считает, что очень даже к лицу, — возразила она, улыбнувшись незнакомой мне лукавой улыбкой, и помчалась в класс.

Любые мои попытки в последующие дни заговорить с ней, заканчивались ее короткими торопливыми ответами, исключавшими любую интимную интонацию. Единственное, что ее интересовало, какую пьесу мы будем играть в этом году, в девятом классе.

От смелости моего намерения открыться и следа не осталось, проходили недели, месяцы, я все больше робел и на школьных вечерах не решался даже пригласить ее на танец. Поводом к общению могли бы стать репетиции новой пьесы. Но в ней для Саши роли не нашлось, поэтому я тоже от участия уклонился.

Причина ее безразличия заключалась, решил я, во мне самом, и я возненавидел свою внешность, свою незрелость, свою тщедушность. Избегал совместных с девочками уроков физкультуры, где бы могла проявиться моя неловкость, неспортивность. Все чаще молчал в ее присутствии, боясь показаться неостроумным, ненаходчивым.

Чем поразить ее воображение? Ведь и уроки фортепьяно я два года назад стал брать исключительно, чтобы заслужить ее восхищение. Не следовать же примеру одного жителя нашего города, который вдруг вздумал разводиться павлинов! Они у него все подыхали, но один выжил, и был объектом всеобщего восторженного интереса.

В связи с введением профобучения и перетасовкой классов нас постоянно пересаживали. Часто я оказывался сидящим позади Саши и мог свободно наблюдать за ней. Например, за тем, как она неторопливым движением руки поправляла лямку форменного фартука, спадавшую с ее левого плеча, когда наклонялась над тетрадкой! Порой она приходила с заколотыми наверх волосами, и солнечный зайчик высвечивал белокурый пушок на ее высокой шее и завитки на висках или же играл на пухлых губах и слегка выдвинутом вперед округлом подбородке. Мне казалось, что и она должна испытывать волнение, что я сижу к ней так близко, слышать мое дыхание, но она никогда не поворачивала головы в мою сторону, никогда не обращалась ко мне с какой-нибудь просьбой или вопросом. О, это чувство быть так близко к ней и так далеко!

День ото дня она взрослела, походка ее приобрела уверенную легкость, а осанка — непривычную для ее возраста величавость. Казалось, что она взирает на все с небрежной снисходительностью.

Мои чувства к Саше постепенно вытеснили все остальное. Окружающий мир существовал, лишь если был связан с ней. Что делать? Попросить своих друзей из школьного оркестра сыграть всем вместе под ее окнами серенаду? Написать ей письмо? Но я и так писал ей чуть ли не каждый день и рвал эти письма в клочья — сила чувства тормозила мои желания. О страх поражения, когда не представляешь себе, как после него будешь жить дальше!

Как-то я подстроил, что во время очередной экскурсии нашего класса в Москву мы с Сашей оказались наедине на крайней лавке электрички. Сам себе удивляясь, я вдруг бойко заговорил. Всеми силами старался произвести впечатление, цитировал любимые стихи, рассказывал анекдоты, расспрашивал, что она любит, как проводит свободное время, — вопросы, на которые при трехлетнем стаже влюбленности уже давно должен был бы знать исчерпывающие ответы. Она отвечала односложно и больше молчала, глядя на меня с легким недоумением. Я все еще тушевался и избегал ее прямого взгляда. Но вот решительно посмотрел в ее глаза и увидел в них свое отра-

жение: худенького мальчика в белой накрахмаленной мамой рубашечке и узком пиджачке, говорящего что-то очень скучное, и еще я увидел серое небо, с которого вот-вот должен был политься дождь. Она стала оглядываться, словно в надежде, что кто-то подсядет на нашу лавку. Я продолжал говорить, ее взгляд становился все рассеяней и безучастней, и она обрадовалась, когда ее позвал кто-то из одноклассников.

Теперь вечерами я приходил к ее дому и не уходил, пока окна не гасли. Иногда наградой за мое терпение в окне мелькал Сашин силуэт. С наступлением каникул я приходил даже по утрам, прятался в кустах акаций напротив ее подъезда. Однажды она вышла на улицу с корзиной стирального белья. Развесив его на веревке во дворе, вдруг посмотрела на кусты акации, насмешливо улыбнулась и, сорвав с газона цветок, заколола себе в волосы. Потом опять посмотрела на кусты, где я прятался, и долго не отрывала взгляда, шевеля губами, словно что-то беззвучно напевала... От волнения я перестал дышать. О нет, я не обольщался, что ее взгляд предназначается мне! Саша вела себя как человек, абсолютно уверенный, что за ним никто не наблюдает.

Пороку в дообеденное время ее посылали за покупками. У нее было два или три легких летних платья, которые были мне хорошо знакомы, но всякий раз казалось, что она в новом наряде. Всегда в ее облике было что-нибудь неожиданное, то волосы по-другому заколоты, то каким-то особенным образом подвязана косынка или вплетена ленточка в косу.

Я устремлялся за ней, но всегда на расстоянии, достаточном, чтобы не быть обнаруженным. Но вот однажды я вдруг увидел, что расстояние между мной и Сашей все больше сокращается. Какая-то непреодолимая сила ускорила мои шаги. Я приблизился настолько, что слышал ее голос, когда она здоровалась со встречавшимися ей знакомыми.

На этот раз ее целью был колхозный рынок. Он был небольшим по площади, и оттого на нем всегда было тесно. Пахло дегтем, рогожей, сеном, навозом, лошадиным потом, и еще всем тем, чем пахнет среднерусский базар на пике лета: вениками, столярной стружкой, малосольными огурцами, селедочным рассолом, постным маслом, грибами и медом. Ларьки располагались по всему периметру рынка, образуя ряды: мясной, рыбный, молочный, зеленый, скотный. Отдельно на отшибе была барахолка и продажа самодельных вещей: платков, валенок, варежек, вязаных носков и чулок. Рынок по воскресеньям разрастался и занимал прилегающие улицы. Здесь торговали прямо с телег, чаще всего без веса — ведрами и мешками.

У каждого ряда свой беспорядок, своя толча. Саша пробиралась сквозь нее легко, искусно лавируя между товарами и людьми, умудряясь никого не задеть. Изредка что-то покупая, она кокетничала с продавцами, шуточно торговалась, хохотала. Было видно, что продавцы очарованы ее юностью и с удовольствием дают ей скидку. Она медленно обходила ряды, останавливаясь чуть ли не у каждого лотка, ей доставляло удовольствие просто смотреть, просто наблюдать. Я впервые переживал ее существование в гуще жизни, в естественной обстановке, в окружении иных, нежели в опостылевшей школе, красок, запахов, звуков. Ее жесты приобретали здесь другой ритм, другую музыку.

Целый час я следовал за нею, буквально дышал у нее за спиной, совершенно не думая об осторожности. Вдруг она повернулась и посмотрела на

меня, всего одну долю секунды, так коротко, словно и не смотрела вовсе, не поздоровалась, не кивнула — как бы, не узнала, но по лицу ее пробежала тень, то ли досады, то ли беспомощности. Я остановился, смешался с толпой, издали наблюдая за тем, как она, завершив покупки, с двумя холщевыми сумками в руках зашагала к выходу. Я не сомневался, что она узнала меня. Рассеянный, скользящий по окружающим предметам взгляд всегда был ее средством показать свое равнодушие. Я продолжал смотреть ей вслед. Больше всего в те минуты она, наверное, опасалась, что я ее догоню и предложу донести тяжелые сумки до дома.

Однажды поздно вечером, дождавшись Саши около ее дома, я решительно подошел к ней, возвращавшейся с подружкой из кино, и попросил задержаться. Объяснил, что мне хотелось бы поговорить с ней наедине. Она ничего не ответила, лишь со снисходительной улыбкой отрицательно покачала головой. Тогда я предложил встретиться на следующий день, но Саша еще шире улыбнулась и, в конце концов, рассмеялась.

В этот момент появился незнакомый мне молодой человек в студенческой тужурке. На вид ему было не меньше двадцати. Он обнял Сашу, видимо, ожидавшую его прихода, за талию и они, не удостоив вниманием ни меня, ни Сашину подружку и даже не попрощавшись, ушли в сторону парка. Подружка смущенно пожала плечами.

На следующий день Саша пришла в школу с повязанным на шее ситцевым шарфиком, но ни от кого не смогла утаить два фиолетовых следа от чьих-то страстных поцелуев. Да она и не особенно старалась скрывать их. Шарфик был повязан лишь для приличия. В последующие дни следы синели, чернели, бледнели и исчезли только к концу школьных занятий.

Отныне я знал, что у меня никакой надежды. Все окружающее обесцветилось, словно мое горе выпило из него кровь. Солнце не всходило, и луна светила, как аквариум с мертвыми рыбками.

Как жить дальше с этой невыносимой болью? Как освободиться из этого плена? Уехать? Но ведь там, под другими небесами, нет ее! Да и зачем они мне, если нет ее! У Вертера был хотя бы собеседник, его друг Вильгельм, которому он мог поверять свои чувства и утишать на время сердечную муку. И вдруг чудовищная мысль: разлюбить! Там, за пределом любви, свобода, разреженное бесстрастное пространство, царство покоя, где нет ни страдания, ни терзаний. Разлюбить! Но как? По совету одного пожилого театрального режиссера из ссыльных, «застрявшего» у нас на 101-м километре, я стал искать недостатки в Сашиной внешности, в ее манере говорить, в жестах, в характере. Режиссер цитировал Лопе де Вега: «чтоб позабыть, старайтесь в памяти носить её изъян, и самый скверный» и что «лучший бальзам на любовную рану — новая любовь». Но чем больше я находил в ней изъянов, тем сильнее любил ее, а взгляд на любую другую девушку лишь подтверждал, что нет никого на свете прекраснее Саши.

Я вызывал в памяти мерзкий цвет тех бесстыдных следов от чужих поцелуев, пытался, насколько мне позволяла моя фантазия, представить себе моменты ее близости с другим человеком. Но и это не помогало. Все перевешивал ее образ, являвшийся в завершении всех этих попыток в своей идеальной чистоте.

Как все просто, например, в «Тристане и Изольде»: герои выпили напиток, и «сердца их дрогнули и забились, и они взглянули друг на друга другими глазами». Наверняка есть такой напиток, который не влюбляет, а «раз-любляет». Но кто сварит мне это зелье!

А в «Коварстве и любви» говорится, что Бог определяет, кто кого любит, Бог сочетает сердца. И Бог их разлучает. Но как докричаться до Бога?

Поздней осенью я простудился, тяжело заболел и многие недели не ходил в школу. Не видя каждый день Сашу, я старался вместе со своим недугом победить и свою любовь. Больше всего меня поразило, что она ни разу даже не поинтересовалась, как протекает моя болезнь.

Когда по ночам я лежал в жару, все мои сновидения касались Саши, в них мы общались друг с другом, делали что-то общее, чего никогда не было наяву, но сон каждый раз принимал тревожное звучание, что-то грозное, угнетающее появлялось в нем. Это полностью противоречило моим надеждам и желаниям в реальной жизни, и я просыпался, но очень трудно и медленно, словно кто-то вытягивал меня из пропасти.

Однажды, пробудившись, я почувствовал, что впервые за все дни болезни у меня полностью спала температура. Одновременно произошло и другое: мое сердце избавилось от томления. Словно кто-то брызнул на огонь водой, и он вдруг опал холодной золой. Видимо, и у души были свои пределы.

Но я не ощущал себя счастливым. Вернее, я ощущал себя еще более несчастным. Не любить было еще тяжелей, чем любить безнадежно. Нелюбовь была больше любви.

Совсем поправившись, уже на первой своей прогулке я случайно встретил ее в городе в шумной компании незнакомых мне людей. Посмотри она на меня хотя бы с состраданием, и незатвердевший рубец стал бы вновь старой раной. Но она едва взглянула на меня. Она уходила, так и не узнав по-настоящему ничего о моей любви к ней, а значит, и многого о себе самой. И вскоре скрылась из виду, свернув вместе с другими в ближайший переулок. И через минуту я уже не мог поручиться, что это была она.



Марк ХАРИТОНОВ

/ Москва /

«Не сохранишь, не удержишь...»

МЕТАФИЗИКА

Выйти из-под опеки родителей,
Обеспечивать себе каждый день пропитание,
По возможности кров,
Защищаться от подступающих отовсюду угроз,
Лучше всего в стае,
Где хорошо бы достичь положения,
Найти партнера, самца или самку,
Выполнить требования природы,
Получая иногда удовольствие,
Произвести таких же, выкормить, выпустить в мир,
Дожить до старости достойной, опрятной.
Что еще нужно? У людей остальное
Называется, кажется, метафизикой.

ОЖИДАНИЕ

1

Ожидание — пустота между.
Поскорее бы с ним покончить,
Сократить, удалить за ненадобностью из жизни,
Ускорить наступление единственно желанного,
Успокоиться, оглянуться —
пустота позади
Сократилась до крохотного штришка
Между двумя датами.

2

Длжащееся ожидание, музыка,
Заполняющая пустоту, оттягивающая конец,
Разработка, возвращение к теме,
Радость повторения, гармония, диссонанс,
Тень облака на облаке, трепет листьев,
Дыхание ветра, потрясенье грозы,
Мелодия тишины, нежность прикосновения,
Полнота, вершина, последний стон,
Совершенство созревающего завершения.

* * *

На поверхности озера трепыхается мотылек
Ветер или течение медленно сносят его
Время от времени он затихает без сил
Начинает опять трепыхаться
Крылышки укрупнены четырьмя лучами беспокойной воды

Это со стороны

А для самого мотылька
Вдруг гигантская тень закрывает свет неба
Непостижимая сила высвобождает его из воды
Поднимает переносит в ладони на твердый берег
Оставляет там подсыхать жить дальше

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Если бы она могла сознавать, что сейчас с ней происходит,
Какой пройден путь, чего удалось добиться,
Чего это стоило, с чего она начинала.
Запрещалось даже оборачиваться туда, где в первом ряду
Стояли другие, ей не чета, свободно ходили.
Ей разрешалось только вперед, только вперед, ради победы.
Кто был принесен в жертву, тех больше не вспоминают,
Включая ту, что когда-то была с королем рядом.
Почести достаются тем, кто остался. Мантию
Наденет сейчас она. Прошла в королевы. Впрочем,
Это можно считать чем-то вроде преобразования.
Точеное крепкое тело в моих пальцах
Сброшено будет туда же, к другим. Ей не дано ощутить,
Что кто-то ею движет, решает судьбу, принимает решения.
Будем считать, что про себя я все знаю сам.

ВОЛНЫ

Волны несутся к берегу, соревнуются, как подростки:
Кто с разгону выскочит дальше? Заранее не угадать.
Откатываются, мешают одна другой. Вот издалека
Накатывает самая мощная, заранее несет на себе
Гребешок торжества. Распластывается на песке —
Нет, ожидания не оправдались, силы ушли
На непредвиденные единоборства. И тут же к ногам
Выплескивается другая, упущенная из виду.
Возвращается, удовлетворенно бурлит, оставляя
На песке оборку волосяных кружев — отметку
Рекордного достижения. Лопаются пузырьки,
Уходят в дышащие отверстия. Мало одной лишь силы,
Надо еще уловить момент, прикидываться тихоней,
Не привлекать внимания до поры, чтобы не помешали.

* * *

Не сохранишь, не удержишь в себе, не унесешь:
Девичий щебет, смех — перекличку с пением птиц,
Бурный переполох облаков, когда возле гор
Они разбегаются в стороны кто куда,
Обновляются, исчезают. Рябь моря внизу
Перечерчена гладью — следами уплывших судов.
В воздухе держатся очертания прошедшего только что.

Остается лишь малость: отпечатки, звуки на пленке,
Запечатленные тени — прокручивай, перебирай.
Но однажды вдруг возникает — без усилия вспомнить,
Словно рождаясь заново, в воздухе или внутри:
Переплеск, бормотанье прибора, прикосновение ветра,
Ива, вздрогнув, поводит плечами в осенней шали,
На камнях проступают чешуйки — блески дождя.

Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ПИСЬМА В НИКУДА¹

10

Дорогой брат!

Еду «я» тут в салат, поднимаюсь на эскалаторе (станция метро «Спортивная»). И слышу объявление: «Крестный ход стартует от Казанского собора в ...».

У «меня» отвисает челюсть. Остальная публика никак не реагирует на этот стилистический нонсенс. Интересно было бы проанализировать, во что верят эти «стартующие», какая картина мира разверзается в башке, какой невероятный шпагат осуществляет сознание современников, умудряясь при этом ничего себе не повредить. Танцовщицам из «Мулен-Руж» есть чему позавидовать.

Ещё. Бывший президент-недотёпа решил прекратить манипуляции со временем, но почему-то оставил Россию в летнем времени. И Лета проявила себя во всей красе. Теперь у нас с Европой три часа разницы и долго-долго не рассветает. Живём в сумерках, в мини-Аиде.

«Я» вообще с трудом переносит эти предновогодние месяцы, когда становится всё темнее и холоднее. Будь у него деньги, оно бы с удовольствием сваливало отсюда до конца марта — начала апреля. А потом, соскучившись по родному языку, других, увы, оно почти не знает, возвращалось бы в родную речь.

Ма-ма мы-ла ра-му.

Вообще ведь, чем «я» занимаюсь, обращаясь в третьем лице к себе. «Я» его пытаюсь одомашнить, приручить. Сколько веков потребовалось людям на то, чтобы одомашнить скотину. А скотинка эго ещё порезвее будет прежних. Брыкается.

Ох, как брыкается! Всё сознание в синяках. Живого места нет.

«Я» — синяк.

Но что делать, брат, мы ведь пограничники. И наша граница не на замке, она всё время расширяется вместе со вселенной.

¹ Продолжение. Начало в номере 62.

«Эра ментальных путешествий», как «моё» я провякало тридцать лет тому назад.

Позвонила хорошая знакомая и сказала, что она смертельно больна и скоро, наверное, умрёт. В таких случаях никогда не знаешь, что сказать. «Я» сказал, что буду писать ей письма. Ведь письмо в «моём» понимании тот же рисунок. А для Лены Шварц «я» их нарисовал в лечебных целях тысячу. Ты, брат, тоже любил простые круглые числа. Надо прикладывать нули к больному месту. Дао-лечение.

Покадао, брат.

5.11.2012

11

Дорогой брат!

Всего пару лет назад «я» бы писал: «Пздр тебя с дн рож. Жел сч, зд, твор усп».

Что сказать теперь, «я» не знаю. Как там, в вечности, с днями рождения обстоит?! «Мой» слабый ум не представляет.

Вот выстрелила пушка на Петропавловке. Полдень. Сижу в салате. Читаю книгу о чайном пути. Отчасти это и наш с тобой путь. «Я» ещё не забыл кубики «Вьетнамского чая», которые ты привозил и присылал из Праги. Наверное, что-то и Эллику Богданову перепало тогда.

Тогда — это никогда?

«Я» вот не могу себе представить, что можно потащить с «собой» в вечность. Зачем там, например, номер телефона, кулинарный рецепт или даже гениальное стихотворение? Всё, что я могу себе представить там, не конкретно.

Может быть, отсюда исток «моего» згоборчества. Смешно, что в этот выдуманный «мной» термин имплицировано и «моё» имя. Гони эго в дверь, оно войдёт в окно. Но всё равно ещё при жизни хочется стать абстрактным....

Эх, а было бы тебе, Коля, сегодня 67 годиков.

Кончается «наше» время. Придут другие. Они уже здесь. Это не значит хуже или лучше. Просто другие.

Когда живы родители, ты стоишь на палубе жизни, опираясь руками о борт. После их смерти, между бездной и тобой нет никакой преграды, а уход друзей всё ближе и ближе подталкивает тебя к краю.

У бездны мрачной на краю

стою

и не могу иначе.

Пою.

Смешно, но сейчас по радио («Эхо Москвы») актёр Роман Карцев рассказывает, что пишет письмо своему партнёру по сцене, Виктору Ильченко, умершему двадцать лет назад.

Да, кроме ничего, ничего оригинального нет. Что было, то и будет. И те, другие, пришедшие на смену нам, уже были, как атомные элементы в таблице Менделеева.

Может быть, архетипы — это психические атомы, которые крутятся в нас, как в калейдоскопе. Динамическое лего-эго. И что тут «моё»? Или как в песне: «И всё вокруг народное, и всё вокруг моё». Чего «я», в сущности, добиваюсь, брат?! Наверное, свободы. Свободы от «себя» и ото всех. Короле, сингулярная стрижка под ноль. Или, как сказано в Евангелии от Луки: «Держай, дочь».

18.11.2012

12

Дорогой брат!

Вчера был у Пети Казарновского. Пили виски и обсуждали «планы» по изданию твоих сочинений. На этом этапе «планы» заключаются в том, чтобы подать заявку на издание книги в «НЛО». Ты там два раза печатался. (№25, 1997) и посмертная публикация твоих «снов» со статьями Пети, Гланца, Мюллера и «моей» (№ 114, 2012).

С Мюллером «я» пил вино (и пиво!), сидя в беседке в твоём дворике. Я сидело напротив твоего окна, а Мюллер говорил о тебе и отдал «мне» две большие папки с твоими работами.

«Я» их оставил Зденке, потому что здесь никому ничего не нужно. А в Праге ты будешь тихо поживать в «библиотеке самиздата» у Грюнторада. В России один финал — помойка. Из-за этого «я» в своё время вцепился в Суперфина и кое-что «моё», и твоё, и тещино залегло у бременских музыкантов.

Ещё одна крупинка в атолле неизвестно чего.

20. 11. 2012

13

Дорогой брат!

Нашлась в салате уборщица (двоюродная сестра начальника, там вообще все братья-сёстры, по-немецки «Geschwister»), которая берёт у меня *любые* книги для библиотеки.

Книг всё больше, а «меня» всё меньше. Стараюсь избавляться от лишних. Например, «Справочник венерических болезней» вроде уже ни к чему. Сегодня иду в салат, возьму с собой пачечку книг для уборщицы.

Прежде чем распрощаться с какой-то из них, «я» её пролистываю. Например, Геральда Гертинга «Встречи с Альбертом Швейцером» (М., 1967) раскрыл на стр. 78 и прочёл «Вчера, 24 июня 1960 года, в лепрозории был освящён колокол мира».

По-моему, это метафора всей нашей жизни.

А вот стал листать книжечку И.К. Горского «Александр Веселовский и современность» (М., 1975), и обнаружил на стр. 179-180 «своё» подчёркивание (Господи, сколько я тогда читало!) на тему атолла: «Если, как мне кажется, в истории литературы следует обратить особенное внимание на поэзию, то сравнительный метод откроет ей в этой более тесной сфере совершенно новую задачу — проследить, каким образом новое содержание

жизни, этот элемент свободы, приливающий с каждым новым поколением, проникает старые образы, эти формы необходимости, в которые неизбежно отливалось всякое предыдущее развитие».

А тут, братишка, этот Горский пишет уже от себя (воевал, видно, книжку посвятил даме, шефствовавшей над ранеными):

«Правда, постановка такой задачи наталкивается на серьёзные сомнения: ведь современная литература с её сильно выраженным личным самосознанием поэтов как будто исключает возможность говорить о повторяемости литературных форм. Но, замечает на это Веселовский, «когда для будущих поколений она (современная литература. — И.Г.) очитится в такой же далёкой перспективе, как для нас древность, от доисторической до средневековой, когда синтез времени, этого великого упростителя, пройдя по сложности явлений, сократит их до величины точек, уходящих вглубь, их линии сольются с теми, которые открываются нам теперь, когда мы оглянёмся на далёкое поэтическое прошлое — и явления схематизма и повторяемости водворятся на всём протяжении».

Понимаешь, брат?! Ничего личного, только Бог.

Надо укрощать эго, постепенно сводя его к точке в конце некролога.

В этом качестве можно рассматривать и статью в Энциклопедии.

Сжатие.

Для второго издания энциклопедического словаря «Литературный Санкт-Петербург» Петя Казарновский написал новую статью о тебе. В первом была крошечная. Так что в этом твоём индивидуальном случае произошло расширение. Дай Бог, чтобы оно продолжилось до собр. соч.

А то потом линии не сведутся.

Вот академик Сахаров линию в будущее провёл (2024 год) в брошюре «Мир, прогресс, права человека» (Ленинград, 1990). Этот текст называется «Мир через полвека», и написан 17 мая 1974 года.

По его прогнозу уже через 12 лет должно начаться хозяйственное освоение луны, а так же использование астероидов. Ты видишь, брат, как стада астероидов мирно пасутся около планеты Земля?

«Я» — нет. Ошибочка вышла.

А ещё понесу нигилиста-сатирика Курочкина, не Виктора, который написал «На войне как на войне», а Василия (1831–1875), он редактировал «Искру» и прославился переводами из Беранже.

Ты скажешь — ты что, брат, спятил? Зачем ты мне «шлешь» сюда всю эту муру.

А «я» тебе скажу на это — да, брат, я спятило, ибо оно вышло из границ. Я чувствует «себя» атоллom, о котором оно талдычит тебе уже не в одном письме. И «мне» обоих Курочкиных жалко, как жалко наивного Сахарова и трудолюбивого Веселовского, которых «великий упроститель» (время) утрамбовывает в точки. Обыкновенный ташизм, как «я» где-то когда-то писал.

Вот уже сижу в салате. Книжки положил в тумбочку. Оттуда уборщица их заберёт в течение недели. Круговорот книг в в протоплазме.

Между тем Фридрих Карлович Скаковский, живущий в Германии, ликвидирующий квартиру покойной сестры, снабжает «меня» книгами, от которых «я» не могу отказаться. Ну, хорошо, талмуд «Луначарский об искусстве» (1941, тир. 3000) «я» подарю художнику и коллекцио-

неру Михаилу Карасику. Ему же и «Киров о молодёжи». Милая книжечка вышла в 1938 году. Но что делать с Луговским... «Большевикам пустыни и весны». Книга первая и вторая. Московское товарищество писателей, 1934.

24.11.2012

14

Дорогой брат!

Вчера, когда пришёл из салата домой, застал жену с подружкой-театроведкой за распитием настоящего армянского коньяка — «я», конечно, тут же к ним присоединился.

И где-то на третьей рюмке у «меня» зазвонил мобильник. О витязь, то была не Наина. То был Коньяков. Вот что значит магнетизм благородного напитка.

То, что он мне поведал, повергло «меня» в изумление, словно «я» оказался у ворот Расёмон.

По словам бедного Евгения, он вступил в связь с Парашей из бухгалтерии уже давно, а в то роковое утро вовсе её не домогался, а, наоборот, отбивался, как мог, ослабленный латиноамериканскими страстями предыдущей ночи, от разъярённой менады. Не получив сатисфакции (как тут не вспомнить «Коварство и любовь» Шиллера), дама вывернула ситуацию наизнанку и свои нереализованные потуги приписала Коньякову.

Эта история служит подтверждением одной из «моих» заповедей: «Никогда не говори «на самом деле».

Человек — существо смутное, неопределённое. В этом его эвристическая ценность, но в этом и его трагедия. Наша широта, клёш, о котором печалился Митя Карамазов, от неопределённости, текучести мира.

Раз и навсегда зафиксировав «точку сборки», заdraив люк темени, мы хотим утвердиться в герметичном, упорядоченном мире, спрятавшись в «себе», как в подводной лодке. За иллюзию «себя» мы готовы пожертвовать всем.

А надо всего лишь отдаться течению и плыть на спине, глядя на звёзды, наслаждаясь грандиозностью божественного миража, просто быть бескорыстным зрителем «себя» и всего остального ничего.

26.11.2002

15

Дорогой брат!

Сегодня забыл дома гелевую ручку. Сижу в салате и пишу тебе шариковой.

Вчера уехал Скаковский, о котором я тебе уже писал. «Моя» комната завалена его книгами, которые «я» должен буду отправлять в Аахен.

Начинаю лучше понимать Блока, его «молчите проклятые книги», а сегодня дурочка-пискля с «Эха Москвы» в связи с книжной ярмаркой «Нон-фикшен» так процитировала Мандельштама: «Только умные книги читать».

Насколько механически надо было прочесть это стихотворение (на слове «это» ручка с чёрной пастой скончалась, пишу синей), чтобы так его кардинально извратить.

Эпоха Гуттенберга идёт к концу. Книги умирают. «Моя» комната, ставленная ими, похожа на кладбище. Теперь «я» не обычный сторож, а кладбищенский. К каждой книжке можно подойти с гамлетовскими словами «Бедный Йорик».

Чёрт! Оказывается, две страницы пропустил в «своей» тетради— толстухе. А я хотело всю её испещрить каракулями, чтобы не было пропусков, чтобы всё тут было сплошь, как в генетическом коде, в котором все мы погребены живо.

«Аида», брат, «Аида».

Сейчас полдень. Часов через пять я вылезет из салата и пойдёт домой. Там я закроется в склепе с Йориками. Господи, но почему же их так много, этих черепушек! Ты слышишь, брат, как они хрустят под ногами. Это культурный слой. Века, спрессованные уютгом времени, этим «великим упростителем». Нас разглядят до двух измерений. Будем бумагой. Будем папирсом. Клинописью будем. Будем абстрактными значками неизвестного, твоей графикой будем.

Будь!

P.S. Думал на этом пассаже завершить своё послание, как вдруг по телевизору (канал «Культура») показывают венгерского актёра Миклоша Габора в роли Гамлета с черепом в руках.

Всё зарифмовано. Всё.

Геном — это стихотворение.

И Хлебников в истории рифмы искал.

Мы — рифмы.

Вот что, брат, для рифмы помещу на пропущенных двух страницах цитату для тебя. Прочтёшь (ноосфера, ау), сам поймёшь.

— Этот чай тоже заварен на прошлогодней дождевой воде? — спросила Дайюй.

— Ты девушка знатная, благовоспитанная, а не можешь разобраться, на какой воде заварен чай?! — с укоризной произнесла Мяоюй, покачав головой. — Это вода из снега, который я собрала с цветов сливы пять лет назад в кумирне Паньсянь, когда жила в Сюаньму. Я набрала её в кувшин, кувшин закопала в землю и до нынешнего лета не открывала, берегу воду. Сейчас я только второй раз заварила на ней чай. А дождевая вода уже через год не будет такой чистой и свежей! Как же её пить?

Цао Сюэцин

«Сон в красном тереме»

А что, не такой ли чай и твоя проза, твои «Сны». Вот и лежат они так долго, ждут гурмана-издателя.

Взяло я эту цитату из книжки Наиля Ахметина «Врата Шамбалы» (М., 2012). Купил в метро. Не гонялся бы ты, поп, за дешёвизною. Книжечка оказалась так себе, отдам её уборщице, уборщице отдам.

Пока.

2.12.2012

16

Дорогой брат!

Странный был день. Сейчас полночь. Днём я читало газеты. Одна, которую «я» бесплатно взял на почте, называется «Санкт-Петербургские ведомости» (от 5.12.2012, стр. 5). Эта пятая посвящена экономике, а «я» от бывшей специальности поотстал. Обычно эти материалы пропускаю. Но вдруг «мой» взгляд падает на статью с названием «Камень, ножницы, бумага». Подзаголовок — «Целлюлозно-бумажная промышленность ждёт от государства новые кредиты». Ты скажешь, совсем спятил, брат? Зачем ты мне об этом сюда пишешь, мудило?! Так вот, Коля, под этим подзаголовком жирным шрифтом набрана фамилия автора: Елена Шварц. Я понял, что это привет во всех смыслах этого слова.

Дальше — больше. Читаю в «Новой газете» (6.12.2012, с. 3) статью про коллапс на трассе Москва—Петербург: «Последний гвоздь в сугроб России». И вот там обнаруживаю: «12.00. У села Медное, между Тверью и Торжком снова встаём». Я невольно вздрагивает. Ведь это «привет» от тебя, брат. Я хорошо помнит твои письма из этого села, когда ты «мне» писал их, будучи там со Зденкой в семидесятом году прошлого века. А она была в России на практике, что ли. И ещё, помню, ты писал, что молодые польки ругаются матом и у них ногти покрыты лаком трупного фиолетового цвета.

Но дальше — ещё больше. Я идёт на презентацию книги Коли (nota bene!) Голя в «Вену». Там, брат, литературный салон по четвергам. Уже семь лет. В конце вечера хозяин (это происходит в мини-отеле на углу Горюховой и Малой Морской) показывает запись одного из первых вечеров, и многих из тех, кто есть там, сейчас уже нет.

Уфлянд, Давиденков...

Придя домой, «я» раскрываю книжку Голя («Стихами» СПб, 2012) на странице 158 и получаю третий «привет». В стихотворении «Группа освобождения труда» автор приводит народную аббревиатуру из имён её основателей: Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Аксельрод. На этом аксельроде моё несчастное я понял, что оно обязано тебе обо всём этом доложить туда. Что я и сделало.

Привет!

7.12.2002

17

Дорогой брат!

Зачем «я», спросишь ты, цитирую прочитанные газеты? Кому это надо?!

Дело не в газетах, а в гуле. Не Вите Гуле, нашем корешке, сидящем, как узник замка Иф, на улице Косыгина, а в том музыкальном напоре всего, что иногда вдруг улавливается нами. За музыкой стоит ВСЁ, только через неё мы можем ощутить, как это ВСЁ вибрирует сразу и везде.

А чтобы выразить это ВСЁ, через слово приходится изощряться, показывая, как ОНО отражается всюду, в том числе и в газетах...

Вот, пришла музыка в лице сына, на гастролях в Южной Корее он подцепил жуткий бронхит и теперь музыка сдаёт мочу и кровь на анализ.

Не музыка революции, не шум времени, а вибрации *всего* иногда приоткрываются нашему слуху. Того *всего* — *ничего*, о котором и сказать то нечего, о котором можно только молчать. На вербальном уровне — это словесная пантомима или ментальный балет.

«Я» — маленькая балерина.

Или «механическая», бородатая, как в немом фильме Леже, снятом в 1924 году.

Все сентенции сами по себе напрасны. Вопрос в том, как их расположить, мизансценировать. Сюжет не в динамике событий, а в динамике фраз.

Мозг — «наш» оркестр, «наш» хор. Я хочет увидеть вместо морока «себя» исполнителей-музыкантов, певцов-хористов, филармоническую залу, где сверкают нейронные люстры и бесконечно тянутся ковровые дорожки извилин.

Сейчас 10 утра. Я сидит в халате на диване, облокотившись правым локтём на свёрнутую в рулон и покрытую пледом постель. На улице минус 8. Вместо солнца, которого теперь почти не бывает, светит икеевский торшер. Я прекрасно понимает всю безнадёжность проводимого им эксперимента. Но ничего другого не остаётся. Надо идти до конца.

Мы танцуем.

10.12.2012

18

Дорогой брат!

Продолжаю сидеть в халате на диване. На улице минус 14. 10 часов 6 минут утра.

Вчера, копаясь в книгах, обнаружил у себя переиздание 1991 года «Подполье гения» Кашиной-Евреиновой («Третья стража», Петроград, 1923). Я её читал когда-то. По-моему, Пти-Борис давал. И вот снова попала в руки. Примечания издательства «Гангут». Оно меня порадовало: «Розанов Василий Васильевич. Рус. сов. Литературовед, проф. МГУ». Ещё там есть хорошая опечатка в самом тексте, когда речь заходит о Свидригайлове — «банка с пауками».

А Станислав Шибышевский, брат, вот что писал в «Заупокойной мессе», оказывается (в молодости я эту цитату пропустил): «И стал пол безмерно жадным. Он изменялся в бесконечной эволюции и не мог успокоиться. Он бешено стремился к счастью в трахитах, он ржал по наслаждению в первой метадоле, разорвав на две части первоначальное существо и, разделив самого себя на два пола, жестоко, грубо, ко взаимному разрушению, только для того, чтобы создать новое, более утончённое существо, которое могло бы изобрести ещё более сложную оргию удовлетворения для вечно голодных демонов его похоти.

Таким образом, пол создал, наконец, для себя мозг».

Может быть, моя эпопея с «я» тоже в этом русле. Мозг создал эго и оно нас поработило.

«Я» — Спартак.

Всё не так.

Переиздание Кашиной-Евреиновой досталось «мне» от Лены Шварц, когда Кирилл Козырев предложил забрать кое-какие книги после её смерти.

А тут, слава Богу, пока живой Кипнис подsunул «мне» книжку Вениамина Каверина, написанную ещё в 1928 году, «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове» (М., 2004), и вот там обнаружил: «Странное чувство, которое испытывает в минуты острого сознания человек, когда собственная фамилия кажется незнакомой, досаждало ему постоянно».

А подзаголовок-то к Гоголю отсылает. В двадцатые годы ребята метили высоко. На мелочи не разменивались. Ещё кусочек из Каверина, «мне» понравившийся. «Вот только теперь к нему пришло последнее перед сном, давно изученное мгновение, он, как всегда, заметил его и почувствовал с радостью, что наконец засыпает. Тогда, получившись, полуоткрыв глаза, не сознавая уже, как давно прекратилась томительная работа сознания, он повернулся на живот, вытянул ноги».

Это со вкусом сказано — «томительная работа сознания».

Вот сейчас пишу тебе, которого уже нет, «я», капитально сомневающийся в собственной достоверности. Эти два наших «нет» сообщают переписке (а я считаю, что ты отвечаешь молчанием) особую пикантность. Ведь минус на минус дают плюс.

«Наша» с тобой книга, брат, сплошной позитив, добродетель, апофеоз онтологического диссидентства.

Книга Аксельрод.

Книга Небытия.

Книга Не-я

До свидания

18.12.2002

P.S. Помнишь, вы с Кузьминским обессмертили поэта Ваншенкина, включив гениальную строчку в антологию «Ларец жемчужин»: «Любимая на том конце менялась медленно в лице».

Оказывается, ещё в субботу (15-го) он умер на 87-м году жизни.

19

Дорогой брат!

Нам с тобой, Николай Ильич, выпала честь принадлежать к «пропащей литературе». Эта литература, которая есть, но которую почти никто не читает. Так сгинула литература двадцатых и отчасти тридцатых годов. Это литература между стульями. Век серебряный и век советский. А между ними билась литература катастрофы, когда в городок из степи прилетал ворон с человеческим пальцем в клюве (Заяицкий «Баклажаны»). Или гениальная тетралогия Вагинова. Савич, которого я сейчас перечитываю. Николев...

Так и «самиздат» провалился в яму «перестройки». Наше перпендикулярное мышление ни здесь, ни там оказалось не ко двору.

Нас нет. «Моя» картинка с таким названием висит у «меня» над диваном.

Мы принадлежим к подводным течениям литературы. Они незаметны, но существенны.

Мы почти анонимны, как природные процессы. Но когда-нибудь наш перпендикуляр пробьёт заскорузлую поверхность обыденного сознания и сообщит миру нежность и новизну открытия. Темя времени не должно зарастать. Мы с тобой, брат, долбим темя. Ещё Новалис писал о рудокопе...

Без той «пропащей» литературы двадцатых-тридцатых не было бы нас, может быть и без нас кто-нибудь не обойдётся.

Бикфордов шнур не должен погаснуть. Ведь где-то там тротилловый заряд. Гений. Он взорвётся и станет сверхновой звездой в ноосфере.

Только и всего. Только и всего.

Будем тлеть дальше.

«Я» — тля.

Видишь, Коля, как я стало «моё» закавыченное я расцвечивать. То — Спартак, то — синяк, то — маленькая балерина, то — тля.

Прыг с корабля!

Футуристы Пушкина сбрасывали, а «я» сам себя.

Будь.

20.12.2002

P.S. С наступающим концом света, брат.

(продолжение в сл. номере)

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ

/ Лейпциг /



В стихах Риммы Запесоцкой заново всплывает чувство бездны, с которой русскую поэзию сроднил Тютчев. Чувство, которое может принять облик страха перед бездной зла, дремлющего в душе, и облик страха перед бесконечностью пространства и времени, где тонет без следа наше «я». Это не болезнь, без которой лучше всего обойтись. Это боль, в которой рождается нечто великое, боль, ведущая к радости увиденного вечного света и к радости творческого мгновения, когда удаётся замкнуть параболу, летящую из ниоткуда в никуда, — в круг художественной цельности.

Поэт погружён в свои внутренние проблемы. Но эти личные проблемы суть вечные проблемы каждой развитой личности — в юности, в зрелые годы, в старости. Сквозная метафизическая тема делает Римму Запесоцкую — говоря словами Цветаевой — «поэтом без истории».

Моя единственная тема
как будто вышла на поток.
В моих словах одна дилемма,
в моих стихах один итог —
и неизбывная греховность,
и по иной земле тоска,
и Божьей милостью неровность
неповторимого мазка.

В том же году — снова, еще острее:

Бесконечно маленькая точка,
созданная в зоне мерзлоты,
на огромном дереве листочка
нету беззащитнее, чем ты.

Чуткая ко всем прикосновениям,
раненная каждой бедой,
ты не прикрываешься забвеньем
и неравный принимаешь бой...

Мартин Бубер, переживший страх бездны в 14 лет и едва не сошедший от этого с ума, сближает паскалевское (для нас — и тютчевское) чувство бесконечно-

сти со страхом Божьим. Оно действительно толкает к поискам смыслообразующего начала по ту сторону пространства и времени. Поиски веры начинаются с неверия в окончательность очевидного.

И пульсом бьётся ощущение
конца истории земной.
И жизнь уходит, а прощение
ещё не выстрадано мной.

Когда были написаны эти строки, поэту было 33 года. Чувству разрыва времени, неожиданному прорыву в вечность «все возрасты покорны». Здесь особый счет начальных и зрелых лет. Зрелость — возвращение в мир пяти чувств, но с каким-то новым, шестым — чувством глубины.

В средневековой китайской притче сжато пересказан путь к зрелости: «Сперва я не знал Учения и думал, что гора есть гора. Потом, познав Учение, понял, что гора — вовсе не гора. Но еще больше углубившись в Учение, я постиг: гора есть гора!» Мало кто проходит этот путь до конца. В православии это называется трезвением. Не житейским трезвым отличием предмета от предмета, а чувством вечности, вмещённым в сердце и пронесённым сквозь повседневность.

Вера начинается с неверия в окончательность страдания и смерти. Неверие в неподлинное толкает к подлинной вере. До нее трудно дойти. Поэты, затронутые страхом Божьим, по большей части остаются на мучительном раздорожье, — без полноты неверия в мир обособленных вещей и без полноты веры в реальность Целого.

«Всякая религиозная действительность, — пишет Бубер, — начинается с того, что библейская религия называет “страх Божий”, то есть с того, что бытие от рождения до смерти делается непостижимым и тревожным, с поглощения таинственным всего казавшегося надежным».

Только пройдя через этот страх, можно прийти к действительности метафизической поэзии. Стихи Риммы Запесоцкой неуловимо непохожи на плоды экзальтации и стилизованного вдохновения, наполняющие сегодня книжные полки. В них есть подлинность — подлинность лично пройденного духовного пути. Сквозь карамазовский ужас перед бездной зла пробиваются отдельными всплесками, вспышками — чувство света, радость духовного опыта.

И вспышка на древе прозренья
мне новое знание дала.
О, трижды блаженно забвенью
на самой вершине ствола.

Когда я пытался написать о поколении, сложившемся в начале 80-х, я цитировал стихи Риммы Запесоцкой:

Икринки во враждебном океане,
летающие по ветру семена,
пронзённое бессмертием сознание,
в который раз воскресшая весна...

Пробиваясь сквозь хаос истории и повседневность суеты, поэт ищет свой предначертанный изнутри путь.

Боже, великой своей немотой
дай мне не сбиться с Пути!

Григорий Померанц, 1994 г.

Стихи из книги «Мост через пропасть»

ПОСЛЕДНИЕ ВОПРОСЫ

*Я в городе моем родном чужая —
звучит в мозгу, все нервы обнажая.*

В надежде распознать источник бедствий
я в лабиринт вхожу причин и следствий.

И как голодный думает о пище,
душа моя всё время выход ищет.

Жизнь, с каждым уходящую мгновеньем,
смогу ли удержать я вдохновеньем?

Смогу ль собрать оставшиеся крохи
и вылепить из них портрет эпохи?

Духовное не выполнив заданье,
найду ль в грядущей жизни оправданье?

Преследуют и жалят, словно осы,
в судьбе моей последние вопросы.

* * *

Ирине Блохиной

Едва из школьной выйдя колыбели,
«*Gaudeamus igitur*» мы пели,
учили демократии законы,
где роль судьбы играли *остраконы*.

Мы познавали опыт поколений
на фоне современных нам явлений,
вопросы очень важные решали
и каждый день открытья совершали...

Давно ушло то время золотое,
когда мы жить могли одной мечтою,
но ощущать мы будем крепость тыла,
доколе наше сердце не остыло.

* * *

Кого коснулся отблеск Света,
всего лишь отблеск поманил, —
того навеки Свет пленил,
на том Его осталась мета.

Из «Венка Тысячелетию»

* * *

Сплетая неклассический венок
в надежде сохранить слова живыми,
тасуя их в игре, любуясь ими,
ты мир творишь, и он простёрт у ног.

И пусть творишь ты только краткий миг,
мгновенье целое — ведь это много!
Ты автор, ты творец, посланец Бога,
и замысел Его в тебя проник.

А впереди совсем неблизкий путь,
здесь нужно только длинное дыханье.
Игра, и труд, и крыльев трепетанье —
вот творчества таинственная суть.

И замыслы свои отдав в залог,
ты целый мир выносишь за порог.

* * *

Тысячелетье не было банальным,
но век двадцатый все рекорды бьёт:
привычным стал космический полёт
и ужас жизни экзистенциальный.

* * *

Тысячелетью нашему вдогонку
бросаем мы прощальный долгий взгляд.
Миллениума швы ещё болят,
и время кровью пишет похоронку.

Ты**1**

Ты — мой Путь, Поводырь мой и Свет,
и слепое, глухое творенье
Ты ведёшь за собой, чтобы зренье
мне открыть через тысячу лет.
Через жизни мучительный сон
Ты ведёшь к пробуждению духа,
чтобы дар абсолютного слуха
мне вручить на исходе времён.

2

Ты — жизнь, Ты — дерево до неба,
источник Ты воды и хлеба.
И я, Твоя лоза,
цепляюсь за Твою опору
и вверх ползу. И скоро, скоро
смогу открыть глаза.

* * *

И.

Тебя узнать всем сердцем — это счастье
судьба как редкий дар смогла мне дать.
И сильную у слабого во власти
приходится мне с грустью наблюдать.

Высокая меня пронзает жалость.
Не описать мне с помощью пера,
как на лице твоём отобразалась
сложнейших чувств мгновенная игра.

Тебя узнать всем сердцем — это милость,
и нам не надо тратить лишних слов.
Моя душа к твоей душе склонилась
и драгоценный собрала улов.

ПАМЯТИ СКУЛЬПТОРА ВАДИМА СИДУРА

Открытые Господа очи
вобрали спрессованный миг.
Взывающий к свету из ночи
в разверстую душу проник.

И зла роковое всесилье
разрушено парю рук,
воздетых у *Жертвы насилья*
уже за пределами мук.

И вновь воскресает надежда,
что факел *Любви* не потух.
В скульптуры в суровой одежде
вошёл созидающий *Дух*.



Николай БОБРОВСКИХ

/ Белая Калитва /

ИСХОД

Помню березовую жердь, к которой привязана моя зыбка, и тёмные страшные окна в мир. Колыбель висит в воздухе, и меня томит моё беззащитное одиночество: я заливаюсь рёвом, пока не подходит мать. Она наклоняется надо мной, и я чувствую тепло и спокойствие, и забываю обо всём. Думаю, что было мне тогда около года.

Потом долгий провал в памяти до трёх лет. Мы провожаем отца на фронт. Он сидит с матерью за столом, и о чем-то они беседуют. Вдоль лавки сидят старшие братья. Варя старше меня на два года, она бегает по комнате, неожиданно хватая меня и тащит на улицу, и там даёт волю одолевшему её смеху. Ей кажется, что плачущий отец в розовой рубашке похож на нашего рыжего петуха, об этом она и сообщает мне, и опять заливается смехом. Никакого сходства я не нахожу, глядя на петуха, который уже ходит возле крыльца, ожидая, когда мы спустимся вниз. Он всегда подкарауливает нас, чтобы напасть и одержать над нами победу. Мы усаживаемся на крыльечке, петух, потоптавшись возле крыльца, с достоинством удаляется к курам, после этого из-за конуры осторожно вылезает наш пёс Алтай: он не то, чтобы боится петуха, но не хочет с ним связываться, щадя живность в нашем хозяйстве. Он очень умный пёс.

На крыльцо вышел отец с мамой и братьями. Епихан спускается с крыльца и берёт под уздцы лошадь. Отец по-мужски строго прощается с братьями, щекочет Варю, которая опять смеётся, поднимает меня до самого ласточкиного гнезда, теперь уже опустевшего. Так высоко я никогда не взлетал! Потом, словно сердясь на мать, говорит ей что-то через плечо. Епихан подводит лошадь, и отец прямо со ступенек вскакивает в седло и трогается по тропинке меж зарослей тальника, ни разу не оборачиваясь, только позже его голова показывается на взгорке возле берега речки Таловки, впадающей в большой Аламбай. По небу идут кучевые облака, дует южный ветер, но мать нелепо трясется, хотя ветер тёплый.

Помню еще треугольные письма, которые читали по многу раз, а во время приезда тёти Фаны письма перечитывались еще несколько раз и обсуждались до самых потёмок при свете керосиновой лампы. Всё это я помню

очень картинно и живо, но почему-то беззвучно, как в немом кино. Может быть, смысл того, о чём говорили взрослые, был мне непонятен, или вообще так запоминаю?

Звуки приходят позднее. Заросший бородой до черных глаз, так что лица не видно, дядя Епихан хватает меня, сажает на колени и, дыша из чёрного рта табачным духом, выставляет, как рога, два пальца, нараспев шуточно пугает меня:

Ишла казара ис пазара,
Кито сиську сосёт,
Того казара сабодаёт-сабодёт!

Я не знаю, кто такая «казара», и за что она меня «сабодаёт-сабодёт», но мы оба смеёмся. Потом старик так же неожиданно разжимает руки-клещи, я скатываюсь с колен, а Епихан молча ковыляет на ревматических ногах к себе в барак. Мы покидаем тайгу, а он так и остается там доживать свой век, этот робинзон заброшенного прииска.

Еще я помню облака, тёплый ветерок и много солнца летом. Я лежу на остожье и смотрю в небо на корабли, на всадников, на облачных драконов. Луговина окружена лесом, ветер дует выше прошлогоднего стога. Меня одолевает желание выразить увиденное словами, какими-то звуками, и я пою:

Облака пловут,
Морока пловут,
Пловут облака,
Пловут морока.

Это были мои первые стихи, и песни, и гимны — все вместе и сразу. Напевшись досыта, я засыпал, а к вечеру бежал домой с угорья, на котором стояла скрипучая сосна. На каждый порыв ветра она отзывалась особенным скрипом, стоном, иногда на два-три голоса. Я панически боялся её жалоб и угрозы и пробегал опасное расстояние со скоростью зайца.

Однажды я в поэтическом пылу не заметил, как из незаметного кудрявого облачка вышла и налилась иссиня-чёрная туча с поблескивающим серебряным на солнце боком, и от неё пошел гул, смешавшийся с далёкими раскатами грома. Ветер поменял направление и подул из тучи, и едва туча закрыла солнце, потухло и серебро, и всю луговину накрыло мглой. Упали первые крупные капли, гул из тучи перекрыл налетевший ветер, и в усилиях сдержать напор ветра женским голосом застонала сосна. Пока я соскользнул с остожья, пока бежал по лугу, обрушился ливень, ударил свет, как будто в меня, сосна загрохотала, её разорвало изнутри, низинным ветром меня сбilo с ног возле самого дома. Град больно ударил меня по затылку, и больше я ничего не помню.

Очнулся я дома. Туча еще серым краем кружила около поляны, град дотаивал на дорожке, и расстояние между молнией и громом стало таким, как будто они разделились и разошлись каждый сам по себе. Выглянуло солнце, и мы всей семьёй высыпали на крыльцо. От сосны остался обгорелый пенёк, от щепок и сучьев уже шел не дым, а пар.

— Громовая стрела ударила в сосну и ушла в пень, — подвела итог увиденному мать, — быть ей в земле три года, потом начнёт она выходить, кому достанется в руки, тот и воспользуется ею. Бабушка ваша знатка была. Подошла как-то к такому вот пню, увидела — громовая стрела из пня торчит, протянула руку и легко взяла её.

В тайге поодаль от нашего жилья было что-то наподобие лагеря, в котором валили лес. Вскоре после грозы из тайги вышли на поляну человек восемь азиатов в изношенных чапанах и тубетейках, бородатые, исхудалые. Они устроились возле крыльца, наладили какое-то приспособление, состоявшее из сосуда с подобием стеклянной бутылочки и длинным мундштуком. Что-то в сосуде тлело, и дым от тления они глотали из мундштука, передавая его друг другу поочередно. Накурившись, они долго сидели разморенные от зелья, переговариваясь на непонятном языке. Старшие братья спешно готовились к обороне, прислоня к стенке сеной лом, топоры и старое ружьё, с которым они ходили на охоту. Один из незваных гостей, особенно худой и бледный до желтизны, что-то стал горячо говорить старшему в группе, оглядываясь в нашу сторону. Старший не соглашался и тоже заговорил громко, потом вдруг толкнул ногой курильню, разбил стеклянную бутылку, и чахоточный подчинился. Старший встал, подошёл ко крыльцу и попросил у матери соли, хлеба и картошки. Мать без слов согласно кивнула, приготовила просимое и подала им в мешке. В качестве подарка нам оставили несколько пресных азиатских лепёшек на чёрной муке и без соли. Вежливо попрощавшись, они расспросили о тропе, ведущей от нашего дома, и скрылись в лесу. Они шли на юг, но очень представляя, как далеко им идти до родины. По слухам, они не ушли далеко. Их поймали возле районного центра, когда им оставалось пройти всего-то около двух тысяч километров. Наверное, от лагеря к нам не было дороги, потому что никто не спросил у нас о беглецах. А, может быть, за ними никто и не гнался, понимая, что в путь из Сибири в тёплую Азию могли пуститься только дошедшие до отчаяния азиаты, и страх погибнуть в тайге погнал их на юг, поближе к солнцу и теплу.

Вскоре приехала тётя Фана с большой котомкой за плечами и перекинутыми через плечо несколькими парами сапог. Мы с Варей первыми увидели её и составили ей почётный эскорт до самого дома. Сапоги предназначались старшим братьям, а нам с Варей достались менее значительные подарки: Варя — платье, мне — рубашка, причём платье, на мой взгляд, было вещь более ценной, чем рубашка... Мы немножко потолкались с Варей за почётное место возле тётки. Варя как более сильная оказалась рядом с тёткой и со столом, где на видном месте лежал мешочек со съестными дарами. Варя сидела рядом с мешочком и по выступам на ткани догадывалась о том, что внутри, я сидел с другой стороны, мой рост не позволял мне рассмотреть мешочек, и я страдал и завидовал Варя, которой, кроме платья, достались разные ленточки, тряпичная кукла, изготовленная самой тёткой, кровать для куклы вместе с постелькой. Варю просто задали. Вообще, Варя — вылитая тётя Фана, и та её обожает. Что такое вылитая, я не понимаю, но Варя повезло, что её вылили в тётю. Меня, например, вылили в деда Якова Самойловича, но он умер, так что никакой от этого мне пользы нет. Мося вылит в дядю Конона, о котором мама и тётя вспоминают шёпотом, тайком от нас, но я знаю, что он убежал в Китай, так что Мося тоже ничего хорошего от него не видать. Одной

Варе повезло! Наконец открывается долгожданный мешочек, оттуда извлекаются невиданные пряники, целый ком слипшихся конфет. Мне и Варе дают по целому прянику, и мы выскакиваем на улицу. Варя нарочно долго ест пряник, чтобы подразнить меня, однако сердце её не совсем зачерствело, и она выделяет мне из своей доли малую толику, достаточную для того, чтобы между нами воцарился вечный мир. Мы убегаем к старому стогу, я лезу наверх, а Варя остаётся внизу со своей куклой. Дома сейчас скучно. Тётя с матерью будут опять перечитывать письма, пересказывать их, потом прочитают папину похоронку, потом тётя наизусть расскажет маме похоронку на Дидима, тёткиного мужа, и так они могут весь вечер повторять одно и то же. Сегодня, однако, решается очень важный вопрос: мама окончательно решила перебраться из тайги к сёстрам в колхоз, тётя Фана, в свой черёд, переедет из Бийска поближе к нам, в районную больницу, в районе ей обещали дом. У тёти нет детей, и она хочет жить возле нас, чтобы помочь маме. Тётя Фана настаивает на том, чтобы мы переехали в район, но мама противится этому, она не хочет садиться со своим семейством тётке на шею. Разговор серьёзный, обе женщины сдерживают раздражение и продолжают убеждать одна другую. К вечеру, когда возвращаются из лесу братья, согласие достигнуто: мы остаёмся на зиму в тайге, тётя Фана обустраивается к весне в Сорокино, всего в двенадцати километрах от нашей деревни, так что зимой и летом мы сможем общаться.

И какой же долгой и холодной была для нас эта зима последнего военного года. Намытого братьями золота едва хватало на хлеб. После посещения азиатами нашего покинутого прииска мама стала бояться отпускать ребят за хлебом за десять километров. Корова осталась яловой, так как нарушился бычок, поевший то ли веху, то ли другой таёжной травы. Из всей скотины мы оставили к весне корову. Налогов мы не платили, потому что к нам было трудно пробраться даже летом, а зимой и думать было о том нельзя. Мы прирезали бычка, свинью и двух баранов, и потому голода не узнали, перестали варить нечистую пищу из бурндуков и зайцев. Мать всё-таки оставила испоганенный котёл, решив не брать его с собой на новое место, а нам строго наказала, чтоб мы нигде и никогда не рассказывали, что ели бурндуков и куянов (т.е. зайцев).

В ту последнюю зиму в тайге я научился читать. Среди книг у нас был старый, чуть ли не времён Симеона Полоцкого, букварь. Подражая взрослым, я водил по печатной строке пальцем и шевелил губами. Аристарх нарисовал мне русским современным шрифтом на дощечке церковнославянские буквы с названиями: поневоле получилось, что я заучивал древнюю азбуку в современном письменном обличье. Названия букв запомнились мне как прекрасные стихи. Позднее я получил в руки букварь, половину которого занимали слогосочетания вроде кра, бра, тра... Запоминая буквы, я уже получил представление о правилах чтения, и мы с братом пропустили слогосочетания. Вероятно, если бы меня заставляли упражняться в чтении слогов, ничего, кроме отвращения, это бы не вызвало, но Аристарху самому было лень останавливаться на скучных страницах, и дело у нас пошло на лад: я знал основные молитвы и «читал», а брат показывал, где то или иное слово, и где кончается строка (каким словом), попутно объясняя мне значение слов под титлами. Незаметно для себя я перешёл к чтению незнакомых текстов. Обучение гра-

моте совершилось легко, без принуждения, и к весне я бойко читал священные тексты, не очень понимая их смысл, который обретался постепенно как результат постоянных упражнений в чтении.

В марте солнце начало пригревать до капели, в апреле освободилось от снега угорье, где когда-то скрипела сосна. Нам надо было уйти до полой воды, когда маленькая Таловка заливала окрестности до самого Алабая, и лесные холмы превращались в острова, или ждать спада воды, но тогда мы заглядывали с посадками в степи, в которой снега сходили раньше. Сёстры знали о наших намерениях и ждали нас. Решили мы всё-таки переждать половодье. На наше счастье оно не было большим: снег таял долго, с марта до конца апреля. Таловка снесла мост, залила низины и остановилась возле нашего луга. Все места, куда проникало солнце, растаяли и даже просохли, так что путь для нас был открыт. В первых числах мая мы пустились в дорогу.

Снесённый весенней водой мостик братья отремонтировали, и дядя Епихан проводил нас до него. Мы взяли с собой самое малое: необходимую одежду, постель, посуду, кое-что нагрузили на корову, на нее же взгромоздили собственный корм. Мы перешли по мосту на другой берег, попрощавшись с дядей Епиханом, оставшимся караулить наше и своё добро. По летнему пути братья собирались приехать за остальными пожитками и за дядей Епиханом, упорно не желавшим уезжать с нами. Да и кто он был нам? Чужой, прибившийся к прииску человек, потому что в том мире, где он когда-то жил, его все забыли и никто не ждал. Наверное, он понимал, что ему одному здесь жизни — последнее лето... И всё-таки не хотел уезжать.

Стояли на удивление тёплые весенние дни, ветер дул из степи с юга, не было ещё гнуса и комаров, так что в первый день идти было одно удовольствие, но наше с Варей веселье к обеду кончилось. Я отбил ноги и совершенно раскис, так что старшие братья Аристарх и Георгий тащили меня по очереди на плечах в мешке. Прошли мы первый день мало, а устали очень. В тайге деревни встречаются не так часто, и нам пришлось ночевать у костра. Только пёс, кажется, был доволен больше всех и совсем не устал, он даже принёс нам к ужину задавленного и совершенно испачканного в грязи зайчонка, но мы отказались от угощения. Пёс сначала обиделся, зато потом успокоился и сам его съел.

Целую неделю шли мы по тайге на юг по старой разбитой дороге, пока не вышли на сухой степной шлях. Здесь было больше обозримого простора и больше солнца. По-прежнему ветер дул с юга, и лиственные деревья набухли листвою. Вся холмистая равнина с берёзовыми колками понизу была свободна от снега, и только кое-где в сиверах оставался ноздреватый грязный снег. Я так устал, что уже не вылезал из мешка: я засыпал, просыпался от весенней свежести и безучастно глядел на степное раздолье. Кое-где начинала зеленеть трава, корова хватала ее, сбивалась с пути, и приходилось ее подгонять, с усилием она брела вперёд.

Несмотря на южный ветер, небо к обеду последнего дня пути закрылось туманной пеленой, и стал накрапывать ситный дождик. Мы остановились перед спуском и сквозь туман увидели холм, густо обустроенный деревянными серыми, а от дождя и сумерек тёмными, домами. Дождик настойчиво поливал нас, и дорога осклизла, так что пришлось идти по траве. После спуска нас ожидали гать и небольшой мостик через ручей. Миновав чёрные грязи и

мост, мы опять пошли в гору, теперь уже вдоль улицы с такой чёрной грязью, что вынуждены были жаться к заборам. Дойдя до середины подъёма, мы остановились возле одного из домов. На крыльцо высыпало многочисленное семейство тёти Агафьи. Начались восклицания «Да как же вы живы остались?», объяться.

Нас много — целое застолье: Нюра с детьми, мамины сёстры: Федосья, похожая на сгорбленную сказочную старушку и Марья, голубоглазая и, кажется, красивая, но тоже уже приготовившаяся стать старухой. Даже Нюра, сноха Федосьи, кажется мне совсем не молодой. Все они одеты по-серому, в выцветших заносенных одеяниях, домотканых полосатых носках до колен. Меня забавляет, что я прихожусь им «сродным», т.е. двоюродным дядей. Они должны будут относиться ко мне почтительно — звать меня «дядя Коля». Очень смешно!

Позже, за ужином, меня поразит галдёж, совершенно не согласный с нашей степенной трапезой, с молитвой в начале, строгой очерёдностью вступления в трапезу от старших к младшим. Здесь была анархия: все едят, не соблюдая чина, болтают, могут залезть в тарелку к соседу и разбегаются из-за стола каждый по своей прихоти, не перекрестивши лба. Наш ритуал был воспринят со смехом детьми и смешанным чувством недоумения и неловкости взрослыми. Мы, отправляясь ко сну, читаем соответствующую молитву на сон грядущий, окончательно смутив не сильно набожных маминых родственников. Им явно становится не по себе.

Но сейчас я едва различаю их. Меня клонит в сон, долит дрёма. Я почти падаю головой на стол, и меня вздымают на полаты и указывают стенку, куда я уползаю и проваливаюсь в густую сонную тьму до самого утра.

Когда я просыпаюсь, уже светло и не страшно. В горнице покатам на полу сят мои новые сверстники-племянники: Миша, Ваня, Вася, Федя. Изучив светлые лица и головы низших по положению и старших по возрасту родственников, я выхожу на крыльцо. За ночь всё изменилось: лопнули березовые почки и лес зазеленел первой, еще сквозящей на воздухе, зеленью, а дальше за горизонтом темнел краешек тайги. И как велика оказалась деревня! Весь холм застроен, а за холмом, отгороженные речушкой, виднелись два хутора.

«Они ушли смотреть дом», — сказала тетя Анна, увидев моё недоумение. Обидно, что меня не взяла, но Варька тоже спит на кухне, на лавке, огороженной стульями. В этом есть небольшое утешение.

Тётя Аня с ведром садится под корову, и струйки молока начинают чиркать о стенки подойника...

Солнце все явственнее выплывает из-за горизонта, и огненный отсвет ложится на бревенчатые дома и дощатые крыши и зажигает свет в окнах. Это другой мир, кругом необъятный степной простор, подступающий к самым горам. Весенний воздух дрожит от испарений в раннем весеннем зное. На обсохших сопках колышется прошлогодний сухой ковыль, а на северном, холодном еще склоне розовым разливом цветёт кандык, и пчёлы уже знают об этом розовом склоне и о доцветающих ивах. По улицам важно шествуют на пруд гуси и утки, а свиньи выбрали богатые грязи у другого ручья, обтекающего холм с противоположной стороны. Такова наша обетованная земля, с которой мы потом рассеемся в библейский народ, земля запустеет, и мы сами

через много лет не найдём на ней ни строений, ни могил. Но запустение настигнет эту землю потом, а пока на несколько лет она останется нашей родиной, землей, данной нам Богом, и всё самое интересное случится со мной именно здесь.

МОЯ ЛЮБОВЬ НАТАЛЬЯ

Я перешёл во второй класс и ждал с нетерпением, когда мне исполнится восемь, чтобы повзрослеть на один год. Вечером я пригонял гусей, уходивших за два-три километра вверх или вниз по болотистой речушке; днём караулил рои, прячась от пчёл за снопами конопли; изнывал над грядками овощей и полагал, что нет на свете мальчика несчастнее меня. Если я жаловался, что не могу отличить морковь от сорняка, мама быстро возвращала мне знания при помощи подзатыльника.

Иногда она отпускала меня на большую реку, протекавшую километрах в трёх от нас. Мы собирались на рыбалку всем гуртом, с утра до вечера валялись на горячем песке, купались и попутно рыбачили. Мы использовали эти счастливые дни без остатка. Мать знала, что на рыбалку тратился от силы час-другой, но не упрекала меня. Она выросла на Оби, плавала, как нерпа, и не могла обойтись без рыбы. Вид тяжёлого кукана с налимками и щуками приводил её в умиление, и мне прощался отгульный день.

Река Карасуйка извивалась по холмистой равнине. В половодье она заливала окрестности, и вместо холмов торчали жалкие островки. Вода спадала, в старицах оставалась рыба, которую мы ловили руками и петлями из конского волоса. Вода была тёплой, рыба — сонной, и рыбалка превращалась в развлечение. За день мы от отдыха так уставали, что к вечеру едва волочили ноги. Дома, объясняя необыкновенную усталость, мы рассказывали об исключительных трудностях, сопряжённых с ловлей рыбы. Взрослые не верили, но кивали головами, и этого нам хватало.

Наконец мне исполнилось восемь, я повзрослел на год и мог сообщить о своей радости всем и прежде всего Наталье, жившей через дорогу, напротив нашего дома. Я был не на шутку влюблён в неё и думал вещь обыкновенную, а именно, что красивее её нет никого на свете. Светлые волосы, заплетённые в косу вокруг головы, глаза голубее нашего неба и высокая стать. Я мечтал о том времени, когда вырасту большой, стану сильным и умным, и буду во всём парой Наталье. Пока же приходилось мириться с временным статусом мальчишки. По вечерам мы сидели на лавочке возле их дома. Я был сама степенность и рассудительность; болтая ногами, не достающими до земли, я излагал ей планы нашего будущего совместного проживания. До женитьбы оставалось немного — окончить школу, стать шофёром, сесть за баранку и прокатиться с Натальей до самого Бийска, чтобы закупить там конфет, пряников, булочек, обеспечив себе и ей безбедную праздничную жизнь. Наталья, обмирая от смеха, соглашалась со мной и всегда объясняла смех каким-нибудь посторонним поводом. Я был счастлив рядом с ней и не мог выдержать дня, чтобы не посидеть на лавочке.

Тётя Дуся, мать Натальи, известная на деревне под кличкой «чарича небесная» за то, что путала в разговоре «ц» и «ч», принимала меня в каче-

стве будущего зятя. Только Петро, брат Натальи, пугал меня суровостью. Играя роль строгого хранителя сестриной чести, он допекал меня недоверием и подозрительностью. Хотя был добродушным и славным парнем; встречая меня, поначалу расплывался в улыбку, затем, вспомнив о роли, делал сердитое лицо и недовольно ворчал:

— Опять женишок явился!

Я старался не смотреть в его сторону и спешил на лавочку, а сердце моё трепетало — я боялся стать посмешищем. Выходила Наталья и урезонивала сурового брата:

— Ну, что ты, Петя, у нас и в мыслях нет ничего дурного, правда, Никулешка?

Я придвигался к ней, чтобы чувствовать её тепло, и свободно вздыхал: теперь я был под её защитой и гневливый Петро смирялся.

— Знаю я вас, шашни среди белого дня разводят. А вдруг он будет приходить по ночам? — спрашивал Петро, явно намекая на мою паническую боязнь темноты. Наталья знала о моей слабости и щадила моё самолюбие. Если мы задерживались до сумерек, она провожала меня домой и вручала матери — выходила естественная прогулка через дорогу.

Делая вид, что шутит, Петро не раз подбрасывал меня страшно высоко, кружил по воздуху так, что я едва добирался до лавочки. Как-то после одной такой выходки я на четвереньках полз к Наталье. Он был заводной парень, и это баловство было бы уместно, не будь я влюблён. С семьёй тёти Дуси мы «соседились», т.е. ходили друг к другу в гости, дружили. Мама, глядя на Петра и Наталью, вслух завидовала их красоте:

— Вот жених-то! — говорила она Варе. Той было одиннадцать лет, она перешла в четвёртый класс, и её смешили разговоры о будущем женихе. В итоге мама смеялась вместе с Варей.

Свидания на лавочке продолжались всё лето. Если Наталья уходила на край деревни на вечерки, я тосковал и терзался ревностью. Никто из деревенских парней ей не нравился, да и пары по возрасту ей не было; ребята уходили в армию и редко возвращались.

Пришла слякотная осень, неделями моросили студёные дожди. Сносная одежда у меня была только для школы, и отлучался я не дальше двора и огорода, а свидания в доме Натальи не имели прелести любовных сидений на лавочке. Когда накатила зима, свиданиям и вовсе пришёл конец. Наталья уехала на лесозаготовки. Снарядили подводы, и в тайгу отправился санный обоз с деревенскими бабами.

Зима выдалась лютой, больше месяца температура держалась в пределах сорока. Я еле добегал до школы в шапчонке, в фуфайке с чужого плеча, висевшей на мне, ничуть не согревая. Простыл ли я в ту зиму и занедужил от холода, но в январе я слег и лежал в беспмятстве, скидывая душившее меня одеяло. Меня переносили с печи на полаты, с полатей на койку, и везде мне было плохо. Когда морозы чуть ослабли, приехала тётя Фана, привезла лекарства и рыбьего жира, и я пошёл на поправку.

Мама боялась, что меня оставят на второй год, но Анна Петровна, учительница, стала навещать меня, приносить конфеты и печенье, вещи в нашем быту малоизвестные. Варя изнывала от зависти, а я выздоравливал, барствовал и великодушно делился с ней гостинцами. Как прият-

но болеть, когда почти здоров! Ничего не заставляют делать, привозят подарки, учительница спешит навестить и тоже утешить гостинцами — болей вволюшку!

Всему хорошему положен конец, и я снова иду в школу. Пешеходные дорожки к тому времени поднялись выше окон, а для того, чтобы увидеть, что делается снаружи, нам с Варей нужно выдуть в замёрзшем окне кружочки. Лесорубы из тайги еще не вернулись, и без Натальи дом напротив мне кажется нежилым. Но возвращаются они, когда уже сильно пригревает мартовское солнце, и Натальи с ними нет. Она не успела отбежать в сторону — пихта накрыла её. Бабы рассказывали, как ее «всю измяло лесиной».

В районной больнице над ней колдовали тётя Фана и дядя Арнольд, но в начале апреля — еще по санному пути — Наталью привезли домой. Возмужавший за зиму Петро легко вынул из саней и бережно понёс в дом то, что осталось от нее — изболевшую до веса ребёнка плоть. Он смастерил низкое кресло-кровать и выносил в нем сестру на крыльцо. Солнце грело полетнему; скопившийся за долгую зиму снег таял на глазах, уходя мутными потоками, и наша деревня превратилась в полуостров, одной лишь дорогой на вершине холма соединявшийся с большой землёй.

После школы я боязливо крался к дому Натальи. Тяжёлая обязанность приходит угнетала меня. Я высиживал положенные несколько минут, чтобы потом за оградой вздохнуть полной грудью. Я брал её холодную усохшую руку в свои ладони и плакал от жалости к себе. Уйдя от неё, я прятался за сараем в заветерье, где было по-летнему тепло, взбирался на низкий стог и лежал там, пока солнце не скрывалось за домом и воздух не начинал свежеть.

Перед Пасхой стало совсем тепло, и Наталья как будто ожила. Она, не мигая, смотрела на солнце, улыбалась синеватыми губами и даже пошевелила рукой, чтобы коснуться меня. Наверное, от солнца, на которое она глядела во все глаза, по щекам её текли слёзы, рука неудобно упала. Я положил ее тонкую, как веретено, ручонку к ней на колени и кинулся бежать прочь от того, что было выше моего понимания. Взобравшись на полустожье, я уткнулся в выветрившееся прелое сено и обессиленный от рыданий уснул. Мне снилась Наталья, весёлая, как прежде, и было радостно от сознания, что того, что случилось, не было. Оставалось какое-то малое тёмное пятно, неподвластное веселью и свету. К смеющейся Наталье подошла тётя Фана, и я вдруг заплакал от неизъяснимой жалости к себе и страха перед отчуждающей судьбой. Я словно тонущий пловец страшился вынырнуть, вздохнуть и уплыть к своему берегу с глубокого места, вырваться из темной страшной бездны. Тетя Фана вытащила из кармана трубочку для прослушивания больных. Тёмное пятно выросло в большую тень. Я хотел крикнуть тете Фане «Не надо!», но неожиданно тётя Фана закричала не своим голосом: «Наталья умерла!». Тма взорвалась, и я проснулся.

— Наталья умирает! — кричала Варя

— Она уже умерла, — сказал я, скатившись со стога.

— Откуда ты знаешь? — выдохнула перепуганная Варя.

— Мне тётя Фана сказала.

Тут я совсем проснулся и понял смысл Вариных слов. Возле дома Евдокии толпился народ, не по-человечески выла хозяйка. Я ушёл на высокий

косогор, обогретый солнцем. Земля в полдень была тёплой, если на ней долго не стоять необутым. Мы с Варей и не стояли на месте, мы носились по склону, так что наши босые ноги не чувствовали нутряного холода земли.

На другой день я набрался смелости и пошёл к тёте Дусе. В горнице к божнице головой лежала одетая в смертное Наталья. Бабка Аграфена сидела у изголовья и, запинаясь, читала Псалтирь. Очки ей были явно не по глазам, она подслеповато мигала, подносила книгу к свету, но для различения букв, его не хватало. От напряжения на глаза набегали слёзы, бабка водила по строкам пальцем, теряла их, мучаясь от зрительной немощи. Мама кивнула мне, я подошёл, она наклонилась и шепнула:

— Почитай, она любила тебя.

Я взглянул на Наталью. Восковое личико с тёмными пятнами тления, закрытые глаза очертились синей каймой, и не было в её лице ни любви, ни памяти о том, что она была. Я опёрся о край гроба, чтобы пройти на бабкино место, и почувствовал сквозь льняное одеяние холод тела. Та, которая еще вчера смотрела на солнце, не зажмурив глаз, ушла — даже колеблющийся свет зажженной свечи не мог оживить её равнодушного лица.

— Не надо бояться! — твердил я себе, решив больше не смотреть на неё. Я приблизился к столику, придвинул Псалтирь. Бабка Аграфена согласно закивала трясущейся головой, привалилась к спинке стула и задремала от усталости. Я начал читать из наугад раскрытой книги.

«Господи, Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред тобою... Очи мои изнемогте от нищеты, воззвах к тебе, Господи, весь день воздох к тебе руци мои. Еда мёртвыми твориши чудеса или врачеве воскресят и исповедятся тебе? Еда повесть кто во гробе милость твою в погибели? Еда познаны будут чудеса твоя и правда твоя в земли забвенней? И аз к тебе, Господи, воззвах и утро молитва моя предварит тя. Вскую, Господи, отрешу душу мою, отвращаеши лице твое от мене. Нищ есм аз и в трудех от юности моея вознес же ся, смирихся и изнемогах. На мне преидоша гневи твои, утрашения твоя возмуташа мя. Обидоша мя яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалил еси от мене друга и искреннего и знамых моих от страстей».

Я читал, и голос мой крепнул: обретая уверенность, я стал читать нараспев, с паузами и повышениями в определённых местах. Люди набились в комнату, я еще прибавил голоса. Бабка Аграфена очнулась, сильнее обычного затрясла головой и шепотом явственно для всех произнесла:

— Такой младен, а как читает!

Ослабев от восторга, она склонилась на столик и опять задремала. Бабы утирали кончиками платков глаза, одобрительно смотрели на меня и на маму. Она тоже всплакнула, подчиняясь общему настроению, добавив к печали и гордости за меня. В перерывах мой взгляд скользил по лицу Натальи, тогда ко мне вновь возвращался страх; голос мой начинал звенеть и ломаться.

Постепенно горница опустела, у каждого были свои заботы, и я остался один на один с Натальей, не считая мирно посапывающей на столике бабки. Я возвратился к началу и принялся читать с первого псалма. Горе было пережито вчера и сегодня, теперь оно становилось скорбью, входившей в русло заведённого от века обряда.

А потом было погребенье. На кладбище случилось непоправимое: гроб опустили в могилу и туда прямо на гроб полетели комья тяжёлой и холодной

глины. Я сбежал, почти скатился с косогора в ложину, где привольно разлилась наша речушка, образуя топи и болотца, и только по кочкам можно было перебраться на другой берег. Я шёл по сухому краю вверх по ручью. После долгого пути я приблизился к истокам речушки и оказался в тупике: грива обернулась излучкой, в середине которой из земли бил родник, по пути к нему прибавлялись другие родники, все вместе превращавшиеся в топкую речушку с жидкими зарослями тальника по краям. Я нашёл старую осевшую копну прошлогоднего сена и прилёг на неё.

Небо было высоким, солнце грело по-летнему, кто-то уже стрекотал в траве, и я заснул легко и свободно, без снов. Проснулся я, когда солнце повисло над лесом, и тени поползли вниз по краю гривы. Я поспешил вдоль ручья, догоняя растущие тени. На полпути меня встретил наш пес Алтай, положил лапы мне на плечи и в порыве любви облизал лицо и руки.

Утром я проснулся здоровым и почти счастливым. Вчерашнее смятение отошло куда-то в глубь памяти. С каждым днём оно уходило всё глубже и глубже, истаивая и растворяясь. Только тяжёлый белый крест тревожил меня. Я проходил мимо кладбища, глядя прямо перед собой, но краем глаза все равно видел, как слегка покачивался крест. Ей было тесно в деревянном гробу, она пыталась дотянуться до креста, расшатать его, выбраться из могилы с немым вопросом, на который у нас не было ответа. Я не выдерживал и стремглав убегал прочь от того места, где, как мне казалось, раскачивался крест, и от этого, так и не прозвучавшего, вопроса.

Евгений СТЕПАНОВ

/ Москва /



* * *

Тебе, как всегда

Родина моя — твой голос
твоя душа
твои руки
глядящие меня по голове

я старый-старый эмигрант
эмигрировавший в твой телефонный звонок
и твою заботу обо мне

я очень счастливый человек
я знаю
что такое любовь

30.03.2013
Аэропорт

СОВЕТСКИЕ СВОБОДНЫЕ СТИХИ

Я попробовал написать стихи
О том как хорошо я жил в Советском Союзе
Занимался спортом
Читал русскую классику
Получал хорошие оценки по истории и литературе
Ел вкусное мороженое

Начал искать рифмы
Подбирать ритм
Но у меня ничего не получилось

Поэтому пишу без лишних изысков
Я занимался спортом —
Футболом и хоккеем
Играл в команде «Крылья Советов»
Ездили мы на тренировки через станцию «Электrozаводская»
Когда ехали домой, покупали сладости
Фруктовое мороженое по 7 копеек (в бумажном стаканчике)
Мороженое по 9 копеек (молочное)
или по 13 (сливочное, более вкусное),
по 15 копеек (крем-брюлле)
Стаканчик за 19 копеек
Очень редко покупали Ленинградское за 22 копейки
или лакомку за 28 копеек
Еще иногда покупали конфеты
Одна конфетка — трюфель — стоила 8 копеек

Еще мы покупали пирожки
С рисом за 4 копейки
С повидлом по 4 копейки
С луком и рисом по 4 копейки
С мясом по 10 копеек

А запивали газировкой
По 3 копейки с сиропом
По копеечке без сиропа

А еще помню мамины пирожки
Утку с рисом
Яблоки джонатан по 3, 50
Квас по 6 копеек (большая кружка)

Как ни странно
Главные воспоминания детства — гастрономические
И ностальгия по СССР у меня прежде всего гастрономическая
Нет уже того мороженого
Нет тех пирожков
Нет тех конфет

Есть только моя старость
И дряхлость

...Помню во дворах ездили (на лошадях!) старьевщики
Мама отдавала им старые вещи
А старьевщики нам с братом давали игрушки

Где вы теперь волшебные старьевщики
Вас так не хватает
Возьмите — отдам даром
Мои страхи и боли

Мой опыт жизни во многих странах
Мой опыт разлук и потерь
А мне бы только ту газировку
За три копейки с сиропом
Те пирожки
Которые делала мама...

27.05.2013
Замоскворечье

ПЕСНЯ

не буду ничего говорить
ничего о себе рассказывать
просто послушай песню Виктора Попова
на стихи Маяковского «Неоконченное»
и ты все
узнаешь
обо мне

13.05.2013
Оренбург

КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Норштейн (анимация)
Горенштейн (проза)
Офштейн (Горин) (сатира)
Рубинштейн (поэзия авангарда)
Зильберштейн (музейное дело)
Рудинштейн (кино)
Штейн (коллекция русской книги)
И т. д.

разве не безумие
разбрасываться такими камнями?

16.08.2013
Берлин



Кирилл КОВАЛЬДЖИ

/ Москва /

* * *

Вдруг в Москве я становлюсь рассеянным:
то ли здесь я, то ль незнамо где...

Женщина купается в бассейне,
в изумрудной плещется воде
(это происходит в Яунде)...

Очевидно и невероятно,
полусон под звуки странных струн...
Африка рябит жирафой в пятнах,
в близких бликах черный Камерун...

Время там вращается на месте —
вкруговую — десять тысяч лет...
Те же пальмы. Никаких известий.
Где слоны — истории там нет.

...Чуть шагнул — попал под ливень сразу,
негритенок тут как тут с зонтом:
клянчит симпатяга желтоглазый,
хоть монетку дай за то — кадо.

(Почему я вдруг тебе рассказываю?
Зябко здесь без африканских сказок.
Дай тебя закутаю в пальто...)

* * *

Переделкино. Осень. И солнце.
Высокодумные сосны
не участвуют в листопаде,
соглашаясь истины ради,

что в судьбе берёзовой есть
красота увяданья без боли,
подтверждение чьей-то воли,
и весенняя весть...

* * *

Здесь бываю раз в году, не чаще,
глину длинной памяти лепя. —
среди тех же сосен проходящий,
преходящим чувствую себя...
В небо, вверх указывают сосны,
белые берёзы — тоже вверх,
сетуя, что люди низкорослы,
верят в мир горизонтальных вех,
мир, где светофор — законодатель,
перед носом электронный гид...
Сосен вертикальный указатель
людям ничего не говорит?
Скоро город станет песней спетой,
но еще останутся леса,
чтобы там душой, а не ракетой
потянуться к солнцу, в небеса!

* * *

Бывает молодость второй,
а повезёт кому — и третьей,
но старость — только раз. И встретишь
её, как пропасть за горой,
или, как яму за порогом?

А я пойду своей тропой,
по молодым моим дорогам,
её таская за собой...

* * *

Сюда я больше не приду,
где женский мир до мелочей мне
знаком; — останься он ничейным,
подвёл бы легче я черту...
Но решено. Я не приду.
Полузверюшка, полушлюшка,
не попаду в твои края.
С подушкой рядышком подушка —
Ещё в ней вмятина моя...



Нина КРАСНОВА

/ Москва /

РЕПЕТИЦИЯ

Давай переиграем наш сюжет,
Сюжет романа нашего с Тобю,
Сюжет спектакля или телефильма,
Не весь сюжет, а эпизод один,
Который получился неудачным.

Мы снова сядем в Твой автомобиль
И снова к моему подъездем дому,
И там не будет никакой ограды,
А если будет — мы ее снесем,
А если будет — мы ее ломаем.

И сторожа не будет у крыльца,
А если будет — мы его «замочим»,
Ну, не «замочим», а нейтрализуем,
Ну, просто из сюжета уберем,
И он не будет наблюдать за нами.

И мы тогда поднимемся ко мне
По лестнице, ведущей не в квартиру
Хрущобную — в чертог Принцессы Грёзы.
А что в чертоге нет больших удобств
И пол щербат, значенья не имеет.

А там зато волшебный есть диван,
Продавленный немного и скрипучий
И для двоих немного узковатый,
Но мы с тобою именно на нем
Осуществить несбыточное сможем.

И это будет лучший эпизод
Во всем романе нашем не служебном,

Во всем спектакле или телефильме,
Где выступаем в главных мы ролях
И не кого-то, а себя играем.

*21 января 2007 г., воскресенье,
Москва, Перово*

*(По наброску 1 декабря 2006 г.,
после возвращения из Рязани)*

БЯЗЕВЫЕ МАКИ

Ты ко мне из реальности будешь являться
И на бязевых маках со мною валяться.

Мы под наших сердец сумасшедшие стучи
Будем оба такие откалывать штуки.

С ЛИБИДІ́ного озера я лебедица.
Будем мы до потери сознания любиться,

Гость ночной и не спящая птица ночная,
И кончая вдвоем, и опять начиная...

*18 декабря 2006 г., понедельник,
Москва, Перово*

*(По наброску 11 декабря 2006 г,
после покупки нового комплекта бязевого постельного белья
с нарисованными на нем маками)*

АРТИСТКА ПОГОРЕЛОГО ТЕАТРА

Я иду по Москве, в переходах кого-то толкая,
Костюмерные старые джинсы на мне и мокасы.
Я — никто для прохожих. А кто я такая?
Я — частичка народной массы.

У меня за душой — заваливающая мятая трешка.
Нечем мне со своей незавидной судьбой расплатиться.
...Я в поэзии русской — Петрушка, Матрёшка,
Красна девица и Жар-птица.

*10 августа 2007 г.,
Москва*



Владимир КОРКУНОВ

/ Москва /

МОЛИТВА

Свете

Она переворачивала часы взглядом —
и время осыпалось — к прошлому.
Я связывал её знаниями и планами,
подносил к губам завтрашний день,
прятал в извивах ночи усталый взгляд.
Она говорила о прошлом:
трогательно и печально,
вытягивая из реки дождь,
возвращая тучи на небо.

...А теперь мы встречаемся,
и я не понимаю,
кто оставил шрам — знаком вопроса — на ресницах другого?
Кто кого окунул в прошлое?
(И оно сдавило — как знания, перестающие быть правдивыми,
манят в ловушку красоты.)

В мире перевёрнутого времени всё меняется местами!

Не уходи от меня,
дай всмотреться
в разлетевшийся опыт,
обыграть тебя,
пробираясь сквозь дождь, прошедший вчера,
к сегодняшнему страху и завтрашнему солнцу.
Позволь и мне перевернуть часы.
Я люблю тебя.

* * *

Улицы Кашина были такими корявыми,
Но выводили к цели — как и наши пути друг к другу.
Мы вышли на берег, сели в тень, а потом ты, подражая уткам, крякала,
А я кормил тебя клюквой в сахарной пудре.

(Я никого не кормил клюквой в пудре до этого,
И никто мне не кричал, светло улыбаясь, светло и чисто.)
Возникало в корявости Кашина что-то светлое, детское и светлое,
И шушукались летние листья над тобой, моя маленькая артистка.

И они занесли нас в извилистый парк, мы сидели на лавочке,
Я вспоминал Габриэля Гарсиа Маркеса, а ты плакала,
положив мне голову на колени,
Потому что тогда мы чуть-чуть не упустили,
но потом всё же поймали главное.
Очень сложно не плакать, как сложно не сдрейфить,
принимая важнейшее из решений.

Мы уехали ночью, сбежали с корявого остова,
Позже — шли по Калязину, уходящему медленно в темень.
И я понял, что самое сложное — выразить просто
Этот дикий коктейль, что смешался во мне из таких непохожих,
но в чём-то единых мгновений.

Из цикла «Дневник»

*Марии Малиновской,
во время простудного жара, граничащего с помешательством*

23 ноября 2013 года

Смерть — завершающий акт творения.
Для художника.
Обыватель истлевает весь.
Одиннадцать дней назад прочёл:
дети — вклад в угасание,
а если кризис —
ростовщик отнимает всё — и проценты, и детей, и старость.

29 ноября 2013 года

Секс — форма коммуникации,
он нужен лишь в том случае,
когда не можешь иным способом передать, что у тебя на уме.
Пора кончать с прозой и говорить бессловесно,
на худой конец — стихами.

33 ноября 2013 года

Самоубийство — преступление или право?
Я убил себя как неспособного жить в рифме.
Вот и приходится умереть.
И, чёрт возьми, хватит прозы,
неужели стихи кончились?



Ара МУСАЯН

/ Париж /

НОВОСТИ С ФРОНТА

I

Не гораздо ли реализуемей — реальней и разумней — было бы сестя за перевод стихов Малларме, несмотря на их заведомую герметичность, чем то, к чему я собираюсь приступить в неудержном порыве общения: странице *прозы*, где уже невозможно оправдать переводческую отсебятину самой *непереводимостью* поэзии, и где цель уже — не «музыка», не красота, а лишь одно *сообщение*. На память мне, как в былинах о богатырях в критический момент приходит перевод «Гильгамеша» Боттеро, где пропавшие фрагменты клинописи указаны пробелами, — такими же пробелами в моем переводе пусть будут указаны не<до>понятые мною... увы, их будет не один пассаж.

Марсель Пруст — интересно! — еще «не состоявшийся», но активно готовящийся стать *кем он есть*, критиковал поэта в статье «Против туманности», заслужив трепку от мэтра в ответных «Мистериях слова»: тогда кумиром Пруста был не кто иной, как Анатолий Франс!..

Страница, которой хочу поделиться — из «Музыки и Слова», текста Оксфордской лекции, произнесенной Малларме сразу же по его выходе на пенсию (учителем английского языка) по приглашению вечно ясновидящих, всех опережающих в делах (*чужих*) искусства — англичан: *в ней поэт мимоходом затрагивает этимологию своего имени*.

«Газетные вырезки нашептывают о моем участии — о, недостаточно скромном! — в скандале, распространяемом томом, будто первым памфлета, упорствующего в чуть ли не повсеместном изведении самых выдающихся на сегодня голов; и — частота таких терминов, как идиот, дурак, редко смягчаемых безумцами или помешанными, бросаемых, словно камни, в сторону высокомерной несвоевременности княжества будто бы угрожающих Европе умов, пришлось бы мне до некоторой степени даже по душе; остерегаясь перебора доброй воли, не смею, однако, высмеивать ее у тех, кого приводят в восторг пустые симптомы, столь что угодно жаждет построения. Беда — что сюда вмешивается, или замешивают — науку. «Вырождение», заголовок, *Entartung* — из Германии, труд, да будем эксплицитны — г-на Норда: хотел было избежать кого-либо называть по имени, дабы сохранить об-

щий характер высказываниям, но и не думаю, что этим подорвал свое намерение. Сей вулгаризатор сделал следующее наблюдение: природа не разом порождает гения, и не в готовом виде, иначе бы он отвечал общечеловеческому типу и никаким бы гением не был; на деле, невредимым большим пальцем руки она лишь незаметно притрагивается, тут же почти полностью упраздняя способность у тех, кому она предлагает иную щедроту: <...> Послушайте-ка, что происходит? Из лишения извлекая силу, растет до полномочных намерений слабосильный избранник — после которого, да, остаются под видом бесчисленных отбросов его братья — казусы, квалификация которых дается медициной или бюллетенями по исходу выборов. Ошибка памфлетиста в том, что для него — всё суть отбросы. Поэтому нельзя, чтобы субтильные секреты физиологии и судьбы попадали в руки, слишком грубые для обращения с ними даже самого превосходного мастера или добросовестного наладчика. Который, приостановись он в пути и прояви, гляньте-ка! чуточку больше прозорливости, смог бы в какой-то мере постичь убогие и священные пути природы, и кончил тем, что не написал бы книги».

.....

Mallarmé — *mal armé*: «плохо-оснащенный, -снаряженный», слабосильный, маломощный...

.....

Стиль — слово, вынужденное, не успев одеться в форменное платье, выбежать нагишом на улицу-страницу в погоне за вечно готовой к побегу, как законный муж — мыслью, следуя ценой сверхчеловеческих усилий за ее непредсказуемыми скачками, поворотами, изворотами...

* * *

По-французски «ближний» (о человеке) звучит — «подобный».

Все мы друг другу подобны, но и разны — *разовы*.

По принципу близости, схожести — отличия эти со временем образуют более или менее устойчивые *разновидности*: эпилептики, аутисты, параноики, шизофреники.., но какие-то остаются «бесподобными», и тогда их называют *гениями*.

* * *

Смотрю — *слушаю* по телевизору оперу Вагнера... Клонит ко сну. Что-то сдерживает, однако: фабула, инсценировка, декорации?.. Музыка?.. — *Вагнеровская постановка голоса*.

«Лоэнгрин» — проблема гения и его сожительства с ближним окружением (аналогичный сюжет — в «Семеле» Генделя: оба чудесно объявившихся «героя» обещают верность любимой, но при одном, *трагически* невыполнимом условии — чтобы возлюбленная не спрашивала, ни имени, ни откуда они).

Конфликт между призванием художника и половым влечением (к Минне Планер, будущей жене Вагнера);

у Генделя — придворные амуры тогдашнего английского государя?

* * *

«Есть немало писателей, гораздо более ловких, удобочитаемых и менее наивных, чем Бальзак. Даже удивительно, как быстро после него писатели научились развивать действие с полной естественностью и передавать страсти без всякой риторики и преувеличения. Стали писать так гладко, что по всем романам можно проскользнуть без всякого нарушения обычного своего состояния. А у кого хватит терпения обойти весь необозримый мир образов Бальзака? Ведь даже школьник презрительно скажет, что рассуждения надоедливо перебивают у него действие, что ангелоподобные его героини слишком похожи на слащавые гипсовые фигурки, что самый замысел, будучи выделен из любого его романа, у него беден при свете открытий естествознания. Среди сотни произведений Бальзака, в самом деле, и поклонник его едва ли укажет хоть одно, до конца удачное и доработанное.

Однако не слишком ли поспешили мы к ловкому писательству?

Что-то скучное ощущается во всяком новейшем беллетристическом произведении, как только вспомнишь, какие возможности таило в себе творчество Бальзака, в котором аналитически настроенный историк с такою легкостью находит нагромождение недостатков. Есть нечто безусловное, достоверное и в самых неудачных его произведениях, от взгляда на которые кризис современной литературы становится ужасающе явственным. Как только мы освобождаемся от указок позитивной исторической науки, наше непосредственное восприятие называет творчество Бальзака абсолютным. Если не бояться явно устаревших терминов, по первому впечатлению хочется назвать романы Бальзака абсолютно-эстетическим явлением: настолько впечатление это сильно, настолько снисходительно готово оно отнестись к самым недостаткам его романов». Борис Александрович Грифцов, «Гений Бальзака».

Долго переводили великого писателя на русский, а «Шагреневую кожу» — без малого сто лет: те, кому эта история могла что-то говорить, видимо, сами владели французским. Булгаков писал «Мастера и Маргариту» — как выяснилось недавно — по программе «Фантастической» Берлиоза. Скрябин — в озаглавленной «Белой мессой» Седьмой сонате однозначно отсылает к фантазмагии Бальзака, в одной из самых первых страниц которой лишь и встречается никому непонятная в наши дни *«messe blanche»*.

«То был один из современных Танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из скупцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтой, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники с Богом, когда служат ему белую мессу» (у Грифцова: «...как молодые священники — с причащением, когда служат раннюю обедню»).

Единовременная историческая справка о «белых мессах»: в эпоху французской революции так назывались мессы, отправляемые самими прихожанами в отсутствие церковников, разогнанных новыми властями; «настоящими» или «законными» — мессы в их присутствии.

Вряд ли на рубеже тридцатых годов Бальзак, описывая современное общество, имел в виду давно минувший эпизод Французской революции. Из его описания мы лишь можем представить готовящегося к отправлению

службы молодого юре, повторяющего вполголоса слова текста мессы. *Белая*, здесь — скорее, *недействительная* в смысле «белого брака» — произносимая в отсутствии прихожан, вхолостую: композитор, притязая, как всякий уважающий себя художник, на прямую связь с Всевышним, чувствовал себя обреченным к непониманию, «месса» или «послание» которого так до конца и не дойдет до сознания публики, останется, как мертворожденный ребенок, в лимбах между им самим и Богом. И раскрывается смысл подсказанной со стороны «Черной мессы» для Девятой сонаты, так явно провозглашающей разгул чувственности: *не лимбы, так вакханалия!*

* * *

Не странно ли, читая критические очерки Малларме («Кризис стиха» и др.), видеть отличие его от нас в том, что он не пережил (надо ли добавить «ужасов»?) двух мировых войн — составляющих сердцевину мироощущения людей нашего времени.

Предвещал *новый* век, не зная, однако, толком, во что выльется это «новое» — зная лишь, что он не будет продолжением *его* — «XIX» — века.

* * *

Печально — видеть как именитые пианисты (сегодня утром на диске — Артуро-Бенедетти Микеланджелли) буквально *лезут вон из кожи* показать нам, смертным слушателям, свою близость с *бессмертными* — Шопеном, особенно, всех больше, правда, требующим к себе *особого* подхода

Исполнители — между коими и переводчиками французский язык весьма находчиво не проводит различия,

— *толмачи*, предлагающие бессмертных творений, не нуждающихся ни в каких «ис-полнениях», пополнениях, переполнениях свои лишь персональные *представления*, пред(по)ложения, «переложения»...

Проблема литературного *перевода* и музыкального *воплощения*: «помощь невидящим», тем, кто не владеет, или языком оригинала, или азбукой нот. У тех же, кто этим грамотам обучен — неоченимое преимущество обойтись простым листанием партитур, бумажным ознакомлением с текстом — Шекспира, например, избегая сплошь и рядом *бездарных*, «оригинальных» его инсценировок.

* * *

Константин Комаров — возрождение русской романтической поэзии? «Романтической», или лирической с преобладанием тяготения к смерти над умилением жизнью. — Новизна стиха в чередовании «*зальце, Зальцбург*» — и, одним махом наверстывая Хармса и весь европейский сюрреализм — «*труп Моцарта терзают зайцы*»...

.

Запад: человечество не может довольствоваться простым самого себя продлением. Нет обновления, иссяк потенциал — закончится. Ничем не ограничено, кроме как в нем самом заложенным ограничением...

(Смерть — естественное явление, естественность которого теряется в *слове*, а судьба каждого сливается с судьбой всего человечества.)

.

Переключившись с тусклого и добродушного голоса ведущего воскресной еврейской программы на хор (нажав на кнопку) рабов в «Набукко» — вновь осеняет дифференциал между христианским и нехристианским — пропасть, разделяющая жизнь на уровне жизни, и *жизнь для смерти* — христианскую:

страсть — извлекать из всего не только и не столько жизненно необходимое, а все вплоть до истощения — жанра, нововведения, месторождения... Курс, однозначно направленный на разовое пользование — исчерпание без возобновления. «Протестантская этика и...» — осеняет смысл появления на исторической арене магометанства: прямая противоположность доброй вести Апокалипсиса о конце времен, конце света — и, чем ближе конец, тем страшнее, и отчаяннее — сопротивление.

* * *

...Чтобы что-то, да осталось, устоялось от этой *летучей* — на глазах испаряющейся — «эпохи».

* * *

Мо Янь, «Тринадцать шагов»...

Специфика *повествования*, как литературного жанра.

Превосходство над всеми другими жанрами — коль скоро повествование может быть названо *жанром*: поэзия, театр, роман...

Лирика — стихия индивидуальности, театр — ближнего окружения, роман — нации.

Ни Толстой, ни Достоевский, ни Флобер не занимались ни стихами, ни театром.

Шекспир написал случайные — превозносимые сегодня критиками — сонеты.

Поэты пробовали силы в драматургии, прозе (Гюго, Мюссэ) — ничего из ряда вон выходящего.

Откуда и мое «превосходство»: одни не снизойдут, другие хотели бы возвыситься — не получается.

* * *

Читать «Господ Головлевых» на старости лет — шанс оказаться в возрасте, в котором писал сам автор.

«Вот многие нынче в бессмертие души не верят... Наука такая есть. Будто бы человек сам собою... Живет это, и вдруг — умер!», — трусит стареющий Иудушка.

Более чем сатира — трагедия, менее чем роман — исповедь.

* * *

Что-то страшное стряслось в начале века (прошлого) с Америкой, чему свидетелями остались между собой одни *местные* (Хоппер, Айвз...).

А произошла сама что ни на есть *без-мерная* — неумеренная и никем еще не усмиренная А-мерика — с окончательным в ней вырождением потомков европейцев.

Реванш индейцев?

* * *

«И ступая осторожно, на ощупь по неровным подводным камням, пройдя половину брода и подняв глаза, вы увидите, что противоположный берег, казавшийся таким далеким и неприступным, уже сам обвалился».

Афористическая форма наиболее доктринальных высказываний китайских лидеров — в противоположность западному многословию с его трактатами, теологическими суммами, гегелевскими энциклопедиями, Маркса нескончаемыми томами «Капитала»...

Чем-то напоминает ленинское слегка опрометчивое «капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Но «капиталисты» сегодня уже сами перешли на службу КПК и ее бескомпромиссной планетарной политики.

Встреча на верхах «объективного» духа (Наполеон) и «субъективного» (Гегель) — под Иеной в 1807, а сегодня нечто подобное переживалось мною перед экраном телевизора — этого окна в мир, преподавшего мне трехчасовую программу о недавнем прошлом Китая и возможном его и всех нас под его эгидой (указкой?) — будущем.

* * *

Иудаизм и его «некрасивый» национализм — в противоположность прекрасно(душ)ному христианскому универсализму.

Закрытый клуб, где возможна перебранка, исключено кровопролитие.

Реализм первой в истории нации (были ли нациями Вавилон, Египет?): при всем желании, всех не впустишь в святую святых.

* * *

Игорь Маркевич — «статуя командора» в финале «Дон Джованни», дирижирующая «Пражской симфонией» (черно-белая запись, Париж, 1967).

* * *

Видим — а где еще можно увидеть что-нибудь новое, узреть, как не в специально для *видения* устроенном аппарате — людей с живыми, интеллигентными лицами, приветливо улыбающихся камере, способных рассуждать, острить перед ее бездушным глазом, вовсе не завсегдаев телестудий и — вопрос: как и почему эти светлые личности не стали — как мы сами — писателями, *просветителями*, а лишь винтами и гайками общественного благоустройства: врачи, юристы, инженеры, администраторы, дирижеры, режиссеры...

В какой-то момент море успокоилось, ветер повернул, на горизонте причудился «остров сокровищ» — кормчему в шлюпке оставалось лишь делать небольшие усилия для поддержания курса, но — островов оказалось тьма, сокровищ на каждом — мизер, и вся молодость, сметливость, духовность, остатки которых еще способны создать минутную иллюзию перед камерой, ушли на голое поддержание курса для курса, перекочевки с одного острова на другой. Так и остались без конца врачевать, судить, дирижировать, инсценировать — словом, *завправлять*. Интересно — что есть для них музыка, литература?

* * *

Зачем французам романы — в их сказочной стране!

* * *

Все посредственно — *многое* — у американцев, кроме чувства собственного достоинства (что не без зависти отмечал уже автор «Москва — Петушки»).

Можно ли быть посредственным и одновременно — самоуверенным? Подкупающая непринужденность малейшего, чем-нибудь прославившегося «четверть часа в жизни» американского актера, рокера, чечеточника — без капли бахвальства ни тени застенчивости распространяющихся о себе перед — безличной, правда — массой телезрителей.

Откуда уму непримолжимое их это олимпийское спокойствие?

* * *

Проза — лат. *вперед* (— потому ли, что *повествование?*); стих (*versus*) — *назад* (— с новой строки?).

У меня — ни стихи, ни проза — ни вперед, ни назад. — В сторону?

И иногда, но редко, *вверх* — вознесение, *левитация*.

* * *

«На полях этих этюдов, столь живо и отчетливо запечатлевших самые непостоянные и неуловимые по цвету и форме явления — волны, облака, — всегда указана дата, час и направление ветра, например: "8 октября, полдень, северо-западный ветер». Если вам доведется когда-нибудь увидеть одну из таких "метеорологических красот", вы по памяти можете удостовериться в точности наблюдений месье Будена. Прикрыв рукой название картины, вы непременно угадаете время года, час и направление ветра. Я не преувеличиваю: я это *видел*. Тучи с их фантазмагорией светящихся форм, хаотическими потемками; зеленые, розовые, свисающие или нагроможденные друг на друга пространства, разверстые горнила, небосводы из черного или фиолетового искомканного, скрученного, местами рваного сатина, траурные или струящееся плавным металлом дали — все эти бескрайности и великолепия, под конец мне ударили в голову, как спиртное или опиум». (Шарль Бодлер, *Обзор Салона художников 1859.*)

«Буден — Вы поистине государь небес» (Коро).

«Плыть в небе. Дотронуться "нежностей" облака. Подвесить эти массы в самый фон, — далеко, в глубине серой туманности дать вспыхнуть лазури... Чувствую, что все это начинает шевелиться во мне. Какой восторг, и вместе с тем, какая мука! Будь у меня спокойный фон, не удалось бы достигнуть таких глубин. Получаются ли у голландцев красоты облака, которых добиваюсь я? Эти небесные умиления»...

«Будену я обязан всем» (Моне).

«Три мазка с натуры лучше, чем два дня работы в мастерской».

«Вчера я посетил выставку, в которой немало нашумел Моне. Этот малый стал настолько дерзок в тонах, что после него невозможно смотреть ни на кого другого. Он обскакивает и старит все, что его окружает. Не было до него ничего пламенней, ни напряженней».

«В моих глазах, привыкших к маринам Гюдена, искусственным тонам, фальшивым нотам, надуманным композициям (...), небольшие, столь искренние композиции Будена, полностью рисованные и писанные с натуры, не представляли ничего художественно ценного. Так что его стиль вызывал во мне самое откровенное отвращение».

«Когда проводишь месяц среди людей, обреченных к тяжелому труду в поле, черному хлебу и воде, а потом видишь эту толпу "золоченых" паразитов с их столь откровенно торжествующим видом, становится слегка не по себе».

«У крестьян есть свой художник, но неужто у буржуа, прогуливающих по набережной перед заходом солнца, нет никакого права быть запечатленным на холсте, быть выведенным на свет? Ведь чаще всего они сюда приезжают отдохнуть от утомительных дней в своих конторах, кабинетах. Даже если среди них есть паразиты — нет ли людей, лишь сделавших свое полезное дело?»

* * *

Не в специфике ли политического строя России, держащегося с какими-то маргинальными вариациями во времени — секрет долговечности русской поэзии (сто лет после строк Анны Ахматовой о парижской живописи, съевшей французскую поэзию), к которой еще сегодня мыслящие россияне продолжают/вынуждены обращаться, как к единственному политически приемлемому модусу выражения мыслей, волнений, тревог?

Достаточно обратить внимание на удельный вес историко-политической тематики в стихотворениях современных русских поэтов — начиная с хрущевской оттепели, кончая сегодняшней неопределенностью.

Поэтому неудивительно, что продолжает жить во всех концах 1/6 (теперь, возможно, уже 1/7) — в отличие от музыкальной, которую за сто лет успело полностью искоренить радио — стихотворная самостоятельность с плеядой поэтов, продолжающих преумножать золотой фонд еще молодой — всего-то двести лет! — русской поэзии.

Платон видел в искусстве антиобщественную силу, которую стремился изжить в своем утопическом прототипе фашистско-коммунистического государства. А искусству, оказывается, суждено было умереть собственной смертью две тысячи лет спустя в наших государствах — демократических.

Двадцати лет не пройдет, как и в России...

II

Впечатление, будто, миновав женщину и не уделив ей минутного внимания, мы облеклись в костюм человека, с головой погруженного в *тщету существования*.

* * *

Любопытное поведение бабочки — приземлившейся на дорожном асфальте и долго на нем что-то выискивающей — *высасывающей*?

* * *

«Куда ты денежся...» — периодически приходит на ум, и — никуда не применить, ни к чему не приделать-приладить.

* * *

Как отраднo, что небо над нами — не толстое стекло, и мы на земле не инфузории, глисты, тараканы!

* * *

Почему-то «кило» — это килограмм, не километр: у тяжести более *веские* доводы в пользу облегчения, чем у дистанции в пользу сокращения.

* * *

Литература со спортом ничего общего не разделяющая (тренировки, соревнования, кубки, медали...). Однако, чем не *призы* — Нобелевские, Сталинские премии?

* * *

Кушаю сегодня, как когда-то «любил»: по-гусарски, на скорую руку.

* * *

«Всесведущий» — слово, хоть и понятное в своем построении и намерении, однако в словарях отсутствующее. Из-за неблагозвучного «все-све»?..

* * *

Нет, и французское *net* — чистое (место).

* * *

Как мизерны шансы столкновения двух небесных тел, так и сближения двух сознаний — *миров*.

* * *

Время — нечто тратимое, *свое*, ограниченное: срок.

* * *

В глазах формальной логики язык доказывают свою несостоятельность, допуская такие слова, как «молодеть». А язык это делает и фантазией одной человек живет.

* * *

А я бы сделал иначе: клавиши низких (наиболее громких нот) устроил бы справа, высоких, для руки более деликатной, женственной — слева...

* * *

От одного того, что она обособляется, как бы уединяется, языку тут же хочется применить к бедняжке уменьшительное — *приласкать*, хотя при этом обособлении она,

Буквица,

наоборот, лишь взбучивается — прибавляет, как жаба, в объеме, вот-вот в уши нам бухнет-бабахнет.

* * *

Мысль свою женщина выражает *действиями* (не словами, не доводами и не соображениями). — На склоне лет постичь что-то капитальное в женщине!

* * *

Как между испанцами и французами, разделенными Пиренейским хребтом истина — разная (известное изречение Паскаля), так и между женщинами и мужчинами: живут на разных планетах, иногда с приближающимися вплотную, но редко — траекториями.

* * *

После трехнедельного гриппа и топтания на месте — весна сознания, копошение, брожение — *возрождение*.

* * *

Любопытно видеть на улице разговорившихся супругов — словно случайно встретившихся незнакомых или недавно разошедшихся, но оставшихся жить в одном квартале. Как если не место — *неудобно* было бы обсуждать вопрос дома, с глазу на глаз — без свидетелей.

* * *

Под конец осеняет, почему люди женятся: чтобы на старости лет стать один для другого костью — правым для одного, левым — для другого.

* * *

Литература — не имеет *материальных* последствий: не землетрясение, не война, не революция.

Все искусство писателя — из мухи сделать слона: «Анну Каренину», или наоборот — из кита сделать, правда, толстую, жирную, сдобную, но такую муху — «Войну и мир».

«Без этих Толстых можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека».

* * *

Ловушка письма «для себя», в стол: ничего дельного из этого не выйдет. Писать, лишь имея в виду — на виду, имея хоть одного *читателя*.

* * *

Как Колумб, все еще, в четвертую и последнюю экспедицию, недопонимая суть открытых им земель, хочет видеть в них не иначе, как библейский рай, примерно то же самое испытывается Малером в *Восьмой симфонии*: все «земное» уже написано, настало время небесного.

И точно так же, как райское видение Колумба обернется адским кошмаром конквисты, так и Малера херувимские ноты и голоса потонут в грохоте надвигающейся Войны.

* * *

Похороны Тэтчер, 17 апреля 2013.

— Писатель: *безответственный* в сравнении с политиками, а — непогрешимый.

* * *

Забавно после месячного взаперти сидения дома, вновь столкнуться на улице с картиной обыденной комедии, на каждом шагу разыгрываемой этими *полоумными* — прохожими.

* * *

Эквивалент слову «игра» на тюркско-монгольских языках отсылает к заигрыванию самцов с самками перед совокуплением. Поучительно?

* * *

Деньги: чего лишаются одни, когда их достают — как дети на карусели хвост микки — другие.

* * *

Все неприятности — от того, что что-то (неодушевленное) или *кто-то* сопротивляется нашей воле.

Радикальное средство — отказ от собственной воли.

Останется, ничего не желая — всего лишь пожинать.

* * *

Правое и — *правое*.

Прямое и *кривое*.

Почему-то правое дело не назвали прямым, как прямого человека.

* * *

Люди — прогуливающиеся по моей «Зеленой аллее», как я, присевший на скамейку записать мысль — быстрее покрывают триста метров аллеи, чем я — эти несколько сантиметров блокнотного листка.

* * *

Как циклоны в южном полушарии вьются по часовой стрелке, а в северной — против, такая же полярность наблюдается между западноевропейской и восточной арабо-византийской музыкой: на западе, звук вихрится ввысь, на востоке — тяготеет долу.

Русское православное песнопение — плывет ровно, *плавно*, — ни против течения, ни вниз — *песнь духов над водами*.

* * *

Не занимательно ли, в плане языкознания, что *клинопись* изначально выводилась на *глине*?

* * *

Писать (то же самое происходит во сне и сновидениях) — все равно, что очищаться, опорожняться, промываться. Вся убийственная сила *пыток* (в подвалах Лубянки и др.) — в лишении сна. Не происходит очищения, образуется затор — общая *заторможенность* сознания, духа, воли.

* * *

Человек — то, что может обратиться в животное. Животное — из которого уже вновь никогда не родится человек.

* * *

Еще один смысл распятия: воскресши, Христос сторонится Магдалены.

* * *

Живопись — то, что, будучи раз узрено — запомнилось: не фотография.

* * *

Отвращение, испытываемое к самому себе от одного лишь насморка и состояния чуть ли не безумия, в которое он меня погружает. А что, если вместо насморка у меня бы объявился рак!

* * *

Четыре часа ночи — «ни кошки» на улице; единственные изменения на сетчатке — от переключения светофоров, размотки световой рекламы пред мэрией. И — в километрах четырех, чудом минуя нагромождения зда-

ний, кровель — фары, слегка сплясавшие даже на таком расстоянии — по той самой улице, уже давно опознанной, которую приходилось пересекать дважды, а то и четырежды в день, когда я там писал «в подполье»...

Жар и — внутренний маразм. Третий гриппозный эпизод, — и не видно конца зиме.

* * *

«Назад», что «вперед»: тридцать лет *назад* — тридцать лет *вперед*.

* * *

Механизм видоизменения воспоминаний под действием аналогичных событий на всем протяжении жизни — информации, почерпнутой в книгах, школе, разговорах, которые, подобно водам рек и притоков в итоге образуют единый поток, новую — обогащенную и *переименованную* ментальную реальию, сменяющую первичное собственно воспоминание (*впечатление*).

* * *

Не думал, что первое, чем я захочу воспользоваться после пленарного ухода от дел, чем даже «злоупотреблю» — будет возможность *болеть*: неделя с фарингитом, выздоровление; три недели бронхита, выздоровление; и снова, на это раз — грипп.

* * *

Сажу в темноте перед черным экраном телевизора,
Тишина.

Лишь в ухе — звон.

Валерий ЮХИМОВ

/ Одесса /



* * *

ночью полной луны на берег выходят крабы,
маленькие крабы, за руки взявшись, попарно,
их оловянные панцири скроены домом культуры прадо,
они поклоняются белой богине астральной,
с песней пунических войн маршируют их маленькие отряды.

ночью полной волны крабы съедают берег,
маленькими челюстями перемалывая ракушки и кремний,
волна за волной арабы обгладывают пиренеи,
взявшись за руки всем гаремом,
салют, говорят, алес капут, говорят и разучивают — я хренею.

ночью долгого дня море садится в ногах, на краю кровати,
словно садовник, подсчитывающий урожай,
на свет ночника слетелись ферины, ставриды и черт мохнатый
лезгином держит в зубах кинжал,
а ты зажимаешь берег тампоном из ваты.

ночью длинных клешней, в хирургическом лунном свете
иссекается ткань суши, нарезанной тебе в надел, и с каждой волной
морской хронометр отсчитывает возраст —
девять, десять, пятнадцать метров, где ты
вместе с пляжем упруешься в обваленный меловой...
и давят застежки в хитиновом тесном корсете.

* * *

в миске залива в полдень распластана камбала,
плавником очерчивая горизонт, за который не заглянуть,
на привозе такую и сам бы взял
за ее белотелую грудь.

хвост ее покрывает фонтанский мыс, дачу писателей
и артиллерийскую батарею, так что мир стоит не на трех китах,

и спина ее, как у байкера, очаровательна,
вся в наколках и вся в шипах.

хищного рта ее напомаженное сладострастие,
глаза ее, как две серны, пробегают бульваром взад-вперед,
обделил ее бог запястьем,
но зубов насовал ей в рот.

вечер накроет посуду крышкой, притушит гудение
дрожащего воздуха над конфоркой, лишь мошकारа
празднует ежедневный день рождения,
рыбе спать пора.

* * *

с некоторого момента глядеть вдаль
означает смотреть назад, где хвост пути длинней,
там по кружкам нам разливали сталь,
прессовали зло за паскалем паскаль
от москвы до новых гвиней.

там, куда проникает взгляда педаль,
хасмонею отдал жизнь за свиней,
там сын и отец, стэнд-ап и стэнд-аль,
субботним днем разоряли пигаль,
вдвоем, как один, адоней.

где султан воздвиг вавилонский мигдаль,
вдаль глядеть на родной бруней,
там с орехом никто не путал миндаль,
а кто путал, того в кандалы и в подвал,
по здешнему, значит, кондей.

там зубную тоску надувает мистраль,
как цыган на продажу коней,
восходящий поток ищет лилиенталь,
набирается соком растущий кристалл
в колыбели своих пиреней.

сталь пролитая переполняет грааль,
истекает кипящий елей,
ветренный ветер сосуд опростал,
так и ржавеет застывший металл
коркой несжатых полей.

в рост поднялась мутагенная шваль
пиками в ряд, над ней
стынет ущербный месяц февраль,
это от долгоглядения вдаль
бездны глаза красней.

Вера КОЛОКОЛЬЦЕВА

/ Санкт-Петербург /



РОССИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ

Путч

В тяжелое послеперестроечное время я зарабатывала на жизнь приемом и выгулом иностранцев. Они у меня жили и кормились. Я их водила по музеям и разным достопримечательностям. Некоторые хотели учить «русского языка», так что и уроки тоже пришлось давать. Особая прелесть этих уроков заключалась в том, что все иностранцы были из Швейцарии и разговаривали на французском и немецком, которых я не знаю. Поэтому все правила русского я объясняла им по-английски. Бизнес был вполне прибыльный. Так что денег, заработанных за лето, при экономном использовании хватало на три остальных сезона.

Присылал туристов ко мне наш швейцарский приятель, выучивший русский язык так, что акцент в его речи не слышался совсем, да и манеры он приобрел вполне российские. Мы все его очень любили за доброту, любознательность, неевропейскую открытость и чувство юмора. Он всегда старался помочь — привезти лекарства, одежду, что-нибудь вкусное... Время было тяжелое, все по карточкам. Для Анри это было экзотикой, для нас — нормальной жизнью. Он восторженно крутил головой и радовался:

— Как у вас интересно жить! Все время что-нибудь происходит.

К тому времени он уже лет семь или восемь учился в университете в Базеле, переходя с одного факультета на другой, благо там высшее образование бесплатное, а граждане Швейцарии имеют право учиться чему и сколько хотят. Анри ушибся о славистику, зачитавшись русской литературой. Русская склонность к рефлексии, абсолютно не характерная для прагматичных швейцарцев, преобразовалась у него в любовь к философствованию. Кто бы стал беседовать с ним о судьбах мира, литературных параллелях, живописи и графике, музыке, архитектуре и т.д. до пяти утра, сидя на швейцарской кухне? А вот на русской — пожалуйста! Он был хорошо образован, обладал прекрасной памятью и замечательно подвешенным языком, так что собеседник из него получился отменный. Все, у кого он жил, были люди творческие и, следовательно, с утра на службу не бежали, так что ночные беседы плавно переходили в утреннее продолжение за завтраком.

Он обладал счастливой способностью оказываться вовремя в самых интересных местах. Анри был в Вильнюсе во время ввода туда горбачевских танков, он оказался в России в августе 1991 г. Кстати, приехал он тогда вместе с невероятно колоритной личностью — потомком русских эмигрантов первой волны. Человек этот был достаточно интеллигентный, но законченный алкоголик и неврастеник. Ходил по городу в белой белогвардейской форме, что выглядело по-киношному бутафорски. Отсидев сутки на баррикадах, которые народ начал сооружать в районе Исаакиевской площади, Анри с ряженым белогвардейцем ввалились ко мне посреди ночи с 20 на 21 августа, измученные чуть было не совершенным подвигом, голодные и возбужденные. Муж мой в те дни уехал в Москву, дочь жила на даче. Дома были я и мама, которая накануне исхитрилась купить килограмма три гороха и пакет еще какой-то дефицитной крупы. Впрочем, любая крупа была дефицитом. Убрать это богатство в кладовку мы почему-то не успели.

Накормив гостей ужином и выслушав все последние новости, я с трудом загнала их спать, после чего мгновенно уснула сама. Сквозь сон я слышала какой-то шум, но проснуться, чтобы разобраться в его происхождении, у меня сил не было. Утром, выйдя на кухню, я обнаружила рассыпанные на полу все три килограмма гороха. О том, что произошло ночью, мне рассказала мама, которую разбудили странные звуки. Она решила, что кому-то стало плохо, и вышла в коридор. Дверь в комнату гостей была открыта, несостоявшийся белогвардеец стоял на карачках в семейных трусах, раскачиваясь вперед-назад и выкрикивая на одной ноте:

— Бл*дь! Бл*дь! Бл*дь!..

Мама, человек в высшей степени благовоспитанный, педагог с пятидесятилетним стажем, о существовании подобных слов, видимо, подозревала, но, не то что употреблять, а даже слышать их спокойно так и не научилась. Решив, что раз человек так себя ведет, значит ему совсем плохо, она заварилась крепкого чая и предложила его внезапно заболевшему гостю. Тот, как стоял на четвереньках, так и пошел на кухню, повторяя полюбившееся слово. Дойдя до цели, он увидел пакеты с горохом. Чем-то они ему не понравились и он, внезапно встав во весь рост, разодрал их, вывернув содержимое на пол, добавив к предыдущему тексту столь же непарламентское:

— Сука!

Удовлетворенно посмотрев на учиненный бардак, гость выпил чай, и, приложив руку к сердцу, с церемонным поклоном произнес:

— Сердечно Вас благодарю, сударыня! — после чего колени его погнулись, он рухнул во весь рост на пол, усыпанный горохом, и мгновенно захрапел. Проснувшийся к обеду Анри обнаружил пустую бутылку из-под водки на кровати приятеля, благодаря чему смог объяснить ночной кошмар.

Мама же с тех пор до конца жизни горох не покупала и суп из него даже в санатории есть отказывалась.

Вера

Анри иногда привозил в Россию своих друзей-знакомых. Им у нас безумно нравилось. С одной стороны — туристические красоты Питера и Москвы: все эти дворцы и пригородные усадьбы, регулярные французские и

пейзажные английские парки, невероятная русская история — бессмысленная и беспощадная с их точки зрения, т.к. поведение нашего народа в их логику не укладывалось. С дугой стороны — не менее фантастическая современная жизнь, абсолютно непонятная, абсурдная, лишённая элементарных удобств (80-е годы!). Не жизнь — выживание. Что меня всегда удивляло, это их стремление научить нас жить «как надо». Иностранцы, с комфортом усевшись за накрытым столом и со вкусом поглощая русские солёные грибочки-огурчики под холодную водку, обстоятельно рассказывали мне о влиянии на законодательство сформированного общественного мнения, о необходимости проявления личной инициативы в бизнесе, о категорическом неприятии взяточничества (и про дать и про взять) и о том, что если мы завтра станем цивилизованными людьми, то уже на следующей неделе заживем по-человечески. Понять, что русские — генетически другие, они откачивались.

Как-то приехавший на Новый год Анри спросил меня, готова ли я принять даму из «швитцердучей». Есть в немецкой части страны небольшая область в районе Боденского озера. Стык Германии, Австрии и Швейцарии. Живет там тысячи три людей, говорящих на ретороманском языке. Это, вроде бы, помесь немецкого и латыни. Как я поняла, на швейцарское ухо этот язык действует так же, как на русское — украинский суржик («Паду ли я, дрючком пропертый...»). Вообще, в любой стране обязательно должна быть часть населения, которую можно считать отсталой, нелепой и глупой. Это способствует повышению чувства собственной значимости всех остальных.

В феврале от дамы пришло письмо, в котором она рассказывала о себе и о своих пожеланиях относительно предстоящего визита в Россию. В конверт была вложена фотография немолодой некрасивой женщины. Приезд был намечен на начало мая, когда еще не жарко. Объяснить, что у нас и в июне совсем не жарко, я не смогла. Почему девочку — по отцу итальянку, а по матери немку называли русским именем Вера — непонятно. Генеалогия там была довольно разветвленная. Бабушка родила штук восемь детей, из которых один умер, а остальные выросли, обзавелись семьями и размножились. А дальше начали происходить странные вещи — в семье каждого из детей погибал один ребенок, как правило, мальчик. В благополучной Швейцарии, где детская смертность крайне низка, это особенно удивительно. Причины были самые разные: болезни, автомобильные аварии, несчастные случаи и т.д. Вера показывала мне генеалогическое древо семьи. На каждой ветке там числилось по три-четыре ребенка с указанной датой рождения, и один из них — еще и с датой смерти. Жутковатое зрелище.

У самой Веры было трое детей — две дочери и сын, но за несколько лет до ее приезда в Россию ее тринадцатилетний сын погиб. Летом они всей семьей поехали на море в Италию к родственникам. Стоя на берегу и глядя на купающегося сына, Вера вдруг подумала о том, что он может утонуть. «Что я буду делать, если его вдруг не станет?» — думала она, удивляясь этим мыслям. Через пару месяцев они вернулись в Швейцарию. Рядом с их загородным домом проходила линия электропередачи, а под ней рос грецкий орех. Осенью, когда орехи созрели, Вера стояла у дома на холме, глядя на мальчика, который размахивая длинным металлическим шестом, сбивал их с веток. В какой-то момент он задел шестом электрический провод. Вера увидела, как медленно-медленно посыпались сверху

светлые дневные искры, сына затрясло, и он мягко и бесформенно осел на влажную от дождя землю. Когда, сбжав с холма, Вера увидела его искаженное болью и ужасом лицо с открытыми мертвыми глазами, она поняла, что все кончено.

Старшие девочки были уже взрослые и жили в студенческом хостеле при университете. Муж, давно ставший чужим, переживал смерть сына по-своему. Просиживал вечерами в кафе, пил с друзьями, стараясь не видеть ни потерянной и несчастной жены, ни вещей сына, которые, как их ни убирали, то и дело вылезали из разных углов. Человек деревенский, он держал в загоне десяток овец, клетки с кроликами, которых сам резал, снимал шкурки и выделывал, пару лошадей, которых нужно было чистить и выезжать, а еще — домашнюю птицу и собак. Весь этот зверинец требовал еды, питья, уборки и круглосуточного внимания. Вера, будучи человеком совершенно другого склада, все эти сельскохозяйственные радости люто ненавидела, а лошадей еще и боялась, но все необходимое делала из чувства долга. Теперь же, когда жизнь развалилась, она вдруг поняла, что ее остаток надо прожить по-другому. Она увлеклась эзотерикой, попробовала столоверчение, познакомилась с хиромантами и прочими экстрасенсами в надежде на то, что кто-нибудь из них поможет найти контакт с душой умершего сына. В конце концов, она задала себе вопрос о причине этого хронического несчастья в их семье. Ей объяснили, что это карма, а виной всему — проклятье, наложенное от какой-то обиды той самой многодетной бабушкой. Вера выяснила, что в России есть специалисты, умеющие проследить реинкарнацию и знающие, как заставить человека вспомнить предыдущее воплощение. Кстати, один из таких «специалистов» сказал Анри, что в прошлой жизни тот был голландской старушкой. Вера отправилась в Россию с твердым намерением разобраться в причинах своей трагедии. Другим стимулом были дочери. Ведь родив детей, они так же, как и все остальные родственники, могли их потерять. Забегая вперед, должна сказать, что детей у обеих дочерей не было очень долго, зато потом каждая из них родила по трое погодков, но это уже отдельная история.

Как я уже говорила, Вера приехала в начале мая и от русской жизни слегка обалдела, хотя была настроена крайне доброжелательно. Она немедленно начала учить русский. На мой вопрос о том, зачем ей, знающей пять европейских языков, еще один, она ответила:

— Я как-то проснулась и подумала, что мне уже шестьдесят лет, и я могу не успеть...

Мудрость этого ответа так меня потрясла, что в дальнейшем я занималась с Верой русским каждую свободную минуту независимо от оплаченного времени. Как-то мы с ней проходили тему «направления»: пойти вправо, назад, вперед и т.д. Занимались по прелестной старинной гуаши, изображавшей сад Тюильри с фонтаном и празднующейся публикой. Нужно было рассказать, кто где стоит или куда идет. Вера с задачей справилась, но в конце выдала замечательную фразу:

— А мужчина высокого роста гуляет налево.

Узнав причину моего веселья по поводу такого высказывания, она тоже долго смеялась, а потом рассказала, что в немецком есть аналог — щипать траву по обе стороны забора.

Язык ей давался трудно. В европейскую логику он, как и вся русская жизнь, не укладывался. Как-то раз она спросила меня:

— Света, почему ты говоришь — я пошла в магазин, если только собираешься туда идти? Надо говорить — я пойду в магазин.

Я надолго задумалась. Формулировка «...Если я чего решил, то выпью обязательно...» была бы ей еще более непонятна. Пришлось объяснять, что мы, русские, так устроены, что зачастую, решив что-то сделать, осознаем это как свершившийся факт, вследствие чего и озвучиваем мысль сразу в прошедшем времени. Вера, посидев несколько минут с безумными глазами и пробормотав что-то по-немецки, из чего я уловила только слово «логика», тяжело вздохнула и сказала, что будет это запоминать. Затем ее заинтересовал вопрос о том, почему мы говорим — мыть голову. Ведь на самом деле мы моем волосы. Здесь ответ был проще, т.к. укладывался в общую схему: мыть лицо, руки, ноги и голову в том числе. Через несколько дней, когда мы еще сидели за столом после обеда, у Веры вдруг сделалось необыкновенно серьезное лицо. Она встала, прокашлялась и торжественно произнесла:

— Ну, все, я пошла мыться головой.

Мы все, захлебываясь от смеха, в изнеможении сползли под стол.

На ее родине была издана книга, написанная швейцарцем, губернатором кого-то из детей Романовых. Книга произвела некий переворот в ее сознании, подвигнувший ее заинтересоваться русской историей, в частности — историей царской семьи. Особенно интересен ей был период с начала 19 века. Под Петербургом, недалеко от Петергофа расположена усадьба Знаменка. Во дворце располагался санаторий какого-то предприятия. Рядом стояло полуразрушенное здание, бывшее изначально конюшней, но было понятно, что после фашистских бомбежек его так и не восстановили. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что, оказывается, восстановили, но не до конца, и, к сожалению, к началу перестройки. Финансирование тут же закончилось. Местное население тихо поползло в недооборудованное здание и начало весьма варварскими методами планомерно снимать сантехнику, выковыривать двери, оконные рамы и железо с крыши. Дальше дело дошло до кирпичей, кстати, старинных. Часть стен обрушилось. Вера ходила по руинам, громко сокрушалась и цитировала отрывки из швейцарской книжки о прекрасной дореволюционной жизни в этом чудном поместье. Она прожила в санатории три дня. Когда я ее оттуда забирала, я взяла ее сумку и присела под ее тяжестью. На вопрос, чего можно было набрать, Вера скупно ответила: — Сувениры.

Дома я попросила ее продемонстрировать приобретения. Вера открыла сумку и с тожественным видом достала оттуда огромный кирпич, раза в полтора больше обычного, на котором было написано «Знаменка». На мой вопрос:

— Зачем? — она гордо ответила:

— Сувенир!

Через несколько лет после первого ее приезда пришла беда. У Веры появились боли в животе. Она пошла к врачу, но хваленая швейцарская медицина ничего не обнаружила. Через три месяца, когда боли стали невыносимыми, врач, схватившись за голову, закричал: — Что же Вы так долго тянули! — и диагностировал раковую опухоль. Вера перенесла операцию

и несколько курсов химиотерапии. Через два года она снова приехала, похудевшая, с тифозной стрижкой, но не потерявшая ощущения радости бытия и с блестящими по-прежнему глазами.

К этому времени у нее уже было по трое внуков от каждой дочери, с трудом вымоленных и беззаветно любимых. Единственное, чего она боялась, это родового проклятия, отнимавшего как минимум по одному ребенку в каждой семье. Я думала, что ее онкология была следствием стремления взять на себя эту ношу.

Еще в самом начале нашего знакомства у нас как-то зашел разговор о свободе выбора жизни и смерти и об эвтаназии. Вера сказала, что в Швейцарии есть общество, в которое она уже вступила, предоставляющее возможность умереть безболезненно при условии смертельного диагноза и членства в течение десяти лет. Организовано это очень удобно — человек приходит в специальную комнату и находится там несколько дней, чтобы иметь возможность передумать. Если решение не меняется, ему приносят вечером таблетку и оставляют ее на столе. Примешь — заснешь и не проснешься. Когда я выразила свое восхищение столь грамотно предоставляемой услугой, Вера сказала, что она обязательно ею воспользуется в случае необходимости.

Еще через два года пришла весть о ее смерти. Как я узнала позже, ей было безумно больно, особенно в последний месяц, лекарства уже не действовали, и она мечтала умереть, чтобы не мучиться, но об эвтаназии так и не попросила, боясь, что для ее дочерей это будет слишком тяжело.

Прошел еще год после ее смерти. И как-то я поймала себя на мысли, что мне нужно срочно позвонить Вере, т.к. у нее что-то случилось. Я уже взяла телефон, но вспомнила, что Веры нет. Целый месяц я промаялась с ощущением какой-то беды и необходимости поговорить с Верой. Позвонить ее дочерям я не могла — они после ее смерти сменили адрес. А потом раздался междугородний звонок. Мне позвонила русская подруга Верыной младшей дочери — Кристины, которая рассказала, что месяц назад муж Кристины пошел в спортзал поиграть в баскетбол и на тренировке умер. Неожиданно отказало сердце. Кристина осталась с тремя детьми, без мужа и любимой матери. Я проплакала весь вечер по Вере, которой мне так ужасно не хватает столько лет, по Гвидо, которого она любила, как своего сына, по Кристе, которая не умела жить одна, по детям, которые будут жить без отца, так ждавшего их и мечтавшего увидеть, как они вырастут. Некоторые раны не заживают никогда.

Татьяна РЕБРОВА

/ Москва /



Из книги «Архетипы»¹

* * *

Кони глаз моих мчатся к тебе.
Только дуги бровей серебрятся.
Посторонятся молча рябины в судьбе
И насмешливо вслед разгорятся:

«Аль на женскую прелесть избранник охоч?
Что ж, красы на тебя не жалели
Опустившийся в жимолость лебедей
и ночь,
Обрядившая в изморозь ели.

Да ведь жалуем все мы тебя потому,
Что пришло же на ум твоей тёзке
В подождённом татарской стрелой терему
Помолиться разок о берёзке».

Мочит бабка слезами облупленный лик:
Ведь кольцо обручальное с другом
Слал жене замерзающий в поле ямщик,
Что сынком-то был ей,
а не вьюгам.

Твой же хахаль с любовью на ласки горазд.
Он и храмы,
что в сумерках синих
Полыхают,
и бабкины слёзы раздаст
Не нуждающимся в сих святынях.

¹ Книга выходит в издательстве «Алетейя» в 2014 г.

А теперь ты попробуй себя отличи
От крестьянки в платочке нарядном,
Что гадала в крещенье при свете свечи
О своём ямщике ненаглядном.

* * *

Ах, на прощанье бы, да не
Как символ из легенд и книг,
А из судьбы моей ко мне
Мой Лебедёнок взмыл на миг.

Мой Лебедёнок, что ж ты сам
Льнёшь к воронам и воробьям,
Того не зная, что колдуешь
Уж только тем одним, что есть,
Над прошлым над моим невесть
Каким, хоть о другой горюешь.

* * *

И веет отовсюду вкус черешни...
Но почему из брошенной скворешни
Летят скворцы, не просто так летят,
А над рябиной журавлиным клином.

И девочка — слеза и на карат
Не тянет — замораживает сплином.
И я из всех зеркал над ней одной
Смеюсь и замираю: ах, дурища!

Ты фокус, мушка, ноготь накладной...
Ты только трюк отчаянный, что мной
Вдруг выхвачен, как из-за голенища
Фартовый нож с насечкой кружевной.

Дешёвая, казалось бы, блесна.
А монстру эры летоисчисления
Неведомо какого не до сна.
Он ощущает аромат черешни,

Что ест Фата-Моргана у скворешни
На месте древних пирамид,
Столь образцовых.
И птицы странные летят навзрыд
Над странным деревом в шелках пунцовых.

Лиана АЛАВЕРДОВА

/ Нью-Йорк /



НАПЕРЕКОР ВЕТРАМ ВРЕМЕНИ: РАЗМЫШЛЯЯ О ТВОРЧЕСТВЕ ЕВСЕЯ ЦЕЙТЛИНА

Сознательно или бессознательно люди стремятся рассказать о себе или вплести свою ниточку в «гобелен» истории. В пестрых узорах культуры часто неразличимы лица и свершения индивидуальных творцов, они малоизвестны широкому кругу людей, интересующихся литературой и искусством. Как правило, коль скоро речь пойдет о любимых писателях, поэтах, художниках, большинство перечисляет одни и те же имена ярких звезд. Тем важнее представляется роль наиболее зорких и чутких, умеющих уловить уникальную мелодию, интонацию, судьбу и слово забытых или полузабытых художников. Уж к этим «проводникам культуры» не отнесешь слова Пушкина «Мы ленивы и нелюбопытны». Они-то, напротив, неутомомно любознательны и неустанны в поисках.

Мне повезло. Уже несколько лет я знакома с человеком, которого я бы отнесла именно к такого рода писателям. В одиночку сражается он за историческую память о своих героях, выхватывая их из песков забвения, перечая модным веяниям, не давая себя оглушить отвлекающими фанфарами, которыми толпа приветствует своих кумиров. У этого автора нет кумиров, согласно библейской заповеди. Пишет он о разных творцах: от больших поэтов до людей, имена которых гораздо менее звучны, если вообще имеют значение для рассказа. Я познакомилась с Евсеем Цейтлиным прежде как с редактором популярной чикагской газеты «Шалом». Позже я узнала его как интересного писателя, пронизательного исследователя, литературоведа и культуролога. Мое внимание привлекли три книги Е. Цейтлина, изданные недавно в Санкт-Петербурге. Они являются своеобразной трилогией, близки друг другу манерой исполнения.

Моя встреча с произведениями Е. Цейтлина началась с книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (Санкт-Петербург, Алетейя, 2012), своеобразной летописи литовского еврейства. Через личностную трагедию главного героя книги, писателя Йокубаса Йосаде, обозначенного условно «Й», очевидной становится судьба целого поколения литовских евреев, которые, даже если им удалось выжить, пройдя адские жернова гитлеризма и

сталинизма, часто вынуждены были пожертвовать своей национальной культурной идентичностью, мимикризировать под общий фон, утрачивая свой голос. Писатель, торопливо и тайно жгущий рукописи, под прессом постоянного страха, давившего и унижавшего душу, отказавшийся от своего родного языка в пользу чужого, которым ему не суждено овладеть до желанной степени свободы и словотворчества, так необходимым литератору. Тихая трагедия, которая хранит в себе немало тайн. Евсей Цейтлин вскрывает пласты сознания человека, который слишком многое хотел бы запрячь не столько от властей, сколько от себя самого. Во всех книгах Цейтлина я нахожу его авторский голос. Он умеет задавать вопросы, он докапывается до правды, он вызывает на откровенность собеседников, и они допускают читателей в самые интимные уголки души и совести. «Почему вы уцелели?» В глубине души я всегда надеюсь: сейчас мне откроется вдруг некая закономерность, простая, но скрытая от меня до поры до времени тайна жизни».

Документальная книга «Долгие беседы...» магнетически притягивает читателя и от нее трудно оторваться. Настоящее писательское мастерство, талант рассказчика... А талант — это всегда чудо, которое трудно объяснить. Мои восторги по поводу «Долгих бесед» не одиноки. Книга была высоко оценена целым рядом известных литературных критиков и литературоведов, писателей и журналистов, да и просто читателями. Мне созвучны слова Бориса Кушнера о ней: «Перед нами уникальное исследование человеческой природы, ее универсальных черт... Можно только догадываться, какую психологическую ношу принял на себя Евсей Цейтлин, какую эмоциональную цену он заплатил...» Те, кто писал о книге, отмечали ее изощренную композицию, интеллектуальное напряжение и трагизм. Ее величали романом, что я могу отнести за счет глубокого психологизма, который присущ подлинно художественным произведениям, хотя в данном случае речь идет о документальном жанре. Мне думается, что книга эта могла бы выступить важным свидетелем, если бы состоялся суд над тоталитаризмом. Она была издана на немецком и литовском языках.

Евсей Цейтлин — пытливый исследователь литературных судеб. Написав в ранней молодости диссертацию о писателе Всеволоде Иванове, он сохранил интерес к этому автору на долгие годы, не только как к замечательному писателю, но и литературному наставнику, труды и письма которого помогли Е. Цейтлину разобраться в секретах писательского ремесла и позднее донести эти знания до читателей своей первой книги «Беседы в дороге. Всеволод Иванов — литературный наставник, критик, редактор». (Новосибирск, 1977). (Потом Е. Цейтлин выпустил еще две книги о творчестве Вс. Иванова).

Тайны писательского мастерства, литературные дарования, затерянные в провинции, судьбы «евреев молчания» (выражение, которое употребил известный писатель, нобелевский лауреат Эли Визель по отношению к евреям Советского Союза), потаенное значение снов, судьбы и культуры малых народов — вот далеко не полный перечень интересов или, как принято именовать в Америке, «проектов», над которым трудится Е.Цейтлин. То, что меня поражает в характерах его героев, — это их многозначность. В них присутствует второй план, они объемны, а не плоски, как в плохих

рассказах. Они загадочны, как это ни странно говорить по отношению к героям документального повествования. Почему писатель Иосиф Рабин тридцать лет хранил в своем архиве антисемитское письмо-поклеп? Почему вдова расстрелянного еврейского поэта Дина Харик неизменно оптимистична, хотя она пережила немыслимое — гибель мужа, вечную разлуку с детьми? Ошибалась ли гадалка в судьбе библиотекаря Леи из Кемерова? Строго говоря, книги Евсея Цейтлина не назовешь публицистикой или документальной прозой. Это, считают критики, — художественные произведения, написанные на фактической основе. Некоторые эссе из книги «Одинокие среди идущих» (Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург, 2013) совершенно определенно находятся на грани жанров, во всяком случае рассказ «Пыль». Уподоблюсь Белле Ахмадулиной, которая, помнится, умоляла телезрителей прочесть рассказ Фазиля Искендера «Ремзик». Я же буду звать: «Умоляю, прочтите «Пыль»! Две с половиной страницы, но зато КАК написано!» И уж если вам понравилось, то прочтите, непременно прочтите рассказ о судьбе поэта Альфонсаса Буконтаса, еврейского ребенка, которого спасли и растили, рискуя жизнью, литовские крестьяне («Человек и судьба «по ту сторону слов») или рассказ о судьбе еще одного «украденного ребенка», врача Сергея Корабликова (эссе «Свет издалека»). Я усматриваю в этой книге, как и в «Долгих беседах», дань авторской сопричастности судьбе своего народа. Несомненно, чувство это основано на любви и желании сохранить, спасти от забвения то, что любишь. Е. Цейтлин пишет об Альфонсе Буконтасе: «...для еврейского литератора родина — это наша история. Поэт живет в истории, а потом навсегда растворяется в ней». Мы можем применить эти слова и к творчеству Е. Цейтлина. Беседы Ванкарема Никифоровича с Евсеем Цейтлиным в конце книги служат логическим продолжением ее и позволяют полнее раскрыть взгляды автора на жизнь и смерть, на духовную подоплеку творческих замыслов, на культурную жизнь эмигрантов...

Бессспорно, Евсей Цейтлин видит свою миссию и в том, чтобы служить своеобразным мостом, проводником культур (то, о чем писал он сам в применении к некоторым из своих реально существующих героев). Задача эта ярко воплощена в сборнике «Несколько минут после. Книга встреч». (Санкт-Петербург, Алетейя, 2012). Много ли вы знаете, дорогой читатель, о культуре малых народов Севера и Сибири? Что мы знаем о юкагирах, живущих за полярным кругом? О культуре шорцев? Или о тувинской культуре? О том, в частности, как был связан яркий талант Нади Рушевой с культурой ее родной Тувы? «Осень в Кызыле спокойно-торжественна. Краски природы резки, но не спорят друг с другом. Вода в Улуг-Хеме тяжела. Листья падают медленно. В такие дни думаешь о неторопливой вечности. Хочется остаться в Туве навсегда». Е. Цейтлин пишет без позы и вычурности, художественно и лаконично. Его раздумья незаметно превращаются в афоризмы. «...Я подумал, что чужая жизнь тоже похожа на театр. Не только потому, что ты никогда всего не поймешь в ней, но и потому, что рано или поздно приходится расставаться — занавес закрывается». Звучит свежо и незатерто, не правда ли? Когда-то написанные Е. Цейтлиным слова «У разных культур — разные корни, но одно небо» — не просто декларация, а мощный посыл к творческому поиску, направленному в сторону исторических судеб и культур. Наиболее полно, несомненно, в книге представлена

судьба и творчество основоположника литовской литературы, поэта восемнадцатого века Донелайтиса. Когда он умер, никто не подозревал, что хоронят гения национальной литературы. Самое удивительное, что и он не думал о себе как о литераторе: «...размышляю: надо оставить что-либо потомкам. Ах, если бы я еще мог делать барометры!» Евсей Цейтлин рассказывает о поэте интересно и увлекательно, поворачивая его биографию разными гранями, искусно переплетая литературную судьбу поэта и жизни его потомков, влюбленных в него.

Книга «Послевкусие сна» (Чикаго, Insignificant books, 2012) — своеобразный прорыв автора в излюбленную область исследования психоаналитиков. Книга о том, как человеческие судьбы просвечивают сквозь сны. Интересная как по замыслу, так и по манере изложения. Обложка книги с картиной художника Андрея Рабодзеенко загадочна и притягательна, и так же притягательна сама книга, как и все, что пишет Е. Цейтлин.

В заключение мне хотелось бы выделить одну из черт творческого характера Е. Цейтлина — верность избранным темам. Евсей Цейтлин избирает то, что его по-человечески трогает, и следует своими тропами, невзирая на то, востребованы ли временем эти темы, направлено ли общественное внимание в его сторону или нет. Такая художническая честность вызывает уважение. Чем бы он ни занимался, он верен себе и тем интересен.

Леонид ЗАВАЛЬНЮК

/ 1931–2010 /



ПРЕДВЕСТИЕ¹

Дымок далекого костра,
Осока сизая остра.
А росы, господи! А росы!
Бегу, раскинув два крыла.
Стоит береза край села,
И я стою у той березы.
— Ну, здравствуй!
— Здравствуй. А ты кто?
— Я — это ты, но повзрослевший.
А мальчик смотрит оробевший
На мою шапку, на пальто.
И вздохом оттолкнув дорогу,
Которой брел я столько лет,
Вдруг говорит:
— Купи у нас корову.
Зимую сдохнет. Сена нет.

* * *

Как шов сварной
Дымится ранняя заря.
Какой заряд в ночах закоротило?
Чьей высшей мудрости
Немеркнущая сила
На каждом дереве «зачем»
Зажгла плоды «не зря»?!
Вставай, душа моя,
Вставай, как день встает,

¹ Стихи взяты из книги Л.Завальнюка «Предвестие», которая выходит в издательстве «Алетейя» в 2014 г.

То лучезарно глядя в мир,
 То хмуро и ненастно.
 Вставай и пой,
 Как утра свет поет,
 Всю жизнь одно и то же:
 «Не напрасно».

ПАМЯТЬ

Среди судимых в звездной мгле,
 Средь всех, покинувших планету,
 Лишь для того прощенья нету,
 Кого не помнят на земле.

Да не забудем тех, кто жил,
 Кто нас коснулся, умирая.
 Забвенье —
 Это смерть вторая.
 Да не забудем тех, кто жил.

И да не вспомним подлеца,
 Чья жизнь была как гвоздь в распятые.
 Забвенье —
 Больше чем проклятые.
 То мрак.
 И нет ему конца.

* * *

Гол лежанки серый камень,
 Пол исхожен пауками...
 Здравствуй, друг мой —
 Старый сад!
 Перелет — перенесенье:
 Я вхожу в пустые сени,
 В стог подгнивший,
 В стон осенний,
 В тыщу лет тому назад...
 Я здесь жил — душа томилась.
 Неба чернь в ушат вломилась.
 Зачерпну, попою, забуду
 День и час: куда спешить!
 Я здесь жил, живу
 И буду
 Долго, долго буду жить.

Сергей ФОЛИМОНОВ

/ Энгельс /



ОДНА ЛИШЬ ИСТИНА — ЛЮБОВЬ...

О книге Натальи Леваниной «Инстинкт любви» (Саратов, 2014)



Под одной обложкой читателя ждут три оригинальные, искренне, с душой написанные повести о человеческой жизни, наполненной страданиями и утратами, борьбой за существование и за простое (а на самом деле такое непростое!) человеческое счастье и, конечно же, о любви. Но — обо всем по порядку.

Сегодня прозаики легко, не пытаясь проникнуть под видимый покров сущего, пишут про литературно обжитые «лихие

90-е», отодвинувшиеся в область легенд и преданий и таким образом превратившиеся в историко-культурную категорию. В художественном пространстве появилось уже немало штампов, связанных с этим периодом нашей истории. У Натальи Леваниной со временем и его героями свои отношения. С самых первых произведений она ставит перед собой творческую задачу по восстановлению распавшейся связи времен, людей, семей, поколений.

В повести Натальи Леваниной «Ходики» (она, на мой взгляд, является большой творческой удачей автора) есть интересная находка. На протяжении всего текста писательница ведет притчевую повествовательную линию, где в свойственной ей афористической манере делится своими размышлениями о философии времени. Здесь высказаны заветные мысли, здесь спрятан ключ к трактовке всего произведения. Отталкиваясь от образа великого Ньютона, ставшего символом всемогущего разума, Леванина формулирует: «...не будь педантом. Не мельтеши с будильником. Время приготовления яйца, как и время твоей жизни, надо просто чувствовать». И это самое *чувство времени*, личного и исторического, — главный нерв ее героев. Например, родители Тихого («Ходики»), уловив новые *веяния моды*, купаются в известности и со всей страстью поклоняются золотому тельцу, а их *малахольный*, с точки зрения обывательского сознания, сын-изгой идет против течения, пытаясь преодолеть пошлость силой искусства. А вот Игорь и его супруга Дарья («Ошиб-

ка») не способны (или страшатся?) понять, что есть время разрушать и время строить, время обнимать и время уклоняться от объятий, и эту данность нельзя подчинить эгоистическим требованиям.

Говоря о поисках автором своего пути в осмыслении трех противоречивых исторических периодов, нельзя обойти вниманием один существенный факт. Читатель уже успел привыкнуть к тому, что в художественном мире Натальи Леваниной много автобиографического. Она стремится максимально сократить дистанцию с воображаемым собеседником, разговаривать с ним без посредников, литературных масок, не меняя голоса. Но в новой книге эпоха звучит голосами разных персонажей. Писательница не спешит выходить к рампе и доверительно беседовать с притихшим залом. Здесь другие правила игры. Их определяет с успехом обживаемый Леваниной жанр повести, в котором она умело сочетает библейское и фольклорное, камерное и монументальное. Повествовательная ткань всех трех произведений соткана из резких контрастов. В столкновение приходят мысли, чувства, герои, эпохи и стили. Разрушенная лихолетьем страна созидает себя на обломках дорогого прошлого руками обездоленных детей — бывших военных, учителей, рабочих, инженеров, художников и музыкантов, и говорит от их имени, то высоким и поэтичным, то грубоватым площадным, то колоритным деревенским, но всегда таким родным русским языком. Благодаря выбранной автором повествовательной стратегии, язык новой книги получился сочный, яркий, цветной, ароматный. Особенно удаются Леваниной сравнения (прием, сразу позволяющий определить глубину художественности текста): «сусликом сидел на скамейке перед причалом», «стоял и моргал, как пенек с глазами», «весь был прост, как правда», «истощавшая от пережитых волнений, без сна и аппетита, смахивала она сейчас на сухой лист, занесенный пыльным ветром на сиротский лежак, трясущийся на стыках, как псих в припадке» и многие другие.

«Мысль семейная» — одна из основных в книге. И хотя каждая из семей, как и водится, «несчастлива по-своему», есть в их судьбах много общего. Семьи в повестях Натальи Леваниной разрушаются по разным причинам. В одних случаях под влиянием времени, подобного чумному поветрию. Жертвой его становится первая супруга московского интеллигента и потомственного филолога Дмитрия («Ходики»), опьяненная «свободой без берегов» и уехавшая на Гоа, где, как не без иронии замечает герой, «давно уже нашла себе такого же отвязного австрийца и повенчалась с ним где-то в цветочной беседке из орхидей с видом на Индийский океан». При этом она легкомысленно бросает сына в самом сложном переходном возрасте. Не выдерживает испытания временем и отец Сашки Павел («Сашка»), работяга и *запойный графоман* (род недуга), ослепленный внешней, чисто механической гармонией поэзии: оказавшись в сложной ситуации, он малодушно бросает жену с тяжело больным сыном.

В других случаях семьи распадаются вследствие душевной пустоты, образовавшейся с течением времени и, подобно пропасти, разверзшейся вдруг между некогда близкими и, как казалось, любившими друг друга людьми. Писательница видит причину этого в ошибке, допущенной в самом начале отношений, когда решающим фактором зачастую служат инстинкт, желание самоутвердиться в собственных глазах и в глазах окружающих, соперничество и прочие суетные вещи. Но прежде чем понять, что ошибся, человек проживает значительный отрезок времени. Именно в таком положении оказывается Игорь («Ошибка»), как, впрочем, и его жена, неосознанно превратив-

шая себя в «старую мельницу», механически перемальвающую заботы и тревоги повседневности и боящуюся хотя бы на минуту открыть глаза и увидеть жестокую истину.

Особенно остро трагизм разрушения семьи ощущается на фоне образа Сашки, главного героя одноименной повести.

Сашка — современный князь Мышкин, русский Иисус из затерянного на бескрайних просторах страны захолустья. Его судьба — типичная судьба ребенка-инвалида, лишённого обществом права на сочувствие, помощь, социализацию. Но его мир — это мир чистоты, любви и всепрощения, который он готов по-детски открывать каждому встречному. Сашка слаб и хрупок в физическом, житейском смысле, но бесконечно силен, даже всемогущ всепобеждающей нравственной высотой и чистотой. Писательнице удалось без фальши воспроизвести столкновения героя с миром дольным, наполненным неизвестными ему соблазнами, живущим по законам сильных и жестоких. Девятнадцатилетний мальчишка за одну короткую поездку к престарелому дяде сталкивается с такими грехами, как сребролюбие, чревоугодие, блуд, предательство, и остается прежним. Только углубляется, становится более осознанной его страдающая любовь к матери.

Источник духовного совершенства Сашки Смирнова кроется в материнской самоотверженной любви, а сила самой Марии Федоровны — в ее корнях, в вере, унаследованной от предков и «самостийной» бабы Клавьи, в труде, наконец. Жизнь женщины с постоянной оглядкой на Богородицу, с опорой на житейски переосмысленные заповеди («плохо живется не тем, у кого мало, а тем, кому мало») крепко западает в душу ребенку.

Реминисценции и аллюзии в книге «Инстинкт любви» выполняют разные художественные задачи: способствуют созданию непринужденной атмосферы, служат материалом для шуток, указывают на психологическое состояние персонажа. Но при этом все они актуализируют главный культурный код, который наполняет повествование родным воздухом, дает понять, что автор и читатель «одной крови».

Какая же реакция должна произойти в голове читающего, чтобы такое духовное единение произошло? Пример навскидку. «На западном фронте без перемен», — загадочно комментирует колоритный персонаж Палыч состояние своего здоровья («Сашка»), побуждая читателей среднего и старшего возраста вспомнить о любимом в СССР Ремарке, чьи романы давали возможность заглянуть за «железный занавес» и ощутить дух свободы. Как легко тогда соотносилась его правда о Первой мировой (у нас о ней говорили вскользь, как будто России это и вовсе не касалось) с правдой о нашей Отчечественной, замалчиваемой, полузапретной. А следом открывается еще один пласт, сугубо контекстуальный, но не менее интересный. Откуда, спрашивается, такая начитанность у Палыча с его «вертикулезами», «споутрянками» и «пристипомами»? Оттуда же, откуда у Шарикова рассуждения об Энгельсе с Каутским, буржуях и мировой революции. Тоже ведь знаковый персонаж!

А читатель, интуитивно улавливая вплетающиеся в повествовательную ткань эпизода ассоциативные нити, вдруг ощущает, что нет прошлого, настоящего, будущего для того, кто умеет видеть главное, и связь времен нерасторжима. Все эти катаклизмы происходят внутри самого человека, а слово по-прежнему способно исцелить, вернуть веру, подарить надежду и зажечь любовь.



Юрий СОРОКИН

/ 1938–1999 /

В этой публикации мне предоставляется счастливая возможность познакомить читателя с творчеством поэта-шестидесятника, петербуржца Юрия Сорокина. Личность Сорокина многогранна и самобытна — художник, вольнодумец, путешественник — всё это отражено в его поэтических текстах. Для многих стихов Сорокина характерна привязанность ко времени. Это 70-е — 80-е годы прошлого века. Трудно сказать, будут ли стихи так же понятны молодым читателям, как тем, кто жил в эпоху, когда писал поэт. Однако в его поэтическом творчестве встречаются философские, лирические стихи на все времена. Мне захотелось представить на суд любителей поэзии и то, и другое.

Татьяна Коваленко

СТАНСЫ, 1985

Два сонных яблока у века-властелина...
О. Мандельштам

Тысячеглазый взгляд у века-недоноска
И ядерный клыкатый рот:
И, века пасынок — в чужих обносках, —
Я в зазеркалье глаз его, где многое — наоборот.
Мой дом — здем, где нету апельсинов,
Цветущий сад... без лепестков, без жарких роз;
Там Одиссей трамвайной эры катит в сине-
Матограф — Трою мутнозеркальных грёз.
Он жаждет волн, объятий Геллеспонта,
Он зачарован пением сирен, —
Ах, в лабиринте зазеркалья будет Ариадной
Ему прекрасная Hellen!
Но плен тысячеглазен века-окулиста,
Тысячезубы пасти ядерных его акул, —
И тысячен приход дебила-окультиста,
И варит тыщи блюд ересиарх-лукулл.
Век электронных чувств, машинного искусства,
Сермяжной метафизики, сомнительной еды;

Террора, ужаса, беспечности, безумства...
 И сыты маги те, из уст чьих
 клекочет вечное: «Недолго до беды!»
 Тысяченога поступь века-бедуина:
 Верблюдом гордым в Лету век плывёт...
 Я разминулся с ним...
 (ещё я Вечности не отработал недоимок) —
 И, если веку Бог меня не выдаст,
 свинья, пожалуй, не сожрёт.
 Тысячерылый рот у века-исполина

.....

Век — шелудивый вепрь, в свирепости незрячий;
 Век — кривоногий бык, — зверь, сталью обречен;
 Век — жертвенный петух: лжецу проворный стряпчий
 Его подаст — тому, что чернью был —
 спьяна — мессией наречён.
 Век — белый кашалот, зло (мусор) полимера, —
 уныло жвачная сирена —
 Резин жующий сыр овечий;
 Век-каннибал, век-гриф, гиена, —
 жующий мысли своего предтечи.

.....

Но до сих пор не изжевал
 Эйнштейна, Дарвина и Маркса.

31.07.1985

РОМАНТИЧЕСКИЕ СТРОФЫ

Я грёз сиреневой Фиальты,
 Распада складок Балаклав,
 Глицинии в апрельской Ялте
 Целенаправленный Ахав.
 И — целеустремлённый лоцман,
 Меж звёзд, как вех тропы кита
 Преследующий смутный образ, —
 Я ловчий лун, страж миража.
 Мой приз-рак-кит — не зло Вселенной,
 Не тайнство вод, не страх небес —
 И не богами окрыленный
 Пегас — им правит пусть Зевес.
 Мой звёздный курс, мой лунный траверс
 Не преклоняются богам:
 Моей серьги серебристый аверс —
 Не герметический хиазм,
 Не каббалический орнамент

(пифагорейская печать);
 Равно не герб с двумя орлами,
 Тем паче — профиль палача.
 Торговых дел монетный реверс
 На всенародный капитал
 Китов обрек Гермеса жертве, —
 Но Белый Кит — он капитан...
 Он круто правит, будоража
 Сердца народов, разум стран, —
 Китовым биржам абордажный
 Крушит борта в щепу таран...
 Мой белый кит — что белый ангел —
 Кружит над бездной в упоенье —
 Паренья невесомый аист,
 Мой верный пёс — в о о б р а ж е н ь е.

14.02.1985

ОЧАРОВАНИЕ ИССЫК-КУЛЯ

Кыргыз, покинь свою отару,
 Седло намажь бараньим жиром,
 Отдай курдюк шальным татарам,
 В бурдюк айран налей игривый.

Кыргыз, стреножь своих коней —
 В челне гарцуй по Иссyk-Кулю!
 Заоблачных рыбаць сельдей.
 Ржаветь в стволах представим пулям.

Сетей кружевистых извив
 Прекрасней бубна сбруи конской,
 Узор их мерно-прихотлив,
 А сбруйный бубен медно-остр.

Оставь бубны, разбей зурну,
 Забудь заветы мулл свирепых —
 Причудливее утонуть,
 Чем тлеть костями в семейных склепах.

Разрушь могильный храм, кыргыз,
 Сорви жестяные картины.
 Плыви меж бездны и вершин
 В свой новый плен —
 пленительный, возвышенный
 и синий.

70-е гг.

ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ

Сквер — весь в ночном оцепененье...
 Стеклом на ветках ломкий лёд,
 Холодных ламп ломая излученье,
 Венец сияния вокруг них плетёт.
 Ночные грифы — латы и секиры, —
 Покрыты инеем, врата венчают...
 За ними — белозолотистый призрак —
 Сквозь театральный снег
 Мираж дворца
 Мерцает...
 Нет ни души...
 Брожу один — арабским шейхом
 Ночных видений:
 Вот — «родячая собака»
 Вот — стайки «ихарей» —
 Вот милицейские к а р е, —
 Вот крытые фургоны «аковая шейка»
 (карета юному адепту Пикассо!)...
 Год пятьдесят
 Шестой, — когда казалось —
 Кончилась эпоха мрака...
 ...да одинокий Гений русский, разгоняя скуку,
 Подставил снегу бронзовую руку.

4.01.1984

* * *

Есть только этот мир — под синим небосводом;
 И в этом синем мире есть краткий жизни миг, —
 Есть пир движения, любви... Есть сладкий миг свободы...
 Плюс удивление: как этот мир возник?
 Есть в дивном этом мире луна — ночей царица
 И солнце в поднебесье — дня жгучий фараон,
 Есть сонмище богов — чтоб им молиться —
 И духи зла... и бесы... и ведьмин хоровод.
 Есть в брэнной этой жизни нетленная надежда, —
 Но безнадежен вещей обречённости изъян...
 И утра лживовечного порыв мятежный
 Смиряет меланхолия вечерних обезьян.
 Но пепел тлеет в нас несбыточных мечтаний...
 И грезим мы ещё под гнётом роковым,
 Печали, радости, тоске — и состраданью —
 Открыты — как открыт ветрам — в степи — ковыль.

27.02.1985

ЯНВАРСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ ДОЖДЯ

Дождь — невский моросящий дождь —
 Вновь капает по листьям, липам, лужам,
 По стёклам ветровым, где конопатый вождь
 Приклеен, вновь кому-то нужен.
 Погода хмурится, и снова тучи
 Скользят по небу чёрной чередой,
 Вновь ветер западный, порывистый, летучий
 Вздымает вал пред невскою губой.
 Ненастье близится, и где-то над Кронштадтом,
 Над чёрно-сизую балтийскою волной,
 Уж виден занавес — он синего железа цвета, —
 Он застит горизонт (там где-то
 Хельсинки, потом Стокгольм).
 Широкой шторою наклонно-полосатой —
 Балтийский ливень, безнадёжно проливной.
 Уж гром гремит. Нептун в ночном шлафроке
 Над Биржей поднял мокрые весла.
 Толпа зевак слышит меты на футштоке,
 Что у Литейного моста.
 И в подворотнях петербургских зданий
 Три алкаша, дрожащие от века,
 Глощают водку с новым,
 псевдо-греческим, прозвищем,
 Что, впрочем, — весьма достойно человека.
 И выплывает — курсом по Фонтанке —
 Баржа с простуженными седоками,
 И тихари сидят на деревянных лавках, —
 Вдоль берегов
 с промокшими *особняками*.
 И — поражённый — видит заграничный зритель
 В бинокль — от эрмитажного причала, —
 Как на золотой игле
 эмпиря златокрылый житель
 Златых очей потупил взор устало.
 Дождь — невский, бесконечный — льётся
 По сфинксам, всадникам, поэтам, — по листве, —
 По капюшонам, по зонтам — под ними
 однообразные — потерянные — лица,
 Подслеповатые
 (в большинстве).

16.01.1984

ЗВЕЗДА

Я говорю вам: новой жизни не бывает.
 Покуда жив — она одна. Одна!
 Тот — безвозвратный — шлюз аэропорта
 Не прерывает нить веретена.
 Оно — жужжа, как шмель над медуницей, —
 Что шар Земли, нить не направит вспять.
 В туманном далеке звезда. Её лучу — стремиться
 К безмерности... покуда ей — сиять.
 Когда же срок веретену медлить своё вращенье,
 И кокон нитяной, как звёздный тлен, истает,
 Я отыщу звезду — Петрополь — моего круженья,
 Полярную, — чтобы в ночи, где та звезда витает,
 Сказать: прости, Звезда... Твой подданный, твой раб,
 Твой верный пешеход,
 Твой — звёздный! — странник — улетает.

4.10.1984

О ПРОТЯЖЁННОСТИ

«Тлен — тручёная тряпица,
 ветошный трут; огонь
 пресекают ударом кремня
 о кресало так, чтобы
 искры на трут осыпались.
 Засветив серничек,
 гасят тлен крышкой».

Даль

Есть взоров долгих тёмный пламень,
 Есть мысли томной дымный плен,
 Есть чувств немых кремнистый камень,
 Есть жизнь, короткая как тлен.
 Есть тяжкий труд — и бред — ученья,
 Есть рок — судьбы невнятный смысл,
 Есть вышних сфер перст повеленья,
 Есть жизнь, короткая как мысль.
 Есть воздух — трепетный, как крылья, —
 Есть мотылёк — как божий дух, —
 Есть в небе взвесь легчайшей пыли,
 Есть жизнь, короткая как вздох.
 Нет в жизни — ах! — душ откровенья —
 Есть страха свет, иллюзий тень.
 Нет в жизни старости, нет молодости,
 Нет между ними — полдня протяженья...
 Есть жизнь — короткая, как день.

8.02.1985



Татьяна ВИНОГРАДОВА

/ Москва /

РАСПИСНОЙ РЕБУС КОРОВИНА-ГОППЕ

Книга поэта Андрея Коровина и художника Виктора Гоппе удивляет сразу. Стихи для неё отобрал и даже название придумал не поэт, а художник, по заглавию одного из вошедших в сборник стихотворений — «растение: женщина». Но при этом почему-то слегка переназвал — «растение-женщина», через дефис. На лимонном фоне обложки (шелкография) плывет озадаченная продолговатая женщина (в ракурсе «Офелии» Миллеса). Плывёт, лёжа на спине, то ли в лодочке, то ли в гробике, плывёт по радостным алым волнам, а над нею восходит зеленоликий, белогубый, при шляпе и бакенбардах, удивлённый Он — лирический субъект? Макс Волошин? Творец? — Бог весть. Ребус.

Вышедшая в 2012 г. в «Издательстве В. Гоппе», книга эта (11 стихотворений) необычна и тем, что издана буквально вручную. Оглавления нет. Печально. Цветные литографии идут на отдельных листах *после* стихотворного текста. То есть читателю предоставлена возможность сначала самому визуализировать поэтические образы и лишь потом сравнить своё представление с видением художника. Отрадно.

Виктор Гоппе за 20 лет создал малотиражные «видеоверсии» текстов А. Вознесенского и И. Иртеньева, К. Кедрова и обернутов... Визуальная составляющая книги Коровина заставляет вспомнить не только наших Маяковского с Каменским, но и немецких экспрессионистов — лишённых, однако, нарочитой имперской мрачности, да ещё Леже с Бильжо в придачу. На первый взгляд, «коровинские» литографии Гоппе, с чуть грязноватым, но сочным колоритом (воспалённо-летние жёлтый, розово-красный, сине-зелёный — и смертно-зимний белый), с россыпью буковок в сюрреальном, эклектичном пространстве кажутся близкими родственницами советской детской книжной иллюстрации. Но слишком много иронии и рефлексии в этих «весёлых картинках». Порой кажется, что художник, вместо того, чтобы визуализировать образы поэта, делает иллюстрации к какой-то совсем иной «версии» текста. Однако в столкновении, взаимном отражении текста и видеоряда возникает новое, синтетическое и полемическое произведение, заставляющее читательское восприятие одновременно работать в очень разных «регистрах». Ребус.

Почти забавная книжка. «Почти»? Дело в устойчивой поэтической репутации Коровина. Его именуют «лириком», о верлибрах его говорят, что они «лёгкие и веселые». Что ж, посмотрим.

Андрей Коровин родился в 1971 году в советском городе Туле, давно живёт в Москве, но родиной своей души выбрал Крым. И стихи его с горчинкой, точнее, с горькой морской солью, которой неизбежно приправлено «пролитое солнце». В книге «растение-женщина» — история взросления и «встраивания в реальность», сожаление о том, что под эту реальность, неизбежно надо «подстраиваться». Перед нами стихи человека, изначально созданного (как и все мы!) для лёгкого счастья, но обретшего невесёлый дар рефлексии в процессе наблюдения как за погружением в небытие советской «атлантиды», так и за уходом в прошлое собственного молодого и наивного «я». Вот первая строфа первого, «программного» стихотворения книги:

весь человек создан для красоты
но в красоте его вырыли норы кроты
теперь человек состоит из нор
как ему жить с тех пор

Причём эти кафкианские «кротовые норы» (между прочим, в том числе и астрофизический термин, обозначающий возможные входы в параллельные вселенные) «кровоточат тоскою сибирских рек», когда лирический субъект стихотворения начинает осознавать своё экзистенциальное одиночество. И тут же афористичная ирония над возможностью прорыва от «себя как вещи в себе» к «Другому»:

там где был один человек стало двое
(можно вызывать Ноя)

Такой же сумрачностью, соединенной, к тому же, с рискованной игрой с библейскими аллюзиями, проникнуто стихотворение «твоя зима: не вольна», этакий уютный новогодний Апокалипсис, в котором «санним следом прорезан дом», а отзвук горьких слов Откровения («знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!») сплавлен с трагическим переосмыслением старых сказок: добрый Дедушка Мороз уподоблен привидению, злему домовому, неумолимому Zeitgeist, отбирающему у нас прошлое:

Новый Год приходит не потому,
Что ты холоден и горяч.
Просто дед мороз завелся в дому —
И не выгнать его, хоть плачь!

Короче, у лирического субъекта отнята всякая надежда на лучшее (особенно пышно расцветающая, как известно, под Новый год):

У твоей зимы даже смерти нет —
Смерть над нищими не вольна.
И плывёт под звёздами ржавый свет,
Раздавая нам имена.

«Давать имена» — прерогатива Бога. Правда, однажды Он делегировал свои полномочия Адаму... И мы имеем то, что имеем. Следовательно, «ржавый свет», плывущий под звёздами — это тот самый Свет, что Во Тьме Светит? Точнее, то, что от него *сейчас* осталось, «реликтовое излучение» Творца в потемневшем мире?.. На иллюстрации — детские белые санки с лежащим навзничь, приросшим к ним ребёнком, с шуршащей над ними в высоте игрушечной вертушкой-пропеллером; грустный жёлтый (ржавый?) ангел, Матушка Гусыня, она же ладонь, по которой эти санки съезжают, а сбоку слева, «в столбик» — три огромных грустных человеческих глаза на розовеньких стебельках...

В следующем, очень музыкальном, стихотворении без названия «земля качается случается...» раскачивающиеся пирихии нечётных строк создают иллюзию зыбкости, ненадёжности бытия. Иллюзию ли?

земля качается случается
в ногах а чаще в головах
и ничего не получается
зима и снег увы и ах

Напрашивается аналогия со строками В. Канера «А всё кончается, кончается, кончается! / Едва качаются перрон и фонари...» Коровин, кстати, тоже отдал дань авторской песне. Но анафорические аллитерации («*подружка зимняя бессонница / беззвонница бесстыдница*») и особенно прикнувшая к ним «бесменная душа» (не «бессмертная» — отметим обман читательских ожиданий!) — это уже суверенно-коровинское, выстраданное, застающее читателя врасплох.

разлукой со стихами мается
мая бесменная душа —

и миропорядок лишается устойчивости. Такая вот «невыносимая лёгкость бытия»... Преодолеть её автор пытается, создавая собственную «позитивную мифологию» («Матросы: в небесах»), где «в небесах корабля» добрые «золотые матросы» «тянут канаты и тросы / чтоб вечно крутилась земля». Или пытаюсь окунуться в стихию вселенской любви, воплощением коей по умолчанию становится М. И. Цветаева, тоже превратившаяся в мифологического персонажа, едва ли не в Великую Богиню. В стихотворении «Тарусские страницы: наудачу» поэт умоляет Её: «занеси меня в свой донжуанский список», обещая, не без простодушного лукавства:

брошу всех поэток и всех актрисок
лишь тебе одной буду я неверным, —
мечтает (сопрягая, в духе Магритта,
внутреннее и внешнее пространство):
а хотелось жить на тарусской даче
повторяя долгое твоё эхо —
называя разными именами
облака и утро в твоей постели

Но в тексте без названия «луна — босая краснопёрка...» Коровин об­рушивает на любовь всю мощь постмодернистской иронии, нарочито экс­плуатируя «приём обнажения приёма». В пяти почти центонных строфах разместились и Шекспир с Данте, и Окуджава с Блоком и Пастернаком впридачу. А любовь здесь вовсе не «ответ на вопрос о смысле человеческо­го существования», как учил нас Э. Фромм. В оправе из серо-будничных аббревиатурных рифм она нивелируется, скукоживается до банальности и уже никому и ничем не может помочь:

когда без всяких предисловий
любовь приходит и т.п.
всё наше прошлое бесславно
случайно гибнет в ДТП.

Интересно, что первая строка этого стихотворения может восприни­маться как моностих, в котором луна (как известно, управляющая земными приливами) оксюморонно описывается сразу и как женщина (неожиданна антропоморфизация: «босая»), и как существо, связанное с водной стихией («краснопёрка»). Красны плавники «пресноводных рыб семейства карпо­вых», красен восходящий лунный диск... «Босая зардевшаяся рыбка» — не андерсеновская ли Русалочка перед нами?

Но вершинными в книге являются всё же не рифмованные тексты, а два верлибра. По жанру они приближаются к притче, повествуют о вечном: любви и забвении, доброте и жестокости. «Битва детей и улиток» — картинка с натуры: нашествие на «дворик Дома Волошина» брюхоногих моллюсков. Такое случается в Крыму. Из обыденной сценки поэт создаёт грустную параболу к «однодневной войне» мышей и лягушек из «Батрахомиамахии» и к «Одуванчикам» Анненского, а заодно и к известной максиме Экзюпери о нашей ответственности за тех, кого... Виноградные улитки очеловечиваются, у них «симпатичные рожки и смешливые физиономии». Дети поначалу спасают их «хрупкие домики» от невнимательных взрослых, «перенося улиток в кус­ты роз», но несколькими часами позже

...когда стемнело
во дворике слышался лёгкий хруст
непрочных улитиных домиков

дети играя забыли о тех
с кем они подружились утром
так
была отбита эта атака

Невозможно быть добрым каждую минуту своей жизни. Мы спасаем, радуемся, а потом — забываем о спасённых, убивая их своим равнодушием. Знакомая поэтесса, прочитав эту историю, спросила: «А где же битва? Бит­вы-то никакой тут не описано». Бедные невинные улитки, бедные невин­ные дети, бедная невинная гармония мироздания, для восстановления ко­торой кто-то неминуемо должен погибнуть в великой войне, которую даже невозможно описать словами...

Второй верлибр — «собака с человеческим лицом». Сюжет прост до невероятности:

собака с человеческим лицом
 выходит из подворотни
 лижет меня своим языком
 мокрым шершавым тоскливым
 говорит
 забери меня отсюда
 мой дорогой человек
 И вот эта розовая псина,
 эта мадмуазель Шарикова,
 начинает исповедь свою:
 я говорит начитанная
 даром что и собака
 в прошлой жизни была блондинкой
 высокой стройной
 пила из блюда
 полюбила одного кобеля
 волшебника
 а он надо мной посмеялся
 превратил в собаку
 выгнал из дому
 нет покоя моей душе
 только стихи и спасают
 когда голодно и мёрзнут лапы
 Мандельштама помню всего
 Гумилёва много
 Ахматова сестрица моя небесная
 ладно говорю раз Гумилева
 пойдём со мной что ли
 розовая собака
 там разберёмся

За счет древнего модернистского приёма (снятия заглавных букв и знаков препинания) — диалог двух бездомных душ практически сливается в монолог — бессвязный, рваный, пронзительный. Быть может, и нет никакой розовой собаки *блондинго*, есть только поэт и его одиночество.

Если попытаться определить настроение этого расписного ребуса, этой почти забавной книги, получилось бы вот что: ирония и самоирония, горечь и сумрак — такова изнанка солнечной изобильности и весёлых экзистенциалистско-экспрессионистских картинок. Однако сквозь все волчцы и тернии прорастает надежда — надежда человека Мудрого, человека Взрослого, человека Человечного. Но определять настроение поэтических книг — самое бесполезное дело на свете.

Пауль ЦЕЛАН

/ Перев. с нем. Ал Пантелят /



КОРОНА

Осень кормится листьями из моих рук: мы друзья.
Мы очищаем время от ореховой скорлупы и учим его ходить.
Время возвращается обратно в свой панцирь.

В зеркале воскресенье,
во сне усыпается,
уста твердят правду.

Мой глаз опускается к женскому роду любимой:
мы смотрим друг на друга,
мы проговариваем друг другу тьму,
мы любим друг друга как мак и память,
мы спим подобно вину в раковинах,
подобно морю в алом сиянии луны.

Мы стоим, сплетаясь в окне,
они смотрят на нас с улицы:
настало время, когда все знают.
Настало время, когда камень все же решается цвести,
когда тревога проникает в сердце.
Настало время, чтобы время настало.

Настало время.

НЕКИЙ ГУЛ

Некий гул: это
истина, сама
вошедшая
среди людей,
в середину
вьюги метафор

ИЗ ТЬМЫ ВО ТЬМУ

Ты проглатываешь мои глаза - и я вижу жизнь своей тьмы.
Я вижу ее рядом с землей:
даже там она со мной и продолжает жить.

Она может переправить на другой берег?
Она может пробудить?
Чей свет, что нашел себе паромщика,
следует за моими ногами?

Я СЛЫШУ ЗАЦВЕЛ ТОПОР

Я слышу зацвел топор,
я слышу, есть место без имени,

я слышу, что хлеб, который на него смотрит,
исцеляет повешенного,
хлеб, который ему испекла жена,

я слышу, они называют жизнь
единственным возможным убежищем.

ЛЕГЕНДА

Как только тайна земли заржавеет
приходи смело, брат, закладывать со мною светлый камень.
Я ничего не нашел. И ты ничего не найдешь.
Но земля дает трещины.

Когда стемнеет, я возьму тебя с собой в мой чертог.
Ты спросишь, кто в нем?
Там моя сестра, там моя любовь.
Часто темнеет, когда дома меня еще нет...

Разгадаю ли я, разгадаешь ли ты
заржавевшую тайну земли,
заложив окровавленный камень?

СКЛОН

Рядом со мной живешь ты, подобно мне:
будто камень
в ввалившейся щеке ночи.

О, этот склон, любимая,
по которому мы безостановочно катимся,
мы камни,
от ручья к ручью.
С каждым разом все круглее.
Родственнее. Разобщеннее.

О это опьяненное око,
что также как и мы блуждает,
и временами нас объединяет
в своем удивленном зрачке.

ЖЕЛАНИЕ

Корни изгибаются:
там внизу
должно быть, живет крот...
или гном...
или только земля
с серебристым слоем воды...

Но лучше бы
там была кровь.



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГОМУНКУЛЫ

*Субъективные заметки о книге Саши Либуркина
«Жениться на англичанке»¹*

Так вышло, что эту книгу я прочел еще до того, как получил в руки. Рассказы, ее составившие, автор выставлял как посты в своем живом журнале, названном «Записки наивного читателя». Тем интереснее было прочесть всё «в сборе».

Не буду повторять байки о Саше Либуркине как непременно скандальном персонаже нынешней петербургской литературной тусовки — это уже стало общим местом. Душевно и не без иронии об авторе и его прозе говорит в предисловии к книге писатель, а по совместительству и герой некоторых рассказов, Владимир Шпаков, считая, что «нашим литераторам (в особенности поэтам) следовало бы скинуться и поставить Либуркину скромный бюст» как творцу современного литературного мифа.

Книга состоит из двух частей и совершенно очевидно на них распадается. И если герои первой части («Чистое вино»), родственники и соседи лирического героя, жители небольшого молдавского местечка, выписанные с юмором и любовью, мне весьма симпатичны, то герои второй части, посвященной Петербургу («Записки наивного читателя») — не слишком-то. Ибо некоторые из них представляются мне этакими гомункулами, созданными автором-Парацельсом из невского тумана, мороси и табачного дыма «Борея», и туда же, мелькнув на страницах книги, отправляющимися.

Вот гомункул-пиит, алкоголик в завязке, вспоминающий, что когда-то он «поллитру винтом выпивал, и не одну за вечер», а ныне пекущийся, подобно гламурной барышне, о собственной диете.

Вот ушибленные левой идеей юные гомункулы, стремящиеся непременно ее где-нибудь и на ком-нибудь применить.

Вот гомункул-философ, раздувающийся от собственной значимости (впрочем, полагаю, ни кандидат «философских наук», ни даже доктор — еще не философы. Хотя, понятное дело, в России каждый второй — философ). Замечу, «Постмодернисты» и «Левый поворот» — самые сильные, на мой взгляд, рассказы в книге.

¹ Саша Либуркин. Жениться на англичанке. СПб., Красный матрос, 2013.

Уверенными штрихами пишет автор портреты этих персонажей, не стесняясь при этом называть их настоящими именами. На что требуется определенная смелость. Есть, однако, и вполне обаятельные, относящиеся в основном к старшему поколению.

Мне, достаточно хорошо знавшему ленинградскую и петербургскую литературную жизнь семидесятых — восьмидесятых — девяностых годов и почти отошедшему от нее в начале «нулевых», читать о «новых людях» было весьма интересно. Естественно, кое-кто из «участников литпроцесса» благополучно перетачился во времена нынешние. Причем целая плеяда тех, которых тогда «не стояло», сделались вполне себе «классиками».

«В сборе» некоторые рассказы, на мой взгляд, как бы дублируют друг друга, т.к. построены по единому принципу. Понятно желание автора в своей первой книге «дать всё», но на то и существует обозначенный в выходных данных «редактор-составитель».

Иногда автору несколько изменяет вкус, и тогда возникает, к примеру, слащавый и наивный пиар (не зря же читатель «наивный»), как в рассказе «Коньяк и кофе» о «знаменитом русско-немецком поэте» Лине Лом (вот хрестоматийный гомункул: утверждается, что он реально существует, но никто никогда его не видел).

Книга замечательно оформлена художником Артуром Молевым — на редкость точное совпадение иллюстраций и текста. Будем ждать от «наивного читателя», а теперь и отнюдь не наивного писателя Саши Либушкина новых рассказов и книг.

Сентябрь 2013



Надежда ХОЛОДКОВА

/ Санкт-Петербург /

ПОМНЮ ТЕБЯ

Новый дом мой тих и светел,
спит луч солнца на трубе...
Я хочу, чтоб этот вечер
мне напомнил о тебе.

Желто-красный вихрь уносит
новый день в моей судьбе.
Знаю я, что эта осень
мне напомнит о тебе.

Снова утра безмятежность
улыбнется мне во сне...
Я боюсь, что эта нежность
о тебе напомнит мне.

* * *

Тридцать градусов. Ветрено. Воздух забит до отчаянья
испареньями жаркой, успевшей впитаться грозы.
Совершенно по-летнему, шалыми звонкими стаями
пролетают шмели, разнося беззаботный призыв.
Удивляется небо — согласно его расписанию,
в этот час ожидались весьма затяжные дожди.
Обрамленный окном, расцветает пейзаж... От касания
глаз твоих что-то рвется и тает в груди.

* * *

Зимний вечер устало тает,
и закат розоветь спешит...
Иногда меня согревает
только солнце твоей души.

* * *

Просыпаясь от шума пятичасовой суеты,
разбиваешь последние грани надежды на чудо.
Не искать повторенья — принять приговор простоты,
распрямить, что не сломлено, пить из другого сосуда.

Выходя из границ своего нелюбимого я,
нарушаешь границы любимых — недобрый, но выбор.
В перевернутых лицах почудится дрожь бытия,
и поверишь на миг, что в силах исправить что-либо.

С полупьяным бродягой уснуть на скамейке, забыть!
Посмотреть на вопрос, наконец, не сбежав от ответа.
И под хохот злорадный обычно беззлой судьбы
вырвать сердце и тихо баюкать его до рассвета.



Вера КИРИЛЛОВА

/ Санкт-Петербург /

Вера Кириллова (Любовь Кирилловна Белая) живёт на Украине, в Кривом Роге. Стихи её — оригинальны, современны, выразительны, светлы. Изумление перед миром, всегдашняя искренность, доверительность интонаций, верно взятый тон соединены в этих стихах с конкретными, точными деталями отнюдь не безоблачной, но сложной, драматической, переполненной разнообразными событиями жизни, волшебные сны соседствуют с весьма суровой явью, природа здесь не декорация, а живое, спасительное пристанище, отрада для души, желанный рай. Тонкие, лаконичные, пронзительные стихи Веры Кирилловой в чём-то сродни стихам Эмили Дикинсон. Такие стихи — не сочинены, а выстраданы. Эта образованная, одарённая и героическая женщина заведует единственным оставшимся в городе букинистическим магазином — и годами спасает его от закрытия. Благодаря ей, люди в наше время читают и любят книги.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

* * *

Чтоб влаги утренней испить
мы вышли из домов —
тебе нужна травинки нить —
я пью из облаков.

Мне взгляд никак не отвести от твоего движения —
плавнее стрелки часовой по стебельку скольженье...

от кроткой наготы твоей
глаз прячется в истоме;
таким и взмах ресниц — Борей —
Улитка снова в доме...

* * *

Ты слышишь и напеваешь мне фуги Баха,
Перепел всех Битлз, не сфальшивив ни разу,
Говоришь, что слышишь музыку сфер...
Почему не слышишь мой голос?
Или он тише шороха мотылька,
Бьющегося о ночное стекло,
От которого ты просыпаешься?

* * *

О, как давно меня тревожит
прямоугольник тот загадочного света —
водораздел моей судьбы,
вещающий обрывки снов, иллюзий...
дарящий отзвуки
несбывшихся и будущих надежд
и разделяющий мое пространство
на дивный свет, зовущий в море
и липкую, удушливую тьму.

Дырой иль дверью стать ему?

ЭХО ДНЯ

Бах и Рахманинов, кошки и книжки,
След поцелуя пса-шалунишки,
Вкус, всем знакомый, осенней тоски —
Темой, нестертой со школьной доски...

Вихри движения — в классе урок.
Слов не смолкает надрывный поток
Про мир и про пир, про любовь и про честь...
(Их до утра Звездочету не счесть,
Тех, кто из Чаши Грааля «испили»...
Ведь не беда, что надежды разбились...)

Отложена вновь куча дел на потом...
На грани — уже между явью и сном,
Тихий голос вползает в ночной репортаж —

«Ну, а ты прокаженному руку подашь?»

* * *

песчинки окаменевших слез
на влажной ладони —
не пересчитать

БЛАГОДАРЮ

Отелей блеск и звон богемского стекла —
не для меня —
ты помнишь чай на кухне тесной? —
благодарю;
и ясный ум и юмор искромётный —
другим,

мне — безмерность боли
и молчаливость слёз —
благодарю;
объятыя с обещаьем рая — не со мной —
я пью напиток неизбывности печальной
и повторяю, повторяю —
за высший дар — любить —
благодарю.

ДВЕРЬ

Перед тобою дверь,
в суровости своей проста,
как Слово Безначальное...
«Переступи порог» — ты слышишь зов.
Твою измену,
ослабившую власть его стальную,
уже учуял зверь,
но не выдаст ангел.

ГЛАГОЛЬНОЕ

Проснуться до рождения Венеры
Слушать прибой и визги чаек
Бросаться с шумом в волны
Отыскивать знакомый след на обнажённом дне
Бежать — кто раньше до рыбацкой лодки
Валиться на песок
Зажмуривать глаза на солнце
И выводить посланья на воде
Вдыхать чабрец и горькую полынь
Пить кофе из надбитых чашек
Дуть на горячий шоколад
Молчать о книгах и о чувствах
Бросать монетку старому саксофонисту
Кормить чужих котов
Освобождать из паутины мух
Держаться за руки в кармане куртки
Ловить закатный лучик солнца
Жечь свечи и костры
Рассматривать журналы Нива или Vogue
Слизать всю соль с обветрившейся кожи
Влюбиться в хворь — в твою, в свою
Сниться...

Снится.

ИЗ СНОВ — 1

Плывешь рыбкой в глубоких водах,
Ловишь крылом поток,
Облаком в небе таешь...

ИЗ СНОВ — 2

Время своё перепутав,
Робко проснулась почка
На ветке осеннего дуба.

ИЗ СНОВ — 3

Мерещится за вещь вещь...
Но вот я здесь ...
Две пачки «Примы»,
стол,
кровать,
на стульчике обшарпанном твой свитер
с кодом далеких ароматов,
шкаф книжный — пустоват
для умника такого,
всеветный Бах,
распятие на стене
и Бог —
еще живой.

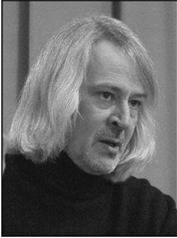
* * *

с собственной лунной тенью танцую
на песке неостывшем
в затихающий шторм

В ПРОСВЕТ НЕВИДИМЫЙ

В просвет
невидимый
временных пластов
Неведомый гость
залетает тихо —
кружит в веренице
прозрачных снов,
открывает замки,
сносит границы...

улыбаюсь —
на часах 3.99



Максим НЕНАРОКОМОВ

/ Москва /

* * *

Вечно и точно под вечер
В височную долю,
Тонкой иглой комариного
Жадного жала,

Узником зябким в узилище,
Будто на волю,
Боль забирается вглубь
С безразличьем кинжала.

Безотносительно к теплomu влажному мозгу,
Пережимает тугие нейронные нити.
Боязно. Глаз незаметно царапает воздух.
Сердце грохочет в порожнем подкожном корыте.

Соль выступает из пор,
Превращается в запах.
Пахнет вода,
И паркет загибается коркой.

Я засыпаю, сжимая в прокуренных лапах,
Выжженный день, прогоревший без всякого толку.

* * *

В ногтях, в уключинах костей,
В печатях, выдавленных лавой,
Скрипит предвестие вестей.
Живет условие отравы.

Мы рождены, чтобы дышать
Неверно, трепетно и бойко,
Чтобы случайно украшать
Портретом выбранную койку.

Мы просто морок, коростель,
Болотом позванная птица.
Мы пыльный полог, мы постель,
В которой следует родиться.

* * *

Брожение дружбы в полночной крови
Под утро выводит беседу на траверз.
Февральской зари безобразная завязь
Уже оплетает, шипя, фонари.

И просто считая во мраке ступени,
К закрытой двери припадая рукой,
Я слышу, в истоме предутренней лени,
Как к вене яремной стремится покой.

Я слышал, как ты, уходя, попадая,
Ни в такт, ни в период, а в хлест, переплет,
Стремился сбегать от собачьего лая,
Слегка поджимая обгрызенный хвост.

Я слышал и шел с тобой торной дорогой,
Дышал через силу, но, все же, дышал.
Мы жили убого, мы выпили много.
Пусть я тебя выгнал, но, все-таки, ждал.

ДОЧЕРИ

Милостыня или милость
Мне дарована весной?
Небо странно наклонилось,
Исчезая за сосной.

Запах прели, запах гари,
Гравий, маркие следы.
Здесь я меточку оставил
И секретик из слюды.

Станет он из подземелья,
Из-под грязной пелены
Соком исходить веселья,
Жженой искоркой луны.

И не я, усталый, сивый,
Дочь моя проложит след,
К этой искорке спесивой,
К ямке, прячущей секрет.

И пластмассовой лопатой
Вскроет сонное стекло.
И с улыбкой виноватой,
Мое вынет барахло.

Я ее услышу крик,
Я ее увижу руки,
Ямку, ветку ежевики,
Слюдяной прощальный блик.

* * *

Округло то, что нелюбимо,
И пальцы, стирая в кровь,
Свое разомкнутое имя,
Иисус обстригивает вновь.

Слоистое, с тяжелым духом,
Сопревшим в тутовой листве.
Еще не выданное мухам,
Но уже сданное молве.

Порты не хуже галабеи,
И та и эта мокнет ткань,
Когда ликуя и тупея,
В потливую топочет рань

Толпа, за ним не поспевая,
И только тень струится вспять,
Коварная, как Иудея,
Чтобы убить или обнять.

* * *

Я все пишу ему, пишу,
Туда, где писем не читают.
И почтальоны уже знают,
Что писем я не отношу.
Но я ругаюсь и пишу.

Ему давно пора ответить
И рассказать, как он живет.
Уже стареют его дети
И матерееет их приплод.
Но он молчит и тонет в свете.

А я пишу, зову и спорю,
И дую в строгую дуду,
Лежу, как тапок в коридоре,
Пинка или ответа жду.

* * *

Бормочи, что-нибудь бормочи,
Разбирая в кармане ключи,
Раздирая железкой замок,
Спотыкаясь о гладкий порог.

Днем и, криком срываясь, в ночи,
Бормочи, что-нибудь бормочи.
Отойдет и останется грязь.
Ты осмотришься, нервно смеясь,

Волосок на странице завис,
Он висит и не падает вниз,
Прицепился и словно парит.
Просто волос — не жив не убит.

Паутинка, последняя связь.
Бормочи или волосы крась.

СТАРУХА

Когда кольцо уже не красит,
А лишь скрепляет старый шелк.
Узлы суставчатых балясин,
Скрипят, чтоб голос не умолк.

Когда пергамент тыльной части
Ладони, что дарила жар,
Натягивается на снасти
Костей и межреберных пар.

Тогда на тонкой этой ткани,
Отметками былой жары,
Вскипают точки метаний,
Литаний, брани и игры.

И тело, превращаясь в карту,
Переживая свой секрет,
Уже не радуя Астарту,
Танталу посылает свет.



Александр ЦАРОВЦЕВ

/ Нью-Йорк /

ЛЮБУЯСЬ УГАСАНИЕМ

На исходе ускользающего лета
На заливе на закате на излёте
Лет на склоне дюны увяданье дня
Удлиняет тень... Неотвратима Лета
Осторожней дух и тоньше плотность плоти
Отделяющей меня же от меня

*31 июля 2009 г.
СПб.*

БАЛЛАДА

Юле Ланда

Была та смутная пора...
А. Пушкин

Что прошло — не воротится,
Прошное забудь.
Евр. нар. песня

Была безумная пора
Белела ночь, и шла игра
На жизнь и на свободу.
Кто ставил мельче, кто крупней,
Кто отправлялся в мир теней,
А кто крапил колоду.

Татьяна МИХАЙЛОВСКАЯ

/ Москва /



АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БРОНЗОВОГО ВЕКА

Передо мной два тома поэтической антологии. Изысканный стильный дизайн — художник и поэт Валерий Мишин не только придумал и реализовал эту книгу как книгу, но и выступил в качестве составителя совместно со Славой Лёном. На обложке название «АРС», Академия русского стиха. Всё интригует, всё загадочно — и то, что антология, и то, что у русского стиха, оказывается, есть своя академия. На фоне нынешних разборок с академией наук это и вовсе звучит по-особому. Попытаюсь разобраться и начну с антологии. Их в последние годы вышло предостаточно — чем же отличается новая? Ага, вижу — эта антология построена по поэтическим направлениям: «Квалитизм», «Концепт», «Верлибр», «Традиционный (классический) стих». Сразу угадывается ориентир на знаменитый образец — антологию И.С.Ежова и Е.И.Шамурина «Русская поэзия XX века», изданную в 1925 году. Ориентир выбран профессионально — составитель и автор идеи антологии Слава Лён давно вынашивал подобный проект, позволяющий при всем разнообразии авторских стилей показать общий художественный принцип каждого направления. Его многолетняя работа по исследованию школ русского стиха второй половины XX века и их каталогизации, наконец, реализовалась в практической работе по составлению этой антологии.

Период с 1953 года — года смерти Сталина и начала оттепели — и до 1989 года, то есть перестройки, это, по определению «идеолога» антологии Славы Лёна, и есть период Бронзового века русской литературы. Понятия Золотой век и Серебряный век, хотя и ненаучные в строгом значении, но тем не менее общепринятые, вошедшие в обиход и не нуждающиеся в расшифровке. С Бронзовым веком несколько сложнее. Этот термин, родившийся в 60-х годах в андеграунде, когда по определению поэта, тоже академика, Б.Констриктора, «дышала ночь восторгом самиздата», составитель применяет исключительно к неподцензурной литературе обозначенного временного периода, оставляя за скобками литературу, действовавшую в рамках советской системы, то есть Бронзовый век в российской культуре существовал лишь как «подпольное» явление. С этим можно согласиться, помня только, что между двумя системами —

подцензурной и неподцензурной — не было «берлинской стены», и некоторые вполне советские поэты, такие, как например, Борис Слуцкий, многое писали тоже «в стол», и если верлибриста Владимира Бурича не печатали, то у верлибриста Геннадия Алексеева вышла в Ленинграде не одна книга, при том, что в принципе верлибр был нежелательным в практике советского книгоиздания. Та же картина наблюдалась и в изобразительном искусстве. Бронзовый век потому и был возможен в нашем искусстве, что система в этот период где-то давала сбой и была уже не способна на тотальный контроль над личностью, как в 30-е годы.

Определив время действия, определим теперь действующих лиц. В антологию вошло 30 поэтов-академиков из Москвы, Ленинграда-Петербурга. Увы, дальше по классической формуле: «иных уж нет, а те далече». За время выхода двухтомника не стало Аркадия Драгомощенко, а совсем-совсем недавно Наталии Горбаневской, тоже члена АРСа, чьи стихи вошли в антологию. Она из той немногочисленной группы академиков, представленной в антологии, которые работали в системе традиционного стиха. Среди них Иосиф Бродский, Олег Охупкин и ныне здравствующие Дмитрий Бобышев и Сергей Стратановский.

Идея создать мировую Академию русского стиха (Нью-Йорк — Париж — Москва — СПб) возникла в самом начале 90-х годов, когда многие «поэты-нонконформисты разбежались по странам и континентам», как написал в предисловии составитель. У истоков Академии стояли Слава Лён, Владимир Уфлянд и Иосиф Бродский, который и был выбран ее первым президентом.

Большинство первых поэтов-академиков известны нашей не слишком широкой читающей стихи публике. Генрих Сапгир, Всеволод Некрасов, Игорь Холин, Виктор Кривулин, Геннадий Айги — это академики еще первого «призыва». В антологии приятно встретить старые хорошо знакомые стихи. Закономерно, что составитель поместил там классику андеграунда, такую, как, например, ставшее чуть ли не народным стихотворение Холина:

У метро у «Сокола»
Дочка
Мать укукала
Причина скандала
Дележ вещей
Теперь это стало
В порядке вещей.

Или «Сонет о том чего нет» Генриха Сапгира, который легко перебрасывает мостик от нашей прошлой жизни к настоящей:

То мяса нет — то колбасы и сыра
То шапок нет куда я ни зайду
Но я встречал и большую беду
Нет близких. Нет здоровья. Нет квартиры

Нет радости нет совести нет мира
Нет уваженья к своему труду
Нет на деревне теплого сорта
Нет урожая в будущем году

Конечно, стихотворение Владимира Уфлянда «Рассказ женщины» с лихими строчками:

Помню в бытность мою девицею
мною увлекся начальник милиции.
Смел. На каждом боку по нагану.
Но меня увлекли хулиганы.

— никак не могло быть напечатано в советском журнале или газете в 1957 году, когда оно было написано. Тем, кто прочтет его впервые в антологии, не стоит забывать об этом.

Время чтения стихов
Это время их написания

— очень точно заметил Владимир Бурич, патриарх отечественного верлибра, без надежды, что «время чтения стихов» когда-нибудь настанет. На эту же проблему, но совсем под другим углом через много лет посмотрит Михаил Ерёмин:

Со временем отмеренную славу поглощает
Забвение,
Что и досаднее, и безысходнее
Безвестности...

Эдуард Лимонов, чье имя последние два десятилетия частенько склоняется в медийных новостях, тоже член Академии русского стиха. В антологию включены некоторые его стихи, в давние годы ходившие в самиздате. Они помещены в раздел «Концепт», хотя могли бы войти в «Квалитизм», ведь для поэтов-квалитистов «высвобождение языка из-под спуда логики и грамматики» было первой целью. Вполне убедительно доказывают родство с квалитизмом, например, такие строки любовного стихотворения Лимонова:

Но если твердо ты уйдешь
Свое решение решив не изменять
То еще можешь ты вернуться
Дня через два или с порога

«Из-под спуда логики и грамматики» автор точно увел свой стих. И не один этот. И не только этот автор. Вообще квалитистов в антологии представлено, пожалуй, больше всего, и это неудивительно, поскольку на путь лексического, семантического «сдвига» вставляли многие крупные поэты, используя для этого самые разные техники. Вот стихотворение Виктора Сошны из книги 1973 года:

Выхожу один я. Нет дороги.
Там — туман. Бессмертье не блестит.
Ночь как ночь — пустыня. Бред без Бога.
Ничего не чудится — без Ты.

Повторяю — ни в помине блеска.
 Больно? Да. Но трудно ль? — утром труд.
 В небесах лишь пушкинские бесы.
 Ничего мне нет — без Ты, без тут.

Можно сказать, что «мундир» лермонтовского стиха раздирает трагедия «без Бога» далекой советской эпохи. А нашу современную реальность, уже 2000-х годов, Тамара Буковская воссоздает своими, истинно «руководными» словами:

несчастные и нищие и злые
 метрошные трамвайнопоездные
 квартиросъёмные бездомноугловые
 мешочноклетчатые сумконабивные
 притравленные властью но живые

Приемов было много, цель одна — сделать стих живым. И эта цель была не только у квалитистов, но и у концептуалистов, и у верлибристов, и у традиционалистов. Действительно, «всякое сравнение хромает», и всякая классификация тоже. Она условна, но необходима как метод литературного анализа. С этой точки зрения, работа, проделанная составителями, очень важна, поскольку дает коллективный портрет русской неподцензурной поэзии второй половины XX века. Мы можем видеть, какими путями шло развитие поэзии — отказ от традиционной рифмовки, массированное привлечение повтора, богатое интонирование, близость к народному стиху у одних и захват территории прозы у других, и многое-многое другое, что когда-то Алексей Крученых обозначил термином «сдвигология». Да, в Бронзовом веке русский стих, действительно, сдвинулся с привычного места, и раздвинулись его, казалось, окаменевшие границы.

Но независимо от того, каким путем шли поэты, к какому направлению относили себя сами, и вслед за ними — составители антологии, легко заметить общую присущую всем черту: это внутренняя свобода высказывания. Свобода как эксперимент, не только над словом, но и над собой. В этом ощущается родство поэтов второй половины века с поэтами 10–20-х годов. Велимир Хлебников, Алексей Крученых, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс, Осип Мандельштам незримо стоят за плечами нынешних академиков и будут стоять за плечами тех, кто идет следом. На пустом месте ничто не возникает. Многие технические приемы, придуманные сто лет — теперь уже — назад, были освоены и испытаны именно в поэзии Бронзового века. Многие же темы, намеченные поэтами Бронзового века, найдут свое развитие в поэзии XXI века. Закон сохранения поэзии как энергии отменить невозможно.

Михаил НАУМОВ

/ Берлин /



* * *

Листва шуршит: и звёзды надо мной
так бесшабашны (тоже мне утеха).
Остановлюсь над тёмною водой
и чуть помедлю, просто ради смеха.
Осенний лист — остаток барыша —
по тёмной глади поплывёт, отважный,
как тот кораблик (помнишь ли, душа?)
что плыл из детства в вечность,
тот, бумажный...

* * *

Сегодня в Киеве весна ни дать, ни взять
и на «рулетке» все фонтаны бьют до неба.
Толпе, как прежде, нечего терять —
ей нужно зрелищ и немного хлеба.

Когда-то в Киеве бывало веселей,
и в кабаках другая музыка звучала,
и «Поплавок», качаясь все сильнее,
нас уносил куда-то от причала.

С друзьями пили мы всегда до дна,
из песни мне не выбросить ни слова.
Быть может, вспомнит женщина одна,
но полюбить меня не сможет снова.

Весна прошла. О чем тут говорить?
И вспоминать мне только остается
о том, что было иль могло бы быть,
но не сбылось и больше не вернется...

Костры горят на склонах, как тогда...
Мне верится, что те же эти склоны.
Но время всё уносит, как вода —
другие там и песни, и законы.

Я сам себе кажусь теперь другим,
и детство кажется приснившимся когда-то.
Пусть по воде расходятся круги,
вода одна ни в чем не виновата.

Весна и осень вправду хороши.
Но в Киеве прекрасней, чем где-либо.
Судьба сама сумеет все решить,
судьба всегда решает справедливо.

1997

Филипп ЛЕБЕДЕВ

/ Харьков /



ВОЗ-ЗВАНИЕ

В глухом яру, средь яростных честнот
Взмах крыльев как итог пустого рейса,
Откинув паранджу оранжевой весной
Воспето-невоспето еврейство.

Земля не радует и к облакам не тянет,
Чтоб по приданию колен не отличаться
На дне низины днесь самаритянин
Лепечущий на языке крымчакском.

История не терпит и не ранит
И об ухаб споткнувшись валко-шатко
Законы в (иу)действующем храме
Во век веков мощные брусчаткой

Плоды свободы с болью пожиная
Как отблески пустынной светотени
Народно-инородного Синая
Шеренгой плоскогорных восхождений.

Утешит путешествие без лаций
Вино, ведь невиновен был ни в чем ты
И желтым цветом воспылает солнце
А отмель моря — красно-бело-черным

Как лоск самосознания искомый
Последний пазл базальтовых мозаик
И за пределом бережных оскомин
Во век веков из тени вылезает.

* * *

Покрывшийся инеем — истовым блеском
Прогнозам не веруй. Синоптик, солги нам —
С биноклем прибегнув к советам библейским,
Коль с запахом краски льняная сангина

Заснеженный цоколь. Щеколду задвинет
Лесной обыватель, чтоб мысли согрели
На утро под пледом — он бледный сангвиник
Но в полночь — бездомный нелепый холерик

Слова — иллюзорное море в поддоне
И краски в пыли — в ультракрасной траве
Поможет восставший из ада — адонис
Низвергнуть из рая — поэт-интроверт.

* * *

Двуличие небесных попури,
Где звезды летней ночью околели.
Стоит на табурете тамбурин,
Окрашен звуками аккордов укулеле.

Литое серебро топорных струн
Раскрасит лейтмотив бывалых песен
Из злободневной памяти сотрут
Прогорклый запах сладких мракобесий.

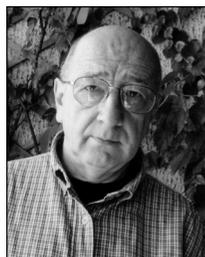
Приятной фальши звуки комильфо
Кричат неоднозначное «прости нас»
Дитя, перебирая ксилофон
Услышит скрип вращения пластинок
Прошедший век давно уж не винит
Ибо прошел сквозь тысячи колен ты,
Но в памяти записан на винил
Новаторский этюд магнитной ленты.

Архаику времен опередить,
Век двадцать первый, слышится, пора нам,
Но первых нот былой аперитив
Вновь выльется в плакучее сопрано.

Дым комнатный давно уж прокурил
Белеющие певчие аллеи,
Но там же одинокий тамбурин,
Стоит и слушает аккорды укулеле.

Виталий АМУРСКИЙ

/ Париж /



ШУКШИН¹

Его лицо по кинокадрам помня,
(Не всё в минувшем вьюги замели) —
На родине нашёл я только комья
Оплаканной кладбищенской земли.

В Москве стояла осень золотая,
Когда так нежен первый холодок,
И, подражая журавлиным стаям,
Из труб фабричных улетал дымок.

А в сердце этой, близкой мне, России,
Что не к лицу ни подлость, ни враньё,
Лежал мужик по имени Василий.
Нет, не мужик, конечно, — часть её.

Был для души тот день почти исчерпан,
Но как в колодце чувств и языка,
Я тут же черпал в воздухе вечернем
Неспешно багровеющий закат.

Мерцая как металл на наковальне
Или, точнее, калина в октябре,
Он был на вкус немного горьковатым,
Настолько, впрочем, что как раз по мне.

ПЕЛЬМЕНИ

Мои друзья отличий не имели
И знаменитых не было меж нас,
А за столом сибирские пельмени
Нам часто приходились в самый раз.

¹ Стихи из книги «Слушая ветер». Книга выходит в издательстве «Алетейя» в 2014 г.

Горячие, как наши разговоры,
Под стопку и гитарный перебор,
Числом демократических калорий
Они могли б побить любой рекорд.

Сибирским было в них одно названье,
Но суть, возможно, больше, чем еда...
Хотя тогда об этом мы не знали,
Не думали об этом никогда.

МАЛЕНЬКИЙ НЕСЕРЬЁЗНЫЙ РОМАНС ПРО СПИЧКИ

Опять увидеть бы мне вас,
Как в прожитом столетии,
Но спичка вспыхивает раз
И дважды не гореть ей.

А мне б на вас взглянуть хоть раз,
Забыв невзгоды,
Но огонёк, увы, погас
И спички на исходе.

Ах, этих спичек коробок,
Ах, эти чувства!..
Но не зажжёт ни чёрт, ни бог
Того, что пусто.

* * *

На каждую Помпею — по Везувию.
На каждого солдата — по войне.
На каждую эпоху — по безумию.
Всем в меру. Только нам всегда вдвойне.

Как часто, будто девкой безотказной,
Заманивало мальчиков игрой,
Чтобы сражаться на земле афганской
Или ещё какой-нибудь другой.

Когда ж потом они теряли головы,
Пережитое в водке растворив,
Лишь вороньё да рощ деревьев голые
Их понимали как свои своих.

Но вновь на юг, отсчитывая станции,
Спешат вагоны с юною братвой
Туда, где светят звёзды дагестанские,
Соседствуя с чеченскою луной.

Плывут за ними облака кудлатые
И, за верстою одолев версту,
На стыках рельс: «Куда же вы, куда же вы?!»
Стальных колёс печален перестук.

ЕСЕНИАНА. ФРАГМЕНТЫ

1. Рязанский мальчик

Гремит вдали гроза негромкая
И всё вокруг как будто замерло,
А он опять, бумагу комкая,
Текст переписывает заново.

А заново — оно не ладится,
Но ищет он слова, чтоб помнили:
Для всех ушедших — нынче Радуница,
Для всех живущих нынче — молнии.

Они сверкают, как знамения,
В просветах редких между тучами,
Лишь сердце мучают сомнения,
Тревоги мучают.

О смысле их ему неведомо —
Природа тайнами отмечена,
Не просто ж так над полем дедовым
Зарницы мечутся!..

2. Комиссарская осень

Красным цветом октябрь раскрасил озябшие рощи,
Будто мало без них на российской земле кумача!
Не ищи слов крутых, выбирай те, что тише и проще,
Вроде капель дождя, что лениво по крыше стучат.

Комиссарская осень пылает по древним раздольям,
Где лишь ветер ещё не забыл заунывную песнь ямщика.
Ничего, если вечно в себе ты раздвоен —
Нераздвоенных нынче найдёшь лишь в подвалах чека.

3. Утраченный черновик

«Тоска смертная, невыносимая, чую себя
здесь чужим и ненужным, а как вспомню про
Россию, вспомню, что там ждёт меня, так и
возвращаться не хочется... Тошно мне, закон-
ному сыну российскому, в своём государстве
пасынком быть...»

*Из письма С.Есенина — А.Кукикову
7 февраля 1923 г. Атлантический океан*

В гостях у Европ и Америк
Устал я, Сандро, поверь —
Берёзовый нежный веник
Да баньку бы мне теперь.

По мокрой траве — на пасеку,
На речку — купать коня!..
Но быть в отечестве пасынком,
Дружище, не для меня.

Во снах Рязанщина — вот она,
Московия — тоже тут,
Да только душа измотана
И дома меня не ждут.

Подумаешь: выпил лишнего?
Скажу лишь одно в ответ:
Я только вспомнил о вишнях
Тех губ, что давно уж нет.

Бездомье в сердце, бездонье,
Как в храме, что без молитв.
Когда же и чьей ладонью
Прикроет глаза мои?

Февральский месяц, как сабля,
Над чёрной водой завис...
Увидимся ль скоро, Сандро?
Не пропадай, отзовись!..

4. Возвращение на родину. Наедине с тенью

Всё меньше пишущих,
Всё больше плачущих,
Всё меньше ищущих,
Всё больше алчущих.

Всё меньше праведных,
Всё больше грешных.
Всё, скажем, правильно,
Всё так, конечно.

Но вечно с болями,
Что душу мучают,
Куда ж с тобою мы,
Тень неразлучная?

РАССТРЕЛ

(Из поэмы-коллажа «Неделимое»)

Памяти Гумилёва

Собак потревоженных лай,
Зияющий мрак подворотен,
Да тот же заблудший трамвай
Вдруг вынырнет на повороте.

Охалка горячая искр
Расплавится в гуще вечерней,
Как в дачном саду барбарис
Лохматый, лечебный.

Быть может, под дулом вот так:
Сквозь полузакрытые веки —
Вагон и огней кавардак,
Цветы и колючие ветки...

Останется сделать лишь шаг
(до звёзд и бессмертья — полметра)
И Невский простор, и Кронштадт
Обнимут тебя своим ветром.



Александр МОЦАР

/ Киев /

РОДЧЕНКО

1

Всю ночь Родченко кусала змея, но не настоящая, а плюшевая, и кусала она не больно, а так... плюшевые челюсти цеплялись то за пятку, то за лодыжку. Родченко боролся с ней, как мог, то есть плевал в неё, пытался удуть подушкой или хотя бы отшвырнуть ногой. Змея, заливаясь веселым смехом, улетала в угол, причем, всегда вместе с тапком. Наконец, изловчившись, Родченко схватил гадину за хвост и, раскрутив над головой, метнул в оконный проем. Змея улетела, но ее место занял таракан, здоровый, пуда на два, усища, глаза, к тому же, говорящий всякие гадости.

Родченко выругался, сплюнул и пошел на кухню за топором. В это время позвонили в дверь. Изменив траекторию и громко сквернословя, Родченко вышел в коридор и открыл дверь незнакомцу.

Пожилый мужчина с лихими казачьими усами молча протянул ему бумагу, на которой красным фломастером было написано «Киевскому Зоопарку требуются разные гады».

— Ага, допрыгались, голубчики, — весело протянул Родченко и проснулся.

Проснувшись, Родченко понял, что повода для веселья нет. Жутко болеет голова после «вчерашнего».

Вчера полузнакомым балаганом Родченко отмечал выход своей новой книги. После шумного застолья на столе остался растрепанный экземпляр вышедшего романа, на обложке которого была ассиметрично наклеена старая черно-белая фотография с тремя молодыми людьми и девушкой на фоне зоопарка. Название книги было залито кетчупом.

Также на столе красовались засохшие объедки на грязной посуде. В хрустальном бокале с вином плавал окурок. В комнате висел тяжелый, как совесть скандалиста, запах, всегда остающейся после подобных попок. Галерея пустых бутылок дополняла натюрморт. Из горлышка одной из них торчала двадцатидолларовая банкнота, на которой помадой было написано — «тварь».

Родченко долго рассматривал надпись, пытаясь сообразить, как лучше ее стереть, не повредив драгоценную бумагу. Это привело его в тупое медитативное состояние, из которого вывел телефонный звонок.

Звонил Колян, друг Родченко.

- Привет, похмелиться есть?
- Двадцать баксов, но на них Нелина помада.
- Сдай с помадой
- Надпись неприличная. Думай, как стереть.
- Что тут думать, дуй ко мне, разберемся.
- А почему я к тебе, а не ты ко мне?
- Потому что вчера пропили все мои деньги, до копейки, а к тебе через везь Киев, две пересадки.
- Ладно, не пукай в брюки. Скоро буду.

Родченко выключил телефон и начал собираться к другу. Прежде всего, он достал мизинцем окурочек из фужера и брезгливо морщась, выпил вонючее вино, закусив это пойло огрызком бутерброда. Прислушиваясь к ощущениям, Родченко с огорчением понял, что не полегчало.

Разгладив рукою мятые джинсы, которые он не снимал ночью, похмельный тридцатилетний писатель, позевывая, отправился в ванную.

Чистя зубы, Родченко бросал резкие, злые взгляды на флакон одеколона. Фантазия тут же дорисовывала рюмку, нехитрую закуску и долгожданное избавление от похмельного синдрома. Но, преодолев искуc, вылив в ладонь достаточное количество хорошо пахнущей жидкости, Родченко распорядился ею правильно, то есть размазал по небритым щекам.

Посмотревшись в зеркало, он удовлетворился результатом проделанной работы.

Далее, громко хлопнув входной дверью, он стал спускаться по лестнице.

Путь с пятого этажа на первый был долгий и отвратительный. Позывы к рвоте заставили его останавливаться между третьим и вторым этажами... Пару глубоких вдохов, в животе грозно заурчало, в голове застучали молоточки и... ничего, движение вниз было продолжено. Открыв дверь в парадном, Родченко сощурился, явно не радуясь резкому летнему солнцу. Следующие двести метров до остановки он преодолел без приключений.

На остановке, прячась в тени от назойливого дневного светила, Родченко своим видом напоминал вампира. Зеленоватый цвет лица, худоба и налитые кровью глаза придавали ему сходство с опасной нежитью. Может быть, поэтому люди, ожидавшие транспорт, постепенно растворились в летнем мареве, оставив молодого человека в одиночестве. Впрочем, ненадолго. Местность огласилась цоканьем каблучков, и в поле зрения Родченко появилась красивая девушка.

Вместо того чтобы подойти к ней, достойно представиться и, несмотря на внешний вид, сделать все возможное, чтобы привлечь к себе внимание юной красавицы, Родченко с циничной непосредственностью начал рассматривать ее ноги, он делал это так заметно, что девушка, обернувшись на лавеласа и изобразив презрительную мину, твердо сказала:

— Мужчина, слюни подберите.

В ответ на это предложение ловелас дико расхохотался.

Смутившаяся девушка еще несколько минут покрутилась на остановке, после чего, остановив такси, уехала.

Родченко остался один.

Это было странно. Обычно в это время на остановке толпился народ. Но сегодня... Меряя шагами остановку, ибо стоять или сидеть его состояние не позволяло, Родченко мысленно проклинал все, что связано с общественным транспортом. Действительно, полчаса стояния кого угодно выведут из себя, а тем более похмельного человека.

— Странно, странно, — негромко проговорил Родченко.

Наконец, вдалеке показались рога троллейбуса. Еще минута, и ржавое убойное чудовище остановилось на остановке. Таких страшных троллейбусов Родченко раньше на маршруте не видел. Вне всякого сомнения, он был самодельным. Угловатый, грязный, пугающий, он сразу вселил тоску в сердце несчастного похмельного писателя. Захотелось вернуться домой, отключить телефоны, испортить дверной звонок, разбить молотком телевизор и, таким образом отрешившись от всего земного, залезть в теплую ванну и валяться в ней, прихлебывая пиво. Но пивка не было, и этот фактор на данный момент был определяющим. Вздыхнув, Родченко по неестественно крутым ступеням начал карабкаться в тулово троллейбуса.

Содержание троллейбуса было так же омерзительно, как и его внешний вид. Ржавые поручни располагались так, что до них можно было дотянуться только кончиками пальцев, из-за чего в салоне стояла непрерывная ругань, народ выяснял, кто кому отдал ногу, кто на кого навалился, кто скотина и, соответственно, кто еще большая скотина. Люки и окна были законопачены намертво, стояла неимоверная духота, заставляющая потеть и материться. Словом, все, что окружало Родченко, было безобразно.

Пара гнилозубых студентов, явно отчисленных семестр тому назад, задорно пытались дозвониться какой-то Даше. Цель их была очевидна, но телефон давал сбои, заставляя нервничать. И парни нервничали. Вполголоса, но достаточно отчетливо матерились, не обращая внимания на присутствующую публику. Впрочем, публику это мало шокировало, по причине ее собственного физического и духовного уродства.

Родченко со студентов перевел взгляд на девушку в короткой юбке и с толстыми, некрасивыми ногами. Студенческий мат ее явно вдохновлял на подвиги. Спроси ее гнилозубые «как дела?», и дела у всех троих завертятся без всяких Даш. Девка плотоядно смотрела на студентиков, но те были заняты недосыгаемой Дашей. И тогда она заметила одиноко стоящего красивого Родченко.

Шумно выдохнув перегар и закрыв глаза, Родченко представил себя в постели с этой... замутило опять. Он отвернулся и тут же встретился с наглым взглядом, который принадлежал ухоженному пузатому человеку, брезгливо озирающемуся вокруг. «А этот как сюда попал?» — подумал Родченко. Впрочем, данная про себя сказанная реплика не означала, что Родченко был знаком с этим плотным человеком. Просто подобный тип мужчин полностью представлен в местных широтах.

Весь их организм состоит из желудка и детородного органа. Эти две составные тела работают безукоризненно, остальное, включая головной мозг, для блезиру. Подобные толстяки очень любят и уважают себя. Добившись в жизни максимума, то есть став финансовыми директорами или совладельцами какого-нибудь среднего бизнеса, но так и не сколотив приличного состояния, они, тем не менее, умудряются произвести впечатление не только на односельчан. Одеваются они в качественные, хоть и безвкусные костюмы и ни в коем случае не унижат себя шаурмой и пивом на улице. Тела же свои везут исключительно на подержанных иномарках. Увидеть их в троллейбусе, тем более таком, большая редкость. «Кабан», как окрестил про себя толстяка Родченко, беспокойно крутил головой и то и дело поглядывал на «ролекс». Короче, он куда-то спешил.

— Дай ему в морду, Стас, — неожиданно услышал Родченко у себя за спиной капризный женский голос. Оглянувшись, он увидел парочку, затаенную в дермати́н, и это при такой-то жаре.

— Спокойно, Нинок, — отвечив Стас, присматриваясь к Родченко. За что «дерматиновые» хотят начистить ему морду, Родченко выяснять не стал, но страшным, охрипшим басом рявкнул:

— Рот закрой, а то в морге бинтиком подвяжут, — продолжая в упор рассматривать парочку, чтобы окончательно морально подавить негодяев, он услышал робкий ответ:

— Брат, успокойся, женщина просто выпила.

— Да я-то спокоен, — процедил в ответ Родченко, и, немного подумав, не стал продолжать беседу.

Одного взгляда было достаточно опытному Родченко, чтобы понять, кто это такие.

Итак. Лет пятнадцать назад она поступила в институт, в хороший институт, их много у нас в городе. Параллельно с учебой, с которой она справлялась блестяще, бегала девочка Нина на рок-концерты (сейшены) и однажды встретила там Станислава, по кличке, скажем, Апостол. Апостол ввел ее в таинственную и манящую тусовку, где все играли на барабанах, бас- и соло-гитарах, слушали «правильную музыку» и вели правильные разговоры, то есть о «правильной музыке» и дзен-буддизме. Пара самых крутых тусовщиков лично знали Егора Летова, по крайней мере, они всем об этом рассказывали. Но это неважно. Важно то, что Нина не стала учиться в престижном институте, но зато стала учиться играть на блок-флейте, чтобы в будущем занять достойное место в проекте Апостола. «А зачем институт? — рассуждала тогда она. — Слава не за горами, к тому же в этом гадком институте совсем не учат дзен-буддизму». И конечно... да, да, она не сдала сессию, (и совсем шепотом) её выгнали из института. Впрочем, это не расстроило ни её, ни тем более Апостола. Потому что... прошел первый концерт их группы, и в преотличном месте, рядом с культовым Домом офицеров, где выступали АукцЫон, Арефьева, Мамонов, да мало ли кто выступал в этом самом Доме.

Они отлабали рядом, через квартал, на квартире у Лехи, по случаю отъезда родителей Лехи в Крым. Концерт прошел блестяще, собралась почти вся тусовка, группу хвалили, разливая портвейн по пластиковым стаканчикам. Окрыленные успехом, участники ансамбля стали усиленно репетировать (то есть каждый день нажираться портвейном), чтобы выступить на сейшене, в

ДК (название не важно), и выступили, да так выступили, что, протрезвев, большинство участников ансамбля разбежались, и Нина с Апостолом остались вдвоем. Станислав, Стасик, Стас запил, как всякий непризнанный гений. Постепенно в этот увлекательный процесс втянулась и Нина. Институтские подруги, с которыми Нина пыталась поддерживать отношения, стали ее сторониться, учеба закончилась, и они, получив красные и синие дипломы, рассыпались по офисам и постелям состоятельных любовников. Еще через несколько лет Апостол и Нина стали алкоголиками, нервными, злыми, но вольными, не предавшими идеалы.

«Так появилось новое поколение бичей», — про себя закончил этот сюжет Родченко.

— Э, водитель, мы куда едем? — неожиданно заревел полный гражданин с «ролексом». И далее фальцетом: — Господа, это какой троллейбус?

Господа стали выглядывать в окна, и сквозь грязное стекло неожиданно заметили, что точно, троллейбус свернул не туда, куда надо, и возмущались, и загомонили вместе с Кабаном. Родченко, который волновался не меньше других, подошел к кабине водителя и мощно, бескомпромиссно застучал в дверь кулаком... Молчание. Еще раз кулаком... никакой реакции. И, наконец, сильный удар ногой. Народ замер, ожидая ответа водителя. Ноль... то есть в полном смысле ничего, как и прежде, троллейбус катил куда-то в пространство, а не туда, куда надо. И тут в салоне начался настоящий бедлам, заорали, завизжали сразу все, один гражданин с блестящей лысиной, покрытой веснушками, даже запел. Разъяренный похмельем и поведением водителя Родченко заорал: «Если сейчас не остановишь, окно разобью». И опять, как в воду, как будто не к нему, водителю, обращаются, обидно, одним словом. «А ну расступись», — и сильный удар ногой. Еще и еще, и еще несколько раз. Окно даже не дрогнуло. Троллейбус продолжал ехать своею дорогой. По скучным улицам Киева. Мимо обшарпанных многоэтажек. Мимо пикетов старушек с плакатами «ЗАЩИТИМ ПАРК...» Мимо новостроек на месте бывших парков. Короче, мимо... и это *мимо* всех страшно пугало.

Родченко достал телефон и набрал номер милиции — органы правопорядка оказались в недосыгаемости. Через несколько минут повторил звонок, опять ничего. Не зная, что делать, он подошел вплотную к кабине водителя и громко, чтобы наверняка быть услышанным, проговорил в трубку мобильного:

— Алло, милиция... троллейбус угнали с людьми... по Лепсе едем, в стору центра.

Из кабины раздался неприятный хохот. Родченко сильно ударил кулаком в дверь и прокричал:

— Все равно куда-нибудь приедем, как только выйду, убью.

И тут противно закрюкали троллейбусные динамики, и сквозь этот треск раздался уверенный голос:

— Граждане, не вопите и не психуйте, конечный пункт прибытия — через двадцать минут, если пробок не будет, так что движение продолжаем спокойно, без припадков. Кто будет себя плохо вести, запишу в блокнот.

Часть публики, убоявшись блокнота, апатично замолкла, села на жесткие посадочные места и, подперев ладонями щеки, уставилась на мелькаю-

щий индустриальный пейзаж. Другую часть, включая Родченко, эта фраза наоборот подбила на неразумные подвиги, то есть безуспешные попытки разбить окно, выломать двери, и прочие паскудства. Один только Кабан истерично взвизгивал от смеха, постоянно повторяя разными голосами: «Дурдом, дурдом».

Сильный похмельный приступ после яростной, но, увы, бесплодной борьбы за свободу временно отключил Родченко.

«В самом деле, — думал он. — Если через двадцать минут приедем, чего брыкаться, просто и сурово выйду и разобью морду водиле. Наверняка ведь пьяный. Что за народ», — мысленно сокрушался Родченко.

Он тупо смотрел в окно. По раскаленным киевским улицам, мимо магазинов с холодным пивом, мимо бочек с квасом, шли люди. Никто из прохожих не обращал внимания на уродливый троллейбус, который ехал неизвестно куда.

Через несколько минут троллейбус с хмурыми и нервными пассажирами нырнул в тенистую аллею и, проехав еще сотню метров, затормозил возле КПП. Водитель дал пару сигналов, и улыбающийся сторож с карабином наперевес увидел милую картину — сквозь туманные, мутные стекла троллейбуса, словно в страшном фильме «Ожившие мертвецы», проступали мутные лица пассажиров, среди которых сторож с удовлетворением заметил своего соседа Родченко.

«Вот уж, действительно, гад», — подумал он про себя, открывая ворота.

В салоне началась суета. Одна часть людей испуганно переглядывалась, другая явно готовилась к бою, то есть грозно посматривала на кулаки, потирала ладони, выпячивая челюсти, стараясь выглядеть максимально устрашающе.

Родченко протиснулся к самой двери с целью, как только её откроют, сразу выскочить, врезаться по сопатке и бегом. «Нечего выяснять, что да как», — подумал. Ему очень не понравился КПП.

Сзади него расположились в боевом порядке Стас с Нинкой, неизвестный рыжий бугай с бычьими глазами, пришедший с конца салона, плюгавый мужичок с колоритной лысиной, который в недавней сутолоке пытался петь. Далее уродливые студенты, толстоногая и очень испуганная девица с чувственным ртом и преданно смотрящими на Родченко глазами, замыкал отряд Кабан с выставленным наготове удостоверением, удостоверяющим, вне всякого сомнения, его мерзкую личность.

— Они какую-то клетку везут, — дрогнувшим от испуга голосом сказал один из студентов.

— Набери милицию, — угрюмо огрызнулся Родченко.

— У меня не работает телефон, — ответил студент и совсем плаксиво добавил: — Я хочу в Кременчуг. Они у нас почки вырезать будут.

— У кого есть телефоны, звоните в милицию, — приказал Родченко. И в это время дверь троллейбуса открылась.

То, что предстало перед очами Родченко, было дико и неожиданно. Клетка-коридор, по каким выводят хищников на арену цирка, была плотно

пристыкована к выходу и вела неизвестно куда. Родченко, крепко держась за поручни, высунул голову наружу и громко крикнул:

— Что за беспредел? Кому здесь делать нечего?

В ответ он услышал спокойный отстраненный голос:

— Выходи и не рассусливай, нам еще оформлять вас надо.

— Кому вам? Куда выходить? Мужики, вы чего?

Голос не ответил ничего испуганному Родченко. Вместо этого он (голос) мягко, по-доброму приказал Витьку «врубать». И Витек «врубил».

Жуткая вонь наполнила салон троллейбуса. Мгновенно всем стало ясно, что надо бежать, причем сломя голову, даже не обращая внимания на то, что кто-то блюет тебе на спину. И все побежали. Впереди всех неся похмельный Родченко. По заданному клеткой-коридором пути в неизвестное далёко, вперёд, к надписи «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ». За ним вольным стилем, кто как мог, преследуемые невыносимым запахом, объятые ужасом бежали все остальные пассажиры. Кто молча, кто матерясь, кто с песней.

Родченко бежал, не обращая ни на кого внимания. И добежал. А добежавши, понял, что он находится в клетке. Рядом с ним, в точно таких зарешеченных унылых помещениях находились и его недавние попутчики.

2

Все, кто ехал в троллейбусе вместе с Родченко, угрюмо пыхтели в клетках. Клетки стояли незамкнутым кругом, оставляя проход, в который через мгновение весело вломился невысокий полноватый господин, одетый в чёрную фракную пару и такой же чёрный цилиндр.

— Здравствуйте, — радушно рассмеялся господин. И выслушав поток грязной матерщины, а также справедливых упреков в свой адрес, не менее радушно продолжил: — Вот вы и дома, дорогие мои. Рад вас приветствовать, ценнейшие и разлюбивнейшие представители многочисленного отряда гадов, — и, не обращая внимания на вновь поднимающуюся бурю сквернословия, он продолжил свою приветственную речь: — Отраднo любоваться вами. Таких эталонных экземпляров, как вы, мы давно ждали в нашем Зоопарке. Совсем скоро к вашим вольерам толпами будут ломиться люди. Сердце сладко замирает от нехорошего предчувствия скандала. Вы уж постарайтесь, — карикатурно заискивающе засюсюкал толстяк. — Не зря мы ведь вас здесь кормим и поим, — и, резко повернувшись к клетке с Родченко, джентльмен во фраке неожиданно проговорил: — Ах, Родченко, Родченко, господин писатель, какой же вы всё-таки мудака, — после чего демонически расхохотался и под аплодисменты, которые хлынули из скверно настроенного громкоговорятеля, прикрепленного к фонарному столбу, скрылся в межклеточном проходе.

Речь и исчезновение наглого таинственного оратора произвела на запертых в клетках гнетущее впечатление. В воздухе повисло угрюмое, испуганное молчание. Только в дальнем ряду двое окончательно потухших студентов испуганно скулили о том, как они боятся, что у них вырежут почки.

— Тааак, — нарушил нависшую неопределённость Родченко. — У кого-нибудь есть внятные соображения, что это за херня? Про почки не хныкать. Их не так экзотично вырезают. И не из таких алкоголиков...

— Э, брат, притормози. Кто здесь алкоголик, — перебил Родченко разделённый с ним тремя клетками красноносый, синегубый, желтоглазый Стас. Он сидел вместе с верной Нинкой, которая во всём поддакивала своему сожителю:

— В морду бы ему дать, Стас, — агрессивно встряла она. — Как этот коблук его назвал? Писатель! Что пишешь? Сортирные детективы?

— Всё ясно, — брезгливо прокомментировал Родченко речь Нинки. И, обращаясь к присутствующим, сказал: — Нормальные люди есть? Отрезанным почкам и дерматинovým алканам предлагаю заткнуться. Есть, кому что сказать? Только внятно.

— А что там этот говорил насчёт кормят и поят? — неожиданно отозвался рыжий детина. — Что-то я не вижу пойла и жратвы.

— И я, — поддержал рыжего плюгавый старичок, любящий петь. — И я есть хочу, — обратился он к громкоговорителю. — Когда у вас здесь обед?

Громкоговоритель молчал. За него ответил Родченко:

— Вы что, с ума сошли. Какой обед, думайте, как выбираться отсюда.

— Я, когда голодный, не могу думать. Я сирота, — миролюбиво отозвался рыжий.

— И я, — подтвердил догадку Родченко плюгавый. Клетки плюгавого и рыжего стояли рядом. Они дружелюбно переглянулись и искренне пожали друг другу руки.

— Готовченко, — бодро представился рыжий.

— Примак Зиновий, — сообщил о себе плюгавый.

— А меня Ева зовут, — обратилась к Родченко та самая толстоногая тёлка, которая так и не нашла понимания у прыщавых подростков.

— Девка, не по адресу. Ты лучше к почкам приставай, — грубо осадил её Родченко.

— Я ваши книги читала, — продолжила, не обидевшись, Ева. — Я ваша поклонница. И я, в общем, рада, что очутилась в клетке рядом с вами, — кокетливо продолжила она. Родченко слушал её, откнувшись лбом в прутья клетки. До него уже не доходило, о чём говорит Ева. Он просто стоял и всеми силами пытался не сорваться в истерику. Вдруг его осенило.

— Я понял. Это телевизионный проект, людей разводят, гниды, а потом по телеку покажут. Короче, кто у вас тут главный. Кто продюсер, — громко и грозно прокричал Родченко.

— Я продюсер, — отозвался Кабан с «ролексом». — Я тоже думал об этом, но это невозможно, это не так делается. Я пятнадцать лет на телевидении людей развожу. Это не так делается. На такие проекты людей не ловят, они сами, добровольно и что угодно сделают, и мне делали... чтобы попасть, чтобы только попасть, — он боязливо оглянулся по сторонам и тихо серьёзно проговорил: — Случилось что-то страшное, Родченко. Наверное, в стране переворот. Вы лучше помалкивайте, мой вам совет. Вы на нас беду навлечете.

Родченко польстило, что продюсер знает его, но покровительственно влить телевизионному бреду он не стал.

— Какую беду! Какой переворот, — выдохнул он. — Что же это, заговорщики троллейбусами ловят неугодных и свозят в Зоопарк. Вы в своём уме? Кстати, как ваша фамилия?

— Не надо, Родченко. Тише. Не надо! — морщась, словно от зубной боли, проговорил продюсер. — Я случайно в троллейбус попал. Машина заглохла. А тут троллейбус. Я случайно попал. Они разберутся. Куда же они без телевидения. А вот вы, Родченко, и здесь надрываетеесь. Подумайте о себе! Подумай, гад! — прошипел, почти плача, продюсер и, неврастенично подёргиваясь, отошёл в дальний угол своей клетки.

— А жрать сегодня будут давать? — раздался требовательный голос из рыже-плюгавого сектора.

— Скоро поднесут, — отозвался Родченко. — От нас еще не все бредовые версии выслушали. Кстати, что ты думаешь по этому поводу?

— Я же говорил, я о жратве думаю, когда жрать хочу, — раздражённо ответил Готовченко.

— И ты? — обратился к плюгавому Примаку писатель.

— Это конец света, — уверенно ответил он. — Нас предупреждали. Это было предсказано. Также было предсказано, что спасутся только избранные. Вот Господь и спасает нас. Запер по клеткам, как Ной в своё время животных. Духовный потоп начался давно. Тогда, когда в мир пришёл Сатанаил и провёл антиалкогольную компанию. Мы в клетках, братия. На новом духовном ковчеге. И так же, как Ной спасённым им скотам и гадам давал вдоволь еды и питья во время потопа, так и о нас позаботится спасший нас.

— А когда спасшие дадут нам вдоволь еды и питья? — уважительно спросил Готовченко.

— Скоро, — ласково ответил Зиновий и запел какую-то радостно-дикую песню.

Родченко замутило от проповеди и последующего пения. Захотелось пить, уснуть и проснуться не в клетке, а дома, или хотя бы в парадном, под забором, в блевоте, но только не здесь, не с этими уродами. Недавнее сильное раздражение разлилось апатией. Он равнодушно посмотрел на небо, на кружащих над ним птиц. И, окончательно успокоившись, почувствовал, как ему хочется пить. Пересохшее горло и нехорошее предчувствие, что могут и не дать воды, вновь разбудило в нем агрессивный настрой.

— Воды принесите, падлы! — прокричал он и сильно ногой ударил решетку. В ответ на это требование недовольно заурчал громкоговоритель и бодренько заиграл аккордеон. После аккордеонной увертюры раздалась бурные овации и уже знакомый голос, который, без сомнения, принадлежал господину во фраке и цилиндре, объявил:

— Кушать и выпить будет подано немедленно.

Что и было исполнено.

Перед клетками белоснежными официантами был поставлен стол, накрытый девственно-крахмальной скатертью. И далее, под восхищённые взгляды узников, на столе появились холодные закуски, горячие блюда и много-много напитков разной крепости, со знакомыми и незнакомыми этикетками.

Появление официантов крайне возбудило продюсера. Высунув руку как можно дальше, он махал черно-золотой визиткой и визгливо просил, чтобы её передали главному, что это очень важно и что сам он очень важный и нужный человек. Официанты делали вид, что не замечают молящих повизгиваний и волосатую руку. Они расторопно сервировали банкет, что у них, в конце концов, замечательно получилось. Справившись с поставленной задачей, белоснежные юноши скрылись в том же межклеточном пространстве, откуда и появились.

Сразу после их исчезновения передние прутья клеток медленно поползли вверх острыми пиками, а проход между клетками резко, с лязгом закрылся ржавыми воротами. Родченко угрюмо смотрел на пики, но и не сидел сиднем, как все. Дождавшись того момента, когда сможет пролезть в открывшуюся щель, он быстро, как змея, выбрался из западни и, разогнавшись, прыгнул на ворота, отделявшие его от свободы. Током его не поразило, но и выбраться он не сумел. Еще пару раз повторив попытку выбраться из вольера, измазавшись солидолом, под довольное ржание Нинки и ухмылки остального клеточного населения, злой Родченко подошёл к столу и грубо сказал, вытирая испачканные руки о скатерть:

— Что вы ржёте. Еда отравлена.

Эта шутка произвела на всех разное впечатление. Кабан, уже успевший основательно приложиться к бараньей ноге в чесночном соусе, поперхнулся и изменился в лице.

Растерянно оглянувшись на спокойно жующего и запивающего Примака, он совершенно искренне заголосил: «Не хочу, сволочи, дайте противоядие, я всё отдам, всё подпишу». Плача, он не слушал умиротворённого Зиновия, уверявшего, что они на новом Духовном ковчеге, и что пища совершенно безвредна и вкусна. Что спасший их, их же никогда не отравит, а наоборот, будет всячески холить и лелеять, так как они избранные, все, кроме Родченко, который возводит хулу на своего спасителя. Он еще что-то хотел сказать, но, получив мощного пинка под зад от оклеветанного им писателя, мгновенно успокоился и, отбежав к противоположному краю стола, продолжил выпивать, закусывать и жаловаться на Родченко, но уже своему другу Готовченко. Тот внимательно слушал жалобы Приймака, но никак не реагировал на речи плюгавого. Только один раз, сглотив пережеванную пищу, он встревожено спросил своего товарища: «Точно не отравлена?» — и выслушав убедительный ответ, отобрал у Зиновия понравившуюся ему канапешку, а затем, застенчиво улыбнувшись, отправил её себе в рот. Также он забрал у Нинки пачку с чипсами, грубо, нетерпеливо открыл её и, печально посетовав, что в пачке нет призовых вкладышей, хотел вернуть обратно, но Нинка брезгливо отшвырнула чипсы и что-то горячо зашипела на ухо Стасу. Стас мельком, воровато взглянул в сторону рыжего и тут же очень сильно обиделся на свою подругу. В его злобном полупшепоте отчетливо можно было разобрать следующие изречения: «нормальный человек», «не лезь к нему», «и ко мне не лезь», «не втравливай меня». Нинка послушалась своего Стасика, и больше к методично жующему рыжему Готовченко она не приставала, зато обратила свой взгляд на бледных юношей, дорожащих своими почками.

Дрожащие, всего боящиеся молодые люди, внимательно и хищно следили за действиями проголодавшихся пленников. Недоеденную снедь, огрызки бутербродов, надкусанные яблоки, оставшиеся дольки апельсинов и половинки бананов они подбирали со стола, но не ели, а прятали себе за пазуху.

— Что это вы делаете? — спросила нагруженных обедками хлопцев Нинка. Хлопцы переглянулись и ничего не ответили. За них злобно ответил Родченко:

— А они умнее вас, Нина. Они посмотрят, сдохнете вы или нет, а по результатам опыта пообедают. Правда, почки?

Один из студентов захныкал, другой боязливо попытался к своей клетке. Но путь к отступлению ему перегородил Кабан. Сняв с руки «ролекс», он настойчиво, с угрозой в голосе предложил обменять обедки на эти престижные часы. При виде «ролекса» у юноши загорелись глаза и задрожали руки, но всё-таки с огрызками он не расставался.

— А что я буду есть? — гнусаво протянул он.

Кабан что-то проурчал невнятное, но тут ему на помощь неожиданно пришёл Родченко. Он убедительно посоветовал студенту обменять продовольственный мусор на часы. Мастерски, ярко он расписал достоинство легендарного швейцарского механизма, и через три минуты довольный Кабан, нагруженный снедью, задом пятился к своей клетке и сдержанно благодарил Родченко. Но тот, в свою очередь, не стал слушать благодарностей спасённого им мужчины. Он резко обернулся к Примаку и предложил ему надкусить для студентов что-нибудь, что пожелает их студенческая душа. Примак с испугом посмотрел на недавно его обидевшего Родченко и с вызовом сказал:

— Я наелся. Не хочу больше.

— А за хорошие часы? — настаивал Родченко.

— За часы понадкусываю! — согласился Зиновий.

— Работай, — приказал Родченко.

Примак сыто вздохнул и подошёл к столу. Почки переглянулись и, наскоро посоветовавшись, подвели дегустатора к огромному блюду и ткнули пальцем в солидный кусок буженины.

В это время Родченко докучал обманутому им Кабану. Насмешливым голосом он указывал обескураженному бывшему часовладельцу на его главную стратегическую ошибку, а именно на то, что он неспособен распознать без лабораторного анализа отравленный кусок пищи.

— Отравить могли всё, что угодно! — беззаботно говорил Родченко, очищая банан. — Фрукты, мясо, питьё. Но как вы узнаете, что именно? От чего именно умер вкушавший и пивший? Почки, — Родченко бананом указал на прыщавую юность, — не умнее вас. Они, конечно, догадались посмотреть, что будет с едоками, и, в случае положительного результата, то есть если никто не умрёт, слопать обедки. Но они, также как и вы, не подумали о том, что если результат будет отрицательный и кто-нибудь из вас, принявших пищу, двинет кони, какой именно кусок пищи погубил... — Родченко не успел договорить. Неожиданно Кабан вцепился ему в руку и вырвал недоеденный банан. После чего, затравленно оглядываясь, отбежал на самое дальнее от Родченко расстояние. Но, лишившись банана, Родченко не стал преследовать похитителя. Громко рассмеявшись, он сказал бывшему владельцу «ролекса»:

— Продюсер, только сразу не ешьте, посмотрите, умру ли я. Потерпите до утра.

— Дурак, — огрызнулся продюсер.

— Давай, давай, иди буженину у студентов выторговывай за свои обноски, — посоветовал Кабану Родченко, щурясь от удовольствия.

— Зачем вы так с ними? Разве вы не видите, они же боятся!

— Что? — Родченко не успел оглянуться, чтобы узнать, кто это сказал. Дикий вопль огласил окрестности Зоопарка.

Случилось следующее. Кабан внимательно выслушал последний совет Родченко и нашёл его разумным и основательным. Ощупав карманы пиджака и достав из них права, ключи и визитницу, он снял его с себя, элегантно повесил на руку и отправился выторговывать буженину. Но ход его был прерван дикой выходкой Зиновия Примака. С криком «А вот тебе третья половинка!» он нагнал продюсера, вонзил нож ему в ягодицу и вспорол её снизу доверху. Причина такого неуважения к любителю буженины разъяснилась после того, как взбесившегося плюгавого Приймака Родченко пинками отбучал от ревущего о пощаде Кабана. Оказалось, что Кабаний «ролекс» не «ролекс» вовсе, а дешёвая одноимённая китайская подделка. Родченко всё понял. Он грозно обернулся к горько плачущему студенту.

— Я думал, ему всё равно. Вот часы, возьмите. Отдайте ему. Я в Кремленчуг хочу, — булькал соплями юный обманщик.

— Сам отдай, — сквозь зубы процедил Родченко.

— Прикольно! — жуя, рассмеялся Готовченко, рассматривая порез на продюсере и поглаживая лысину Зиновия.

— Врача! — проверещал раненый деятель телевизионного искусства.

— Скорую! — крикнул Родченко.

— Всем гадам разойтись по своим клеткам! — прозвучало из недр громкоговорителя.

— Да пошёл ты, — огрызнулся Родченко, но уже под холодными струями воды, которые мгновенно обрушились на обезумевших от неожиданного поворота гадов и загнали их по своим местам.

Только нетранспортабельного продюсера не поливали водой. Когда все уgomонились и были заперты, за ним пришли врачи и унесли куда-то на носилках. Через сорок две минуты, — Приймак засёк время, — его вернули с забинтованным задом и двумя коробками консервов в руках.

— Эти точно не отравленные, — громко и довольно хвастал продюсер.

— А ты почём знаешь? — отозвался Стас.

— Дали куму позвонить, — довольно ответил Кабан. — Он привез. Разрешили мне, как больному, передачу.

— Ты что, не сказал, что с нами произошло? Не сказал, чтобы он вызвал милицию? — ошарашено вымолился Родченко.

— Знаете что! Заткнитесь лучше. Мне и без вас неприятностей хватает, — ответил на это продюсер и повернулся к Родченко забинтованным местом.

— Баран, — в сердцах крикнул Родченко.

В ответ на это оскорбление Кабан умеренно громко, чтобы не разбудить спящих, пукнул.

На Киев спускалась ночь. Улёгшись на надувной матрас, Родченко прилежался к городу. Поначалу, кроме продюсерского чавканья, он ничего не слышал, но вскоре Кабан угомонился, и Родченко услышал привычные звуки киевской ночи. Нетрезвый гогот подростков, догнавшихся пивом, внезапно заглушил мощный «умц-умц-умц», конечно же, раздавшийся из салона дорогого автомобиля, на секунду остановившегося у перехода и тут же рванувшего к центру города. Крики. Резкая сирена милиции. Что там за решеткой? Родченко закрыл глаза и ясно представил привычную картину. Шатание из знакомых клубов, где он только что выступал, в знакомые квартиры с попутным заходом в магазины. Разговоры, стихи, хвастовство, объяснения с соседями, и, опять перебивая друг друга, стихи под привычную с ранней юности музыку, под пристальным взглядом той, которая тебя еще толком не знает и горда тем, что сидит в одной компании с тобой.

Это был его мир, его атмосфера. Что-либо менять в этом укладе Родченко не собирался. Немедленно захотелось ввалиться толпою в знакомый клуб, где его знали и ценили, где на полках стояли его книги, а за столиками сидели его поклонники. Где знакомые официантки и бармен не спрашивали «что будете пить», и владельцы заведения порой закрывали глаза на дикие выходы своего завсегдатая. Родченко понимал, что он и его друзья создавали атмосферу подобных заведений. На них ходили смотреть... «Как на зверей в зоопарк», — подумал Родченко. Стало холодно. Пошарив рукой возле матраса, он нашёл одеяло и укрылся.

Он представил себе, как в своей нынешней компании заявился бы в одно из привычных мест, и неожиданно понял, что ровным счетом никакого диссонанса не произошло бы. Все спутники его заточения вполне гармонично вписались бы в привычное для него окружение. И даже немногословный вечно голодный Готовченко сошел бы вполне за своего человека. Почки, Нинка и Стас, поющий проповедник Зиновий Примак и раненый им продюсер — сколько раз он смотрел с эстрады на подобную публику, читая им рассказы, выдержки, главы, свои и чужие стихи. «Нет, не только для них читал...» — сконфуженно пробормотал про себя Родченко. И уже засыпая, неожиданно вспомнил услышанную сегодня фразу: «Они же боятся. Зачем вы так с ними?». «Кто бы это», — подумал Родченко уже в полудрёме.

3

Жизнерадостный улыбающийся лик — это было первое, что увидел Родченко сразу после того, как проснулся.

— А вот никто и не умер, — аппетитно отрапортовал продюсер, щеки которого так ласково гармонировали с рассветом. — Еда была не отравленная, — причмокнул он языком.

— Вы, продюсер, совсем от страха мозги потеряли, — ответил на это утреннее приветствие Родченко. — На кой чёрт им надо нас сюда везти, рассовывать по клеткам и после этого травить. Вы гад, продюсер, и будете жить в Зоопарке, — Родченко зябко потянулся и, невнимательно слушая неумелозывательные речи так и не отравленного продюсера, огляделся по сторонам. То, что он увидел, премного удивило его. Клетка была обставлена мебелью, причем мебель эта была его собственная, из его же квартиры. Первым делом он кинулся к своему ноутбуку, нетерпеливо включил его и, на пределе нерв-

ного срыва, дождался, когда компьютер загрузится... облом, Интернета не было. Родченко скверно выругался, но вслед за его руганью из рупора громкоговорителя последовало следующее объявление:

— Не всё сразу. Интернет появится только к вечеру. Наши специалисты работают над этим.

— Кто это чавкает там? — крикнул пробудившийся похмельный Стас.

— Ответственный за встречу Платон Чеширский, — строго откашлялся рупор и замолчал.

После этого ответа из клетки Стаса и Нинки раздался вой электрогитары. Оказывается, за эту ночь клетки превратили в привычные для каждого из узников места обитания. А некоторым, конкретно Стасу и Нинке, вернули даже некогда пропитые ими ранее инструменты и аудиоаппаратуру. Обрадованная этой приятной неожиданностью парочка мгновенно вспомнила об идеалах юности и начала им предаваться, то есть громко слушать Гребенщикова и пить портвейн, которым их снабдили ночные доброхоты. Натурально, в течение получаса они максимально накалили ситуацию в вольерах. На угрозы обитателей расправится с ними они нецензурно посылали угрожающих по известному неприлично-эротическому маршруту. Послали и Родченко, который предупредил, что как только доберётся до них, то обязательно разобьет гитары об их головы, а барабаны вместе с палочками засунет им в афедрон. И только после агрессивного уточнения, что такое афедрон, парочка слегка угомонилась. Гитара смолкла и печально, негромко зазвучала Нинкина флейта.

Уловив акустическую коду скандала, Родченко нервно покосился на письменный стол, в ящике которого он почти всегда хранил спиртное. Интуиция его не подвела. Бутылка бехеровки и бутылка джина уютно стояли в глубине ящика. Секунду поколебавшись, узник взял джин и демонстративно вылил содержимое бутылки на землю, конечно, не в клетке, а за её пределами. Отшвырнув подальше пустую тару, Родченко без колебаний подошёл к столу, достал из ящика бутылку бехеровки и, неожиданно для себя, сделал основательный глоток, после чего поставил её на стол.

— Всё, хватит! Кто здесь главный? Я хочу с ним поговорить, — настойчиво прохрипел Родченко.

Молчание застыло над вольерами. Молчали все. Растерянно, с надеждой молчали обитатели клеток, и непримиримо-равнодушно — громкоговоритель. Молчали те, кто мог посредством его рассказать вопрошавшему Родченко, кто здесь главный и что он хочет от пойманных и заточённых в клетки людей. Застыли деревья и облака. Птицы, еще недавно щебетавшие о том, что мир прекрасен, прекратили свое весёлое словоблудие и замерли.

Покой разлился над всем миром. Ещё глоток. И привычно развалившись в кресле, тупо уставившись на экран своего ноутбука, Родченко раскинул пасьянс «косынка». Не собрав и со второй попытки этот несложный расклад, он сделал еще один основательный глоток. После чего, оглянувшись по сторонам, заметил Еву и, что-то припомнив, ласково спросил её.

— Это ты вчера переживала, что им страшно?

— Им страшно, — уверенно ответила некрасивая девушка.

— Ты говоришь это? Тогда почему ты здесь? — спросил её Родченко.
 — По той же причине, что и все, — краснея, ответила Ева.
 — Стихи пишешь? — навязчиво продолжил допрос писатель.
 — Да, — с еле слышным вызовом ответила она.
 — Поэтому и здесь, — уверенно подвёл черту Родченко. — Давай выпьем с тобой, коллеги по цеху вроде как.

Ева охотно подвинулась к прутьям своей клетки, Родченко передал ей бутылку. Девушка оценивающе посмотрела на неё и, отхлебнув, тут же поперхнулась крепкой настойкой и матерно выругалась. Родченко не покоробило от этой брани. Он давно привык к подобному самовыражению слабого пола. Он даже вспомнил, что несколько раз встречал Еву на литературных тусовках. И там она так же отпивала из протянутых бутылок и так же материлась, то есть поступала в точности так, как почти все пишущие и поющие девочки своего поколения. Порой Родченко казалось, что они стараются перематерить друг друга в наивной уверенности, что чем откровенней брань, тем они становятся ярче и независимей. Но поток мата, исходящий от них, давно перестал резать слух и сам собой превратился в норму, в некий формат светского общения. Родченко угрюмо посмотрел на Еву и спросил:

— Почему ты материшься?
 — Потому же, что и вы.
 — Я? Ты от меня слышала мат?
 — Читала.
 — А, ты это имеешь в виду, — поморщившись, ответил Родченко. — Ну, это совсем не то. Я таких вот, как ты, описываю, бессмысленных.
 — И как же вы нас любите... а мы вас стараемся не разочаровать.
 — Бред! Материтесь, чтобы мне было о чём писать, — по-своему интерпретировал мысль Евы Родченко.
 — Да нет... наверное, нет. Я не знаю, — с досадой ответила девушка.

Родченко отобрал у неё бутылку и задумался: когда это случилось? Наверное, так: сначала активно стали материться герои новейшей литературы, визгливо и безобразно, стараясь перекрычать литературных героев прошлого, и, в конце концов, им это удалось. За ними, проанализировав эту сокрушительную победу, заматерилась вся прогрессивная тусовка, и понеслось... к примеру, взять эту самую Еву, сюжет готовый. Некрасивый маленький менеджер, пишущий, как все... дальше продолжать не захотелось. Перед Родченко в полный рост встали все отвратительные черты современной женской литературы, с истериками, превышающими все мыслимые децибелы, публичным выставлением на показ менструальных циклов, ПМС, орального и анального секса и прочей физиологии. И, тем не менее, у этого «товара» всегда находился свой читатель и слушатель. Как мухи на дерьмо, слетались посмотреть на этих девочек разного рода уроды и половые психопаты, такие как Кабан-продюсер, к примеру. «Ну вот, — развеселился Родченко, — связать их липкой ниткой спермы и провести по всем кругам городского ада. По моему, неплохо», — довольно подумал он и, не обращая внимания на что-то говорящую Еву, сел за компьютер и стал писать синопсис своего будущего произведения. Через десять минут напряжённой работы Родченко честно спросил у Кабана, где тот учился, а также попытался уточнить другие моменты биографии но, услышав в ответ истинно партизанское молчание, он под

подозрительным взглядом вопрошаемого придумал ему другую биографию, столь же мерзкую, как и настоящая.

— Что ты там пишешь? — внезапно заметался по вольеру Кабан, бережно придерживая рукой незаживающую рану, нанесённую Примаком. — Покажи, что там про меня написал! — и тут же, ожидаемо для Родченко, невыносимо громко заревел: — Ты не имеешь права! Я в суд подам, конституционный! У меня там кум и сват судьи, — после чего продюсер, встав на колени и протянув руки между прутьями, истово взмолился: — Куда пойдёт бумага, в какую организацию? Ну, дайте почитать, господин Родченко, что вы пишете.

— Рассказ пишу. А ты мне работать мешаешь. И не говоришь о себе правды, приходится додумывать за тебя, — глядя в пороссячи глаза продюсера, чётко ответил Родченко.

— Куда рассказ. Не позволяю рассказ. Я всё про себя расскажу. Мама и папа работали на телевидении и никогда не сотрудничали с КГБ, — быстро, не сбиваясь, начал о себе рассказывать продюсер. — Хотя про КГБ вычеркните, господин Родченко, мало ли что происходит, вот где мы оказались. Может, они и... ну, не пишите же обо мне... я вас молю.

— Да не психуйте вы, — изумлённо ответил ему Родченко. — Я просто пишу рассказ, там вот и Ева...

— Я? — радостно взвизгнуло над ухом Родченко. — Покажите, что про меня написали. Ну, пожалуйста, милый Родченко, ну хоть одним глазком. А как там меня зовут? Не меняйте, пожалуйста, имени. Я понимаю, имя не ахти, но ведь родителей не выбирают. Знаете ли, такие инертные рохли, из пригорода которые выбились в город. Не пишите о них, пожалуйста...

— Совсем сдурела девка, — печально выдохнул Родченко. — Зачем тебе это? Пойми, я не портретист восемнадцатого века и ты не маркиза. Ты ведь радуешься ничему и при этом блюешь на своих родителей. Я ведь об этом напишу...

— А дальше что напишете? — перебила писательскую тираду Ева.

Родченко в сердцах сплюнул:

— Напишу, что ты с продюсером трахаешься, вы ведь так похожи...

— Обед с напитками, — объявил громкоговоритель голосом Платона Чеширского. — За обедом будут даны новые сведения относительно вашего пребывания в Зоопарке. Ведите себя, как хотите.

И опять суета официантов, только в этот раз не под Кабаны мольбы, а под громкое одобрение Готовченко. Причмокивая, он нетерпеливо комментировал вносимые блюда и требовал к себе в клетку до конца сервировки принести хотя бы пирожок. Пирожок не принесли, но, в конце концов, его нетерпение было вознаграждено. Опять передние прутья потянулись вверх, и узники Зоопарка вышли к столу. Не вышел только Стас. Как только он увидел, что дело запахло обедом, а, следовательно, и встречей с угрожавшими ему утром соседями, он немедленно притворился спящим. Так что Нинке ничего не оставалось, как выйти одной. Испуганно озираясь, она робко подошла к заливным языкам и, вооружившись двузубой вилкой, с ненавистью проткнула один из них. Никто не обратил на Нинку особого внимания, все заняты были своими делами. Хрустя ломаемыми костями и чавкая, сосредоточенно работали Приймак и Готовченко. Тихо пыхтя, хомячил продюсер, от-

вернувшись раненым задом от всех. Брезгливо наблюдая за этим, наливалась пивом Ева, за которой в свою очередь похотливо наблюдали почки, подхихкивая и тихо переговариваясь между собой. Со стороны компания напоминала небольшое стадо мирно пасущейся скотины. Эту идиллию прервал следующий казус. Зиновий Примак в поисках вкусенького приподнял колпак блюда, стоящего в центре стола. Но на блюде, вместо ожидаемых яств, он обнаружил небольшой телевизор, немедленно вспыхнувший чёрно-белым экраном, по которому разлилось счастливое лицо ответственного за встречу Платона Чеширского. Все присутствующие настороженно притихли. И в этой пугающей тишине заскребли железом по нервам следующие слова:

— Прислушайте важное сообщение. Завтра с 9:00 ваша экспозиция будет открыта для посетителей. Я не призываю вас к образцовому поведению. Ведите себя так, как вели в естественной среде. Вы убедились, что примерные условия вашего обитания мы создали. Я понимаю, что не всё идеально. Я также понимаю, что условия неволи сопряжены со стрессовым состоянием. Но я уверен, что вы, в конце концов, благополучно адаптируетесь к условиям Зоопарка. Чтобы вы не чувствовали себя оторванными от среды, в которой пребывали на воле, в ближайший час перестанут глушить ваши мобильные телефоны, а также включат Интернет. Как видите, вы не изолированы от общества. Это не тюрьма, мерзавцы. Это Зоопарк, — Чеширский исчез с экрана, и место на экране занял голливудский кролик, жующий морковку и третирующей низкорослого охотника.

— Телефоны и Интернет, значит, включают, — спокойно ухмыльнулся Родченко. — Если не врут, всем в «Богадельне» выставлю шампанского.

— Я не хочу в богадельню, — пискнула одна из почек.

— Это кабак на Прорезной. Тебе понравится.

— Знаю я этот кабак, говно, всё дорого, и еду плохо готовят, — неожиданно отозвался Готовченко.

— Именно, — подтвердил слова друга Примак

— Здесь лучше? — изумлённо спросил Родченко.

— Конечно. Пищу здесь готовят гораздо лучше, — убедительно, с достоинством ответил Зиновий под ураганный звук втягиваемых в себя Готовченко спагетти.

Родченко налил себе рюмку водки и, ни с кем не чокаясь, выпил. Он уже представлял, что примерно будет после освобождения, а в скором освобождении он не сомневался. Он видел себя в эпицентре ураганного скандала, от которого трепещут все, кто немил ему и его друзьям. Как управлять этой стихией, он тоже знал. Не раз ему приходилось вызывать интерес к себе, раздувая из пустяка монстра. Но то, что произошло с ним сейчас, было событием не пустяшным, и Родченко решил воспользоваться этой ситуацией. Опрокинув в себя вторую рюмку водки и привычно забыв закусить алкоголь, Родченко вскрыл бутылку пива и стал в деталях обдумывать план действий.

Прежде всего, нужно оповестить друзей, которые могут влиять на процессы. Несколько журналистов, желательно женщин, которые умеют истерично добиваться любой правды, даже если эта правда — не правда. Таких в последнее время развелось много, и с ними проблем не будет. Они и заварят кашу. Далее, нужно изложить свой взгляд на произошедшее, обойдя тему га-

дов, и намекнуть на свою гордую, отстранённую позицию касательно... впрочем, это не важно, чего, главное — уверенным наглым тоном.

Родченко допил пиво и потянулся за чекушкой виски. Скручивая пробку с горлышка бутылки, он внимательно оглядел собрание. Всё пока было спокойно. И даже Стас сделал вид, что проснулся, и присоединился к Нинке. Глядя на этот купаж скверных характеров, Родченко подумал, кого из них он мог бы использовать в своих целях.

— Прежде всего, нужно поговорить с продюсером, он что-то на кумьёв-сватъёв намекал. Отсюда он вряд ли согласится идти буром против администрации Зоопарка, и звонить побоится тоже, но на определенном этапе, после освобождения... кстати, где он? — Родченко огляделся по сторонам и внезапно от увиденного подскочил с места. Кабан рылся в его ноуте. Бешеными, бесшумными скачками Родченко рванул к наглицу и со всего размаха дал ему потрясающего пинка. Зоопарк опять огласился нечеловеческим рёвом. Родченко в запале справедливого гнева не подумал о третьей половинке, которая вчера появилась на Кабанае, и опять разбередил продюсерскую рану.

— Что вы со мной сделали, — сипел, обливаясь слезами, продюсер. — Убийца. Смотришь. Что смотришь? А потом смешно напишешь. Гонорар пропьешь и смеяться надо мной, над моей раной будешь. И друзья твои будут. И мои. Все будут. Где то, что ты писал обо мне? — вопрошал он.

Оцепеневший от справедливых упрёков Родченко послушно показал продюсеру открытый текстовый файл. Но продюсера это не успокоило.

— Я читал это. Там не про меня. Третья половинка — не смешно, и фамилия другая. Сам ты Кабан! Где про меня? Отвечай, Ирод!

— Слушай, давай я тебя в клетку твою отнесу. Ты, главное, не вой. Смотри, как напугал всех, — Родченко оглянулся на компанию не напуганных зрителей, внимательно, с интересом наблюдавших за инцидентом. На не прекращающих жрать Готовченко и Приймака, на брезгливо-любопытных Стаса и Нинку, на смущенную Еву и жмущихся друг к другу почек, правая из которых снимала эту сцену на мобильный телефон.

— Тебе что, делать нечего? Нафига это видео? — спросил у почки Родченко.

— Выложим в Интернет. Прикольно ведь, — прозвучал робкий ответ.

— Если Интернет включают, — с сомнением в голосе сказал Родченко.

— Уже включили. И телефоны тоже, — сообщили ударную новость прыцавые юноши.

Родченко судорожно достал свой мобильный и набрал первый попавшийся номер. Ему ответили. Родченко сбросил вызов.

— Хорошо, — спокойно сказал он. — Теперь главное не суетиться, — с этими словами он подошёл к столу и налил себе виски. — За свободу! — искренне провозгласил он тост. — Много раз я говорил эти слова, но так искренне впервые.

— И что теперь делать будем, — спросил за всех Приймак.

Родченко огляделся. Он увидел растерянные лица людей, действительно не представлявших, что делать дальше. Они тревожно смотрели на него, понимая, что сложившееся положение просто обязывает их что-либо предпринять. И выбор этого шага они оставляли за Родченко, тем самым признав его своим лидером. Родченко принял этот знак. Сделав шаг вперёд и оказавшись в центре собрания, он чётко сказал:

— Торопиться не будем. Надо досконально продумать, что нужно сказать милиции и не только. Положение наше, мягко говоря, странное. Сказать ментам, что нас заперли в Зоопарке, — немислимо. Нас просто примут за идиотов. Я сейчас подумую, куда прежде всего стоит позвонить, — с этими словами Родченко налил еще порцию виски и опрокинул в себя спиртное. Его качнуло, он понял, что уже основательно набрался. Но, как всегда, в этот момент его стал одолевать тот самый пресловутый дух противоречия, который неизменно приводил его к печальным концовкам при застольях. Родченко очень быстро убедил себя, что всё контролирует, и в доказательство этого выпил залпом еще одну рюмку. Тряхнув головой, он убедительно приказал себе остановиться.

— Водка — это тормоз на пути к свободе, — заплетающимся языком провозгласил он.

— Выпей рома, — посоветовал ему Готовченко.

— А какая разница, всё водка, даже пиво. Ладно, значит, так, надо что-то решать. Я сейчас в Интернет загляну. А вы тут... — Родченко завистливо оглянулся на стол с аппетитными объедками, но всё-таки отправился к компьютеру.

Все социальные сети, в которых был зарегистрирован Родченко, работали. Людей, в том числе и влиятельных, подписанных на его странички, тоже было предостаточно для того, чтобы поднять первую волну скандала. Родченко открыл вордовский файл, потёр ручонки и страстно впился пальцами в клавиатуру.

«Внимание всем. Я, Родченко А.В., вчера был похищен неизвестными мне людьми. В данный момент я нахожусь в Зоопарке города Киева. Эта провокация, вне всякого сомнения, была организована при содействии государственных и муниципальных властей. Об этом говорят чудовищные обстоятельства похищения...» — Родченко не понравилось написанное. Он задумчиво уставился в монитор, пытаясь понять, что он, собственно, хочет сообщить людям. И, как всегда в таких тупиковых случаях, он, прежде всего, попытался сформулировать для себя то, что хотя бы от него услышать в этой ситуации. Вскоре он понял, что это небанальное запутывание банального сюжета из жизни спившегося, но внутренне прекрасного, простого, в кавычках простого, разумеется, человека. Он перечитал написанное, убрал слово «чудовищные» и продолжил: «... о которых вы узнаете в своё время. В данном информационном формате я об этом говорить не буду, так как могу просто напросто показаться сумасшедшим. Подозреваю, что на это и рассчитывают похитители», — тут Родченко вспомнил одно немаловажное обстоятельство и сделал приписку: «Также следует сообщить, что этот текст не является пиаром моей книги, действие которой частично происходит в киевском Зоопарке», — Родченко перечитал текст, убрал несколько лишних запятых и задумался: «А ведь, действительно могут подумать, что это пиар, и не только могут, обязательно так подумают», — от этой простой догадки сделалось совсем кисло на душе. О книге он вспомнил случайно, по ходу написания письма. Как назло, на обложке книги красовался Зоопарк. И опять всплыло слово «пиар», причём самый дурацкий из возможных пиаров. С пошлым размахом провинциальных рок и поп-исполнителей из конюшни поющего ректора По-

плавского. Короче, ему стало стыдно. Стыдно ни за что. Раньше, за всеми скандальными перипетиями, на это совпадение Родченко не обращал внимания, но сейчас, поджав от неловкости пальцы в кедах, он понял, что это обстоятельство может сыграть с ним злую шутку. «Нужно что-то придумать. Отвлечь прессу от книги. Вот попал. Надо самому отвлечься как-нибудь...» — подумал он и оглянулся на монотонно галдящее застолье. Всё, что он увидел у себя за спиной, было решительно нетрезво. Даже неодушевлённая посуда и бутылки потеряли свои изящные формы и напоминали пьяных провинциальные театралы после удачной премьеры в городе N. Что касается людей, окружавших стол, то с первого взгляда было понятно, что они уже находятся не в первой стадии алкогольного вдохновения. Преобразившийся Стас, кивком головы откинув со лба прядь сальных волос, настраивал гитару под восхищённым взглядом Нинки и бестолковые рассказы продюсера о его мощных знакомствах в мире шоу-бизнеса. Стас запел козлиным голосом песню собственного сочинения о том, как он ненавидит это общество. Общество на минуту сделало вид, что горько задумалось, но так как песня длилась больше минуты, Стас был грубо прерван Готовченко.

— Про милую давай!

— Какую милую? — опешил Стас, не переставая играть.

— Ну как, какую? — растерялся Готовченко. — Ну, во дворе пели...

— Мы таких не пели во дворе, — вмешалась заносчиво Нинка. — У нас дворы были разные.

— Тогда про милого, — задумчиво пошутил Родченко. — Слушайте, у кого-нибудь из вас родственники в милиции есть, или очень близкие друзья?

Этот деловой вопрос разрушил царившую идиллию. Первым поспешно удалился в свою клетку продюсер. За ним, о чём-то плаксиво перешептываясь, рванули почки. Пробурчав «На хрена нам менты», встал и ушел Готовченко, за ним, прихватив разрезанную дыню, засеменял Примак. Стас и Нинка тоже неожиданно слились с сумерками и стали невидимы. С Родченко осталась только Ева. Она хотела что-то сказать, но Родченко её раздражённо перебил:

— Не надо повторять, что им страшно. И вообще, не надо меня насилловать моралью и навязывать сострадание к этим скотам, — последнее слово Родченко сказал громко, чтобы всем присутствующим было слышно его мнение о них. — Вам же, мать вашу, место только в Зоопарке. Все вы хотите на свободу, но вы же этой свободы и боитесь. Расползлись по клеткам, — Родченко еще хотел добавить что-то, но его перебила Ева:

— А вы свободы не боитесь?

— Что? — оглянулся на неё Родченко.

— Ну, тогда звоните в милицию, — обиделась Ева.

Родченко сплюнул, достал телефон и набрал номер Коляна. После долгих гудков Колян радостно заорал в трубку, перекрикивая шум кабака:

— Привет, ты куда пропал? В «Богадельне» сказали, что ты только вышел. Заходи обратно.

— Как только вышел? — опешил Родченко.

— На своих, уж не знаю, как тебе это удалось, но вали обратно.

— Послушай, Колян, меня что, там видели? — не на шутку разволновался Родченко.

— Ну, ты же, мля, не прозрачный, — похабно заржал друг.

Родченко сбросил Коляна и набрал номер Артура — арт-директора «Богадельни».

— Привет!

— Привет, Артур. Напомни, мы сегодня с тобой встречались?

— Ну, да! А что?

— И о чём говорили? — засипел пересохшим горлом Родченко.

— Ээээ, да я не помню... а что?..

— Слушай, мы точно встречались сегодня?

— Да, какого хера ты мутишь! Не помню. Хотя нет, я же в «Богадельню» только что пришёл. Короче, подваливай.

Родченко понял, что его двухдневного отсутствия никто не заметил. Карнавал продолжался без него. В сознании своих друзей и знакомых он даже присутствовал на этом празднике жизни. Он пил и гулял с ними еще минуту назад, а сейчас просто вышел за сигаретами и скоро вернётся. Родченко стало страшно. Не задерживаясь ни минуты у стола, он отправился в свой загон и не мешкая разослал написанный ранее текст по всевозможным адресам. После чего разместил написанное в социальных сетях и, отключив возможность глупо комментировать это послание, отхлебнул бехеровки. Он вслушался в ночь. Ему захотелось услышать город. Но город молчал. Справа трахались Нинка и Стас, слева Кабан пыхтел на Еве.

4

Родченко проснулся от смеха ребенка. Дитя рассмешила попытка фотографа композиционно снять спящего писателя. Дело в том, что бутылка, приконченная Родченко ночью, довольно далеко откатилась от него и не попала в кадр. Фотограф решил штативом подвинуть тару к спящему объекту. Но, несмотря на то, что лицо его побагровело, а брюки мерзкой полосатой улыбкой разошлись на заднице, до бутылки он не дотягивался. Ребёнок засмеялся. Родченко проснулся. Фотограф бросил штатив и начал щёлкать камерой.

Родченко сразу сообразил, что происходит. Быстро поднявшись на ноги, он внимательно осмотрел фотографа и с удовольствием заметил торчащее из кармана рубашки удостоверение «пресса», после чего робко посмотрел на окружающих его клетку людей. Те, в свою очередь, без особого любопытства рассматривали проснувшийся экспонат. Родченко немного успокоился и обратился к фотографу.

— Вы из какого издательства?

— А вы шо, действительно Родченко? — вопросом на вопрос ответил невежливый представитель прессы. Родченко поморщился от суржика, но как можно вежливей ответил:

— Да, это я. Скажите, кто вас сюда послал?

— Та я из газеты «Вистнык Сиверщины». Вот, в Зоопарк заслали, — явно стесняясь своей миссии, ответил фотограф.

— Здесь еще, кроме вас, есть журналисты? — продолжил свой допрос Родченко.

— Не имею никакого понятия, наверное, нет.

— А как вы узнали, что я здесь?

— Редактор послал. Я и пошёл...

Этот разговор был прерван счастливым смехом. Родченко облегчённо вздохнул. К его вольеру направлялся Колян, его старинный друг и известный журналист сразу нескольких столичных издательств. Человек с ветвистой биографией и запачканной интригами совестью.

Колян бесцеремонно отодвинул фотографа и спросил:

— Что это за цирк? Я сегодня утром прочел твоё послание миру. Тебе звоню, телефон отключен. Короче я ломанулсЯ сюда...

Ещё в процессе рассказа Родченко о своих злоключениях, Колян сделал пару важных звонков, естественно, согласовав их со своим заточённым в клетку другом. Смысл их был в том, чтобы втолковать пишущей и снимающей публике, что похищение Родченко не шутка, а горячая тема для информационного пространства, сулящая небывалые рейтинги. Акулы пера обещали в скором времени прибыть. Колян отправился встречать журналистов. Друзья резонно предположили, что Коляну вместе с Родченко оставаться небезопасно. К тому же, надо было как следует подготовить звёздных представителей прессы. Колян, вихляя ляжками, торопливо ушёл. Родченко включил зарядное устройство, вспомнил и набрал пин-код и с нетерпением оглянулся по сторонам.

Только сейчас он в полной мере осознал, что рядом с ним ходят люди. Обыкновенные люди, ничем не отличающиеся от тех, кто смиренно и испуганно сидел в вольерах. Люди тыкали пальцами то в мрачного Кабана, то в позеленевшие от страха почки. Некоторые фотографировались на фоне клеток. Часто, то там, то тут, неприятно смеялись. Родченко потрясло общее равнодушие людей, которые гуляли между клеток. Особенно разозлила его фраза одной смазливой сволочи, которая, сучая, обратилась к своему провожатому:

— Ничего интересного здесь. Идём обезьян, что ли, посмотрим.

Родченко не выдержал. Мощно вдохнув в себя налетевший невесьть откуда ветер, он выплеснул в скучающее лицо бурю — потрясающий, творческий набор нечистот, сметающий всё на своём пути.

— Круто! — пискнул юноша и телефонной камерой стал снимать Родченко на видео. Подтянулись и другие зрители. Они с интересом наблюдали за происходящим.

— А еще поматюкайтесь, а то я не успел снять, — деловито попросил кто-то из толпы.

Родченко понял, что совершил ошибку, матерно прокомментировав реплику девицы. Люди с той стороны решетки, услышав ненормативные поливы, явно оживились. Нельзя сказать, что всем присутствующим понравилось выступление Родченко. Несколько мамаш, отягощенных детьми и доктринами воспитания, двинулись к выходу, но большинство, включая искренне возмущённых граждан, оценило лингвистические познания экспоната. Одни радовались необычным матершинным переливам, другие — что этим можно искренне возмущаться. Родченко отвернулся от толпы. Люди это не оценили. Кто-то стал откровенно задираТЬ его, пытаясь таким образом раззадорить. Стыснув зубы, Родченко молчал, всеми силами стараясь не сорваться. Он слышал у себя за спиной недовольный гул. Он понял, что то, что еще несколько минут назад было людьми, превратилось в публику, и публика ждала

представления. Вновь прибывшие весело спрашивали старожилы о причине собрания и, выслушав их недовольные ответы, толкаясь локтями, пробирались ближе к объекту всеобщего внимания.

Родченко, конечно, понимал, чего ждёт толпа от заключённого в клетку человека. Матюги вызвали только первоначальный интерес. Толпа ждала социального скотства. Как можно более мерзкого попрапия человеческих норм. Того, на что многие из присутствующих не решились бы никогда. Они ждали возможности осуждать своих ближних, желательно за обеденным столом. Заключённые в клетку люди в их глазах были призваны стать оправданием их бытовых мерзостей.

Много раз Родченко был в центре подобного внимания. Стоя на сцене или сидя за столом в полуснакомой компании, он намеренно, цинично провоцировал скандалы. Он не считал это чем-то экстремальным, это было своеобразное времяпровождение плюс небольшой пиар. Но он никогда не заходил слишком далеко и при некорректном повороте всегда умел шуткой свернуть нежелательную тему на пустой анекдот или житейский разговор. В этот раз всё было иначе. От него ждали. Он с отвращением посмотрел на проявления слюнявого любопытства, сел за рабочий стол и начал строчить текст, уже не оглядываясь на толпу.

Толпа разочарованно загудела. Еще несколько раз его пытались взбудорить. Кто-то метнул в писателя огрызком яблока, но он продолжал работу. Не дождавись ответной реакции, люди стали расходиться. Неожиданно в это людское болото врезался визгливый голос из клетки:

— Это писатель. Смотрите, пишет. Ему плевать на вас! Плевать!

— Гад это, а не писатель, — захныкал еще один сосед. — Ударил. Повазку сбил. Теперь болит.

Толпа опять зашевелилась. Слово «писатель» произвело на публику впечатление. Многие вспомнили школу и ВУЗы. Опять заморгали фотовышки и закудахтали вопросы «кто, мол?» и «что написал?». Всё это летело мимо его сознания. Он понимал, что, ответь он хоть на один вопрос, публика заведётся и потребует большего. Но публика не собиралась оставлять его в покое. За шокирующими сведениями она обратилась к его разговорчивым соседям. И соседи наперебой стали рассказывать подробности писательской жизни в клетке и за ее пределами. Один даже подыгрывал при этом на гитаре. Через пять минут злой трескотни писатель уже был наделён всеми сакральными чертами злодея, магнетизирующего женщин и гомосексуалистов своей загадочностью. Все хотели любых подробностей лично от него. Но реакцией на это желание было молчание. Как известно, самое большое преступление в глазах публики — это равнодушие к ней. И публика отомстила...

— Что это ты колбасишь? Заявление в милицию? «Как известно, самое большое преступление в глазах публики — это равнодушие к ней. И публика отомстила...». Что это за говно? Рассказ, что ли? Ни дня без строчки, типа. Заканчивай. Сейчас подойдут люди, будешь говорить с ними, — Колян с недоумением посмотрел на Родченко. — Да отвлекись ты. Соберись. Идут уже. Ну, ладно, я в партер. Тоже задам нужные вопросы. Не ссы.

Родченко радостно обматерил друга. Почесал затылок и уверенно начал отдавать приказания прибывшим журналистам.

— Подходите, подходите. На этих пока что не обращайтесь внимание. Известно, сколько у нас времени. А вот и стульчики несут. Какие услужливые твари.

Действительно, при появлении журналистов появились люди, которые деликатно стали отстранять случайную публику и заносить стулья для прессы. Это обстоятельство озадачило Родченко. Он не ожидал подобного. Со стороны всё выглядело как организованная акция, и поэтому Родченко решил поставить точки над «и».

— Сразу заявляю, что это не художественная и не пиар-акция. Это похищение.

— Почему тогда вы не обратились в милицию? — мгновенно перебили вопросом Родченко.

— Обстоятельства и следствия похищения, мягко говоря, фантастические. Я, конечно, могу позвонить в милицию и заявить, что меня похитили и заперли в Зоопарке. Но боюсь, я окажусь в положении несчастного Ивана Бездомного, звонящего из дурдома в отделение.

— Расскажите, что произошло.

— Еще раз напоминаю о фантастических обстоятельствах похищения. Просто организовать подобный трюк невозможно. За этим стоит что-то серьёзное. Что именно — я не рискну даже предположить, — Родченко довольно подробно начал рассказывать историю, с ним приключившуюся, не упустив при этом подробности, выставляющие его не в лучшем свете, чтобы быть предельно честным. Но всё-таки прокол случился. Эпизод ранения Кабана вызвал у пострадавшего от этого преступления резкую критику. Одиравший и обросший щетиной Кабан неожиданно заплакал:

— Ничего подобного не было. Никакие харчи за часы я не торговал! Всё он выдумал! Я сам поранился, о гвоздик. Господин литератор горазд выдумывать. Я на него в суд подам!

— Вот именно, — пропел Приймак. — Что вы выдумываете, Родченко! Я человек верующий! Я не мог поднять руку на ближнего своего, на высшее создание!

Родченко растерялся. Доказывать свою правоту в подобной ситуации было крайне опасно. Неизбежно бы начался потрясающий балаган, который разметал бы всю идею пресс-конференции. Родченко осторожно обратился к Приймаку:

— Вы хотите отсюда выйти? — он надеялся, что плюгавый проповедник запоёт о спасительном ковчеге и всем станет ясно, что перед ними придурок.

Но предатель Приймак предательски коротко ответил «Нет» и замолчал. Кабан на подобный вопрос только обиженно и строго взглянул на Родченко и ничего не ответил. Было видно, что он ни во что не хотел вмешиваться.

— Согласитесь, странная ситуация, господин Родченко. То, что вы нам сейчас рассказывали, очень напоминает те ситуации, в которые попадали герои вашего нового романа. Я успела его прочитать, и вы знаете, ощущение, что вы прокручиваете тот же сценарий, что прокручивали и со своими героями. Как вы это объясните?

— Я не знаю, как это объяснить! Поймите, я не могу дать никаких внятных показаний по этому делу. Проще всего назвать это совпадением! Я сам

только вчера ночью наткнулся на эти совпадения, на эти параллели. Я предполагал, что пресса окрестит произошедшее со мной, как пиар книги! Но это не так, поверьте мне. Если рассуждать логически, то, кроме того, что подобное мероприятие стоит немалых средств, которых у меня нет, оно совершенно по-дурацки выглядит. Я не могу найти другого слова. Пропиарить таким образом книгу — верх пошлости. Это что-то другое.

— Как вы думаете, что?

— Вот это нужно обязательно узнать. Что это и кто за этим стоит.

— Каким образом?

— Для этого необходима огласка этой ситуации, это прежде всего!

Возникла небольшая пауза, в которую неожиданно вмешался Чеширский. Мурлыкающим голосом, с помощью громкоговорителя он объявил:

— Господа, после пресс-конференции состоится небольшой фуршет с раздачей нового романа господина Родченко.

— М-да, странный не пиар, однако! — произнёс грузный бородатый мужик. Большой авторитет среди пишущей братии и старый недруг Родченко.

— Ну что, мне землю жрать тут перед вами! — прокричал Родченко.

— Да мы верим, — попытался успокоить друга Колян.

Родченко на это только покачал головой.

— Господин Родченко, а о чём ваш роман? Можно узнать краткое содержание? Родченко на минуту задумался, стоит или нет рассказывать содержание книги. И решил, что стоит.

— Во-первых, это повесть. Действие её, на самом деле, частично происходит в Зоопарке. Рассказывать действие повести, передвижение героев сейчас глупо, тем более вам обещали её подарить! Скажу только, что книга, по сути, о страхе. О том, что человек сам выдумывает чудовищ, которые воплощаются в реальные персонажи истории. Ситуация, в которую я попал, действительно напоминает те ситуации, в которые попадали мои герои, и это для меня загадка.

— Ну, что же, ваш рассказ о книге очень интригует. Обязательно прочту.

— Но вы поняли, что я здесь не за этим, — как можно спокойнее сказал Родченко.

— Мы стараемся это понять, — ответил за девушку бородатый недруг писателя и с улыбкой добавил: — Но это очень трудно.

Родченко разозлился:

— А вот и закусь подано, — язвительно ответил он и кивком головы указал журналисту на сервируемые у него за спиной столы.

— С размахом! — удовлетворенно отметил сервировку бородач и, погладив холёную бороду холёной ладонью, добавил: — У меня вопросов больше нет.

— У меня вопрос. Вы общались с администрацией Зоопарка? И вообще, здесь присутствует хоть один представитель этого учреждения? — Родченко с благодарностью посмотрел на Коляна.

— Спасибо! У меня те же самые вопросы, но, как видите, ответа не последовало, и я уверен, не последует. Попытки связаться с администрацией ни к чему не привели. Надеюсь, что вам повезёт больше. Но мне кажется, максимум, что вы услышите, — это приглашение закусить. Знаю только одну

фамилию — Чеширский, это он себя объявил ответственным за встречу. Если бы вам удалось поймать его и задать вопросы...

— Я здесь. Задавайте, — перебил Родченко Чеширский. Он, как и при первом появлении, лучезарно улыбался и источал флюиды оптимизма.

— Вы можете представиться официально? — официально тоном попросил Колян. — Чтобы мы знали, кому задавать вопросы.

— Я — ответственный за встречу, Платон Чеширский, — поклонился в сторону журналистов услужливый Чеширский.

— Вы официальный работник Зоопарка?

— Точно так. Отвечаю за встречу официально.

— Как вы прокомментируете заявления господина Родченко о его похищении?

— И комментировать тут нечего. Похитили, конечно, похитили. Сначала приснились ему, а затем похитили, — Чеширский обратился к Родченко: — Вы ведь помните, как мы вам приснились?

Родченко помнил, но не сказал.

— Нет, не помню!

— А я помню, — неожиданно встряла Ева. — Пауки приснились...

— В банке, конечно! — вскипел Родченко. — Ева, заткнись со своими пауками. Ты что, не понимаешь, что они сейчас гламур мистический наводят. Мало ли, что кому снится.

— А мне ковчег приснился...

— Заткнитесь все! Чеширский, покажи документы.

Чеширский с готовностью подлизы мгновенно достал паспорт и служебный пропуск в Зоопарк.

— Чеширский Платон Васильевич, — констатировал задумчиво Колян.

— Ну что, удостоверили личность мою. Хе-хе. Видите, не соврал, что я Чеширский. А засим просим отобедать. Стынет же всё.

В суматохе словесных стычек присутствующие на пресс-конференции не заметили, как чисто, аккуратно, а главное, быстро накрыли стол невидимые официанты. Пара молодых негодяев из известного таблоида с удовольствием направились к столам. Этого зрелища не вынес доселе молчавший Готовченко.

— Эээ, вы что, а нас? Уберите этих, а то я всё здесь разнесу! Положи на место! Милиция...

— Успокойтесь! — обратился к взволнованному Готовченко Чеширский. — Вас покормят эксклюзивно...

— Как?

— Всё самое лучшее, свежее, вкусное...

— Несите! Скорее только! И виски. Я люблю его больше, чем водку! — расчувствовался Готовченко.

Все остальные любители самого свежего и вкусного тоже аппетитно загудели в своих клетках, делая заказы. Толька Нинка и Стас не потревожили официантов. Нажравшись вдребезги мерзейшим портвейном, они мирно почивали друг на друге. У Нинки была растягнута ширинка.

Родченко внезапно охватило чувство стыда. Он осознал, что для всех его неприятности — это прекрасное времяпровождение. Фуршет и сплетни.

Он вспомнил недавнюю смерть своего друга. Под железным предлогом невыносимого горя все напились в сопли и под лозунгом «покойный был человеком весёлым» завершили поминки лихой матерной песней.

Поджав от неловкости пальцы в кедах, он жалобно обратился к жующей прессе:

— Сходите кто-нибудь в администрацию Зоопарка!

Журналисты неохотно обратили свои взгляды к Родченко. Ещё несколько фотовспышек с этого ракурса — и две девушки не выдержали напора совести и согласились навестить директорат. Чеширский дал подробную информацию, где найти директора, но лично сопроводить не согласился, ссылаясь на обязанности ответственного за встречу. Родченко посмотрел им вслед стеклянным взглядом и подозвал Коляна:

— Слушай, сходи с ними. А то, чувствую, идут они не к директору, а к остановке.

Колян замялся:

— Пусть эти девицы вернуться. Наверняка за нами всеми следят. Пойми правильно, в этом деле нужно быть осторожным. Вытащим тебя, не волнуйся.

Родченко больно толкнул своего друга в плечо и зло ответил:

— Это ты не волнуйся и не ссы, а просто сходи.

Колян послушно пошёл, но вскоре вернулся с бутылкой джина и швепсом.

— Давай выпьем! — не глядя в глаза другу, предложил он.

Родченко принял бутылку, протянутую товарищем, и, сильно размахнувшись, обрушил её на его же голову. Колян не упал. Выдержав удар, он отскочил от клетки и тут же стал уверять всех, что всё нормально, размазывая по лицу кровь, смешанную с джином. Но эти уверения никто не слушал. Фотографы снимали крупные планы, прочие журналисты наперебой галдели о случившемся. В этой трескотне особо неприятно выделялся голос Чеширского. Он театрально сокрушался о неприятном инциденте и непрестанно повторял: «Моя вина, моя вина, забыл предупредить, что близко к клеткам подходить опасно, а тем более кормить и поить экспонаты».

Мощный гул недовольства раздался и из других клеток. Родченко обвиняли в невыносимом характере и диктаторских замашках. Обвиняемый же гордо и презрительно молчал, подтверждая своим молчанием эти наглые наветы. Ситуация всё более и более накалялась и вполне резонно, что в происходящее вмешался ответственный за встречу. Хлопоча о порядке, он стал выпрашивать представителей самой древней четвёртой власти. Родченко видел, с каким облегчением уходил Колян, стараясь не смотреть в его сторону. Как, довольно улыбаясь, диктовал что-то по телефону его бородатый недруг и как выпивали «на коня» представители сенсационной жёлтой прессы. Почти все расходились довольные. Родченко понимал, что эта битва проиграна.

— Конец, — пробормотал он.

5

На опустевшем дворе остались несколько окурков и разбитый бокал. Родченко накрыла тоска. Он с необычайной ясностью увидел все последую-

щие события. Перед глазами замелькали страницы журналов и вэб-страницы Интернет-таблоидов с его фотографией в клетке и с неверным пересказом его же слов. Он увидел заточённое в кавычки слово «похищение» и открытый намёк на пиар. Он понял, что раскупленный тираж книги, наконец, перебьёт пяти тысячный барьер и это, несомненно, подольёт еще масла в огонь. И даже если кто-то из друзей поймёт суть дела, это не изменит его положения. Всё обрастёт насмешками и испуганным шепотом, и, в конце концов, все привыкнут и к этому развлечению. Закономерно появилась и наполнила собой всю душу мысль о самоубийстве, но и этот последний тупик с надписью «выход» показался ему отвратительно вульгарным в контексте его профессии. Отчётливо представился фривольный заголовок «Известный писатель случайно повесился на подтяжках в ходе презентации своей же книги». Он посмотрел на Кабана, чистящего неотравленное страусиное, сваренное вкрутую яйцо, которое тот заказал себе на обед. Кабан перехватил его взгляд и важно сказал:

— Ну что, господин писатель, обделались? — и, не дождавшись ответа, продолжил поучительным тоном: — Вот вам спесь ваша вышла боком. Думаете, вы кто-то, хе-хе, а вы как все. И ничем не хуже меня. Хотя хуже, гораздо хуже. Всё из-за вас. Вот вы не понимаете ничего, а я понял. Если сидеть тихо, то мы не понравимся администрации, и нас отпустят, зачем мы им такие вежливые. А вот если будем бутылками по голове, то тогда да, тогда нас будут здесь держать. Я ведь продюсер, Родченко, я ведь знаю, как это делается. Тихие не годятся для шоу. А вот такие, как вы, негодяи — это да, этих в прямой эфир — и не выпускать оттуда, пока не сдохнут сами. И когда сдохнут — тоже в прямой эфир. Рейтинги, красота, реклама. Так что в следующий раз подумайте, прежде чем бутылками головы портить журналистам...

Родченко прямо сейчас захотелось убить продюсера. Он представил, как душит собственными руками этого упитанного человека и после того, как тот затихает, садится на его тушу и закуривает сигарету. В этот момент недодушенный продюсер оживает, и тогда он сначала тушит о его щеку сигарету, а после страшно добивает Кабана ногами.

Эти мысли прервал Готовченко, вмешавшийся в рассуждения продюсера о свободе:

— Неправильно тихо сидеть. Правильно — жрать самое дорогое. Тогда они сами выгонят нас. Кому охота столько тратить на еду. Вот я буду жрать, а они подумают про себя «эге, да этого не прокормишь» и выгонят. Вы что же думали все? Я свободу люблю. На свободе сладче пьется. И закуска приятнее, когда крадешь её. И водку люблю больше, чем виски. Но виски дороже, и поэтому его буду пить, пока не попрут.

Родченко прижал ладони к ушам, чтобы не слышать этого бреда, но это не помогло. Он знал, что именно сейчас тему подхватит проснувшийся похмельный Стас и сообщит, что лучший способ выйти на волю — это бухать и громко слушать музыку. Что Стаса горячо поддержит Нинка, рассказывая случай за случаем, когда их с любимым многократно из-за этого выгоняли, выталкивали, вышвыривали. С нелепым, уродливым заявлением выступила Ева, которой нравилось в клетке. Она говорила, что только за последний час её зафрендил 13 человек, когда узнали, с кем она рядом сидит и что он о ней пишет повесть. Что завтра многие из её новых знакомых придут в Зоопарк развиртуализоваться и что будет весело. Этот поток признаний нежи-

данно перебил звонок Коляна, который предложил ему не «валять дурака» и немедленно явиться в «Богадельню», а не бухать в «Стерильной совести», где его только что видели...

Всё это словесное месиво чёрным маревом окутало душу писателя. И он понял, он неожиданно понял, что его давно окружают не люди, а персонажи его же собственных книг. Всё, что с ним происходит, было инспирировано его собственной фантазией. Всё, что его окружало, было ненастоящим. Это был бред больного человека. И тогда он подхватил свой ноутбук и со всего размаха грохнул его об пол. Что-то разлетелось вдребезги. Покатилось мелкими деталями по паркету. Завалилось в самые потайные щели квартиры, из которых еще долго будет ворча выметать их Неля. Именно сейчас она вбежит в комнату и испуганно спросит «что случилось, Саша?»

- Что случилось, Саша?
- Ничего. Ноутбук уронил. Вдребезги.

Ночью он прислушался к наступившей тишине.

Он долго слушал наступившую тишину.

Он испуганно слушал наступившую тишину.

Осторожно, чтобы не разбудить подругу, он встал с постели и вышел на кухню. Закурив, он открыл Нелин компьютер и вставил в порт свою уцелевшую флешку...

— А вы, Родченко, так и останетесь здесь навсегда. Так что ставьте будильник на полдевятого. С девяти до восемнадцати у нас приём, — с насмешкой сказал Кабан, растирая ладонью чешущуюся, заживающую рану на заднице...

1.11.2011 Киев

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И.А.Савкин
Дизайн обложки *И.Н.Граве*
Оригинал-макет *Б.Н.Марковский*

Издательство
«Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53.

Подписано в печать 11.03.2014. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 21,4. Печать офсетная. Заказ 143.
Тираж 500 экз.